

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

12

НОВЫЙ  
МИР

1992

12



1992



# Н[О]ВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 12 (812)

Декабрь, 1992 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ — Осенние листья, стихотворение	3
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Апрель Семнадцатого. Окончание	4
ЭЛЬМИРА КОТЛЯР — Свет клином, стихи	166
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Прокляты и убиты, роман. Книга первая. Окончание	168
АКВАРЕЛИ — Татьяна Бахмина, Александр Субботин, стихи	247
ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ — Вдогонку..., стихотворение	249
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
СЕРГЕЙ КОСТЫРКО — Чистое поле литературы. Любительские заметки профессионального читателя	250
ИРИНА СЛЮСАРЕВА — Вхождение в круг	260
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	266
Л. Аннинский. Ужас и уют. Андрей Ранчин. «Зыбкий воздух повествования».	272
<i>Политика и наука</i>	
Сергей Залыгин. Подлинные и мнимые секреты перестройки.	
<b>ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ</b>	
Н. РОГАЛИНА — Историк читает Бруцкуса	275
КОРОТКО О КНИГАХ	281
РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ	283
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1992 ГОД	285
SUMMARY	288

© Журнал «Новый мир», 1992.

МОСКВА 1992

## Господа зарубежные подписчики!

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» приносит вам свои глубочайшие извинения за некорректное поведение фирмы «Найманис» по отношению к вам. Мы тоже виноваты. Мы не поняли вовремя создавшегося положения. Фирма «Найманис», г. Сикоев оказались некорректными и неплатежеспособными, они не выполнили условия договора с нами, не перевели нам ни феннига за номера журнала «НОВЫЙ МИР» с 1 по 4.

~~Фирма «Найманис» Г. Сикоев — нет!~~

Мы порвали отношения с «Найманисом» и передали материалы в суд города Мюнхена.

~~Фирма «Найманис» Г. Сикоев — нет!~~

Господа подписчики! Мы рекомендуем вам потребовать деньги с фирмы «Найманис» за оставшиеся номера с мая по декабрь и подписаться на эти номера и на весь 1993 г. у фирмы «КУБОН УНД ЗАГНЕР».

Одновременно мы благодарим фирму «КУБОН УНД ЗАГНЕР». Комплекты журнала с мая по декабрь вы получите уже через «КУБОН УНД ЗАГНЕР». Точность и корректность — генетические свойства баварской фирмы «КУБОН УНД ЗАГНЕР».

Имейте дело только с фирмой «КУБОН УНД ЗАГНЕР»!

Господа подписчики! Ваше внимание к «НОВОМУ МИРУ» мы ценим очень высоко, своей подпиской вы поддерживаете не только нас, но и российскую культуру.

Каждый номер «НОВОГО МИРА» — это серьезная книга. 12 номеров — это собрание сочинений, в котором обязательно присутствует первоклассная русская литература.

Еще раз извините нас за недальновидность при заключении договора с фирмой «Найманис».

~~«Найманис» — нет!~~

Желаем вам радости, здоровья и удачи!

**ПОМНИТЕ! «КУБОН УНД ЗАГНЕР» — ДА!**

---

---

## ВЛАДИМИР СОКОЛОВ



### ОСЕННИЕ ЛИСТЯ

Невыносимое лето.  
Серая, серая муть...  
Призрачна, полуодета  
Падает осень на грудь.

И ее так обнимаешь,  
Как невозможно обнять.  
Кажется — не понимаешь.  
Кажется — и не понять...

Руки в рояль окунала,  
Взбрасывала, и опять  
Кажется — не понимала.  
Кажется — и не понять.

Кажется, о Марианна,  
В этом последнем танго,  
Сны, как руины Руана,  
А не романа Гюго.—

Так эти падают листья,  
Рушатся, а тополя  
Черные, все золотистой  
Или нежней янтаря...

И так пронзительно строго  
Каменный замер Орфей,

В музыке Оскара Строка  
Слышащий эхо своей.

И так мучительно грустен  
Мраморный этот сюжет,  
Мучимый не захолюсьем  
Парка, а патиной лет.

Но просияли ж из окон  
Стекла свечами дворца,  
Твой золотящийся локон  
Тронувшие у лица.

Это последнее танго.  
Это последний роман.  
(...Это над водами Ганга  
Русских гусей караван...)

Это мой голос осенний  
Возле любимой руки,  
Как над Невой и над Сеной  
Музыка ради реки...

Руки в рояль окунала,  
Взбрасывала, и опять  
Осени не понимала.  
Осени и не понять.

---



---

---

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

\*

УЗЕЛ IV

## АПРЕЛЬ СЕМНАДЦАТОГО

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ — ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ АПРЕЛЯ

41

Севастопольское чудо! — так уже называли в Петрограде первые успешные революционные недели Колчака. (Более успешные — мартовские, в апреле уже появились тени.) Повсюду в России пошёл развал — а Севастополя как бы не касался!

Это началось с того объединённого откровенного офицерско-матросского собрания, которое толчком изобрёл Колчак, и той ликующе-дружественной мартовской ночи, когда встречали опоздавшего думского делегата Тулякова, а он по приезде держался очень просто и искренне нёс социалистическую галиматью, тут же возник первый революционный комитет во главе с бойким вольноопределяющимся Зороховичем из крепостной дружины (потом оказалось — сыном симферопольского коммерсанта, он весьма успешно проявился и в первой севастопольской делегации в столицу). И Колчак, не без совета подполковника Верховского, понял, что надо действовать быстрее всяких возможных захватчиков снизу: самому же первому создать матросские комитеты на судах, солдатские в командах (две трети от команд, треть от офицеров), — а из них через день состроился и центральный военный исполнительный комитет, в полном доверии к Колчаку, — и одним из первых решений было: запретить всякую торговлю вином в Севастополе и преследовать скрытую. Вместе с Верховским выработали новые демократические правила судовой жизни, и Колчак приказом придал им силу закона. А гвоздь был: что любые решения комитетов должны утверждаться и центральным комитетом и Колчаком, а без этого недействительны. И севастопольский Совет принял такой порядок!

Так весь переворот завершился в 3—4 дня, боеспособность флота и крепости не была нарушена ни на час, корабли тут же стали выходить в море и держать блокаду анатолийских берегов, как если бы революции не было. И севастопольский военный комитет поспешил сам заявить, что Россия может спокойно смотреть на свой южный фланг.

Не меньше умения, чем к матросам, надо было спешить проявить и к офицерам: преодолеть их кастовость, косность. Требовал от них как можно больше идти в матросскую толщу, не чуждаться — и

разносил офицеров крепости, что у них не хватает нервов всё время «пробывать с хамами». И вот — вражды между офицерами и матросами не легло, и по всему Севастополю взаимная честь отдавалась даже с изысканной тщательностью, и с предупредительностью к офицерам. Вот в вагоне трамвая солдат закурил и умышленно-нагло пустил дым в лицо отставному генералу, — матрос остановил трамвай звонком кондуктора: «Как смеешь, негодяй, перед заслуженным человеком? Вон из вагона!» Несколько солдат в вагоне запротестовали, но матрос махнул в окно морскому патрулю — и солдату пришлось поспешно убежать.

На улицах города — образцовый порядок, при патрулях. И ни единый красный флаг не был поднят в Севастополе, только перевернули национальные, так что красная полоса стала верхней.

Но всего удивительнее проявились севастопольские рабочие — ещё сознательней команд. Они заявили, что будут поддерживать Колчака и отказываются от 8-часового дня, а будут работать, сколько понадобится для флота. Их отдельный совет не слился с флотским, отношения с адмиралом были наилучшие, а когда в апреле среди матросов повеяло первым заразным ветерком «ликвидировать войну» — из рабочего Совета приходили в команды стыдить и успокаивать.

И как же сложилось всё это чудо? Колчак верно знал, что главной тягой было его личное обаяние во флоте, он был — как флотское знамя или хоругвь. Матросы чувствовали в нём своего прямого вождя и защитника, минуя даже всех офицеров, — и этого не возместить никакими комитетами и комиссиями. Каждый шаг, движение и фразу перед матросами Колчак производил с уверенностью — и всегда выигрывал. Его и любили — и продолжали бояться. Сказалась и дальность флота от столицы, изолированность от центров бунта, и что Черноморский флот круглогодично бывал в боевом напряжении.

В ответ на немецкое радио и прокламации с аэроплана — Колчак обратился в середине марта к флоту и севастопольцам: «Агенты неприятеля работают изо всех сил, чтобы расстроить удивительный порядок и спокойствие у нас. Отнеситесь со спокойным презрением к этой работе врага». И пока столичный Совет торговался об отмене присяги Временному правительству, Колчак построил на Куликовом поле под городом все флотские команды и гарнизон — и с чистой совестью читал присягу вслух сам, а десятки тысяч уже повторяли.

Адмирал и думал так: восстановление прежней династии, конечно, уже невозможно, и трудно представить, чтобы стали выбирать новую, как в Смутное время. Колчак служил не той или иной форме правления, но — родине своей.

Все комитеты были настроены патриотически. Центральным военным руководил лётчик Сафонов (по совпадению — дорогая Колчаку фамилия), рабочим Советом — Васильев, всем Севастопольским — приехавший из ссылки бывший каторжанин Конторович — лет сорока, с полуседой бородой, социал-демократ, а разумный. Перевёл адмирал Совет из скромной приёмной штаба крепости во дворец, только что построенный для командира порта, — и с его балкона Конторович зывал сохранить бескровную революцию в чистоте — и ему отвечали «ура».

Да вот теперь и среди других комитетчиков узнавал Колчак об одном, другом и третьем, что они — эсеры: некоторые только что вступили, а другие так и служили потаённо во флоте. Годами они бунтовали флот, а вот произносили открытые, совсем не подрывные речи (не один адмирал, и многие офицеры с сочувствием слушали), брались держать порядок на флоте. Вот как! — и в эсерах люди. Они же считали Колчака настоящим демократом и охотно соглашались с ним все распоряжения. На всех их митингах он был всегда желанный оратор. (И знал: при любом митинге поднять боевой сигнал — и все тотчас будут на местах.)



И — горячо, убедительно получалось. А ведь никогда себе не ждал политической деятельности.

И — как же долго и непотребно могло такое отдельное севастопольское Чудо устоять?

Однако въезд в Севастополь из России открыт — и незаметно натягивались сюда какие-то тёмные типы, которых и эсеры считали врагами или агентами немцев. Но не было установленных средств и приёмов обуздать этих приезжих. И стали потягивать невидимые глухие течения — против военного исполнительного комитета. И подспудно потекла пропаганда, что офицеры — империалисты, обслуживают интересы буржуазии, которой только и нужны Босфор и Дарданеллы. Уже в Балаклаве кто-то говорил, что офицеров, стоящих за войну до победы, надо побросать в бухту. Раздалось одно, другое требование об удалении, перемещении того, другого офицера, иногда и с резонном. Пока удавалось разумно улаживать.

Надеясь обо всём этом ясно и твёрдо объяснить с начальством. Колчак к 10 апреля пошёл в Одессу, где ожидался Гучков, неизменный старый друг флота. Увы, Гучков оказался там не только перегружен революционными парадностями, меж которыми не было времени воткнуть часовой деловой беседы, но добрался до Одессы и сильно простуженным. Повёз Колчака на заседание одесского Совета, где приветствовали «первого адмирала, примкнувшего к народному правительству». (Непенина, самого-то первого, уже не вспоминали.) И Колчак, с приобретенной теперь лёгкостью, подтвердил, что является сознательным сторонником демократического строя, а безболезненный переход к новым формам жизни вызывает веру в дальнейшее спокойное течение.

А поговорить серьёзно — не вышло. Даже о таких приёмах Гучкова, как телеграфное снятие начальника штаба флота Погуляева (за то, что был офицер свиты его величества) — вопреки мнению самого Колчака. (Колчак тогда телеграфировал: мотивировка недостаточна, Гучков настаивал: у петроградского Совета есть документы против Погуляева. Чёрт возьми, у какого-то петроградского совета против черноморского адмирала! — нельзя же так им поддаваться. А пришлось снять.)

Сказал Гучкову в Одессе: очень озабочен пропагандой неизвестных приезжающих лиц, под видом свободы слова. Гучков: у вас до сих пор так хорошо получалось, надеюсь, справитесь и теперь. Колчак: но все средства борьбы отняты у меня постановлениями самого же правительства.

Однако Гучков был сильно-сильно болен, плохо воспринимал. Условились, что через неделю Колчак приедет в Петроград.

Не близок свет — на столько дней отрываться от флота, когда столько держится на самом Колчаке. Но надо же и решать всё. А тут узнал, что и Алексеев поехал на Северный фронт и, видимо, дальше в Петроград. Тем лучше, все вместе и встретимся. Газеты печатали, что Гучков уже выздоравливает и работает. Перед отъездом Колчак собирал делегатов команда — подбодрить. И в ночь на понедельник выехал из Севастополя, а сегодня в среду рано утром приехал в Петроград. И сразу же узнал, досада, что Гучков не вовсе выздоровел, с делами справляется замедленно, сможет принять его только во второй половине дня. А Алексеев — да, ожидается завтра утром. Ну, ещё не так плохо.

Но по пути, в Орле, в петроградской газете Колчак прочёл о чудовищном распоряжении морского министра: всем во флоте снять погоны! Как можно было такое отчаянное решение принять, даже не посоветовавшись с командующим флотом? Даже в ровное мирное время это было бы большое сотрясение (и при перемене формы всегда давался спокойный год для донашивания прежней), а сейчас, ког-

да так неустойчиво держатся весы,— как же можно с размаху шлёпать такую гирию? И в самом беспомощном положении Колчак это встретил — в поезде. Разволновался — хоть возвращайся с пути. Но и пригонит в Севастополь уже поздно. Да и будь он на месте — ведь отменить этого нельзя, а только лучше приспособляться. Жалкая роль. И — что теперь в Севастополе от этого нового удара? А — в сухопутных частях флота? — даже и не сказано, не продумано.

А проехав Москву, прочёл в свежей газете ещё новое: что адмирал Колчак едет в Петроград, так как назначен командовать Балтийским флотом! Да что ж это делается? И — не верил, и поверил, и последнюю ночь по нервности спать не мог.

А приехал, сразу в Адмиралтейство,— и ничего подобного, утка. А приказ о снятии погонов? — его вырвал из Гучкова адмирал Максимов, отчаявшись остановить срывание офицерских погонов в Балтийском. (В министерстве в такой панике, что готовы хоть на штатское платье перейти.) Да так ли борются с опасностью? И спасая своё — раздёргать чужое? Максимов хорошо знал Колчак по Балтийскому: неумный, морально нечистоплотный, если не сказать грязная личность. И вот, в карикатурной форме, он как бы повторил путь Колчака: с начальника минной дивизии — в командующие флотом, но при бунте. И, оказывается, сегодня он тоже ждался к Гучкову, во второй половине дня. Ещё не хватало — совместно с ним совещаться. Избежать. Просить Гучкова хоть на час раньше.

Гучков болен — и первые полдня провисали зря. Это нарушало и другие планы Колчака: он надеялся в этот приезд найти денёк промелькнуть ещё и в Ревель — к Анне Васильевне (она-то и была в девичестве Сафонова, а теперь — чужая жена),— но вот никак, наверно, не выкроить. Да застал в Адмиралтействе и тщательную регистрацию прибытия-убытия всех морских офицеров (видно — оттого, что тайком бегут с кораблей). И — тоже неудобно...

После дневного завтрака Колчак из Адмиралтейства перешёл в доминию. И Гучков принимал его — лёжа в постели... Лицо обрякшее, старое, кожа с желтизной, и рукопожатие совсем слабое. Плохое начало.

Должен был Колчак докладывать о радостном состоянии своего флота? Или прежде высказать возмущение приказом о снятии погонов? Началось не с того. Слабым, медленным и мрачным голосом Гучков выразил ему, что Балтийский флот — под чёрными тучами, ждут повторения убийств, офицеры не находят себе места, во многом виноват адмирал Максимов, усвоивший самые скверные демагогические приёмы,— и Гучков сейчас велел ему остаться в Гельсингфорсе, а с докладом сегодня приезжал его начальник штаба и привёз новые матросские требования: чтобы суда управлялись не командирами, а комитетами; чтобы все командиры были выборные; и ещё другое в этом роде. И Гучков не видит другого выхода, как назначить командовать Балтийским флотом — Колчака.

Вот оно, нет дыма без огня.

И раздвоились и шатнулись его чувства. Раздвоились — потому что он и вырос в Балтийском, и рос вместе с ним, сгорающе нетерпеливым возродителем. Душа Колчака еще оставалась тут,— но и как теперь оторваться от Черноморского?

Шатнулись — потому что: чем хуже в Балтийском — тем разительней, но и хрупче в Черноморском. Не мираж ли это? — может ли держаться? Если и армия не держится — то флоту ещё труднее выдержать удары революции, он — уязвимый организм, от дурного поведения одного матроса может погибнуть сразу целый корабль.

Ответил: я готов. Но боюсь, что в Балтийском ничего не изменю. А Черноморский — совсем не так благополучен, как кажется. Я не уверен, что и мой престиж сдержит. Кончится и там, как в Балтийском.



И так некстати — министр измучен, болен, а как же и не сказать? Разлагает и флоты и армию — ваша система. Ваши приказы, Александр Иванович. Вот — и приказ о снятии погонов.

Не с такой энергией это надо было выразить! Но тот — болен. И старый покровитель флота.

Гучков — лежал.

О переназначении — ещё подумает.

И в таком ли положении огорчать его тревожностями? Дезертирства у нас — ни единого случая, правда грозно умножились просьбы об увольнении в отпуск, чуть ли не массами хотят в отпуск. Боевая работа флота не прерывается ни на день. Стрельбы, тренировки, обучение команд. Миноносцы и подводные лодки несут дозорную службу. Успешно треплем турок. То налетают наши гидропланы на Босфор, то посылаем миноносец, и он захватывает шхуну. За последние недели наши легкие суда совершили ряд блестящих набегов на турецкое побережье. У Босфора наша подводная лодка потопила пароход с военными припасами, две груженных шхуны и одну барку. Разрушили портовые сооружения в Карасунде. «Бреслау» и не вылезает из Босфора, а «Гебен» всё лечится.

А всё это к тому, и мысль та, что: надо же брать Босфор! Если раньше десант был и важен и эффектен, то теперь он даже — повелителен: успешная операция на Босфор скрепит Черноморский флот, удержит от развала и сухопутную армию. Да скажем же Алексею: если турки будут знать, что мы не способны наступать на Чёрном море, — они перебросят войска в Галицию, против него же. И нельзя откладывать решения: для операции подходят только июнь—июль. А на подготовку транспортов — ещё два месяца от получения приказа, так — немедленно, уже край!

А между тем: в марте Гучков распорядился не оборудовать транспорты под 2-ю и 3-ю десантную дивизию: они заняты перевозкой руды и угля. Но Колчак тогда же встречно телеграфировал, что для этого румыны могут дать на Чёрное море свою бездействующую в Килийском рукаве Дуная речную флотилию, так выиграем транспорты на две дивизии, но румыны не хотят дать. А пока с этими шквалыгами идёт торговля — Колчак получил директиву Ставки: поддержать флотом операции Румынского фронта в нижнем Дунае и у Добруджи: не справившись ни с чем на сухопутьи, они будут, видите, развивать великую операцию на Браилов. Как же можно расходовать золото по пятакам? что за бездарность, нет полёта мысли, нет цельного чувства русской славы! Для большой русской победы только одно решение: брать Константинополь!

Гучков — ещё усталее, с вовсе потухшими глазами:

— Александр Васильич, операция на Босфор устарела уже морально. Революционная Россия не желает завоёвывать Константинополь.

— Да не завоёвывать! Но отнять же его у немцев! Для чего ж сохранился Черноморский флот?!

Всё тщетно. Гучков потерял напор.

Подносили ему, они тут вот какой ерундой занимались: переименование черноморских кораблей, невозможно оставлять императорские. В морском министерстве выработали: «Александр III» — «Свободная Россия», «Императрица Екатерина» — «Воля». «Цесаревича» — в «Гражданина», а «Пантелеймона» — обратно в «Потёмкина», «Кагул» — в «Очакова», как был при Шмидте.

Колчак никогда, ни в тяжкие дни в Ледовитом океане, ни в трудные часы Порт-Артура, когда сам от болезни едва на ногах, не применял к себе никаких послаблений, не прощал себе ни малейшего шатка духа.

Но — и другим тоже.

И — Гучкову теперь. Он не смел так опускаться.

И — чего теперь ждать для Босфора от Алексева? Или, вот, дозволается доложить о проекте завтра на заседании правительства. Так если Гучков оброхлился — что там с остальными?

Самый яркий шаг России в эту войну упустили бездарно — сперва при царе, потом в революцию. Все они, все они были не в темпе века — дремали в духе Девятнадцатого.

Прощай, Великая Россия!

(А то: и правда не выдержит Черноморский? Рухнет вослед за Балтийским?..)

Как побитый, перемолотый брёл Колчак в своё «Бель-Вю» по Невскому, раскраснённому флагами вчерашней тут всеобщей манифестации. (А как прошло в Севастополе?)

И вот ведь что получалось: адмиралу флота приходилось ехать на приём не к министрам — а к социалистам, просить поддержки у бывших гнанных революционеров, вот времена! Но необычность времени ведёт и к необычности ходов. Говорят, Плеханов, самый знаменитый из всех русских социалистов и вместе с тем разумный русский патриот, необычное сочетание! Он в Петрограде. Поехать к нему. И просить прислать в Севастополь нескольких сильных уговорчивых агитаторов — чтобы пересилить этих тёмных пришлых типов. А у Керенского, завтра на правительстве, попросить таких же несколько эсеров. Введём их в центральный военный комитет, справимся и без Временного правительства.

Пошёл до Караванной, в гостиницу. Опять пропадали вечерние часы и ночь — и не поехать в Ревель.

Или — поехать?.. Наплевать на неудобно, на слухи?.. Но завтра среди дня соберётся правительство, не успеть?

С чем считаться? Не посчитался, что сам женат, и сын шести лет. (А женился на Софье Фёдоровне — много оглядывался? Куда-то всё страшно спешил. Был женихом перед первой экспедицией с Толлем, не успел. И женился наскорю перед Порт-Артуром и через несколько дней уехал туда. Как во сне. И вернулся — только из плена, больным.)

Не посчитался, что и Аня — замужем, и её сыну год. Не посчитался, что она на двадцать лет моложе. Не озирался, как это выглядит. Когда вливается страсть (не только к женщине — к Южному, к Северному полюсу, к Константинополю) и отливается в стрелу решения — уже не знаешь границ возможного, а всё — чтобы выполнить!

Аня Сафонова, дочь знаменитого пианиста и дирижёра, молодая, хороша, весела, была хохотливый центр их морского кружка, эссенского, когда они собирались на суше, — а на суше моряки и собираются веселиться. (В штабе же Эссена вместе с Колчаком служил и муж её, Тимирёв, её троюродный брат.) Летом 15-го жили на смежных дачах на острове под Гельсингфорсом. (Когда подходил к Гельсингфорсу и знал, что увидит её, — он казался лучшим городом в мире...) За ней — все офицеры ухаживали, и тогда ещё поведение Колчака не давало повода думать, что он захвачен глубже. Но всегда не могли наговориться, сидя рядом. «Будет ли ещё так хорошо, как сегодня? Хотя бы не расходиться». А один раз вечером — Гельсингфорс затемнялся, освещался синими лампочками — встретились в дождь на улице, постояли две минуты, разошлись, — но что-то особенное произошло, почувствовал он, хотя не знал что. (Она потом: «вдруг подумала: а вот с этим — я бы ничего не боялась; и какие же глупости в голову придут».) А вот — она уже выговаривала ему, что он однажды ухаживал за другой. А вот на вечеру в собрании, все дамы были в русских костюмах, он попросил её сняться, подарить ему карточку — и повесил у себя в каюте (она знала), и только её одну — ни жены, и ни единого адмирала.

А в прошлом июле назначение на Черноморский флот застало его в Ревеле — и были сроки малы и сдача минной дивизии, не мог и пе-



реехать через залив, — так внезапно приехала в Ревель она (узнала)! И три вечера — с вечера до утра — они встречались. В парке Катриненталя, при летнем морском собрании, гуляли по аллеям, сидели за столом, и никак не могли наговориться. В первый вечер он просил разрешения писать ей. Она разрешила. Он уезжал на юг совсем, война, казалось — уже не встретятся. И во второй вечер она сама первая сказала, что любит его. Он ответил, изменяясь: «Я не сказал вам, что люблю вас». — Она: «Но это я говорю. Я — всегда хочу вас видеть. Я всегда о вас думаю. И вот выходит, что я вас — люблю». И он: «А я вас — больше чем люблю». И — снова по каштановым аллеям Катриненталя, под руку. И снова возвращаясь к залу собрания, где люди. (Её муж — в плаваньи, а Софья Фёдоровна в Гельсингфорсе.) И — горько. И — сладко. И — ничего больше.

И в первые же дни из Севастополя послал нарочным матроса-великана с тонким письмом к Софье Фёдоровне, с толстым пакетом к Ане. (А все сидели на ступеньках одной террасы и получили рядом.) Таких писем он никогда не писал, неделю подряд — и в Ставке у Государя, и в поезде, и в море, когда сразу же погнался за «Бреслау». Писал ей и о задачах своих, и что нашёл во флоте, и как мечтает её увидеть. И потом — почтовые письма обеим, и оказией через морской штаб, и всегда — одно тонкое и одно толстое. И отвечала Аня, что живёт от письма до письма, как во сне, и не думая ни о чём больше.

Осенью Софья Фёдоровна с сыном Ростиславом переехала в Севастополь. А мужа Анны Васильевны перевели в Ревель, и теперь они там.

Ко дню именин её в феврале он заказал ей в Ревеле по телеграфу корзину ландышей.

И сама Аня — как эти ландыши. Эта нежная её воздушность, её колокольчатый смех — вытягивали нити из сердца.

И — страх, и — страсть: разломать сразу две семьи. Двух сыновей лишить отцов (ибо каждый должен остаться при матери). Лишиться Славушки, а принять её сына.

И — не казалось невозможным!

И — даже на волнах революции.

И для этого — броситься в Ревель сейчас!

Но — его ждал Черноморский флот. На шатком перевесе. Где день без командующего может стать катастрофой. А завтра утром приедет Алексеев. Ещё один бой за Константинополь.

А может быть, увидев этих эфемерных министров, соединённых в заседаниях. — можно убедить их соединённо?

Босфорская стрела, уже отлитая, торчала из груди.

#### ДОКУМЕНТЫ — 14

19 апреля

ПОСОЛ В БЕРНЕ РОМБЕРГ — В ГЕРМАНСКОЕ М.И.Д.

250 русских эмигрантов просят понизить стоимость билета, назначить умеренную общую сумму за весь специальный поезд.

19 апреля

М.И.Д.— ПОСЛУ РОМБЕРГУ

Просьба установить, какую долю издержек должно будет понести министерство иностранных дел.

Да в руки бы не брал Воротынцев этих газет, если бы не теперь, когда они стали наиболее мерзкими, — в них-то и содержались все главные гнусные новости, без которых не шагнёшь. Сегодня не

разбираться в политике стало — как брести бы боевым полем, не зная свойств огневого оружия. И на этом незнакомом поле надо было освоиться и действовать.

Одна левая газета хлётко назвала офицеров — «политическими младенцами».

И ведь — верно.

Хотя воистину политические младенцы — это правительственные ораторы да петроградские журналисты: как же они рассчитывают, что «от революции восплаеет боевой дух»? Сами же разваливают страну — и сами же безумно толкают Армию воевать и дальше.

Вчера опубликовано создание «полковых судов», теперь это они будут решать, наказывать или не наказывать за то, что ушёл с поста, потерял оружие, не выполнил приказа. А вон, уже один полк публиковал, чтобы дезертиры, *поступившие на службу в другие части*, хотя бы сообщили в свой полк!..

Да — оставалось ли само в р е м я? — спасти Армию.

Съездить в Минск к Гурко — пока не сложилась командировка, не вышло. Да у него там, вот, неделю бушевал несуразный фронтный съезд депутатов, и, судя по газетам, Гурко не раз был занят им.

Ещё от ужасного первоапрельского дня в Москве появилось у Воротынцева впечатление, что русское офицерство — вдруг переменялось от одного обруба: как будто мигом утеряли и блеск, и ту буйную лихость, отчаянную самоотверженность, и самые лихие офицеры внезапно превратились в мокрых куриц. Это — и на себе, и на многих, и оно подтверждалось дальше.

Больше всего подкосила офицеров внезапная и не ожидавшая ими вражда от солдат. Те прежние безответные и на всё готовые солдаты — как же они переменялись! Эта даже непримиримость, эта даже ненависть к офицерам, которой никогда не знали раньше, — казалась чудовищной: откуда?! Мы воюем третий год рядом, нас уравнивает смерть, — так откуда же? Поздним сознанием осеняло: они видят в нас, и не первый век, — бар! и этого одного уже не могут нам простить никогда. Баре в военной форме — и ещё загоняют продолжать войну. И в офицерских головах, как модно сейчас, неспуста встают исторические картины: как шли по Франции ревушие народные толпы и несли на пиках головы дворян... Как с моста бросали в Рону аристократов... (А — какие тут бары? Дворянство уже десятилетиями отклонялось от военной службы, кроме гвардии, — не столько-то дворян в офицерстве. В Верховном Главнокомандовании, на фронтах, на армиях — почти одни разночинцы, и — *ни одной* знаменитой дворянской фамилии. Но — не прощалось за прежнее теперь ничто никому.)

А если не солдатская вражда, не всегда вражда, то недоверие — сплошь, и с каждой неделей сильнее. И служба офицера становится сплошное мучение. Уже и офицеры теперь настолько не верят солдатам, что боятся идти с ними в атаку: застрелят.

Воротынцев не упускал случая поговорить с проезжими, приезжими из частей офицерами. Собрать их настроения от обстановки, сменной ко дню ото дня.

И поправилось его впечатление так: нет, не подавлено, не погибло офицерство разом всё, но — расколосось. Единого императорского офицерства — вот за эти месяцы больше не стало.

Одни — уже примирились со всем новым положением, готовы к французской республике. На вопрос тёмного солдата: «А как же без царя будем, ваше благородие?» — «Ничего, перемелется — мука будет. Теперь — Временное правительство». Нельзя отрываться от солдат, и, мол, не все революционные действия так плохи. Революция произошла и кончилась, мы, офицеры, не противодействовали ей, — но теперь



надо же вернуться к боевой службе! И бросаются в комитеты, спасать армию через них. И отшатываются: погубят они и армию и Россию! «Да ни в каких армиях никогда не было комитетов, что за мурья?» — «Нет, в армии Кромвеля был целый парламент, и тем не менее он громил короля!» (В иных частях ни один офицер не хочет идти в комитет, и бессовестно выбирают того, кто сейчас в отпуску, ему не отвертеться.) Другие, «старики», бесповоротно замкнувшиеся от бушующего кабака: гибнет, так пусть гибнет. И — потерявшие дух, с лихо-радочным переходом от скоротечного возбуждения к длительной подавленности. И такие: наш долг — выше обид, выше клевет и оскорблений, за офицером остаётся право быть убитым в бою, и его никто не отнимет. И — туполобые: проявлять прежнюю власть в полной мере, ни в чём не меняться. Костенеют за войну до победы — и попадают в наибольшую ненависть у солдат. (Их — и устраняют первыми, а среди них много верных служак.) А среди новых прапорщиков есть вознесшиеся недоучки, хамовато-грубые к солдатам, — и их развязность перекаладывается наслоем вражды на наши погоны. И ещё — ловкачи и дрянь, кто лезет наверх, льстиво ухаживая за солдатами, сами митингуют, и бывают вреднее комитетчиков-солдат.

Но встретил Воротынцев и таких офицеров, кто не шатался истерически, и готов был жизнь положить — да не в строю, а вот — против этой новой гибели. Из десяти офицеров — двое по крайней мере были такие.

Только — где? Только — как?

Два-три таких офицера, на всё готовых, кажется, нашлись и среди ставочных, из управления артиллерии и управления инженерных войск. А вообще-то ставочные теперь видели спасение, вот, в создании Офицерского союза. Три дня назад разослали воззвание о созыве съезда. И в нём униженно оправдывались, почему офицерский съезд будет отдельно от солдат: не потому, о боже, не потому конечно, что у офицеров свои особые или тайные интересы, а потому, что революционное офицерство не хочет отрывать революционных солдат от их товарищей рабочих, с которыми вместе у них будет свой съезд депутатов, вот скоро. Но голос офицерства, заранее обещают устроители, будет демократическим. (А в Петрограде тоже готовили съезд офицеров, свой, и тоже на начало мая, но там даже не фронтовики будут, а засилие тыла и революционных прапорщиков.)

Понятно, что в Ставке, за письменным столом, не имея своей части, — ещё легче всего. Но был и тут свой «объединённый» (солдатско-офицерский) комитет, в котором, конечно, диктовали писари и ставочная прислуга. Постановил комитет: снять с должности коменданта главной квартиры, генерала, — и Алексеев с Деникиным не могли его отстоять: грозили его иначе арестовать, и сам комендант со страху отпросился с поста. Комитет всё более вмешивался в местные ставочные назначения, внутреннюю службу (отменил противоаэропланные посты — прилетай, немец, и бомби), развешивал по стенам оскорбительные постановления.

Да уже простая охрана не справлялась, часовые штаба не удерживали прущую, любопытную, развязную мразь. Уже в самих штабных зданиях стали появляться — комитетские? советские? — военнородетые или штатские рожи которые бесцельно бродили по коридорам, не выказывая внимания чинам Ставки, или, напротив, вламывались даже в служебные комнаты, без спроса садились и предъявляли какие-то абсурдные жалобы, требования или даже проекты, как вести войну. И ведь не выставишь этих наглецов в шею — сразу будешь «контрреволюционер». Месячный арест офицеров из штаба походного атамана многих тут напугал в Ставке.

И такое унылое чувство охватывало офицеров — к самим себе. К своему ничтожеству. К своему падению.

И ещё вчера особенно унижительно попал Воротынцев. Насколько он радовался, что удачно обминул присягу Временному правительству, так и не присягал с тех пор, — настолько вчера его уловили: он проморгал, хоть и читал газеты, что 18 апреля, вторник, рядовой день, — оказывается, он же великий пролетарский международный праздник. Ходили комитетчики по комнатам, и кого заставляли даже из штаб-офицеров и даже генералов — выгоняли на *демонстрацию*. И в нестройной разболтанной колонне манифестантов с красным флагом, с плакатами, офицеры и солдаты с оркестром (иногда «интернационал», остальное время марсельеза), — поплелись ставочные начальники как побитые на митинг. К этой же колонне присоединились и могилёвские военнопленные — немцы и австрийцы, братались с русскими солдатами, а может быть и с офицерами (каково союзным миссиям наблюдать из окон? — а ведь всё ещё не понимают!). Митингом распоряжался подпрапорщик, а речи были — для овечьих ушей. И кувыркались под облаками лётчики в мёртвых петлях — и сбрасывали наземь красные ленты.

И первые минуты, как его поволокли на эту мутную процедуру, Воротынцев испытал унижение, какого не знал никогда. Но вдруг, с каких-то шагов в этом шествии — ощутил как освобождение от собственного тела: жалкая полковничья фигура, поплетшаяся вослед военнопленным, это был будто не он, — а сам он — взвесился где-то выше в воздухе, и плыл над этим пьяным шествием и потом без усилия держался поверх этого балагана, выше себя самого роста на три, — и не брезгливость, и не ненависть испытывал к этим безумцам: это были — глупые, слепые актёры, изневольные игравшие бессмысленную пьесу, за которую и они все будут платить, как и мы все — вместе с Россией. Каким-то бесчестьем все были окованы, обречены — делать нечто против себя самих: даже не выпрямиться, а жалко выламываться перед тем, как отдать собственную голову.

И так отъёмно раздвоилось его сознание, что он даже потерял: а что это было за шествие? и — где это? и чем же оно кончилось? С горько-тёмной душой он даже не заметил, как и чем это кончилось, — а вот уже по могилёвской улице шёл на свою квартиру.

Вот ещё, не ко времени была ему сейчас и эта отдельная квартира, и эта семейная жизнь.

Алина встретила:

— Ты уже подумал, кого мы пригласим на твои именины?

Только тут вспомнил: подступает 23-е. Георгия Победоносца.

— Нет, пожалуйста, давай мои именины отменим.

Алина будто только и ждала этих слов, глаза её расширились вдвое, лоя его:

— Вот как? Ты погубил мои прошлые именины — теперь хочешь отменить и свои?

— Ну пойми: на душе тошно. И занят я.

— Но 23-е — воскресенье!

— У меня срочная работа.

— Да? Тебе со мной уже ничего не нужно? Ты предпочитал бы этот день провести с ней?..

Нет.

Уже нет...

Ещё от вагона в киевском поезде странно разбирало в груди: как будто и он своим захлёбным закрутом — как будто и он тоже стал причастен к Перевороту.

И гнал от себя — не уходило.

А уж разломан, а уж беспомощен был — так только и именно от этого.

Чтобы цельным действовать вовне — надо цельным быть в себе. Это всегда так.

Конечно, мало бы с кем сейчас так поговорить, как с Ольдой. Она-то как раз на всё нынешнее обострена.

Но и представить этот разговор: ведь она, поди, будет говорить, как надо восстановить трон? И — кто виноват, что дали ему упасть.

Но — уже не время нам раскладывать, кто был прежде виноват, и кто прав, и через кого это прикатило. Все мы, все мы губили Россию вместе, каждый по-своему.

Что теперь искать, кто погубил? Надо искать, есть ли кому спастись.

И уже — не форму государственного строя спасать, не партию, одну, другую, — а само живое тело России.

Чтоб сохранилось нам — где жить.

Чтоб сами мы — остались.

### 43

Нет, чувствовала Алина, что душою — он не с ней. Где его прежние знаки внимания? Где заботливое ухаживание? Всё развеялось. Он ни в чём и не старается облегчить жене жизнь.

Да просто: видит ли он её? Чтобы отметил, в какой она блузке или туфлях, — никогда теперь!

Пансион в октябре — пылающая обида! незатягиваемая рана! Ни одного дня с тех пор Алина уже не была здорова.

А после февраля?!? — уже нельзя ему верить ни в чём. Изнуряющая мука, что он тайно переписывается с той. Да она приедет и в Могилёв — как это узнаешь, проверишь?

Вот тогда в Москве: звонил Сусанне, хотел прийти — а почему не пришёл? что переменялось?

Что — в нём переменялось вообще??

Чёрные мысли поднимаются со дна души — и омертвляется всё твоё существо.

Устроила маленькую клумбу цветов перед флигелем, посадила табаки, летним вечером будут пахнуть. Но всё из рук валится.

И ничего не читается. Взяла Чехова, водила глазами по строчкам, редко смысл доходил, но тут же и опускался. А через все страницы — чёрными жирными линиями, чёрными строчками — свои мысли.

От своих мыслей — нет спасения. Когда всякие мысли отпускают — и боль отпускает. Но это недолго держится. Если б только избавиться от мыслей. Но не принимать же днём снотворное.

Упущены, упущены эти благие советы: быть для него загадочной, вечно весёлой и лёгкой... Да может ли их осуществить страдающий человек? Переполюняют душу обиды, и легче высказать их, чем таить:

— Нет, ты изменился ко мне именно от твоей первой поездки в Петербург. Так неужели в этом виновата я, а не ты? До этого, вспомни, — сколько ты видел во мне, чем любовался и восхищался. А после — всё потускнело!

— Но почему тебе надо, чтоб я всё время восхищался?

— Пусть это моя слабость, но я держалась твоим любованием! Вот, смотри, пачка твоих прежних писем, как это напаивало наши отношения, делало их богатыми! Давай их перечитывать вместе! Как ты повторял на все лады: и моя радость, и моя звёздочка, и Полевая Росиночка... Ты несравнима и равных тебе нет... — Всё говорила наизусть. — Ты поддерживал меня своим поклонением! Какие слова, какие чувства! Где они теперь!

Прожигала его внимательным взглядом. Он смутился, вяло мычал.

— Ну что сейчас именины? Кого-то тут собирать?

— Да! Мне нужно общество, мне нужна осмысленность жизни. Я не могу тут сидеть взаперти, как узница!

— Линочка, мне сейчас очень тяжело, ну пожалуйста, пощади, не надо.

— А мне, ты думаешь, легко?? Да мне в тысячу раз тяжелей! Медленно, с трудом отвечал:

— Если тебе тяжело... если тебе нагоняются мрачные мысли... Ты собери их на том, что вот за войну больше миллиона вообще погибло на фронте. И значит — миллион женщин овдовели.

— То — легче. Погиб — но не разлюбил, не изменил!

— А у тебя только: «мои страдания», «что будет со мной», «так мне хочется!»...

Удивительно, что он в самом деле не понимал?!

— Да! У меня бывают такие безнадежно-мрачные периоды, когда я могу думать только о себе! Когда моя душа так страдает — разве я могу впитывать ещё чьи-то страдания?

Он не понимал, потому что самого его ещё не разрывал Зверь страдания!

— Господи, Алиночка, ну как бы жить и не терзать друг другу сердце?

— Ничего, станешь сочувственней к мукам других!

— А грозит время ещё худшее. Что будет со всеми нами?

Всё одни и те же увёртки.

— Да, и я хочу быть достойна! И наступающего времени, и своего положения! Но для этого я прежде должна выздороветь! А ты мне не помогаешь. Ты — устранишь меня, лишь бы я только тебе не мешала.

— Но ты всё-таки сравни, — потерянно говорил он, — масштабы нашей семейной жизни — и тех событий, которые волочат нас всех за шиворот. И есть долги...

Алина воскликнула торжествующим голосом, потому что в поединке всегда одолевала его легко:

— Не говори мне о долге — ни перед тобой, ни перед Россией! Когда я люблю и меня любят — тогда я и делаю, тогда и признаю долг. А ты для своего долга — ты мной и жертвовал всегда. В нашей с тобой жизни никогда не были раскрыты мои лучшие возможности. В петле твоего долга и удушилась моя личность. Я — погибла! Я — погибла!..

И почувствовала, как снова и гуще одевается во мрак.

#### 44

Французскому послу Морису Палеологу прислали пригласительный билет на вечер 19-го в Михайловский театр.

За эти революционные недели упало в Петрограде значение обычных театральных спектаклей и обычных концертов высокой музыки: были и пустые места. Но возросла новая форма «концерт-митингов», где кроме концерта предполагались речи видных деятелей: эти билеты шли нарасхват, а особенно если ожидалось выступление Керенского. Сегодня в Михайловском и был такой концерт-митинг — в пользу освобождённых политических ссыльных, и очевидно с участием Керенского, ибо главной устроительницей была его супруга Ольга Львовна.

Вообще подобные пригласительные присылали теперь чуть не каждый день. И уже оскомину вызывала у французского посла эта бесконечная революционная суматоха русской столицы, как будто забывшей о войне. И не поехал бы он сегодня на этот балаган, если бы — уже девятый день, хотя ещё полускрыто от общества, не перестал Палеолог состоять истинным послом Великой Францией и даже — вполне самостоятельной личностью. Это произошло от приезда в Петроград, десять дней назад, министра снабжения Франции



Альбера Тома. За войну он приезжал в Петроград уже второй раз — и встречая его поздно вечером на Финляндском вокзале с большой свитой офицеров и секретарей, Палеолог никак же не догадался, не ёкнуло его старое сердце, за чем приехал Тома в Россию в этот раз, с какой бумагой. А через сутки он её вручил послу. Она была из министерства иностранных дел: «Положение, которое вы занимали при прежнем императоре, делает для вас затруднительным исполнение ваших обязанностей при нынешнем правительстве. Для нового положения нужен новый человек», — и ему предлагается принудительный отпуск, отъезд во Францию, а тут его заменит Тома. (Через два дня в газетах подали как краткий выезд посла в Париж на совещание.)

Ах, Боже мой! Ах, ветреники дипломатии! «Положение, которое вы занимали при прежнем императоре», — так оно-то и давало возможность долгих интимных бесед с царём, при которых достигалась безоглядная искренняя преданность России союзу с Францией! А теперь, с неблагодарностью, оно же ставится в упрёк? Да сколько лет на одном месте, как узнать эту столицу, и все круги её от придворных и великокняжеских до леволиберальных, и повсюду иметь друзей, и сочувственных или вознаграждаемых осведомителей, так что о каждом политическом веянии узнавать ещё в момент его зарождения, и иметь достаточно сил и такта поучаствовать в смещении Штюрмера, — а теперь?.. (Ах, да как же не придавал значения! — ещё в 20-х числах марта появилась в Париже газетная статья: посол Палеолог пользовался таким доверием старого режима, что не может питать доверия к новому...)

Да, ваш верный Палеолог был в добрых отношениях с царём, да, но именно потому сейчас остро видит, как разрушается наш союз с этой страной. Недалёкий социалист Тома обморочен этим революционным воздухом, не перестаёт восхищённо ахать и успокоительно докладывает в Париж, — но Палеолог за полтора месяца революции с ужасом видит, что Россия бесповоротно выпадает из войны и вступает в анархию. Ещё надо прилагать все усилия удерживать её в колее, да, но уже надо прозорливо готовиться к худшему. И хотя Палеолог получил прямой запрет обращаться теперь в министерство помимо Тома, но, боясь глупой восторженности этого лба-социалиста, Палеолог, тайком от него, дал телеграмму своему начальству: в новой России готовятся неприемлемые требования к союзникам. Принять их — для нас невозможно, и не нужно при вступающей Америке. Надо теперь готовиться к разрыву союза с Россией и сам разрыв без сантиментов использовать с выгодой — за счёт России же. (Да уже высказывалось во Франции, что по культурности и развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия, действительно, понесла большие людские потери, но это всё — невежественная бессознательная масса, а у французов бьются в первых рядах и молодые силы, проявившие себя в искусстве, науке, люди талантливые и утончённые, сливки и цвет человечества, — и с этой точки зрения наши потери неизмеримо чувствительнее русских потерь.) Мы не должны себя чувствовать в долгу у России. Надо перевернуть вопрос об обещанных проливах и конспиративно искать мира Франции с Турцией.

Так Палеолог думал за Францию как первый в Петрограде француз, но реально, увы, стал вторым. Вот и сегодня вынужден был на этот глупый концерт сопровождать Тома, который рвался туда: слушать и выступать.

И вот снова — чудесный жёлтый зал (уже пошарпанный от революционной публики) — уголок Франции в России, привычный зал французской драмы. Тот же тёмно-жёлтый бархатный занавес, но уже без государственного герба. Две ангелоподобные балерины у порталов, несущие верхний обрез сцены, — и между ними натянут

плакат «Да здравствует свободная Россия!». В царской ложе, прямо против сцены, Палеолог и Тома показались к барьеру — заплотировал весь зал, а оркестр, сегодня не в яме, а на сцене, заиграл марсельезу. (В двух парах других лож, у сцены, сидели освобождённые политические, им уже аплодировали раньше.)

Затем стали исполнять 4-ю симфонию Чайковского. Нетерпеливому к митингу залу она явно показалась слишком длинной, начались движения и шумок.

После неё, оркестр ещё сидел, Керенская ввела на сцену Милюкова, которого не приходилось представлять, его портреты знала вся столица, сразу сильная овация. (Всё-таки ещё сохраняла публика патриотическое чувство, если так аплодировали Милюкову.)

Министр иностранных дел произнёс разумную речь, отдавая дань отдельными абзацами Англии, Франции, Италии, Америке, — и после каждого абзаца оркестр исполнял гимн той страны (американский — кажется впервые в Петрограде), а зал — вставал. (И как бы хотелось верить, что это всё — ещё держится, едино и союзно. Но скорбно знал Палеолог, что всё — разваливается, наступили, быть может, последние недели союза — и его собственные последние дни в Петрограде, где так ему было хорошо.)

Затем оркестр ушёл, пюпитры и стулья сдвинули, у рояля певица спела два романса Кюи, за ней певец — «Гимн свободе» какого-то Пергамента. Затем вышел почти лысый и как бы с раздутой верхней частью черепа — Аджемов, один из кадетских лидеров. Он с неожиданной твёрдостью произнёс вслух не стесняясь одиозное имя, которое принято было не называть:

— На пропаганду Ленина-Ульянова не надо обращать внимания. Ведь уже известен ответ германских социалистов: они — не свергают Вильгельма. И было бы нашей изменой павшим — теперь не довести войну до конца, проиграть дело свободы, на которое затрачено столько усилий, также и сидящими в этом зале...

Спел певец два романса Глазунова — его уже совсем неприлично не слушали.

Какой-то железнодорожник, с их съезда. Отложить все требования, а только воевать до победы. Не хотим изменять отечеству и ничего слышать о Ленине.

Поднялись рукоплескания — но и шум. Из бенеуара здоровый мужской голос закричал:

— А вот есть письма о братании с немцами, послушайте!

Это был изрядный верзила с шевелюрой Самсона. Не сумняшесь, он тут же полез через барьер бенеуара, прыгнул в партерный проход и пошёл на сцену. Довольно-таки небрежен и растрёпан.

— Кто такой? Откуда? — кричали ему. — Фамилия?

Уже на сцене, скрестив руки, и с вызовом в зал:

— Я вернулся из Сибири. Был на каторге. Я — Бернштейн, Илья.

Возгласы уважения:

— А-а, политический!.. Как раз... Так дать ему слово!

И Ольга Керенская, до того в недоумении, теперь пригласила Самсона говорить. А он бесстрашно:

— Нет, я — уголовный! Но! — предупредил грозно, — совесть моя чиста.

Это очень понравилось залу:

— Ура!.. Ура!..

— Пусть говорит!

Тома, узнав от переводчика смысл, схватил Палеолога за руку на барьере, он сиял:

— Какое беспримерное величие души!.. Какая великолепная красота! Это — революция!

И каторжанин начал читать со сцены письмо кому-то с фронта, как немцы братаются с нашими и не хотят воевать. Но, перебивая

его, поднялись аплодисменты, и всё громче и громче, зал оборачивался: в царской ложе, рядом с французами, заметили вошедшего Керенского — подтянуто, в рост у барьера, одна рука всунута под борт австрийской курточки.

Все стали кричать, чтоб он шёл на сцену. Он по-военному повернулся, ушёл из ложи — и через минуту был на сцене, рядом с каторжанином.

И стал сразу говорить. Нет, его нисколько не смущают ленинцы. Теперь дело не в словах, дело в делах, а высказываться теперь может всякий. Правительство — ничего не боится!

И вдруг, после такой отчётливой фразы:

— Но правительство готово и уйти, если его не захотят.

Что такое? — куда? зачем? кто не хочет?

Откуда эта мысль? Как странно выразился.

— Мы никогда не употребим силы, чтобы навязывать наши убеждения. Но чтобы мы закрепили завоёванные свободы — надо, чтобы мы не запечатали себя изменой перед мировой демократией, не покрыли себя позором перед нашими союзниками!

Всё. Положительно молодец. Море аплодисментов, нет, столичная публика ещё не потеряна.

Теперь Бернштейн хотел дочитать своё, но публика уже не желала его слушать. Керенский вступился, чтоб этому тоже дали высказаться. А сам исчез.

Дали. Бернштейн прочёл ещё второе письмо, ему стали свистеть. Тогда он показал публике неприличный жест рукой по локоть и ушёл за сцену.

Тут из зала стал кричать звонко-петушистый военный:

— Я — делегат от Кавказского фронта, от 42 тысяч человек! Когда у вас кончатся праздники?! У нас там воюют!

Зал и его покрыл одушевлёнными аплодисментами.

Со сцены объявили певицу Кузнецову, она вышла в изумительном платии с блёстками, спела романс Рахманинова, потом страстным, хватающим за душу голосом — арию из «Тоски». Эту — хорошо слушали. За нею — виолончелист.

Тем временем в ложу дипломатов пришла сама Керенская — повести на сцену Альбера Тома. Так и было условлено. Но крупноголовый, бородатый и подростково сияющий Тома следовал за ней в большом волнении. Он понимал, что участвует в крупных шагах мировой истории, он сам идёт как история. И вот уже вывели его перед публикой (большое брюшко, не очень прилично социалисту), гром аплодисментов, переводчик переводит, а карандаши корреспондентов строчат по блокнотам наперегонки:

— Гражданки! — (Французская вежливость, тут так и не вспоминают.) — Граждане! Как наши русские товарищи революционеры, и мы пришли на этот праздник с чувством восторга, горячей симпатии и печали. Мы во Франции узнали о первых содроганиях русской свободы — от политических эмигрантов, кого изгнало прежде правительство. Они нам раскрыли глаза на все страдания и мученичество, которые понадобились для медленного рождения нынешней свободы. Сегодня вечером среди воспоминаний, которые толпятся в моём сердце и в сердцах моих товарищей, ярко выступает погребальное шествие, которое мы совершали вместе в Париже в тот памятный день, когда провожали того, кто был прежде Григорий Гершуни, образуя вокруг него длинную цепь дружбы.

Конструкция чувства, мысли и фразы, которую могут оценить только во Франции. Но так убеждало его прямое, здоровое, ещё и очками сверкающее лицо.

— Гражданки! Граждане! Я пришёл к вам с этими воспоминаниями и с радостью, что можно говорить с вами о них открыто, пуб-

лично. Какая глубокая радость для нас приобщиться к вашему великому революционному движению! Вчера мои друзья и я испытали величайшее волнение, смешиваясь с громадной русской толпой, захваченной новой верой и утверждающей свой идеал и свои революционные надежды.

Позавчера он возлагал цветы на могилы жертв — и произносил речь. Вчера он наблюдал из автомобиля эту торжественную миллионную первомайскую манифестацию — и произносил речь. Революция — это сплошной праздник сердец.

— Граждане! Теперь между нами уже нет места никаким оговоркам в дружеских союзнических чувствах. Французские солдаты, республиканцы ли, социалисты, теперь могут открыто и со свободной душой приветствовать молодую русскую революцию!

Ах, недомышленный крупный ребёнок, неужели же французское правительство доверится ему? Палеолог только кричал про себя.

Однако и законы риторики, и суть дела требуют выдвинуть и антитезис:

— Но, граждане, я не хотел бы, чтобы в такую минуту, когда наши сердца могут биться в полном единении, между нами проскользнуло бы недоразумение. Со дня моего приезда сюда я, социалистический министр во французском правительстве, узнал с величайшим изумлением из русских газет, что здесь считают французское правительство капиталистическим, правительством завоеваний и захвата? О, граждане, те, кто распространяют такие мысли,— воистину плохо знают нас.

Уже в отдельном интервью он объяснял: Франция, разумеется, против захватов. Но Эльзас-Лотарингия должна быть французской. И нельзя же оставить Германии её колонии.

Синтез:

— Допустим, что прежде французское правительство было в оппозиции к нашей партии. Возможно, и после победы социальная борьба возродится ещё сильнее. Но пока внешний враг не будет побеждён — рабочие и крестьяне Франции будут только до последних сил бороться против него!

Рукоплескания.

— Граждане, ещё одно слово и я кончу. В самые мрачные минуты войны, когда мы уже знали об исходе несчастной битвы при Шарлеруа, когда враг был в немногих километрах от Парижа,— во всех французских сердцах билась надежда на помощь, которая придёт с Востока. Ждали поддержки от России, обещанного содействия. И геройский русский солдат между озёрами Восточной Пруссии не уклонился от исполнения своего долга. И, граждане, что ждёт французскую демократию? и всемирную демократию? если завтра сказать рабочим Франции: «вы приветствовали русскую свободу, но она не внесла в борьбу за освобождение всей своей энергии»? Но эту мысль я лично с негодованием отмечаю. Русская свобода должна теперь стать зарёй свободы для всего человечества.

Аплодисменты.

И вот: всё главное сказано — и принято. Но есть ещё, есть выше — гот воздух Великой Революции, висящий над Петроградом, та сердечная связь, та историческая схожесть между нами, которую теперь не заметит только слепой:

— Как когда-то, во время Великой Французской Революции, наш народ хотел, чтобы новая свобода охватила весь мир,— точно так и теперь, я верю, волею свободной России будет приобщить весь мир к свободе и независимости. Гражданки! Граждане! С этой надеждой я вас приветствую здесь. И тем, кто сеет эти истины,— приношу восторг, преданность и любовь от граждан Франции!



Какой политический деятель (и к тому ж теоретик) не мечтал выпускать собственную газету?! Получить аудиторию по всей стране, на которую никогда бы не хватило ни твоего слабого голоса, ни времени для поездок и выступлений. (Да и в заслоне газетных страниц выглядишь куда грозней и могущественней, ты уже не двуногий человек, ты — целый фронт!) Среди десятка запутанных, искривлённых и недодуманных партийных линий — прорезать своё новое (и единственно правильное, и решающее) слово — и особенно по каждому огневому вопросу современности! и в короткие дни просветить десятки тысяч (сотни тысяч?) читателей.

Относительно войны можно услышать буквально четыре дюжины мнений всех оттенков, всех отклонений и преломлений луча. Но единственный луч, пронизывающий ситуацию к наилучшему решению — как будто не виден ослеплённым! А вот он: отношение к войне может существовать только одно: прекратить её как можно скорей! Нет, не разрушение боевой мощи нашей армии, демократия даже усиляет её, широко демократизуя! — но не надо употреблять опасного, истрёпанного всеми империалистами слова «оборона». Оно в корне противоречит Циммервальду! И это — непосильное требование к освобождённому народу, программа, рассчитанная на разорение страны. Истинная услуга также и союзникам — предложить мир без аннексий, и германское наступление сразу парализуется. Австро-германская армия становится против нас ненадёжным орудием — об этом свидетельствуют особенно братания. Братание показывает, что немцы совсем уже не хотят воевать. Так вот выгоднее и им тоже: отказаться от аннексий и заключить всеобщий мир. А грозя разделом Австрии и изгнанием турок из Европы — мы лишаем германских социал-демократов возможности бороться за мир подобно нам. Если бы сейчас союзники предложили мир без аннексий и контрибуций — центральные державы несомненно бы приняли!

— А если Германия откажется?

— О, вот тогда наша демократизованная армия станет грозной и спаянной силой! Мы, социалисты, отнюдь не предлагаем развала армии — но прекращения войны в организованных формах. И не предлагаем сепаратного мира: если нам придётся разорвать с империалистическими союзниками, а Германия всё равно не пойдёт на мир — так Россия объявит «сепаратную войну»! Да! Да! Так что нет никакой национальной опасности нам сейчас выступить с платформой мира. Иначе у армии нет сознания, что она проливает кровь в защиту свободы.

Мысли толпятся, мыслей так много, и не всегда успеваешь выговорить каждую, особенно если рядом сидят твои товарищи из ИК, и, к сожалению, не вполне единомысленны с тобой, и тоже хотят говорить. И жарко повторяешь эти несомненные доводы про себя — и не всегда точно помнишь, что же именно высказал вслух — вот позавчера, когда Контактную комиссию приглашал к себе Гучков. Кажется, Гиммер сказал так:

— Военный министр рассматривает ситуацию под углом продолжения войны, а мы — под углом скорейшего заключения всеобщего мира. Совет делает всё возможное, чтобы армия сохранила боеспособность, — но он не может принести в жертву интересы революции и демократии! Надо не заставить солдат забыть о мире, но поставить мир в порядок дня правительственной политики. Когда солдаты убеждаются, что и наше правительство стремится к миру, а это враг не складывает оружия, — вот тогда армия возродится! И тогда Совет сможет прямо работать над боеспособностью армии. А пока — только широкая демократизация!.. Если армия и разлагается, как вы говорите, то только потому, что недостаточно демократизуют войну —

ни администрацию, ни внешнюю политику. — (И, уж раз коснувшись своей больной темы!) — Всё портит министерство иностранных дел: цели войны затемнены. Но, поймите, никакая сила не устоит против мирового рабочего движения данной эпохи!

В этом-то и трагизм России: что мы, рабочий класс и крестьянская беднота, еще не приготовлены к господству. Преждевременная наша диктатура только возбудила бы сопротивление всех слоёв буржуазии — и, ещё при условии незаконченной войны, привела бы к разрухе и крушению революции. Поэтому было бы роковой ошибкой (и этого не понимает Ленин!) немедленно призвать массы к политическому господству. Нет, чтоб довести демократическую революцию до конца, чтоб упрочить за рабоче-крестьянской массой социальные завоевания — Совету остаётся только толкать и толкать буржуазное правительство по пути революции, подвергая его неослабному контролю и пресекая всякие контрреволюционные происки. Толкать — но и, значит... терпеть.

Терпеть правительство — значит терпеть и Милюкова?

А вот это давалось Гиммеру труднее всего. Хотя и понимая его преобладающее профессорство (хотя и всегда польщённый от личных разговоров с ним), не ощущая в себе над ним интеллектуального превосходства или в силе аргументации (а таких людей не много было в России), лишь пронзительную ясность социалистического сознания в себе, — Гиммер постоянно гвоздился мыслью, что Милюков — это олицетворённый центр русского империализма. И — никогда не верил ни одному его уверенью. И, увы, всегда оказывался прав! То доходили слухи о высказываниях Милюкова в личных беседах, то выныривали, чаще с опозданием, его газетные интервью — и всегда они противоречили тому, с чем Милюков как будто нехотя соглашался или бархатно молчал на Контактной комиссии. То на приёме англо-французских социалистов он разъяснял, что вымученная из него декларация 27 марта — лживая: «Временное правительство сохранило главный смысл и цель войны». То распоясывался перед журналистами, что «мир без аннексий есть германская формула, которую стараются подsunуть международным социалистам», а надо воевать до ликвидации Европейской Турции, освобождения Армении, присоединения Галиции к Украине, — вот где он выбалтывал то, что истинно думает! Вот где было покушение на революцию и свободу! — Милюков втапывал революцию в грязь! он продолжал царскую программу войны, но в ореоле русской революции, которая так высоко стоит в Европе! И революция вынуждена всё ещё терпеть подобного министра! — не только носителя, но по сути создателя военной программы самодержавия! Он забывает, что он министр — милостью Совета, и по воле Совета может слететь в любую минуту!

На прошлой неделе Гиммер не выдержал и дал Милюкову на Контактной комиссии острый бой. Вопрос был по видимости мелким (министрам он казался даже ничтожным) — а на самом деле принципиального значения: отказали во въездной визе в Россию Фрицу Платтену. И Гиммер выступил со всей демонстративностью и далеко расширяя вопрос: в защиту всего ленинского проезда через Германию: Ленин — полноправный российский гражданин, которому министерство иностранных дел оказалось бессильно предоставить возможность вернуться на родину, оно и несёт вину! А Платтен оказал услугу не германскому штабу, но лично Ленину. А если Ленин — преступник, то почему он не арестован на границе и сейчас находится на свободе? (Вопреки теоретическим разногласиям, глубоко внутренне, Гиммер всё больше восхищался Лениным, и хотелось бы ему быть в верном союзе с ним. Эмбрионы большевизма не опасны, они могут даже стать гарантией победоносного окончания революции.) Министры, даже Некрасов, изумлялись и отмахивались, а советские молчали, опустив глаза, не хватало у нас социалистической последова-

тельности. И на Контактной Гиммеру пришлось смириться. Но в перерыве подошёл в вестибюле к Милюкову и пригрозил: «Завтра на Исполнительном Комитете сделаю доклад о нашем сегодняшнем заседании. Ваш отказ пропустить Платтена буду трактовать единственно возможным способом: что это нарушение принципа политической свободы в России. Это — прецедент огромного принципиального значения. Не сомневаюсь, что ИК будет остро реагировать». А Милюков с деланной невозмутимостью ещё притворился непонимающим: какое ж это нарушение свободы, когда мы живём в условиях войны — и не пускаем подозрительного иностранца?

Нет, с этой империалистической скалой договориться невозможно, ее неизбежно взрывать.

Пригрозил — а на самом деле ещё не было случая, чтобы доклад Контактной комиссии выслушивали на Исполкоме: всегда и без того вопросов много, да и сами члены Контактной не любили рассказывать, сохраняя привилегию тайны за собой.

И к самому Исполкому Гиммер стал охладевать с тех пор, как уже не состоял в его ядре, делающем политику, там взяло вверх оппортунистическое крыло, а интернационалистов подавили. В оппозиции уже нельзя быть таким продуктивным. Лучше перекинуться в работу агитации среди масс. Вся душа переметнулась в свою новую газету, и вечера до поздней ночи он предпочтительней проводил теперь там. Ещё, как в виде насмешки, на той неделе Гиммера избрали в аграрный отдел ИК... — навязалось ему это противное земледелие, потому что за свои экономические статьи он считался крупным аграрником. Последнее, что он сделал для ИК, — неделю назад, вместе с Богдановым и Венгеровым разубеждали тёмных солдат, рассеивали ложные слухи о Ленине: какие-то мерзавцы из них намеревались идти и арестовывать Ленина! Да, ещё же, в виде насмешки опять, ИК назначил Гиммера ответственным за подготовку всей первомайской демонстрации, миллиона человек! Но Гиммер извернулся сочинить комиссию из добровольцев, которые отлично устроили всё без него.

Нет, теперь главное — газета! Открыл её Гиммер благодаря имени Максима Горького (деньги его, и кто жертвовал через него) — и сразу принял усилия, чтоб она стала перволинейной, и одновременно — боевой орган рабочего класса, и строго интернационалистская. Само название изобразили такими затейливыми буквами, как ни в одной газете, глаз не оторвёшь: «Новая жизнь» — какие семь круглых хвостов у «ж», «з» и мягкого знака, и во втором «н» перепонка сделана как удар боковой молнии, как знак искровиков. Конечно, не статьи Горького украсят её, будет мямлить свою сентиментальщину в каждом номере (между нами говоря, он не на буревестника вытягивает, а на пингвина), — но, во-первых, сам Гиммер будет успевать в каждый номер писать и за подписью, и без подписи, и от нашего корреспондента. С ним — верный Базаров. А вот уже, страстным убеждением и разворотом перспектив, переманил он и почти всю редакцию «Известий» — уже и Гольденберг, и Циперович, да и сам Стеклов, уходя из безнадёжного невыразительного известинского меса — тоже примкнули. Будут сотрудничать конечно и Лурье, и Соколов, и Урицкий — но и из литературного мира обещают Алексей Толстой, Пришвин, Гнедич, Брик, — имена! Ах, это будет блистательная плеяда! (Гиммер — не политическая вобла, он понимает, что значит Литература.) А в комитете по воинским отсрочкам состоялось очень благоприятное решение о льготах для газетных сотрудников: раньше льгота была только для газет, выходивших до войны (чтоб не создавали новые для прятки); а теперь любая нововозникшая газета имеет льготу, если тираж больше 30 тысяч. И это позволило набрать отличный технический штат. По иронии судьбы печататься будет в самой реакционной типографии, «Нового времени», зато набор — на Петер-

бургской стороне, близ квартиры Гиммера, можно легко дойти и глубокой ночью.

И первый номер газеты (отчасти совпало, отчасти подогнали) — вышел в день Первомайского праздника, и размахнулись, для рекламы, для шума, первый номер — 100-тысячный тираж. Сморился Гиммер в ту ночь — и вчера утром на праздник, устроенный под его же руководством, сперва вообще не пошёл. А потом спохватился: ездить по улицам и смотреть, читают ли его газету.

Божественная поэма! Незабвенная симфония! Такое сплетение эмоций, наверно, никогда не повторится, даже и о газете забыл. Нето ты растворился во всем этом и перестал существовать. Нето ты покори́л это всё и разъезжаешь как победитель по собственным владениям. Был — в безмысленном упоении. «Третий Интернационал» на Мариинском дворце! — такого Петербурга ещё не описывала русская литература! Организовать такое — нельзя, это — выше всякой организации! — одухотворённое участие сотен тысяч. И такова была общая атмосфера, что в ней лозунг «война до победного конца» выглядел черносотенным.

А сегодня — ясно, что газеты не вышли, но надо готовить ещё ударный 2-й номер на завтра. И сегодня Гиммер вообще не пошёл в Исполком, а исключительно выпускал свой номер, начиная с решительной передовицы о дальнейших шагах в пользу мира. День и вечер просидел в редакции на Невском, а на ночь собирался в типографию на Петербургскую сторону, но ещё досасывал из грызенной ручки какую-нибудь добавочную заметку — как вдруг...? Как вдруг — позже ли других редакций, пренебрегая «Новой жизнью», или и другим в это время? — принесли для завтрашнего печатания правительственную ноту союзникам. Спокойный Базаров распечатал, прочел — и даже руки у него затряслись. А Гиммер — Гиммер взвился! завертелся! заподскакивал! Ах, какая подлость! Ах, какое низкое коварство! Верно он всегда предчувствовал от Милюкова подвох!

Это была та самая нота, которую из Милюкова выдавливали уже две недели — и прениями на Контактной комиссии, и опережающей публикацией Керенского, — та самая, но не та самая, а совсем противоположная! Ат-кравенный вызов демократии! Прямое издевательство над чаяниями и интересами русского народа! Преступный вызов! Явное отступничество от программы мира Совета депутатов! Оглушительное доказательство того, как Временное правительство игнорирует постановления революционной демократии! Нота — вся в интересах отечественного империализма и англо-французского капитала! Воскрешены все лживые лозунги, которыми отравлялось сознание масс, — «освободительные» цели войны!.. Да не союзные правительства были на самом деле лучшие адресаты этой ноты, и ни один политический лидер России, как именно и единственно Гиммер, автор Манифеста 14 марта! Да, именно он, зорко-настороженно ловивший Милюкова на каждой его буржуазной подлости уже второй месяц и всегда, всегда ожидавший от него подвоха, — вот и дождался!!

Да Гиммер-то был прозорлив! Он ещё 15 марта, на другой день после Манифеста, добивался от ИК: заставить правительство публично согласиться с Манифестом! И декларация 27 марта как будто этим и была? — даже Гиммер на время успокоился, хотя понимал, что Милюков так просто не примирится. А Церетели-то! — как объявлял «победу» над правительством! Какой ему урок! Ещё и на днях в самых розовых красках рисовал — и вот?!

Да если бы правительство послало такую ноту само собою — ну чёрт с вами, продолжайте свой буржуазный путь, — но в ответ на требования ИК? в ответ??

Недоразумение? Наивность? Наглая демонстрация? Сознательная провокация народного гнева? И даже гражданской войны? Третирование демократии в невиданно грубых и ничем не прикрытых формах?



Значит, так понять: не подумайте, союзники, что Россия отказывается от завоеваний! — это мы говорили для своих неграмотных. А мы — будем воевать до полной победы вместе с вами, и потребуем санкций, и потребуем гарантий! Уже ломятся в открытую!

Бросили нам перчатку — надо её поднимать.

Да, и вот же ещё! — не каким-нибудь безразличным днём помечена нота, но днём великого праздника всемирного пролетариата! Двойное издевательство!

И вот же ещё поразительно: нота — не размазана, как все жалкие обращения-уговаривания Временного правительства — а краткими, ясными словами, с большой определённостью! Тем наглее вызов демократии!

Что делать?? Принесли слишком поздно (и со вчерашнего дня ведь прятали, ах трусы!), слишком поздно, чтобы теперь сменить передовицу или другую статью на первой странице, всё уже набрано, и уже полночь, и нельзя сорвать свой 2-й номер, тогда не выйдет в утренние часы. (А как же вовремя создана газета! Для этого удара она и создана!) Кинулись с Базаровым мерить, считать, звонить в типографию, вот что: после гиммеровской передовицы (которая теперь звучит голосом обманутого!) ещё можно вверстать постскрипту, несколько строк, если сейчас передать их по телефону. Но так пылала голова у Гиммера, что он потерял управление собой, даже эти несколько строк не мог написать. Спасибо Базаров, подхватывая идеи Гиммера, написал: ... воинственные выкрики Милюкова... обязуется свято хранить тайные соглашения Николая II... услуга империалистам стран Согласия и Габсбургам-Гогенцоллернам... Поборнику интересов международного капитала не место в рядах правительства демократической России. Мы уверены, что Совет рабочих депутатов не замедлит принять самые энергичные меры к немедленному обезврежению Милюкова.

«Уверены» — хотя несколько не уверены теперь в этом царевском ИК.

Гиммер бросился звонить по телефонам, первому Чхейдзе: вот до чего довел ваш вечный оппортунизм! Соколову! Шехтеру! Стеклову! Керенскому! (Вот до чего вы довели!) Да ему требовалось два три телефона сразу, чтобы сразу звонить по трём адресам! Маленькая грудь его разрывалась!

А в мозгу вертелось: так-то так, немедленно обезвредить Милюкова, гнать его из правительства: каждый шаг его укрепляет положение Вильгельма! — но не слишком дёрнуть, чтобы не свергнуть и всё Временное правительство! Прежняя гиммеровская идея сохраняется: пусть оно за всё отвечает, а на него только давить и погонять. Нельзя сказать, что русская демократия не доверяет всему правительству. Ещё нет необходимости перехода власти в руки пролетариата! Не перевернуться и в другую сторону.

В мозгу — так. А революционное сердце бьётся — скорей звонить большевикам! они может быть, ещё не знают! Кому звонить? Шляпникову? — он уже отёрт, не играет роли. Каменеву? — слишком осторожен, и это сейчас не подходит. Красикову! — он горячий, сразу доложит. Молотову? — мямля. Стучке? — глупый. Коллонтайше? — вот это боец, это умница. Да кому-нибудь, но скорей, но несколько! дёрнуть шнур, а там передадут.

Да он мечтал бы соединиться с самим Лениным! — но не смел тревожить. Но — не подойдёт к телефону.

Да, Гиммер помнил и свою теорию, и все доводы осторожности, и не пришло время брать власть, — а головокружительно захватывал ленинский непредсказуемый размах! И втайне хотелось — отдаться ему, завертеться в этом вихре, и будь что будет!

Нестерпимо, невыносимо, немыслимо и невозможно, чтобы не твоё мнение собрало большинство, а чьё-нибудь другое! И не из жалкого самолюбия, вовсе нет, а потому что только ты, на этих проблемах сосредоточенный уже десятки лет, видишь и каждую цель отдельно и всю систему целей вместе. Только у тебя — острое и даже абсолютное зрение на ситуации! А из ситуации — идея ведущего лозунга. То, что можешь сделать ты, — не может сделать никто, ты сам — как закон природы. И потому — заболеваешь от каждого возражения, всегда неразумного.

Но за эти 15 лет не раз преодолевал Ленин враждебное большинство и в конце концов завоёвывал его себе. Секрет в том, что ты готов идти на раскол, на раскол и на раскол, пока остаться хоть совсем одному. Чтобы вести линию просто одному — нужна величайшая решительность и абсолютная сознательность, это почти никому не доступно. И все видят, что ты ни за что, никогда, ни под каким видом не уступишь, — и это сламывает других. Во всяком случае, тех слабых головами петербургских большевичков, которых Ленин тут застал, и которые очень высоко понимали свою подпольную тут работу.

Чем опасней разноречивой в мыслях у товарищей — тем быстрее и надёжней спаять их организационно и связать им рты резолюциями. За последние дни, пока снаружи свистела и улюлюкала антиленинская травля, и грозились арестовать, убить, и на улицах рвали «Правду», — Ленин, отбивая внешние атаки (в каждый номер «Правды» успеваю писать от четырёх до семи статей, всегда неподписанных, так сильнее выглядит), успевал и строить внутреннюю организацию большевиков. Вот, в несколько заседаний, провели петроградскую городскую конференцию, человек 35, которых приходится считать пока главными, — и неплохо, Ленин победил. (Своих доверенных — Сашу Аксельрода из Азово-Донского банка, Женю Соловей из Сибирского банка, Антона Слуцкого, Коллонтай, Людмилу Сталь разослал по городским районам, чтоб их оттуда выбрали, да супруги Соловьи сами и образовали Рождественский район, а с нами приехавших Зиновьева, Равич, Харитоновна и надёжного Сулимова, красинского подручного по взрывчатке, втиснул и в президиум, — и вот приняты все нужные нам резолюции.)

Сперва, не подавленные его приездом, авторитетом, опытом, славой имени, — здешние петербургские спорили против многих его тезисов. И, мол, не время говорить о перемене программы и названия партии (ну может и погорячился, подождём), а надо привести к единству понимание момента (вот именно — к единству!). И даже, из Выборгских, полезли доказывать, что тезисы Ленина имеют только теоретическое значение, а не практическое. (Да только практическое и важно! да без этого, к свинячьей матери, зачем бы их и составлять!) А хитренький Калинин (натёршийся в страховиках) взялся доказывать, что в тезисах будто и вообще ничего нового нет, всё это было, мол, в их февральском манифесте со Шляпниковым, и по аграрному вопросу они это самое говорили (то, да не то), а только вот новое, что Советы — единственная форма правительства. (Так это и есть главное звено! — прямой путь к пролетарской власти, готовая организационная форма, это и надо было увидеть!) И высунули затверженную шпаргалку, что не закончена буржуазно-демократическая революция и нельзя переходить к пролетарской, мол, пролетариат в России слаб, незначительный класс, не может победить без крестьянства. и не надо нам выставлять Парижскую Коммуну, и без надежд на цепь международных революций. (Употребил Ленин среди своих «Парижская Коммуна», напечаталось в «Правде» — стали обвинять, что Ленин напугал капиталистов.) И что у нас — вопрос о социализме ещё не стоит, захват власти — это уход от массы, бланкизм, и Совет пра-

вильно сделал, что отказался от власти, Петроград — не вся Россия, там — другое соотношение сил, пролетариат в России не может взять власть, это вызовет контрреволюцию, и мы ещё не готовы сражаться на улице, и у крестьянства есть страх перед выступлением пролетариата, и даже землю брать не надо, не известно, как с ней распорядиться.

И всю эту белиберду приходилось выслушивать — у себя, внутри собственной организации! внутри Кшесинской! — какое же кольцо железной воли ещё надо, чтобы сжать сперва своих, а потом пролетариат, а потом и все российские массы. Помогла и предварительная обработка, уже многие говорили и за Ленина. Нынешний Совет выражает не те взгляды, что большинство пролетариата. Надо стараться развивать дальнейшую революцию, и землю конфисковать. Диктатура пролетариата — возможна (Голощёкин, наш давний). Пойдёт ли революция ко второму этапу? несомненно пойдёт. (Богдатыев, боевой). Двоевластие у нас потому, что пролетариат в первую минуту как бы испугался власти. А теперь трудней, но не надо пугаться: власть должна быть в наших руках. Временное правительство — никому не нужно, надо создавать комитеты, которые выразят волю народа. Вон, крестьяне, опережая нас, уже захватывают землю. (Молоденький Эпштейн-Яковлев, тоже будет кадр.) Наша революция открывает эпоху революций на Западе. (Ну, это Сафаров, с нами приехал.) Россия идёт к вооружённому референдуму, вооружённому плебисциту (Слуцкий, и формулировка удачная). Все товарищи до приезда Ленина бродили в темноте, только и ограничивались подготовкой к Учредительному Собранию парламентским способом. А товарищ Ленин осветил момент. Принять лозунги Ленина и не бояться Коммуны! (Сталь. А Коба Сталин — благоразумно помалкивает, но уже от Каменева откальвается.)

Ещё, ещё и ещё вколачивал им в мозги (чтоб усвоили — надо одно и то же, одно и то же повторять на разные лады). Главная ошибка, которую делают революционеры, — та, что смотрят назад, на старые революции. Сейчас демократия в России империалистична. Никакого двоевластия на самом деле нет, ибо Совет слишком благожелателен к правительству. Но искать правды в контактной комиссии нет возможности, контролировать без власти нельзя. Сейчас в России, кроме большевиков, — сплошное революционное оборончество. А оно представляет собой интересы мелкой буржуазии, зажиточных крестьян, которые, подобно капиталистам, извлекают прибыли из насилия над слабыми народами. Оборончество есть переход крестьян к мелкобуржуазной тактике, в оборончестве мелкая и крупная буржуазия объединились. А Чхеидзе, Церетели, Либер — хвосты буржуазии, они политически мертвы. Мы всегда были против Чхеидзе, так как он — тонкое прикрытие шовинизма. «Революционная демократия» — никуда не годится, это фраза. (Там, в Таврическом дворце, пришлось, конечно, выразиться о ней иначе.) Быть революционером и демократом, когда убран Николай, — не большая заслуга.

Крестьянство. Ждать с аграрным вопросом до Учредительного Собрания — это победа зажиточного крестьянства, склоняющегося к кадетам. Надо соединять требования взять землю сейчас же — с пропагандой создания Совета Батрацких Депутатов. Крестьянам нужны не «права» на землю — им нужны Советы Батрацких Депутатов. Невозможно ограничиться одними Советами Крестьянских Депутатов, необходимо тотчас же создавать отдельные организации батраков и беднейших крестьян. Одна земля не накормит крестьянство, для обработки её нужно будет устроить Коммуну. Коммуна — вполне подходит крестьянству, это значит — полное самоуправление и отсутствие всякого надзора сверху. Да девять десятых крестьянства пойдёт за нами, если мы сумеем объяснить, почему не надо полиции, чиновников и армии!

Гвоздь политической ситуации всегда: уметь разъяснить истину массам. Такой свободы, как в России, сейчас нет нигде в мире, и надо уметь этим пользоваться. (Европа — сплошная военная тюрьма, капитал там правит жестоко.) У нас солдаты вооружены, но дали себя мирно обмануть. Народ отдал власть буржуазии по темноте, косности и привычке терпеть. Только наша партия даёт лозунги, действительно двигающие революцию вперёд. А двигать революцию вперёд — значит самочинно осуществлять самоуправление. Замена постоянной армии всеобщим вооружением народа — это наша программа-минимум. Армия и народ должны слиться — вот победа свободы. Оружием должны владеть все, в том числе и женщины: поголовная, мужская и женская милиция, способная отчасти заменить чиновников. И капиталисты должны будут открыть свои сундуки и отдать всё народу. Это лживая увёртка, будто при революционной армии излишне вооружать пролетариат. Введение рабочей милиции, оплачиваемой капиталистами (а без этого её не создать), имеет гигантское значение. Революция не может быть гарантирована, если эта мера не станет всеобщей. Выхода кроме социалистической революции — нет. Учредительного Собрания — никто и не собирается созывать, требовать его могут только дурачки-эсеры. Другой власти, чем Советы, — быть не может, и буржуазия этого боится. Укрепление Советов и вооружение рабочих масс — это и единственная гарантия созыва Учредительного Собрания. Надо готовить весь народ ко всевластию и единовластию Советов. Роль Советов — организационное насилие против контрреволюции! И пока власть не захватят Советы — мы её не возьмём.

И всё-таки не было уверенности, что на конференции соберётся большинство, — и Ленин сказал Зиновьеву: предложить не выносить пока резолюции об отношении к Временному правительству.

Но оппонент Каменев стал настаивать (уверен же в себе). Пошли обсуждать по пунктам. Да один за другим всё равно пришлось ему принимать без боя: и что правительство классовое, и что перепутано с англо-французским капитализмом, и возвещённую программу выполняет только под давлением пролетариата, и попустительствует буржуазно-помещичьей контрреволюции. Слабость всякой промежуточной позиции: её очень трудно защищать. Держал Каменев пространную речь: что мы уклоняемся от прямого ответа, массы не понимают, чего же мы хотим. (С о в с е м прямой ответ и недопустимо дать прежде времени!) Лозунг свержения Временного правительства сейчас не организует революцию, а дезорганизует. (А мы такого лозунга пока прямо и не даём.) А так как Совет связан с правительством — то что ж, свергать и его? Конечно, тут же признавал, надо постепенно учить массы, что дальше в революции им придется выступить против Временного правительства и брать власть, но нельзя не учитывать колоссальной роли мелкой буржуазии при малочисленном пролетариате...

То есть — перешёл на политику Чхеидзе—Церетели! Внёс поправки в резолюцию: за адительный контроль над действиями Временного правительства, против лозунга его свержения, — и собрал 6 голосов, а Ленин 20. Полный провал — судьба всех оппортунистов в рабочем движении!

Вчера, на празднование 1 мая, конференцию прерывали. Все товарищи ездили выступать на улицах и заводах. Поехал и Ленин на Пороховые (не очень хотелось: под открытым небом и 30 тысяч человек). Голоса — не хватало. Смысл речи был взвешенный: готовиться к диктатуре пролетариата, готовиться к введению социализма, но — без прямых лозунгов свержения. И тут — случайно совпало? или нарочно меньшевики так подстроили? — с возражениями выпустили опять-таки бешеного Либера. (Ну, мы этого Либера откатаем в дёгте, будет не рад.) А эсеры выпустили Чернова и Авксентье-



ва. (Чем больше Ленин к ним присматривался — дутые фигуры, труха, никакие не вожди. Говорят, на Совете Чернов вещал: «Каждый день увеличивает нашу силу, нам некуда торопиться». Ну, ну! А в «Деле народа»: «Ленин и не подумал, что...», — Ленин-то обо всём подумал, а вот вы, товарищи эсеры, ещё пока не научились думать.)

А в общем, массовое празднество ещё было не в наших руках. Далеко ещё. (А к особняку — паломничество любопытствующих интеллигентов, даже буржуа с супругами.)

Сегодня продолжали конференцию. Отчёт о положении в Совете, в ИК. Петроградский пролетариат выбирает не тех, кого нужно: вот сидит в Исполкоме там Гвоздев. А солдаты представлены элементами националистическими. Чхеидзе ведёт политику умиротворения, что приводит к парализации наших требований. В Исполкоме господствует случайно попавшая интеллигенция, из-за того что не допускают переизбрать их. Ещё стараются главные дела решать в бюро, куда не пускают интернационалистов, чтоб иметь свой перевес. И в такой каше приходится выделять классовую линию из мелкобуржуазного болота.

Но состав конференции был подготовлен неплохо. Так — голосовать, голосовать и вперёд! Петербургские большевики теперь сплочены — а против них и провинциальные не посмеют сильно спорить. Вперёд!

Разошлись. Кончался вечер во дворце Кшесинской. И вдруг!..

И вдруг — стали звонить разные наши из разных мест, сообщающая потрясающую новость: в газетные редакции принесена скандальная нота Милюкова союзникам! подтверждает все обязательства России и обещает воевать до конца! В Исполнительном Комитете — паника и растерянность!

Так-и-знал! так-и-ждал Ленин, что Милюков сорвётся! Крохобор, у него не хватает ни фантазии, ни смелости. «Отказаться от захватов» ему бы сейчас — и крепко стало бы правительство внутри и заставили бы союзников опешить, выиграли бы инициативу перед ними. Но Милюков — не охватывает всей ситуации и всех возможностей. Он подтвердил договоры — и на этом попопался!

А вот уже привезли из «Правды» и машинописный текст ноты. Ленин схватил его с нервной радостью, быстро прогрызая глазами. Так! Так! Он даже читал не столько сам текст, а сразу — как на него отозваться, грохнуть резолюцией ЦК. Совершенно подтверждалась правильность позиции нашей партии: Временное правительство — насквозь империалистическое, все его обещания — обман, и не могут быть ничем другим впрямь!

Ра-зор-вав-шаяся бомба! И — от отыгранного Милюкова мысль опережает сразу к Исполкому: какое заслуженное банкротство Чхеидзе, Церетели и компании! Политика вождей Совета окончательно разоблачена! А ну, а ну, посмотрим, что они будут делать? Растеряются, нечего им делать. Проглотить пилюлю? Значит навсегда отказаться от самостоятельной политической роли, завтра Милюков положит им ноги на стол. Издумывать какую-нибудь гнилую середину? Вот теперь они наказаны!

Ка-кая находка! Вот её и не хватало! На эту милюковскую ноту теперь как можно мобилизовать массы! Вот для чего и приехал на месяц раньше! Уж если подорвал репутацию поездкой — так теперь и действовать скорей, использовать опережение времени! Эта нота окончательно разрывает всю тучу травли — и из угрожаемого положения мы сразу переходим в контратаку! Спешить ударить! Неповторимый момент для двойного удара: и по правительству! и по Исполкому!

Вечно-работающий мозг Ленина никогда не замедлялся ни от какой внешней внезапности: он перерабатывал всякое вторгшееся событие, усваивал его и работал дальше.

Сжигает, сжигает нетерпение: так что? Уже идти на восстание? Од-на-ко: мы ещё не готовы. Военка неравно успела: в немногих полках — крепкие гнёзда, а то — слабы, слабы. Любой риск! — но не ради риска. При купаньях Ленин первый входил в холодную воду. Но когда в эмигрантских собраниях пахло начинающейся дракой — он первый уходил. Идти смело! — но только на то, что необходимо.

Нота — удача, но преждевременная. Такого быстрого хода — не ожидал! Эти полмесяца как ни напряжённо действовал, как ни сколачивал ряды, — а всё равно события опередили. Красная гвардия — нет, ещё не готова у нас.

Слишком быстрая удача.

Но массовые демонстрации — завтра необходимы. Поднять заводы, где мы в большинстве. И пытаться раскачивать солдат тоже.

Сегодня ночью уже не до сна.

Сел в дальний угол, набрасывал резолюцию ЦК бегучим карандашом.

Никакие изменения личного состава правительства, подменяющие борьбу классов... никакие личные перетасовки, отставка Милюкова... Единственное спасение для мелкобуржуазной массы — переход этой массы на сторону пролетариата... Только пролетариат может разорвать путы финансового капитала... Вся государственную власть — в руки пролетариата, совместно с революционными солдатами...

Время от времени звонил из Таврического Зиновьев, передавал, какой там переполох на Исполкоме.

Ленин подходил к трубке — и просто брался за живот: ну, куврыколлегия!.. Каша вместо мыслей! Бездна путаницы!

#### 47

По вечерам теперь Исполком не заседал, а только бюро, и то не всегда поздно, и никогда все 24 человека. Сегодня вечером в ИК оставалась только верхушка, да несколько членов где-то по Таврическому, в своих комиссиях. Вдруг привезли из правительства пакет на имя Церетели. Он тут же вскрыл его, при Чхеидзе, Скобелеве и Дане, и увидев, что это — нота союзникам, та самая обещанная правительством и вынужденная Советом нота, — стал читать её вслух. За это время вошёл Брамсон, потом Гольденберг, и слушали со середины.

Сперва всё шло нормально, и Церетели, кто впрямь был считать эту ноту своим личным достижением, читал с удовольствием, звонко, красивым голосом. Подтверждалась декларация от 27 марта (вырванная Церетели), которая теперь доводилась до сведения союзников. Опровергались вздорные слухи, что Россия готовит сепаратный мир, подтверждалась верность «тем высоким идеям», которые высказывали государственные деятели Европы и президент Вильсон. (Тут пришлось и покривиться, потому что идеи революционной демократической России были несравненно выше тех всех и именно на них приличнее было бы сослаться.) А дальше уже шла очень замаскированная, сложно составленная фраза: с одной стороны — о самоопределении угнетённых национальностей, что гласили и все социалисты, — и тут же об «освободительном характере войны». И хотя второе, вообще говоря, не противоречило первому, но — в каком смысле? только в социалистическом. А сказано так, как это повторяется каждый день союзниками, то есть что у англо-французских капиталистов — тоже освободительный характер войны?..

Церетели запнулся, задумался, перечитал. Насторожились и другие. Ещё две лёгкие фразы, проникнутое духом освобождённой демократии Временное правительство, — а дальше удар: совершившийся в России переворот не повлечёт за собой ослабления её роли

в общей союзной борьбе! И, кто ещё не понял: всенародное (в России) стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось!

Не только настрывшая всем «решительная победа», ненавистный лозунг войны до конечной победы, но как ая война — не своя собственная, а *мировая!* — и её тоже до решительной победы!? до последней победы английских сипаев в Месопотамии, итальянцев в Каринтии и перехода французами Рейна? И стремление к такой победе от революции ещё у с и л л о с ь?? — вот что резало! Сумасшедшие! Обезумелый Милюков? что они писали??

Церетели остановился не только ошеломлённый, но зажатый душой, но больно пристыженный как соучастник этого позорного документа. Он — громче всех обещал и пленуму Совета, и Всероссийскому Совецанию (и на том громил Нахамкиса), и всей России, что с правительством сговорились, оно уже не отклонится от избранного пути, что будет «хорошая нота», — и как же теперь вот этот кошмар объявить революционному народу? Да всех нас и разнесут!

Чхеидзе за столом подхватил голову руками и сидел вылипив глаза.

Все напряглись, исказились, все понимали.

Дочитывал с ещё большей тревогой. А там катило бесстыдное — «вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении союзников», — то есть принятые Николаем Вторым!.. И — ещё раз «победоносное окончание войны», и — ещё раз «в согласии с нашими союзниками», и как последние гвозди в крышку гроба — «*гарантии и санкции*», которых нужно добиться демократическим союзникам!

То есть — ничего подобного!! То есть — ничего и близко к тому, о чём уговаривались, в чём весь смысл социалистических идеалов мира, циммервальдского понятия о мире и войне! Просто — как насмешка, как плевок в лицо! Русская демократия, первая в мире, уже возгласила отказ от империалистических целей — и снова на неё нахомучивали их же?

Церетели с растерянностью, со стыдом, но и с румянцем грузинского гнева смотрел на товарищей. Он был мучительно уязвлён: он так заранее детски радовался успеху с этой нотой! И уже Совет обращался к общественному мнению западных стран, чтоб они тоже давили на свои правительства, чтоб они имели *такой же* успех над своим империализмом, — и теперь такой позор?

И в виде глумления подавали нам как выполнение наших же требований??

Так остановить!! Остановить ноту!!!

Поздно. Тут догляделись до даты: она *телеграфно* сообщена всем русским послам — 18 апреля — вчера днём — в день 1 мая! — за спиной торжествующего народа! — пока мы все ликовали, а дипломатия гнала свою чёрную депешу.

Но — тогда утром? Почему — утром сегодня они нам не сообщили? — почему только поздно вечером 19-го? Это уже негодяйство! — они подстроили на такой день, когда нет газет, и можно затянуть неведение!

Уж и не спрашивай: почему вообще не показали ноты советским заранее?

Окостенелый в той же позе Чхеидзе сумел через сжатые зубы сказать только:

— Милюков — это злой дух революции.

А другие вскрикивали раздражённо, с бранью, с негодованием. Да! Если бы Милюков специально хотел вызвать разрыв между Советом и правительством — он не мог бы найти лучшего средства.

Это значит — он выкрадывал реванш за своё поражение 27 марта!

Остановить печатание в газетах?? Можно, но бесполезно, это уже ничего не изменит, нота пошла.

Тем временем подошли Либер, Войтинский, неизменный Богданов — и требовали читать для них. Да и для самих себя надо было повторить. Ещё раз прочёл вслух Церетели. Гудение негодования становилось громче. Ещё раз прочёл Богданов. Кричали, и не только левые:

— Провокация!

— Вызов!

И если бы Ираклий Церетели был бы сегодня всё тот же пламенный студент-первокурсник, который с надрывом горла 11 лет назад с думской трибуны бросал вызов Столыпину, — он сейчас не сдержал бы своего гнева, а как вождь ИК и Совета — вызвал бы взрыв бездны, — и с завтрашнего утра закипела бы русская революция, какой ещё не видели. Но после 6 лет Александровского центра и 5 лет сибирского поселения — это был уже совсем другой Церетели, не поддавчивый слепому гневу. В перечитываниях он сейчас искал не усилить то, что взрывает, а — знаки смягчающие, успокаивающие, даже может быть оправдывающие?

И — находил. Да, были там и вполне положительные куски фраз.

Во имя общих интересов революции — надо было держаться умнее этого глупого злого Милюкова!

И когда все заругались и закипели сильнее прежнего (а Чхеидзе сидел такой же окостенелый, после смерти сына он часто впадал как бы в летаргию, и полчаса мог сидеть, если его не тронут) — Церетели нашёлся отозваться и так:

— Товарищи! Во-первых, не будем всё-таки забывать, что эта нота есть всего лишь приложение к декларации, а та декларация, нами всеми одобренная, тоже теперь пошла к союзникам при ноте, и впервые стала дипломатическим фактом. Она во многом нейтрализует и положительно превосходит вредность этой ноты. А во-вторых, давайте хоть разбирать по отдельным выражениям: правительство и не может говорить языком нашего социалистического Манифеста, у дипломатии свой язык. И если разберём, то и в ноте ряд вопросов подан вполне в мирных тенденциях демократии.

Но мировой социализм — ненавидел тот буржуазный дипломатический лексикон!

Брамсон, такой обычно сдержанный, вежливый, спросил с нервной резкостью: думает ли Церетели, что правительство намеренно редактировало ноту в недопустимых выражениях, чтобы отмежеваться от советской демократии?

Церетели, всё более умеряя себя, ответил, что только один министр может иметь такую цель — Милюков. Большинство же министров, напротив, при всех переговорах обнаруживало желание согласовать свою линию поведения с нашей.

— Чем же тогда можно объяснить такую ноту?

— Я думаю — только поразительным легкомыслием министров.

И правда же: ну чем другим можно было объяснить после тех доброжелательных встреч?

— Но чего стоят такие куклы министры?

— А что смотрит там Керенский?

— Керенского!!

— Вызвать сюда, наконец, Керенского!! Он — наш член или не член? Чёрт подери, он заместитель Николая Семёновича, а ни разу тут не был!

Уже и без того у нескольких телефонов дворца стояли, сидели, вызывали всех членов ИК на экстренное ночное заседание. Теперь добавился и вызов Керенскому.

Но служащий министерства юстиции ответил, что Керенский заболел и приехать не может. Ну тогда пусть подойдёт к телефону! Нет, он заболел и горлом, и не может говорить даже шёпотом.

Тут сообразили: когда ж он заболел, когда час назад громко выступал на митинге в Михайловском театре?

Да, и сразу после того внезапно заболел. Ему очень плохо.

Врёт, сволочь! Врёт же!

Но не доберёшься!..

Тем временем подъезжали новые члены, и больше всё левые, особенно будоражимые — Кротовский, Лурье, Александрович, все большевики, это был их праздник, торжество над линией Церетели,— и они упивались, кричали и требовали. Обсуждение приняло самый bestолковый характер, больше всего бесились — как смело правительство не показать ноту заранее?

Наконец в полночь Чхеидзе открыл официальное заседание. По позднему времени собралось меньше половины членов ИК (и преимущественно левые), но и этого было достаточно, все 80—90 и никогда не собирались, а кворум у них считался всего одна треть.

Заседание происходило при растерянности, заминке разумных правых, и при неистовом горлодерстве левых, которые искали на этом случае вообще перекачнуть Исполком на свою сторону опять и взять большинство. Они настояли на созыве экстренного пленума Совета сегодня же! Они справедливо кричали, что Милюков издевается над Советом, что он вернулся к позиции старого царского правительства (и против этого не поспоришь), и должен быть ликвидирован из правительства в 24 часа! Они обвиняли Контактную комиссию, что она не смеет разговаривать с правительством полным голосом, почему она прямо не потребовала, чтоб и наше правительство и союзники присоединились бы к Манифесту Совета 14 марта?

Тут остроумно нашёлся Скобелев, от кого и ожидать бы нельзя.

— Когда Совет издавал Манифест, он катил по нашей ширококолейной русской дороге. Но когда правительство обращается дипломатически к европейским союзникам — оно должно приспособиться к их узкоколейной дороге. В Англии и Франции невозможно говорить о всеобщем мире так легко, как у нас. Нота Милюкова не дипломатическим языком плоха, а что под его предлогом подменяет наши лозунги лозунгами империализма.

Теперь Церетели сообразил, что надо начинать с телефонного звонка князю Львову, спросить же разъяснений,— но упущено, не телефонировать же после полуночи.

Неистовал безудержный Кротовский: что кончилось время всяких переговоров с цензовой властью! На провокационный вызов правительства мы должны апеллировать к массам! Теперь на сцену должны выступить народные массы — и весь мир увидит волю русской революции!

Да даже меньшевик Богданов, обычно деловой, был вне себя от негодования, кричал неуравновешенно:

— Да! эта нота наносит удар прежде всего нам, большинству Исполнительного Комитета! Переговоры с правительством с глаз на глаз потеряли смысл. Надо обращаться к массам! Только их выступление подействует!

Каменев, сохраняя однако завидное спокойствие, академически доказывал, что всегда были правы большевики, и только они. Нынешние министры — представители буржуазии и никакой другой политики проводить не могут, что и доказывает дипломатическое произведение господина Милюкова. А призвать массы — большевики, конечно, всегда готовы,— не для того, чтобы переубедить буржуазное правительство, это невозможно, но потому что уличные движения — лучшая школа политического перевоспитания масс. (А Зиновьев всё выбегал, наверно звонил в ленинский штаб.)

От эсеров не было Чернова, а только сумасшедший Александрович, которого уже привыкли не слушать. Он кричал: за борт это пра-

вительство! Свергать немедленно! Не нужно нам их победы в войне! Наша победа была 27 февраля!

С опозданием, но к счастью пришёл — Станкевич. Он уже часто совпадал с Церетели, и сегодня тоже. Что не надо терять голову, декларация всё-таки посылается союзникам, и они поставлены перед фактом нашего отказа от аннексий. Тут — не обман со стороны правительства, а неуместная выходка Милюкова, известного «гения бестактности».

После того как страсти поплескались часа два, стали больше говорить: что же всё же делать, как поступить? Расширяли, что дело — не именно в этой ноте, а мы их плохо контролируем. Обладаем такой силой! — и не хотим её применить. Упрекали и так, что «контроль над правительством» вообще отжившая мера, надо как-то иначе.

Упрёки падали всё больше на Контактную комиссию, и Церетели, ставши теперь её душой, отвечал:

— В возбуждённой сегодняшней атмосфере поднять массы против правительства легко. Одни хотят этого — для свержения, другие — для убеждения. Но если мы развяжем народную энергию — удержим ли мы её под контролем? Не начнётся ли всеобщая гражданская война? Да правительство само держится за Совет, и будет радо исправить положение без всякого нашего призыва к массам.

Но какое требование предъявить правительству? Церетели терялся, ещё не знал. Он понимал, что нельзя требовать исправления ноты в форме, унижающей правительство: тогда оно уйдёт, и придётся советским брать власть, а они не готовы.

И ещё говорили, и ещё спорили — а стрелки перешли 3 часа ночи. Больше уже и головы не варили, и смысла не было спорить. Найти решение и согласиться на него — становилось невозможно. Ничего не постановили, отложили, — собраться завтра днём, когда теперь? Часов в 11? в 12?..

## 48

К четырём часам ночи вернулся Станкевич домой после ночного Исполкома — на столе записка от Наташи (у них теперь часты стали записки, он всё возвращался не вовремя, и дочку Леночку почти не видел): трижды звонил Керенский и просил непременно тотчас звонить ему, в любое время ночи.

Вот как? да он же говорить не может?

Голова — котёл. только спать. Но позвонил. Оттуда вполне живой и нервный голос:

— Владимир Бенедиктович! Вы можете ко мне приехать немедленно? Я высылаю за вами автомобиль.

— Алексан Фёдорыч, помилосердствуйте, я не спал всю ночь, и сегодня будет тяжёлый день, я должен поспать. А скажите по телефону.

— Никак нельзя! — категорический голос. — И невозможно откладывать!..

— Ну, а всё-таки?

— Нет, никак!

Чуть-чуть уже и не поехал. Но уговорил его: на ночном заседании не решено ничего, дневное начнётся не раньше одиннадцати, до того — заеду. И свалился.

К Керенскому он тепло относился: за искренность, живость реакции, простоту в отношениях. А в первомартовские дни неожиданно и восторженно почувствовал в нём того человека, какой бывает в каждой революции только один и чудесно угаданным ключиком умеет всё отомкнуть. Потом стала коробить позу в некоторых его выступлениях или тон о фронте: что, дескать, кто погибал три года на фронте — творили своей смертью победу новой великой демократии, — как это



легко кинуть из Петербурга, тут Станкевич стал очень чувствителен. Но всё же это был единственный наш — разумных, умеренных социалистов — человек в центре событий, и ещё пригодится для больших дел, и надо беречь его от всякой компрометации. За последние дни Станкевич заставил «Известия» печатать и речи Керенского, чего они никогда не делали.

Спал 4 часа, а дальше и не спится, облил голову холодной водой и, не позавтракав (и опять не повидав ни жену, ни дочь), поехал на Екатерининскую, в министерство юстиции.

В прихожих комнатах перед кабинетом министра — не слишком убрано, валяются и окурки. Помятые курьеры ещё не унесли свои мэтрасы: спали у дверей министра? А в кабинете в вазе — большой букет сегодняшней свежести — из роз, тюльпанов, георгинов, и все — красные.

Керенский — в халате, ярком, туркестанском, на правах больного. Видно, спал не много, воспалённые глаза. А движения — как всегда метучие. Заперлись.

И — ни в чём не скрытничал, с полной откровенностью, и эта искренность очень располагала. Он — в капкане! Он — в отчаянном положении! У него просто внимания не хватило уследить за всеми хитро прорытыми выражениями милюковской ноты, да может быть и рассеялся, да может быть и спешил: ему казалось главным, что нота — идёт, а такого подвоха он не ожидал даже от Милюкова.

Хриплый срывистый голос. Без надобности хватался за газету, за ключи, разрезной нож. Лицо лихорадочное и измождённое.

Не ожидал он вот чего: такого резонанса! Всю ночь — сколько телефонных звонков!! — подходят дежурные чиновники. Какое возмущение со всех сторон! И Милюков же будет козырять, что правительство одобрило! — так всё падёт на Керенского! А ведь он — и заместитель председателя Совета, у него положение совсем между Сциллой и Харибдой! А — что было ночью на Исполнительном Комитете? что? что?

Таким беспомощным не только не видел, но и представить себе его не мог Станкевич. И этот ёжик мальчишеский, трогательный, никогда не дошло до взрослой причёски.

Станкевич рассказал про ночной Исполком. Не повеселел Керенский: вяпался! Можно потерять едва что не голову, а министерский пост погиб! (И что бы стоило на один день раньше заявить особое мнение?!) Сегодня — грянет вся буря, и сегодня он — никуда, болен! и без горла! Но просит Владимира Бенедиктовича: по возможности уводить прения от того, что министры дали согласие, при чём тут другие министры? это единолично схитрил Милюков! И — ещё раз сегодня заехать рассказать, потому что тут задохнёшься в неведении!

Очень посочувствовал ему Станкевич. Пообещал — делать, что можно, и ещё заедет к вечеру.

Ехал от него опять в шикарном министерском автомобиле, думал: да, этот кризис несомненно показывает: так, как шло до сих пор, продолжаться не может дальше. Дефект — в самой конструкции нашей революционной власти. Невозможно Исполкому делать собственные дела чужими руками. Или: отдать цензовикам полную власть в правительстве и больше им не мешать. Или: устранить Временное правительство и стать вместо них самим. Или: разделить с ними власть коалиционно, но открыто и полновластно.

Однако закруженность Исполнительного Комитета такова, что ни один из этих трёх выходов им неприемлем — по какому-нибудь из теоретических вывихов.

А четвёртого выхода — нет.

Ещё неизвестно, как эту всю суматоху используют ленинцы.

По пути в Петроград генерал Алексеев побывал на Северном фронте: от поезда ставочным автомобилем объехал несколько корпусных штабов, потом — во Пскове. Своими глазами повидал, что ни подчинения, ни учений в резервах, ни простого порядка. Радко-Дмитриев, ещё недавно так горячо уверявший в победной роли комитетов, теперь докладывал о 43-м корпусе: нет уверенности, что будут сражаться, все ждут немедленного заключения мира, при малейшем натиске противника могут бросить позиции без сопротивления, офицеры же как в плену у своих солдат. И в чём же он видел выход? — послать корпус в резерв и дать ему продолжительный отдых.

Удобный выход, так этого бунтовщики и добиваются. Докомитетились. Этот пылкий Радко, проворонивший гибельный Горлицкий прорыв в 1915, со всей его честной преданностью... Но и Драгомиров, от первого дня предлагавший железно стоять против комитетов, тоже не спас своей 5-й армии.

Да где же им справиться с фронтом в 500 вёрст, если трясло, не переставая, сам Псков вокруг штаба фронта? Многочисленная псковская гарнизонная нестроёвщина из артиллерийских парков, обозов, пекарен, мастерских, госпиталей, распределительных пунктов — беспечным сбродом шаталась, митинговала с петроградскими делегатами (можно представить, какое тут раздолье шпионам), стоняла начальников — а рядом с городом уже шевелился и лагерь военнопленных на 20 тысяч.

И Рузский — охвачен был явной немощью, за последнюю опору он держался — за Бонч-Бруевича, умевшего разговаривать с этой суматошной швалью. (Упрекал себя Алексеев, что в марте не устоял и послал ему на подкрепление просимые добавочные дивизии — только быстрее тут разложатся.) Отжатый, конченный генерал, где его апломб, узнать нельзя недавнего честолюбца, в момент государева отречения так высылся, а теперь почти откровенно: так вот что имели в виду под революцией? спасибо! знал бы я раньше!..

Да если бы и Алексеев всё это предвидел раньше!.. Одержанье над своим постоянным соперником теперь совсем никак не радовало его.

Да что, если по пути на сам поезд Верховного лезла солдатня, не считаясь ни с какими запретами? — и уже охрана давала залпы в воздух, а те всё равно лепились на буфера и на крыши. Куда ж дальше?

Утром 20 апреля подъезжал Алексеев к Петрограду, впервые в должности Верховного, — и морщился, заранее сжимался, что будет пышная встреча: министры, общественные ораторы, речи, фотографии, корреспонденты. Никак не до этого было сейчас — и не только по стеснительности Михаила Васильевича, а ехал он со слишком серьёзными делами и даже в похоронном настроении. А омерзительней бы всего, если на встрече будет ещё кто от петроградского Совета, видеть не хотел он их поганых морд.

Но, к счастью, встретили совсем обыденно: ни министров, ни от Совета, ни речей, ни даже корреспондентов, ни даже Гучкова, потому ли, что болен, от Гучкова лишь один помощник министра, а второго Алексеев привёз с собой. Встречал — молчаливый Корнилов, почётный караул от Семёновского батальона, да оркестр, заигравший неприменную теперь марсельезу, ничего другого в России играть не осталось. Рапортовал полковник-семёновец: что готовы защищать родину и отстаивать свободу до последней капли крови. (Если бы.) На ответные слова Верховного крепко гаркнули «ура». Дальше, правда, обнаружилась на площади и толпа, человек под тысячу. По нынешней моде подхватили генерала на руки и понесли в вокзал назад. (Старым костям мало удобства.) А там, от семёновского батальонного комитета, приветствовал Алексеева старший унтер-офицер Скоморохов. Из

говорливых, но и речь произнёс патристическую. Довольный этим (и чтобы произвести хорошее впечатление на комитет), Алексеев положил руку ему на погон и произвёл в подпрапорщики. Ещё пара ораторов от толпы — и отпустили. Поехали прямо в довшин. Ближе к серьёзному делу.

А серьёзного — серьёзного вёз Алексеев полную голову. Серьёзнее того, с чем он приехал в Петроград, — и не было сегодня ничего в России. Как спасти Армию и Флот? И: на что же мы теперь ещё можем их направить? От принятого в середине марта решения всё же наступать — не отклонился он, но и не слишком в нём продвинулся. Мечта наступать в мае — лопнула, теперь вопрос: удастся ли в июне?

Да вот, пять дней назад гарнизон Двинска вдруг постановил: считать двоевластие гибельным, продолжать войну до победы, а дезертиров объявить преступниками.

Всё на перевесе. Может быть и вытянем.

А между тем весеннее наступление союзников уже захлебнулось. И — что от них дальше?

Надо выложить правительству всё начистую — и решать чётко и окончательно.

Да прежде всего спросить у них накоротке: что они делают? Понимают ли, куда ведут?

## 50

Фёдор Линде и сам не знал: для чего именно он создан? Его разрывали стихийные порывы — и стягивала логическая цельность. Экспансивность и беззаботность открывали ему просторы — вдумчивость и методичность направляли его создать великую философскую систему. С 7 лет он увлекался Шиллером — и следил за химическими опытами отца. (Отец его, немец, полуаптекарь, полухимик, изобретал необычайные рецепты, но так и унёс их в могилу, не сумев передать сыну.) И слушал музыку матери-польки. Они жили в полуразрушенной финской усадьбе близ Мустамяк — непродрожные стаилстые озёра, мшистый лес и одинокие северные зимы, — объём для мечтаний. Старший из детей, Фёдор был отдан в Петербург, в образцовое немецкое училище Петершуде, уже с 12 лет зачитывался Кантом, а мальчики часто били его за заносчивость. Он и правда мало их замечал, был чужой в училище, да и в Петербурге — и город этот и всю русскую реальность воспринимая как призрачный чужой сон. Метафизика, теория познания, космогония. Озарённость, умственный восторг. Идеал должен быть ослепительным верхом совершенства. Мальчиком рано овладела жажда власти над умами и глубокая уверенность в своём превосходстве над людьми. Он рано и с энтузиазмом приступил к грандиозному философскому сооружению, которому — с перерывами на революцию Пятого года — отдал 17 лет жизни: пересмотреть всё здание мировой науки и рвать со старой наукой. Он создавал новую систему логики, ибо традиционная логика, как и простая человеческая речь, неспособна передать систему логического мира. Потому в его работе сотни строк состояли из одних математических (и новоизобретенных им) символов, без слов. Он поступил на математический факультет Петербургского университета, уже ожидая, что его идеи не встретят отклика. Так и получилось: его работе не посочувствовал ни один профессор. Перед философским обществом в Петербурге он сумел произнести двухдневный доклад. Но увя, набрать его работу типографским путём было очень дорого из-за необычной символики. Линде писал Рокфеллеру, он ждал мецената с золотом: ведь меценаты разбрасывают деньги направо и налево, совершенно не понимая смысла.

После смерти отца семья нуждалась, но Фёдор, плохо различая обычную жизнь, ничем не мог помочь ей, кроме фантастических планов, перед исполнением которых сам же тотчас отступал. Мать стала всех содержать тем, что в их усадьбе устроила пансион для скомпрометированных лиц, куда попасть можно было только по рекомендации.

Это ввело новых людей в круг зрения Фёдора Линде. Марксизм прельстил его строгостью метода, эмпириомонизм — идейным беспокойством. Однако вызывали удивление фракционные споры социал-демократов. Большевики пришли ему ближе, но он не мог бы стать членом никакой партии, хотя оказался революционер по природе: и мыслитель — но и бунтарь. Не мог, потому что экстаз его тотчас угасал, как только личность его испытывала ограничения. Всякий коллектив — это средность, однообразие оценок, Линде не мог примириться ни с какой организацией, не мог бы стать простым членом её. За ним было право на неукротимую свободу и полную автономность духа. У него был собственный социализм: над всеобщим анархическим началом — абсолютная власть гения. Возможно — регулирование скрещения полов для выращивания особей, способных наконец быть свободными.

Только в экстазе он мог удовлетворить свою страстную нетерпеливость, сочетавше аскета и сластолюбца. Пламень темперамента: любовь — так любовь! револю-

ция — так революция! Да всю жизнь он стремился к любви, но не умел воплотить её ни в каком конкретном образе. Осуществлённая связь — ведь она уже теряет и красоту и прелесть. Линде же всегда волновала девственность чувства, нераскрытость любви. Он рисовал себе не конкретную женщину, но идею женщины, образ окончательно гармоничный, — и страстно искал встречи с этой недостижимой. Вот стал увлекаться стихами, декламацией, даже танцевал. — но скучал, если встреча с женщиной затягивалась, и рвал знакомство.

Что он верно нашёл в университете — это подступающую революцию. Предлиннейший университетский коридор был революционной жилой. Отсюда шли на демонстрации и в тюрьмы, тут мечтали о баррикадах в Петербурге, а в Пятом году с гонгом революции — формировался «академический легион» для свержения ненавистного самодержавия. Как почувствовать себя на месте в самое роковое мгновение революции? Революции создаются импровизацией. Революция — это взрыв необузданной воли, и воспламенившаяся в нём личность может озарить собою весь свет. Линде увлекала опасность конспиративной обстановки. На тайную сходку в полуподвал на Галерной он явился в костюме кабальеро и увешанный через все плечи и бока разнообразным оружием, готовый тотчас в отчаянную схватку и вести беспредельный огонь.

Увы, революция в Петербурге не состоялась, и Линде тотчас увял от Манифеста 17 октября. Но тут же за неосторожный выстрел он отсидел полгода в Крестах. Ему было 25 лет — не состоялась ослепительная фантазмагория, предстояли жалкие черепашьи шаги размеренной эволюции. В 27 лет, не окончив университета, он был исключён за невзнос платы. И в этом же, 1908, году в материнном пансионе полиция накрыла максималистов-Боевиков, остановившихся отдохнуть после шумевшей удачной экспроприации. Те бежали, отстреливаясь, через Чёрную речку, а Фёдора и его младшего брата посадили за помощь убежавшим. Присудили к ссылке, но заменили на выезд в Европу.

И вот, как новый Чайльд-Гарольд, Линде стал путешествовать по Европе (мать снабжала его презренными деньгами, без которых в Европе не проживёшь). В Швейцарии он проявил попытки альпинизма. В Италии, среди виноградников и масличных рощ, он поселился докачивать свою работу по логике. Отмечал в письмах тех посетителей, кто удивлялся его уму. Но прозвучала амнистия к 300-летию Романовых, а средств для заграничной жизни уже никак не стало, — и Линде вынужден был вернуться в Россию, где неподвижность мысли и скудость духа.

Буря бы грянула, что ли!  
Чаша с краями полна!

Но случилось самое худшее: взрыв варварства в виде европейской войны. Затем Линде мобилизовали и назначили вольноопределяющимся в лейб-гвардии Финляндский запасной батальон. Убийственную тяжесть военной муштры он мог перенести только благодаря неугасимости своего интеллекта.

Но ещё не прошёл он полного военного обучения, как начались революционные события в Петербурге. 27 февраля с утра он оказался вне своих казарм и как раз случайно в Литейной части — и с огненными глазами и словами бросился «поднимать» преображенцев и литовцев. Потом плачивал отряды, и носился весь день по городу, сперва пешком, затем на грузовике — и только поздно вечером вернулся в свой батальон, в тот день позорно не примкнувший к восстанию. Но наглядный ореол революционера и его возбуждённые речи сказались на следующее утро — и Линде был выбран от батальона в Совет Солдатских Депутатов, затем, от солдат, временно и в Исполнительный Комитет, и несколько дней он кипел там, поучаствовав и в творении «Приказа № 1», и на автомобиле гонял в Кронштадт вдохновенным вестником Петроградского Совета.

Увы, увы, эти пламенные краски и надмирная музыка длились недолго: ото дня ко дню они угасали. Революция теряла свой пафос. Наступили будни, хотя и шумные, многоречивые, — но Линде почувствовал свою от них отчуждённость. Происходило катастрофическое успокоение, революция пошла убогим путём создания органов управления — и Линде тосковал безмерно. Он почувствовал себя лишним в этом формализованном Совете, солдатская среда утомляла его своим однообразием, кажется (он точно не заметил), он перестал быть и членом ИК. С охладелой горечью бродил он и по Таврическому и по улицам Петербурга — ещё не совсем потеряв надежд на новый фантастический расцвет революции.

А в батальоне не знали, что он уже не член ИК, и Линде сколько угодно уходил из казармы в Таврический. Так и сегодня, к счастью,

он рано утром попал туда — узнал о ноте Милюкова, — и нота ужалила его и прозвенела гонгом к новой революции! И общее смятение в советских кругах подтверждало его прозрение. И по святому наитию, импульсом великой Интуиции, которая бывает выше самой стройной Логике (хватало хитрости в этот момент не довериться никому в ИК — они наверняка утопят всякое светлое дело), — он кинулся в свой Финляндский батальон — и сразу в батальонный комитет, который и нашёл в его обычном состоянии непрерывного заседания. Решали какое-то скучное будничное дело. Кажется, невозврат в батальон отлучившихся солдат, и надо ли их теперь объявить беглецами и приверженцами старого строя или ещё продлить им срок явки, — Линде ворвался, дал знак председателю Дорошевскому, что будет говорить, и не садясь начал речь:

— Товарищи! Растоптаны лучшие надежды революции! Лукавый Милюков обманывает Россию, пользуясь нашей доверчивостью! Миллионы людей-братьев перебиты и искалечены в этой сатанинской бойне, — а они всё хотят «окончательной победы», которой быть не может! и она не принесёт нам никакой пользы! — а для этого лить новые и новые потоки крови. Но хуже того, в этой войне гибнут не только люди, но драгоценная европейская культура. А если она рухнет... — его горло перерывалось, не в силах выразить дальше. — Если рухнет европейская культура, если затмятся вековые идеалы... Эта война не нужна ни одному народу, и пора её кончать! Довольно той крови, которая уже пролилась рекой за золотой сундук капиталистов!

А его — не понимали: о чём он? Они сидели тут — и, оказывается, до сих пор ничего не знали о ноте Милюкова??? Достал «Новую жизнь» из кармана шинели, прочёл комментарии к ноте и объяснил.

— Вот такова эта честная буржуазия, ничего не продававшая, кроме собственной совести! Милюков и нашей революции не хотел, в феврале он пытался надеть узду на революционную стихию! Милюков всегда признавал трёх врагов: царскую власть, Германию и рабочих. Теперь с царской властью справились — ему осталось сокрушить Германию и рабочих. И для того либералы вступили в союз с чёрной бандой. Когда они начинали эту бойню — у нас не спрашивали согласия. А каждый день этой войны уносит 25 тысяч жизней! Это — самая гнусная из всех войн, известных в истории. Буржуазия хочет принести Россию и Европу в жертву на алтарь империализма. Покажем же буржуазии свою мощь и организованность! Все как один, наш батальон должен выйти с оружием к Мариинскому дворцу, где заседает правительство, — и предъявить им нашу волю! Правительство должно немедленно прекратить войну!

В комитете заседало десятка полтора. И человека три как будто шевельнулись идти поднимать батальон. Но остальные бесчувственно не зажигались, и два офицера среди них, — даже строки гнусной ноты Милюкова не взорвали их сердец! Склонялись: занять выжидательную позицию, пока выяснится, как отнесутся другие батальоны. Как? ещё ожидать? Стал Линде (так и не присев) бичевать, что Финляндский батальон единственный в Петербурге бездействовал в великий день 27 февраля, и этим опозорен! И даже ещё более опозорен, что в те дни финляндский подпоручик застрелил рабочего! Да, наконец, вот недавно же на митинге наш батальон принял резолюцию прекратить мировую бойню! заключить мир без захватов! — а тем временем Милюков обманывает нас! — и правительство изменило нам! Немедленно идём с оружием протестовать!

Жалкие рассудочные сердца! — сколько энергии и пламени надо, чтобы вас возжечь на подвиг! Начались — п р е н и я! «высказывания» неосмысленных людей! доводы филистерского рассудка... Надо, мол, ещё читать и разбирать ноту... А как же, мол, наша верность союзникам?.. Даже наше нынешнее бездействие на фронте есть предательство... Германия сильнее нас и захватила нашу землю... Мир должен

быть заключён так, чтобы Россия получила возможность здорового развития... А враждебная правительству демонстрация подорвёт его авторитет, который и так невысок.

Линде — изводился в этом болотном тесте! Он расхаживал по комнате длинными шагами мимо сидящих, снова произносил монологи, потом уже и садился на стул, — кошмарно было представить, что он их не зажжёт, и упущен будет неповторимый революционный миг! Не всякие нервы могут вынести это черепашее переползание времени — полчаса! ещё полчаса! ещё полчаса! Так всё погибло, и позор навсегда залёг на наши лица??

Но, к счастью, среди этих обывателей в шинелях были и решительные сердца, поддержавшие Линде: надо идти маршем! и раз так зовёт нас Исполнительный Комитет! (Тут сообразил Линде: совсем непреднамеренный ход: он не солгал, что он пришёл от Исполнительного Комитета, но все тут считают его членом! А уж теперь он не проболтается, нет!)

Голосовали. Было поровну — и были воздержавшиеся. Ещё голосовали — перевес в один голос. Постановили разойтись по ротным комитетам и обсуждать и голосовать там.

О, как чуткому сердцу перемучиться ещё эту оттяжку! Да ведь полдня уже проходит, всё погибнет!

Пока догадался подговорить знакомых солдат писать плакаты: «Долой Милюкова!»

Наконец собрали вместе все ротные комитеты, батальонный и офицерский, — и Линде снова держал к ним горячую речь — а потом изнурительно, изнурительно спорили. И снова голосовали.

И — опять победили, с перевесом в 2 голоса. И тут Дорошевский не выдержал, вскочил, приказал: батальону немедленно строиться — и с винтовками! И всем офицерам, и полковнику — тоже идти!

Наконец-то! О победа! О крылья! Раздавались команды по ротам — и батальон выходил строиться: правый фланг у набережной, левый у Большого проспекта.

## 51

На третий день Пасхи развесил генерал Корнилов ещё раз такое воззвание: в дни нашей великой революции с петроградского артиллерийского склада взято 40 тысяч винтовок и 30 тысяч револьверов, это — вооружение больше чем корпуса, а Действующая Армия испытывает нужду. Обращаюсь к населению Петрограда с убедительной просьбой возвратить оружие, чтобы нам не посылать в бой безоружных людей, как делало прошлое правительство.

Никто ни черта не вернул.

Несколько раз прощался с пулемётными полками, чтоб они ушли хоть в Ораниенбаум, а там и на фронт: и низкий поклон вам от меня как Командующего и как от русского человека. Вы дали России свободу — теперь вы должны её обеспечить победным концом войны, а до тех пор не класть оружия. Так ли, пулемётчики? — «Точно так!!!» Ура на всю площадь и марсельезы. Но на фронт — ни одна рота не пошла. Правда, одна высказалась против Ленина.

Зачем петроградским солдатам идти на фронт? Они получают 2 с половиной фунта хлеба с приварком, и ещё нанимаются подрабатывать кто в милиции, кто дворниками, личными телохранителями, кто стоять за прилавками, кто торговать вразнос, а ещё же — свободные частые митинги. И даже от этой жизни — дезертируют.

Как с ними разговаривать? Если командующий Округом приезжает в батальон — и даже не все солдаты изволят выйти из казарм. За всю свою 30-летнюю воинскую службу не испытывал Корнилов ничего подобного. Вот: он отдал приказ о строгих часах увольнения из казарм, и только по увольнительным спискам, — советское совеща-



ние всё это отменило, не спросясь! Да даже юнкера, его последняя, как он думал, опора, печатали в советской газетёнке стыдливое опровержение, что нет, военные училища вовсе не ходили на парад к Корнилову: они хотели идти приветствовать Таврический, а собираться на Исаакиевской площади, но она мала, пришлось строиться на Дворцовой, и вот так вышел «парад».

Петроград переполнялся потоком делегаций из Действующей армии — настолько, что уже не хватало ни гостиц, ни мебелированных комнат, и должен был просить Корнилов Главнокомандующих фронтами по крайней мере прекратить отпуска офицерам в Петроград. Чего могли эти делегации набраться у петроградского Совета и гарнизона?.. Но и взамен же — и не знаешь, что хуже — ехали агитаторы от гарнизона пачками на фронт ежедневно, и даже не осведомляли командующего, не то чтоб разрешение спрашивать. Совет вертел как хотел.

И всё равно печатали так: «всем этим генералам-бюрократам демократизация армии — не по носу табак». И «всеми силами протестовать против приказа Корнилова об отобрании оружия у петроградских рабочих».

Будьте вы неладны.

Ну, не всё так потеряно. Всё ж Корнилов на Дворцовой площади приводил к присяге часть за частью, несмотря на то, что Совет присягу «отменил». Всё ж отправил на фронт три тяжёлых дивизиона, одну бронированную бригаду и дюжину маршевых рот (каждый раз за то благодаря части в приказе: счастлив был видеть дружные старания, доказали истинное понимание товарищества). Перекрепили к Округу от морского ведомства бунтующий Кронштадт — поехал в их догово. Ничего — парад экипажей перед Морским собором, и даже офицеры (которые не под арестом) с возвращённым оружием, ура, ура,— и матросы понесли Командующего на руках к автомобилю. Ездил раз и на завод, Трубочный: почему плохо работают? Ответ: готовы работать 14 часов в сутки...

Может быть и можно ещё дело спасти, если правильные меры найти и осуществлять. Догадался производить унтеров в подпрапорщики, по 20 на батальон, — они сразу подтянули порядок, не останавливаясь и по морде приложиться. Стал раздавать в госпиталях Георгиевские кресты — инвалидам, отправляемым домой. Писарям Главного и Генерального штабов, всего их тысячи полторы, слишком закомитетились, не работают, — объявил: родина требует всех здоровых на фронт, буду заменять писарей женщинами! Присмирели.— В Совете придумали ещё такую отговорку: маршевые роты отправлять опасно не только из-за контрреволюции (уж всем видно, что её нет), но: тут, в Петрограде, возможен немецкий десант! Так пусть петроградский гарнизон останется тут до конца войны для защиты столицы. И эта шантрапа будет защищать?.. Они брались решать стратегические вопросы за генералов, так и генералу подали мысль: а что если, правда, все эти гнилые запасные батальоны, которые всё равно пополнений не посылают, да переформировать в полки нормального состава, объявить им угрозу десанта — и гонять, учить к бою? — отдельный Приморский фронт, с Карельским перешейком и южным берегом Финского залива? Всё-таки же здесь с окрестностями — четверть миллиона запасных. И пулемётные полки. И бронев автомобили. И половина главного военного снаряжения. Стал готовить такую меру.

А Гучков — запретил: могут быть политические осложнения.

А какие будут осложнения от отмены погонов у моряков — этого он не подумал. Как от пожара отгораживаясь, в тот же день вслед должен был Корнилов издать свой приказ (очень странный на вид): что об отмене погонов для сухопутных войск он не получал распоряжений (написать «сохраняются» — так не знаешь, может завтра отменят), и поэтому лица, позволяющие себе срывать или срезыв-

вать погоны, подлежат задержанию как провокаторы. (Этого слова Корнилов и не знал сроду, но сейчас все бранятся этим словом, как хуже изменника Родине.)

В минувшее воскресенье Корнилов встречал на Финляндском вокзале партию наших увечных, воротившихся из плена. Заливается кровью сердце — смотреть и слушать, что они перенесли. И — к чему эти все их страдания?.. Или его собственная 48-я дивизия, окружённая и уничтоженная в макензеевском прорыве? — из этих наглых сегодняшних гарнизонных харь кто это помнит?

Ах, жалел он, что вызвали его от корпуса на этот треклятый Петроградский округ. (Уже раз — сорвался и просился у Гучкова: снять с Округа. Не пускает.)

Временное правительство — бабы, не способные ни на что. Измучивало Корнилова, что у министров — всё время какие-то сложные скрытые расчёты, нет простой прямоты — а без прямоты Корнилов не умел обращаться с людьми.

Спасение могло прийти только из глущи армии. И тут решала Ставка. Прежде всего — Верховный Главнокомандующий.

Каков Алексеев? Корнилов видел его лишь на проезде сюда через Ставку, четверть часа. Бойцом — не показался он. А доверие между ними мелькнуло сразу. Да по посту, им занятому, Алексеев один только и мог сейчас изменить ход событий.

И сегодня Корнилов встречал Алексеева на вокзале с большой надеждой. Он — жаждал увидеть сейчас вождя себе. Для решительного Верховного — решительный командующий столичным Округом — находка, сила. И получив бы любое сильное приказание, хоть переарестовать Совет, — выполнить его. (Пытаться выполнить... Корнилова не стесняло, что он в Петрограде — единственный сильный генерал. Стесняло — сколько он наберёт верных юнкеров и лучших команд. Да хоть бы, ну, больше трёх тысяч. Эх, прав был Крымов месяц назад: наверно тогда и надо было разгонять. Но как было поднять руку помимо правительства?)

Встречал с такой надеждой, но, как всегда непроницаем для самого допытчивого взгляда. Есть эта непроницаемость, когда глаза твои узкие, скошенные, на смуглом лице не выдаст ни румянец, ни бледность.

Уже по дороге с вокзала на заднем сиденьи автомобиля разговаривали тихо. Потом в довмине, пока Гучков ещё не принял Алексеева.

Корнилов отрывисто бросал, как оно есть. Разложение. Позор. И казаки туда же. А Кронштадт?!

Разговаривать он не мастер, доказывать.

А Алексеев — нет, мирный старичок. И движенья мягкие округлые. Надо, мол, научиться работать с комитетами.

— Комитеты — хуже Советов, — отрубил Корнилов. — Те хоть штатские, у себя, а эти — военные, у нас внутри. Какая это армия?

И всё равно, мол, отнести к ним с большим доверием, простить им некоторые крайности.

Нет, этот — команды не подаст.

Кто же подаст??

Генерал Алексеев ждал с утра большой беседы с Гучковым, ждал от него полного внимания, за чем и ехал, — а поговорили всего десять минут: и болен Гучков, и чем-то занят, и вот сегодня днём на заседании правительства всё изложите — и не надо смягчать, не надо розовых красок, а всё как есть. А после заседания уж мы с вами поговорим.

Обидно, всё не то. При грандиозном развале армии — так о чём-то было говорить с военным министром с глазу на глаз! При остальных министрах так откровенно не доложишь.

Но вот удача: в Петрограде — Колчак. И на эти свободные часы до совета министров Алексеев пригласил его к себе. Каким это чудом в Черноморском флоте сохранилось настроение победоносной войны? Хотел Алексеев поучиться у Колчака: как же с этими комитетами работать? Почему ж это удалось одному Колчаку?

Последний раз они виделись зимой в Севастополе, когда Алексеев лечился там и был чуть не при смерти. Но и сегодня соотношение здоровья и болезни между ними сохранялось огромно. Колчак — как железный, всегда готовый к команде, к действию, зоркий, быстрый, никогда не запутанный в побочных. И высокий пост не придал Колчаку повадок барства, лености, что так погубляло многих. Напротив, недостаток его — повышенная пылкость и нервность.

Вот и пожаловал — с открытым пронзительным видом, высоким лбом, пригорбленным парусным носом. Похудел с зимы.

О комитетах? Докладывал.

Надо было переступить какой-то порог сознания: разрешить совершаться тому, что до сих пор ошибочно казалось нам недопустимым.

Всё складно, Алексеев готов бы этому следовать, но как применить? нигде не получается, везде почему-то сразу разваливается.

Колчак и подробней.

Когда уже получилось — очень заманчиво. Но где же ключ? Алексеев не ухватывал.

Впрочем, и Колчак не сильно хвастался. Честно говоря, в Севастополе совсем не так хорошо. Порядок, может быть, держится на последних остатках благоразумия. Вот — эсеры. Столкновений с ними до сих пор не было, но могут произойти. Память 1905 года встаёт угрожающе. Уже носили по Севастополю гробы тогдашних жертв (или какие-то вместо них). Вот стали требовать в южных газетах, чтоб адмирал Колчак лично искал бы прах казнённого лейтенанта Шмидта и перевозил бы его в Одессу. И уже самочинно ездил делегация матросов на остров Березань, искать место расстрела. И чем эти все тревоги кончатся? В московском «Утре России» напечатали анонимную заметку, будто над лейтенантом Шмидтом при аресте были издевательства. — теперь ведь свобода и каждый может лгать, что хочет, сам скрываясь. И уже свидетели-офицеры за подписями опровергали, — и что ещё будет с этими офицерами? То прибывают из-за границы матросы с бывшего бунтарского «Потёмкина» и, мол, хотят вступить во флот, ценное пополнение. То на «Екатерине» захотели поднять жёлто-голубой флаг: на нём, видите ли, много украинцев. И с такими же знамёнами их собрание в севастопольском цирке: требуют автономии Украины и чуть ли не отдельного украинского флота — и как быть с ними? не в Севастополе же это будет решаться.

А с этим снятием морских погонов? — какое смятение, вот телеграмма из Севастополя. Как быть в сухопутных частях флота? — неясно. Приказали офицерам идти на парад 1 мая в погонах, потом передумали — без погон, но не могли хорошо сообщить. И одни офицеры, добравшись до своих штабов, спешно сами срывали, а с других на улице срывали солдаты, чего в Севастополе представить было нельзя! — и кричали: «Контрреволюция идёт! Бери их!»

Тут Алексеев мог только покивать: это был грубый ляпсус Гучкова.

Но Колчак-то, главное, не с этим пришёл, он вот с какой идеей: сейчас нам нужна, срочно нужна какая-нибудь крупная победа! Сухопутная армия — не способна.

— А флот — может! Дайте нам взять Босфор!

Но — вздохнуть лишь мог Алексеев. Не только он всегда был против. И не только нет подвижности на эти два месяца подготовки, но даже вот, через два часа, министрам такое вымолвить предположительно — не под силу, горло не возьмёт.

Сегодня днём и должен был заседать Исполнительный Комитет, но какой стоял вопрос: о созыве международной стокгольмской конференции социалистов, в которой ИК брался быть главным инициатором. Соберутся социалисты со всего мира и всем Интернационалом скажут войне — нет! И кончится мировая бойня.

Хотя от тех западных социалистов, которых пока увидели живыми, приехавших в Петроград, — одно разочарование и уныние. Бросились разговаривать с ними как с товарищами, а к концу уже не понимали, чем они отличаются от наших империалистов. «Самоопределение народов» они понимали только тех, которых выгодно освободить союзникам, но не напротив. «Без аннексий и контрибуций» было им колом в горло — и чтобы увернуться, стали придирчиво требовать, чтобы русские товарищи им подробно разъяснили этот лозунг. Приходили на переговоры с переводчиками, ассистентами, записными книжками, рассаживались куда твои дипломаты. А наша русская сторона (комиссия — Дан, Нахамкис, Гиммер и Шехтер) растерялась. Дело в том, что ни в Исполкоме, ни в Центральных комитетах партий никто до сих пор серьёзно этой формулы не разработывал: что именно считать аннексией, а что нет? Что думает Исполком об Эльзас-Лотарингии? Польше? Армении? В каких пределах и в каком смысле понимать самоопределение? Что считать контрибуцией, а что — возмещением убытков? Наша сторона — не нашла ответов, уваливала. А те: в общем виде — да, согласны, но — конкретно? Потом явился Тома, с ним — атташе из посольства, и допытывались: а может ли русская армия сейчас наступать, а сколько производится снарядов? Невыносимо! Просто сосут кровь из нашей революции! И откуда-то они в этих переговорах поняли, что Совет признал права Франции на Эльзас-Лотарингию, и сразу послали телеграмму в Париж, и там опубликовали во французских газетах. И пришлось новосозданному отделу международных сношений ИК телеграфировать в Европу за подписью Скобелева, опровергать такую басню.

Негодовали на этих социалистов, а потом смягчились: они — жертвы империализма, опутаны его тенетами.

И вот сейчас получилась ироническая аналогия: вместо конференции, как распространять мир на Европу, сошлись обсуждать, как сорвать с собственной шеи аркан милюковской войны.

Начали топтаться с того же места, на котором засыпали ночью: ничего не решено и ничего не понятно. Членов явилось близко к полному составу, и ко всем непримиримым левым добавился непримиримый Гиммер, втройне навёрстывавший теперь своё ночное отсутствие. Он так построил: тряс резолюцией Всероссийского Совецания об отношении к Временному правительству: о чём мы спорим? мы прежде всего обязаны исполнять свои резолюции! за три недели уже забыли? Вот написано чёрным по белому, мы голосовали: «отразить попытки царистской и буржуазной контрреволюции», — так это самое мы имеем сейчас! «Решительные шаги к подготовке всеобщего мира без аннексий и контрибуций», — где же они? нам на горло наступают! «Поддерживать правительство, поскольку оно свою внешнюю политику строит на почве отказа от захватных стремлений», — так это разорвано? чего ж мы колеблемся?? Пришёл момент отпора буржуазной власти!

А кого возмущало:

— Да ещё говорят не от себя, а о «всенародном стремлении»! Значит — за всех нас?

— «До решительной победы» — это что ж? Ещё десять лет воевать?

Чернов, к вальяжной фигуре которого на Исполкоме ещё не со-

всем привыкли, будто и возмущался, но умеренным голосом, не теряя достоинства вида:

— Хорошо, не рвать договоров с союзниками, но и не трясти же царскими. Тактично дать понять союзникам, что договора всё равно придётся пересматривать: ведь ни новая Россия, ни Соединённые Штаты не хотят захватов.

Но большинство-то — оппортунистическое, и нашлись, хотя неуверенные, голоса защитников, что всё же в ноте есть и положительные моменты. И всё же — декларация послана.

Керенского — по-прежнему нельзя было дозваться: болен! Но по Таврическому возник слух, будто Керенский, Некрасов и Терешенко в кабинете голосовали *против* ноты — это всё-таки обнадеживало. Тут вспомнили предупреждение Керенского последние дни: если на правительство слишком нажмёте, то *они уйдут*. И осторожные правые, теперь и Дан, и Гоц, убеждали, что влияние советской демократии — не во всех слоях населения, что мы не имеем подготовленных демократических кадров, и не можем сейчас организовать другое правительство, мы не справимся с экономикой, и нас не признает большинство населения...

— Да куда они не уйдут! — вырывался Гиммер как укушенный, и даже подпрыгивал на середине комнаты. — Никуда они не уйдут, пока мы их не выгоним! Будут сидеть в креслах и держаться, пока их не выгонит реальная сила! Да ни за что они не уйдут от власти! — они понимают, что этим уже не сорвут революцию, теперь уже их уход не страшен, это не первые дни. Но до последней крайности будут защищать своё классовое дело. Жалкая теория «бережения правительства»! Боясь собственной силы, вы преувеличиваете опасность. А если правительство не может выдержать минимума революции — мир, хлеб и землю, — так и раздавить его!

При крохотности его фигуры и срыве голоса на писк это не так уж страшно и звучало.

Кто-то вспомнил:

— И неужели они думают от нас при таких условиях получить заём?!

И забыли даже, что мы заём держим в руках, все рычаги у нас.

Поднялся высокий Церетели, с прошлой ночи грустно-смущённый. Он отвечал на вопрос: как же, как же могло Временное правительство *не предупредить* о ноте заранее? не показать её Совету? Церетели сообщал, что сегодня с утра разговаривал с членами правительства и те поражены гневом Совета: они даже не представляли, что в ноте есть что-то новое, что надо согласовывать. Они утверждают, что под «победоносным окончанием войны» и понимают установление демократического мира.

Это уже не помещалось ни в какой голове! Министры до такой степени изолгались? ослепли?

Но что ж им ответил Церетели?!

Что для демократических целей войны нельзя использовать общепериалистические слова. Что дух мартовского соглашения был не такой. А они настаивают — что не отступили.

Тут ещё доложили: пришла и кого-нибудь просит выйти делегация 3-й армии: пришли протестовать против слухов, вносящих разъединение между правительством и Советом.

Ещё козырь для Церетели и его группы: ну вот видите, товарищи, неудобно вскрывать конфликт. Нельзя терять благоразумия. Лучше мы сегодня же соберёмся в полном составе вместе с правительством и объяснимся, узнаем, какие же причины их побудили...

— Да о чём объясняться?? — снова прорвался едкий Гиммер. — Тут столкнулись классовые интересы, а такое противоречие принципиально непримиримо! Никакие объяснения правительства не изменят объективного положения дел и не отменят насущных требова-

ний революции. Интересы капитала столкнулись с интересами народа. Тут не объясняться надо, а: более сильная сторона должна продиктовать более слабой! И сейчас нам надо обсуждать именно: что именно продиктовать? А вы хотите подменить революционное дело пустыми разговорами! утопить народное движение в закулисных сделках! Рука народа занесена для богатырского удара! — и он поднял свою ручку в кулаке. Прыснули.— Тут предательство революции, а вы ищете толкование отдельных слов,— шахматный ход, применяемый во всех революциях соглашателями.

Он задыхался, даже и он не мог больше. Свернуло его на стул. Да он сегодня превзошёл всех большевиков! Потому что растоптан его февральский замысел: манипулировать бессильным правительством.

А между тем по телефонам Таврического звонили с нескольких заводов, а секретари прибегали сюда докладывать: спрашивают рабочие комитеты: действительно ли нужно идти всем на Мариинскую площадь?

Что такое? откуда ещё это взялось? Остановить! Отменить категорически!

— Это вы? это вы? — на большевиков.

Каменев с великолепным спокойствием: если большинство Исполнительного Комитета решит призвать рабочие массы — большевики тотчас это могут осуществить. Но без Исполнительного Комитета — как же можно?

Однако: и отчего же могло такое возникнуть в разных концах города, на разных заводах, сразу? Кто-то же бегает, поджигает.

Каменев думает: это выросшее сознание масс. Прочли в газетах ноту — и возмутились повсюду. Надо больше верить в массы.

Ну да, выросшее сознание! Если б оно настолько выросло — революции не было бы и забот.

И опять толковали за получасом получас, и ничего же другого не могли решить, как: пока ничего не решать, а встретиться всему полному составу ИК со всем полным правительством.

А — в котором часу? Ведь в 6 часов уже назначен, опубликовали в «Известиях», экстренный пленум всего Совета.

А — зачем теперь Совет? Не говорили прямо вслух, но: зачем теперь этот Совет? Распорядились печатать созыв в ночном перевозбуждении — а для чего теперь он? Сгонять две тысячи человек, произносить речи — а решение есть заранее: ничего пока не решать.

Станкевич отваживался брать руль в свои руки: сделать так, чтоб и Пленум Совета не пропал совсем зря, а прояснял бы сознание депутатов, и весь расхлябанный советский корабль провести твёрдо через эти шквалы. Исполком не понимает, что на Совете даже внушительней можно высказать.

Станкевич подошёл к ошарашенному Чхеидзе, с блуждающим взором и бездействием на председательском стуле, и, наклонясь, стал внушать: поручить ему первое главное выступление на Совете.

Чхеидзе обрадовался. И закивал, затвердил: да, да! Он уже — почти ничего не мог понять в этом сумасшедшем круговращении.

И тут — вбежали, и не тихим докладыванием, а закричали с порога:

— Финляндский полк в полном вооружении пришёл на Мариинскую площадь — и стал!

Как? что? кто? Кто его вызывал? кто посылал? Революция? Контрреволюция?

— Товарищи, кто его посылал? Кто распорядился?

Никто его не посылал. Никто не распорядился.

И большевики выражали честное удивление,— хотя и рады.

Вооружённый народ — вышел сам?!

Арестуют сейчас правительство? Что это будет? Какой скандал!

Звонить! Предупредить! Бежать! Посылать!



Посылать на площадь и отговаривать солдат. Кого? — ну первого Скобелева конечно, а там другие догонят.

Заседание Исполнительного Комитета развалилось, так и не приняв постановления.

А левое меньшинство — большевики, Кротовский, Александрович, Гиммер, — перемигнувшись, перешли в отдельную комнату.

Народное выступление? Мы — должны быть на высоте и наготове. Если оппортунистический ИК не скажет настоящего слова, то скажем его мы!

Но, по Каменеву, всё — академически неизбежно: классовое буржуазное правительство и не может проводить не антинародную политику. А народную — будем проводить мы, когда будет у нас пролетарская власть. Но тому ещё не пришло время.

И это было, конечно, абсолютно правильно.

Но — чего-то большего хотелось Гиммеру. Просто тезиса, что правительство ведёт политику захватов, и народ лишает его своей поддержки, — мало!

Хотелось — революционной бури, изумительной по силе и красоте!!!

#### 54

Нелегко было устроить правительство без традиций, без опыта, без аппарата — но Владимир Набоков за минувшие полтора месяца всё же устроил. Не стало прежнего хаоса — заседаний на пустом месте без подготовки. Подобрался секретариат. Наладилось нормальное составление и движение бумаг, проектов решений: был твёрдый порядок заседаний и благодаря подготовке успевали и обсудить и решить много вопросов. Несколько комиссий из учёных законоведов тщательно готовили материалы, выводили заключения, и особенно во всём, что касалось Учредительного Собрания. Пытался Набоков дисциплинировать и самих министров, но тут он не был успешен: не мог добиться определённых часов заседаний, а какой бы час и ни назначили, всегда начиналось с опозданием, не было сбора министров, всегда аккуратные были самые серые — Мануйлов, Годнев, Щепкин, да сам князь Львов, а другие зачастую были в разбеге, вместо них приходили заместители. Из заместителей Набоков тоже сформировал для второстепенных вопросов и вермишели работоспособный второй кабинет, во главе с профессором Гриммом. Юридическим совещанием руководил неутомимый, при своей физической хилости, алмазного ума Кокوشкин, — и вот на этих днях совещание закончило разработку «перечня важнейших вопросов» к составлению избирательного закона — теперь осталось собрать мнения по вопросам и составлять сам закон.

Немало законов высыпало за это время правительство. Правда, крупных за последний месяц почти не было, только вот позавчера опубликовали постановление о свободе союзов и собраний (но — невиданный демократический размах, действительно уже свобода: только не на рельсовых путях и только не против уголовных законов, а открывается союз произвольно, а закрыть почти невозможно). Да ещё забрали удельные земли в казённую собственность и признали действующими все законы, утверждённые царским правительством по 87-й статье, без Думы (теперь оценили пользу этой статьи). Может быть, ещё шли за крупные законы уточнения к запрету продажи крепких напитков и ограничения в продаже денатурата. Или мужественный отказ обнаглевшему финляндскому сенату в расширении его прав. (Потому решились, что Финляндия отказывалась предоставить полные права евреям, и тем подорвала свои позиции, иначе отказать им было бы невозможно.) А то тянулася череда уныло ничтожных законов, которые, однако, кроме Временного правительства кто же мог установить? — создание пенитенциарных курсов для подготовки новых служащих тюремной администрации; коллегиальное управление лазаретами; досрочный выпуск лесоводов из Лесного института и кары за неотъезд по назначению на службу; о регулировании производства пшена и гречневой крупы; упорядочение кавказских и крымских курортов к сезону; переименовка города Романова в Мурман; установление всероссийского конкурса на сооружение в Петрограде памятника всем борцам-героям за свободу России... Можно было смеяться или прийти в отчаяние, — но кому же это поручить? и всё это тоже немало важно. Крупным решением было объявление Займа Свободы, сразу после Пасхи, — и сразу же за тем стали волноваться, что он не будет иметь решающего успеха (уклончивость Совета, протесты многих социалистов), и стали готовить реформу (создать ещё одну комиссию) прямого и косвенного обложения: решиться на налог поимущественный? на промышленную сверхприбыль? Тут было сильное противодействие промышленных кругов, а на митингах требовали «ограничить аппетиты промышленников и торговцев!» Так государственный контроль экономики? это — трудней всего и осуществить. Пока, во всяком случае, невозможно было уложиться в бюджет, выработанный старой властью на 1917 год, — предстояло смело раздвинуть права правительства и выработать новый революционный бюджет.

А сколько было загрязших вопросов, на которые не находилось сил и времени сдвинуть: вся экономическая политика (всё откладывали до Учредительного Собрания); временное земельное устройство; деревне обещали вот-вот заняться снабжением её промышленными продуктами по твёрдым ценам — но никто не имел намерения за это браться, да и невиданное дело, неизвестно с какой стороны.

Князь Львов, Щепкин, Мануйлов, Годнев вообще были бы рады остаться не правительством, а комитетом по подготовке Учредительного Собрания: чего от нас хотят? мы — временные и не можем вести государственного строительства, — да теребила жизнь. Были мучительные вопросы, которые по несколько раз ставились, но не получали решения. Нельзя ли всё-таки ввести временные меры усиленной охраны с правом административных арестов? — но вся печать, включая «Биржевые ведомости» и кадетскую «Речь», была против. А вот — грозит сахарный кризис, — как дожить до нового урожая? А на финской границе усилилась контрабанда, не платят пошлину — и как их заставить? Вдруг на миинском фронтовом съезде кто-то протянул резолюцию по уже заглохшему вопросу: ходатайствовать перед Временным правительством об ассигновании 10 миллионов рублей Совету рабочих депутатов на организацию революционной работы! — за голову взяться! Долго мучились: как быть с заштатным содержанием лиц, покинувших государственную службу в порядке революции? Революционное решение было — ничего им не выплачивать, но это противоречило всем представлениям традиции и порядочности: куда ж этим старикам деваться? Увольняли, естественно, по старой форме, сохраняя чины и пенсии, не свыше 7000 в год, — но все, и Набоков (жестко себя ругал), упустили, что нельзя такое печатать в газетах. И — поднялся ужасный, злой шум, хлестали правительство во всей социалистической прессе, — и чтобы как-то его загасить, срочно выработывали закон о повышении всех вообще пенсий всем по стране, а скомпрометированных сановников вообще лишить.

Едва ли меньше, чем законов и постановлений, издавало Временное правительство добрых воззваний, одно время чуть не каждый день: там, где не решались издать категорический приказ — взывали к лучшим чувствам населения; то к полякам; то к Донской области — об опасности поспешных желаний в сложнейшем земельном вопросе; то ко всему населению — о содействии направлению в войска беглых солдат; и особо и много раз — к самим солдатам; и к рабочим каменноугольных предприятий Донецкого бассейна; и к рабочим металлургических заводов Юга России; и к рабочим, обслуживающим учреждения фронта, дабы не сокращали землекопных работ, и ремонта ружей и железных дорог; и ко всему населению районов фронта в целом — не оставить железные дороги без дров; и вообще ко всему населению — широко подписываться на Заём Свободы; и ещё же ко всему населению — меньше пользоваться телеграфом, ибо он перегружен; и вот три дня как князь Львов разослал циркуляр губернским комиссарам о приостановке насилия в земельном вопросе и о недопустимости лишать кого-либо свободы без распоряжения судебной власти — но тоже не в форме обязательного закона, а чтобы губернские комиссары воззвали к благоразумию населения. Миротворческая настроенность князя Львова, как и общий демократический дух момента, отклонял правительство от дачи жёстких непоправимых указаний — к расчёту на самодеятельность населения, которое само во всем найдёт наилучшие пути устройства и местной власти и местной жизни. Ничего ему не запрещать и ни во что не вмешиваться: не соскучилось же оно по самодержавным методам?!

Хотя и сам Набоков был крайний либерал, но не до такой же неразумной степени! Он уже — страдал от этой нерешительности правительства, и жаждал повлиять на его укрепление, однако ограничен был сделать это, не входя сам в состав министров, а среди них имея лишь одного неуклонного союзника — Милокова. Сам на себе Набоков весьма испытывал темп революционного времени — ежедневная лихорадочная работа, беспрестанные телефоны, ежечасные посетители, почти невозможность сосредоточиться, да всё это в потоке взбудораженного нереального сознания, не улетшего от первых дней марта; и неужели совершили революцию? и как довести до конца войну? и как дотянуть до Учредительного Собрания? Но иные министры как не чувствовали этого темпа.

Больше всего боялись министры всяких конфликтов, и особенно конфликта с Советом. Две предпасхальных недели лились фронтовые делегации, принимаемые в ротонде Мариинского. Эти депутаты заявляли энергичную поддержку правительству, что армия недоумеает двоевластью, нуждается во власти единой, а министры отвечали елеёно, что никакого двоевластия нет. А давление Совета не отлегалo никогда, постоянно ощущалось всеми министрами, а на ночных заседаниях с Контактной комиссией (где Набоков всегда присутствовал, не имея слова) и проявлялось в лоб. Вытаскивал Нахамкис из кармана какие-то мятые, грязные, может быть поддельные, телеграммы или письма с фронта революционным жаргоном: бонапартизм такого-то генерала, контрреволюционность полковника или старшего врача. На этих заседаниях Набокова оскорбляло всё: и сам факт, что правительство обязано было ночами получать эти инструкции или упрёки, но ещё больше оскорблялся его вкус от невыносимого плебейства этих всех — Нахамкиса, Скобелева, Чхеидзе, Гиммера (только Церетели неожиданно вдунул стружку аристократизма). О просимых Советом десяти миллионах не говорили больше. Но косвенно ли мстя, постоянно брюзжали на внешнюю политику, и особенно на Милокова, даже и в лицо обвиняя его во всех империализмах.

Положение Милокова в правительстве становилось всё более изолированным — а Набоков не имел голоса выступать в его поддержку, лишь мог ободять в перерывах. Князь Львов перед Керенским даже заискивал униженно, противно было смотреть. Но

самым поразительным, и глубоко-обидным, становилось даже не одиночество Милюкова, а: как же могла блистательная кадетская партия, цвет мыслящей России и главный оппонент царизма,— после падения его не заполнить собою правительства, не составить сверхающего ряда министров,— были бы тут Маклаков, Кокошкин, сам Набоков не в нынешних правах, да Трубецкой, Винавер, Родичев, во втором ряду Гессен, Нольде, Долгоруков — тот сплошной блеск, которого всегда ждала Россия от будущего свободного правительства,— и где же он? Как получилось, что кадетская партия добровольно уступила правительство какому-то бледному сброду, да истерикам, а сама вошла растерянным Мануйловым, не-кадетским Некрасовым? Это была не просто неудача партии, но — обман доверчивой России, её столетних надежд.

Набоков диагностировал, что дурно составленное правительство больно само в себе, и в таком виде ему не продержаться. Тут ещё — почти непрерывные болезни Гучкова,— вот сегодня из-за его болезни снова собирались не в Мариинском дворце, а в довшине.

Собирались с подготовленной повесткой дня, но она оттеснялась приездом генерала Алексеева: предстояло выслушать его подробный доклад и принять решение касательно армии.

Пока съезжались, шли разговоры о новой модной теме: Ленин. Что этот подлец вытворял — невозможно было две недели назад представить такое: он просто глумился, используя для развала России все свободы, завоёванные без него. Да никакое демократическое западное правительство, уважающее себя, не потерпело бы такого вызова — его надо было несомненно арестовать, это уже были действия за пределами агитации. Но никто, и даже Милюков, такого в правительстве не предлагал: свобода слова была самым сладостным и чувствительным завоеванием революции, невозможно было занять позу малейшего притеснителя её, да ещё вот издав закон о полной свободе собраний и союзов. Министры, во главе со Львовым, все склонялись, что правительство может занять только выжидательную позицию,— инициатива же выступить против Ленина может исходить лишь от самого народа, недовольство Лениным растёт, и некоторые войска даже готовы арестовать его (Терещенко был уверен, что Ленин уже и рабочим опротивел).

Так-то так, по демократическим принципам всё верно, но была бы воля Набокова — он пожалуй и сам бы решился послать арестовать Ленина, хотя была бы там у Кшесинской и свалка. Опыт Запада показывает нам, что и демократии должны уметь проявлять решительность.

Милюков пребывал сегодня не только невозмутим, но и торжественно-благодушен: праздновал, что сумел отстоять достойную ноту без уступок, и сегодня она повсюду опубликована. Правда, в гиммеровской «Новой жизни» (этот гномик приобрёл себе громовещательную газету) и в эсеровском «Деле народа» уже проскользнула раздражённый комментарий,— но без этого и быть не могло. Львов уже знал от Церетели, что Исполком чем-то недоволен, но это всё легко уладится. Шингарёв пришёл как всегда перетружен тяжело озабочен, фигурой был здесь, а мыслями отсутствовал, в своих делах. Да главный вопрос, оттеснённый сегодня Алексеевым, и был его: утверждение положения о земельных комитетах, теперь перенесём на завтра, дело действительно срочное, не заплыла бы анархией вся деревенская Россия. Терещенко был как всегда вертикально самодоволен. Образованием, иностранными языками, лоском, знакомствами (уверял, что дружит с Блоком) он уверенно считал себя принадлежащим к высшему кругу, едва ли не к аристократии, с тем и порхал. Но на отточенный вкус Набокова (и Терещенко это понимал) — со своим недурным английским языком, нахвтантыми сведениями и бриллиантовыми запонками — он был просто плебей с миллионами. А Некрасов был самый скрытный, лицемерный в правительстве, вряд ли он и во всей жизни когда занимался прямым созидательным делом или занимал бы искреннюю идейную позицию,— нет, скорей всегда позицию для интриги.

А вспышккопускатель Керенский всё не ехал, уже один только он задерживал начало заседания, пренебрегая временем коллег,— и наконец сообщили по телефону: заболел, не приедет. Вот как? и не мог предупредить часом раньше? А действительно больной Гучков, в полувоенном френче, двигался, поворачивал голову, говорил — медленно. Военно-морской министр, он был среди них самым вялым сейчас.

Теперь заседание начиналось — и Гучков ввёл генерала Алексеева. Некоторые министры видели его впервые, и Набоков тоже, хотя конечно знал его лицо по фотографиям, даже и скромную фигуру. Нет, и со входом Верховного Главнокомандующего дух Марса не вдохнулся в их заседание. И вид его, и движения, и рукопожатие, и голос были — совсем не боевого генерала, скорей военного чиновника, а то даже и не военного: обходительность, сдержанность, глухота фраз.

Его бумаги уже были разложены на небольшом отдельном столике, с которого он и собирался делать доклад. (Внесен был в гучковский просторный кабинет и стол для секретарей, но пока не предполагалось записи, их отпустили. Да не так уж много и записывалось на заседаниях кабинета: по предложению Набокова же не протоколировались ни прения, ни голосования министров. А жаль, для истории много терялось. Да в открытых заседаниях редко бывали и интересные прения,— всё в закрытых, но там тем более не записывал Набоков почти ничего.)

Алексеев предложил основательный доклад, объявил его план: сперва — боевое и продовольственное снабжение, транспорт, промышленность прифронтовых областей, затем состояние тыловых гарнизонов, людские пополнения, конский состав, затем состояние самой армии, а в конце — стратегические вопросы, по которым и надо принять решения. Видно было, что доклад — часа на полтора, и не меньше того займут прения. Телефон на письменном столе военного министра отключили, а кресло его вынесли из-за того стола, ближе к столику Алексеева и в общий овал — и Гучков сразу сел, откинувшись, не скрывая, что устал.

Некоторые министры уже сразу, видимо, скучали. Да редко кто высылался и теперь, а уж загружены обязанностями и выступлениями были все. свежего воздуха не глотали.

Однако не успел Алексеев обрисовать боевое снабжение — очевидно самый радостный пункт его доклада, ко дню революции накоплено было много, и только последние два месяца петроградские заводы сильно недодавали,— вошёл дежурный адъютант, отдал под козырёк и с извинением доложил, что из Мариинского дворца срочно просят к телефону князя Львова или кого-либо из министров.

Князь Львов ласково улыбнулся Набокову: подойти к аппарату. Набоков быстро вышел, не очень скучая по теряемой части доклада. А в приёмной услышал в трубке сильно взволнованный голос своего сотрудника. Тот докладывал, что десять минут назад на Мариинскую площадь вышел со многими красными знамёнами и плакатами — а теперь стал против дворца — Финляндский запасной батальон, человек две тысячи, и солдаты многие — при оружии. Открыли враждебные действия? — быстро спрашивал Набоков, тотчас оценив опасность.— Нет.— Запретили вход-выход из дворца? — Нет.— А что на плакатах? — Сейчас прочтёт из окна и доложит.

Ждал. В самом выходе ничего необычного не было, всякая манифестация теперь возможна, но почему вооружённые? Если парад — то на Дворцовой площади, у Корнилова.

Сотрудник докладывал: «Да здравствует Совет рабочих депутатов», «Долой империалистическую политику», «Долой Милокова». «Милокова в отставку», и ещё какие-то, не прочлись.

Поручил ему: читать дальше, наблюдать и докладывать.

Как быть? Нет, это не мирная забава революционных бездельников, это уже скандал и враждебный акт. Доложить Львову на ухо? А что такое Львов? и почему не знать другим? Помешает докладу? Но к каким бы стратегическим вершинам Алексеев не дошёл, а две тысячи враждебных солдат под стенами правительства — ближе.

Набоков вошёл в заседание, громко просил у Львова и Алексеева извинения и, стоя, доложил происходящее — всё, кроме антимилюковских плакатов, о них смолчал, пожалел Милюкова, не хотел прежде времени ставить его тут под бой министров. А чтобы заменить — добавил от себя «Да здравствует демократическая республика», — и потом оказалось, что был прав.

Министры — как проснулись, оживились, заговорили, не ожидая властного ответа от князя Львова. Гучков нахмурился, сделал движение встать, идти, — передумал. Да от утайки «долой Милюкова» — демонстрация не представилась такой заострённой, ну подумаешь — империалистическая политика. В общем, был вздох облегчения, что правительство заседает не там, не надо выходить к толпе, а здесь пересидим, будем заниматься. И князь Львов просил Алексеева продолжать.

Но Набоков-то знал истину, и уже не надеялся, что это пройдёт так легко мимо. Могло, впрочем, и обойтись, мало ли что взбредит батальону.

Он вышел в приёмную, позвонил в свой секретариат. Оттуда: ничего нового, стоят. Ещё — «долой завоевания» и «да здравствует демократическая республика».

Так и есть, от 1-го мая осталось. Может просто им понравилось гулять позавчера? И день солнечный, хотя прохладный?

Однако самого Милюкова следует предупредить.

Тут по другому телефону вызвали Шингарёва из министерства земледелия, которое тоже на Мариинской площади, Набоков не стал звать, подошёл вместо него. Те же известия.

Тут вызвали сам гучковский штаб — из штаба округа. Доложили примерно то же, генерал Корнилов спрашивает, с ведома ли это военного министра. Полковник пошёл докладывать министру.

Тотчас позвонил телефон снова: из Исполнительного Комитета Церетели просит подойти князя Львова.

Закручивалось, как в романе Достоевского: все приходят сразу и не вовремя, — и Алексеев приехал некстати, и ещё более некстати сегодня вечером приезжает румынский премьер Братиану, возись теперь с ним.

## 55

От Николаевского моста через Благовещенскую площадь и по Конногвардейскому бульвару шёл без музыки, но при офицерах, а у солдат винтовки на ремне, — запасной Финляндский батальон. Столица уж так присмотрелась ко всяким шествиям, а позавчера и весь город был одно сплошное шествие, что прохожие и внимания не обращали, даже и на оружие. И знамёна, плакаты качались над шествием тоже в порядке вещей, там «Да здравствует Совет рабочих и солдатских депутатов», «Долой завоевания», — это никого не удивляло. И только тот онемевал, кто замечал ещё:

«Долой Милюкова!»

В голове колонны такой плакат, а в конце:

«Милюкова в отставку!»

Как — долой Милюкова? Как это может быть? Он же — не старый режим? Что случилось???

И потянулись уязвлённые и любопытные по тротуарам за колонной, как увлекаемые ею.

Хотя и солнечно, а никак не жарко. Солдаты и офицеры ещё в зимних шапках, а жители в пальто, кто и в шубах.

Куда ж они? «Левое плечо вперёд!» Вывернул батальон мимо Исаакиевского собора. Мимо обгорелого пустого германского посольства со свежим лозунгом «Да здравствуют германские рабочие!», мимо министерства земледелия — «правое плечо вперёд!» — вытянулся вдоль всего Мариинского дворца, близко к нему, но не вплоть, — «напра-во!». И замер растянутый батальон перед растянутым лиловатым трёхэтажным дворцом, гнездом правительства, — лицом к нему.

И теперь штыки над плечами объяснились угрожающе.

Но ничего дальше батальон не предпринимал. Вот так и стоял.

Стекалась взволнованная публика. «Что это, граждане?» «Зачем вы пришли? Чего вы хотите?» — встревоженно спрашивали не у запуганных офицеров, а — у строя, у самих солдат.

И на правом фланге вольноопределяющийся Линде, в мешковатой шинели, громко объяснял:

— Как свободные граждане мы имеем право манифестировать по поводу всякого решения правительства, идущего вразрез с ясно выраженной волей народа. Народ — не хочет завоеваний, и Милюков не имеет права отправлять такую ноту!

И у солдат спрашивали. (А кто спрашивал-то? Сытые, белорылые в котелках да в дорогих шубах, свободная публика, кто не стоит ни в строю, ни у станка, ни мешков не таскает, а середь буднего дня вольны на площади околачиваться. И что это за фасонистая нахлобучка у них на голове. не носят же простую шапку, как мы. Своей одежей сбивают они и свои вопросы: видно, что зароились в испуге от солдатских штыков. Все они тут заодно вместе с этим и Милюковым.)

Но Линде и сам не мог придумать, что делать дальше. Ни батальонный комитет, да ведь стоголосовали еле-еле, через два голоса. Ни офицеры уж тем более.

Как-то ж думали, что кто-то к ним выйдет, от правительства. Но не выходил никто. За окнами второго этажа мелькали лица, смотрели, удалялись.

Но успокаивала висящая на фасаде дворца от одного колонного выступа к другому — из красной бязи длинная полоса: «Да здравствует Интернационал!» Ветер её пополаскивал.

И полётывали, слётывали на мостовую голуби.

И речи говорить не к кому, и кричать не к кому. С каким запалом повёл Линде батальон, а сейчас растерялся: министры не выйдут — что же делать?

Чистая публика жалась: страшно представить, как солдаты сейчас врассыпную — да кинутся во дворец? да всех хватать?

А батальон стоял, стоял молча, и держал свои щиты с надписями — но уже и руки затекали, передавали друг другу, а то и опускали.

В голове Линде сверкали сильные мысли: растянуться да оцепить дворец? перекрыть входы? идти самим внутрь?

Но из батальонного ж комитета возражали, что пришли на манифестацию свободных граждан — неправильно применять насилие.

И чем бы это стояние кончилось? — не пришлось бы ни с чем поворачивать?

Ну прошлись — и ладно?

Но тут — сзади, слева, от Морской улицы, послышался гул — и оттуда повиделась ещё одна длинная солдатская колонна, и тоже вся оштыченная, а на первом щите зоркие и отсюда прочли:

«Долой Милюкова!»

И — ещё оркестр от того полка ударил! Марш!

Ох, сильно подбодрились финляндцы: не мы одни! Знать, верно пришли! Хорошо согласились.

Теряя стойку, но не рассыпая строя, крутили головы туда, ду-



пились. Послали узнать своего навстречу, воротился чуть раньше тех: — «180-й полк!»

А вот уже — и сам 180-й подошёл за спины финляндцев, стал колонной лицом же ко дворцу. Стих марш.

Ну, теперь попробуй к нам не выдь! Попробуй не поразговаривай!

Финляндцы больше пообернулись. Переголашивали солдаты двух полков. Плакаты у тех были — вроде наших, и такой же как на дворце — «Да здравствует Интернационал!» (И кто он такой, Интернационал?)

И чистая публика гуще натягивалась в обступь и всё тревожней:

— Да что ж вы будете делать?

— А вот... Ждать Временного правительства.

Сами солдаты не знали, а кто как думал.

— А кто вас сюда прислал?

Одни говорят: «Нас вызвали старые солдаты».

Другие: «Так было приказано».

А кем? Не знамо.

— А откуда у вас такие слова написаны?

— Так было приказано.

Постояли-постояли — однако никто не выходит.

И команды ни от кого нет.

Между тем сзади, за «Асторией», — новый гул! И вытягивается на площадь — ещё одна солдатская колонна? Кто такие? Московцы, отчаянные ребята! И на щитах опять: «Долой Милюкова!» (Ну, конченный этот Милюков.) «Долой Милюкова и Гучкова!» (Двоих, значит, по шапке, не одного.) И — как полымем, красными буквами: «Долой вой-ну!!» Вообще — войну!! Аж дух захватывает.

Минули московцы царский памятник, ближе к дворцу — и стали с загибом.

Всё бодрей подступало солдатам: как по единому приказу законно пришли.

Но из дворца никто важный так и не выходил. А мелькали слушающие, рассыльные.

И на площадь за это время кого только не натянулось: и ребятки малые, и подростки, и студенты, и чиновники, и разные господа с дамами. И там и сям затевались разговоры и споры. И строя прежнего — не стало. Но всё ж колонны не рассыпались.

А тут — повалила с Вознесенского проспекта солдатская колонна, и тоже сюда. Кто такие? Кексгольмцы. Махали им — и те махали. А у них на щитах накручено. «Беспощадная война с кровавым Вильгельмом и мир с революционным народом». — «Вперёд к социализму под знамёнами Циммервальда». (Ещё какой-то немец.) — «Да здравствует скорый справедливый мир без аннексий и контрибуций!»

Но и эти не успели стать — справа сильная музыка, хороший оркестр. (От музыки — все подтягиваются.) И всё не видно их, они по Мойке гнут, а как вывернули: окромя оркестра — всего лишь одна рота, но — чёрная, флотский экипаж.

Мало их, а гордость у них большая, как всегда у моряков, не пошли взад становиться, а тут, впереди вклинились, поперёк. И смолк оркестр.

И покрути, покрути головами — одних солдат на площади уже как бы не за десять тысяч.

Да несколько тысяч по окромке, публика.

И кто ж этим всем командует? Неизвестно. Не выявился.

Перед 180-м — красивый прапорщик с закидистой головой, такой весёлый ходит: «сейчас», подбодряет, «сейчас».

Но однако же — министры не выходят.

И новые батальоны тоже-ть не подходят, хотя на площади ещё есть место, позадь памятника.

И — чего ж теперь делать?

Да чего делать, загудели: Милюкова этого надо вызвать! Да выкинуть!

## 56

А дальше — звонки по всем телефонам домина посыпались с ужасающей быстротой: на Мариинскую площадь пришёл ещё один полк! и с такими же лозунгами! Есть и «долой Милюкова и Гучкова!» Грозно стоят, сгущается толпа! Уже больше десятка тысяч!

Первое уличное выступление против Временного правительства! Грозно!

Всё смешалось, заседание совета министров прервалось. Ходили к разным телефонам, подключили телефон и здесь.

Гучков вызвал генерала Корнилова, тот мгновенно явился. Они вышли в другую комнату.

Прс Верховного Главнокомандующего с его разложенными бумагами — совсем забыли, и даже вежливый Львов не вспоминал, что надо же или продолжить, или перенести на другое заседание — хотя сколько же мог теперь генерал Алексеев жить в их суматохе? — его место в Ставке. Для воюющей страны какая проблема была важнее, чем его доклад? Но теперь он только молча поглядывал на министров — как на сумасшедших. Он и из Могилёва угадывал, что они беспомощны, но не в такой же мере!

Милюков, который вообще мало краснел и никогда не бледнел, — сейчас был бледен. Тоже и он звонил в своё министерство.

Были министры, кто смотрели на него со злорадством или любопытством.

Первое общее понимание было: что эти войска к Мариинскому дворцу послал Исполнительный Комитет! Князь Львов долго разговаривал с Церетели по телефону, тот уверял, что — нет, нет, не по их приказу.

Потом Львов слабым голосом, его не сразу и услышали, объявил, что Исполнительный Комитет настаивает на совместной встрече, обсуждать ноту Милюкова, не возражают ли господа министры — сегодня в 9 часов вечера в Мариинском?

Да, разногласие вышло за пределы камерного, как ещё виделось утром. Без Исполнительного Комитета самому правительству тут не справиться.

Не очень теперь хотелось ехать в осаждённый Мариинский — но к вечеру, может быть, толпы там разойдутся?..

Вошли Гучков с Корниловым, не сразу заметили и их. Корнилов стоял тёмным неподвижным истуканом, мрачный. А у больного Гучкова складки лица подтянулись и движенья чётче, он будто поздоровел. Остановился в центре комнаты, оглянулся, — кроме министров один Алексеев, — и сказал громко, отрывисто — все сразу заметили, услышали, замолчали.

— Господа! Больше так жить нельзя! Мы ведём себя ничтожно. Мы не можем оставаться куклой на верёвочках. Совет — нас дёргает как хочет. Мы никогда с ними не стоворимся по-хорошему. По данным генерала Корнилова — у нас около трёх с половиной тысяч надёжных крепких войск. В остальном гарнизоне — полтора тысяча, но они все разболтаны. и ни одной крепкой части. Мы их не можем разгромить, но это и не требуется. Мы можем надёжно защитить правительство, и разговаривать с Советом иным тоном.

Он ещё не договаривал, что это будет за тон? и как же сложатся отношения с Советом? Да не думал ли он — применить силу и к Совету?..

(А вообще: думал ли он серьёзно то, что говорил? Или ожидал верный отказ?)

— Дадим ли сейчас генералу Корнилову твёрдые инструкции? А генерал Алексеев сделает соответственный вывод для Ставки.

Министры молчали.

Растерянно.

А Милюков сидел твёрдый, надутый.

Отполированный Терещенко, стоявший на ногах, нервно перешёл — как переходят артисты на сцене, обратить на себя внимание перед репликой. А одет он был и всегда не меньше чем для сцены. После Гучкова и в отсутствие Керенского он был тут самый решительный. В полной тишине сказал, не Гучкову специально:

— Если прольётся кровь — я вынужден буду уйти из правительства.

И это был — его недавний чуть ли не соучастник по заговору? Хорош гусь!

И кажется — все тут думали так?

Кроме Милюкова? С напряжением, сильно надутый, он выговорил:

— Если мы не примем этой меры, то, может быть, через короткое время будем все, in согоре, сидеть в крепости. Если мы не готовы к этому — то какую вообще ценность имеет наша точка зрения?

Но и Терещенку подхлестнуло, и он ответил гордо, из той же декламационной позы:

— Нет! Даже если вооружённые люди войдут в эту залу — мы не должны применять военной силы для нашей защиты! Нам предлагают дружеские переговоры — и ничего не может быть лучше.

И Некрасов поднялся, в гневе:

— Да мы готовы скорей пожертвовать своими жизнями, чем пролить хоть каплю крови!

Ах, они может быть и все были бы непрочь, если б кто-нибудь другой устроил им прочную власть? Но чтоб не им принимать решение и не на них легла ответственность!

А князь Львов самым типичным голосом, настолько хорошо было слышно, и с одной из самых очаровательных своих улыбок:

— Ах, Александр Иванович, ну зачем такой драматизм? Зачем обострять отношения? Из Совета говорили со мной сейчас с полным пониманием. Этот милейший князь Церетели, да и другие... Вот мы соберёмся вечером и совместно, дружественно найдём взаимоприемлемое решение. Всё — образуется...

## 57

Солнце уже изрядно сдало от полудня.

От позавчерашнего праздника стояла на Мариинской площади вышка тесовая, перевитая красными лентами — речи держать. Не успели её убрать, теперь пригодилась. На неё и полезли орать. А солдаты поворачивались, строи загибались.

Вождь Финляндского, вольнопёр, — первый. Диковатый, долговзый, без шапки, руками длинными размахался и весь захлёб:

— Капиталисты не считают нашей крови! Несколько десятков миллионов людей оторваны от великого дела жизни и посланы убивать друг друга! Зарывшись в землю, под дождём и снегом, в грязи, изнуряемые болезнями, пожираемые паразитами... Разрушаются тысячи деревень, десятки городов, плодородный слой земли уничтожается фугасами, вся земля осквернена гниением трупов. Третий год мы живём в кровавом кошмаре! А между тем есть люди, кто не сидит в окопах, но безумно наживаются. И вот это их интересам служит господин Милюков, который хочет продлить эту проклятую войну до бесконечности...

Потом вылез студент, волосы развихрились, а голос не сильный, ветер относит:

— ...нет и не может быть большего преступления, чем искусственное затягивание войны!.. Заключение мира отвечает интересам мировой демократии...

За ним — дюжий матрос, голос сильнящий:

— Разве для того мы гнили в тюрьмах годами, чтоб отдавать свои завоевания буржуазии?.. Я — только что из Гельсингфорса. Вчера у нас там был съезд матросов, и я от него. Предлагаем: осудить министра иностранных дел за его ноту — и чтоб убырался в отставку!

Гудит по площади:

— Давай! Давай сюда етого Милюкова!

А с боку вдруг насунулся — автомобиль с красным флагом. И из него двое побежали сразу на вышку, как на каланчу при пожаре. И белобрысый толстощёкий, с размахом вольным:

— Товарищи! Приветствие организованной революционной армии, пришедшей на площадь выразить свои чувства! Я, член Исполнительного Комитета Скобелев, от имени Совета рабочих и солдатских депутатов благодарю войска, готовые своими штыками поддержать слово Совета! А Совет неусыпно стоит на страже интересов демократии. Исполнительный Комитет всю ночь обсуждал вопрос о ноте и продолжает обсуждать сейчас...

Покричали ему — мол, спасибо. И «ура» тоже.

— А пока революционная армия должна спокойно выждать решение своих представителей — а мы учтём те настроения и чувства, какие вы выражаете тут, на площади. К Временному правительству, вышедшему из недр революции, надо отнестись тоже с уважением. Оно — не «милостью Божьей», а — волей народа! Сейчас — мы призываем вас воздержаться от разрозненных выступлений, а ждать нашего призыва. А Исполнительный Комитет — сам окажет воздействие на правительство!

На вышке быстро переменялся этот белобрысый на второго, чёрного, волосы длинные, чуть не как у бабы. А голос — послабей, а ветер крепчает, так и не всё доносится:

— Товарищи! Я — член Исполнительного Комитета Гоц! Я приветствую... революционные сознательные... В настоящий момент мы ещё не можем отказать в доверии Временному правительству... Но русская демократия не желает аннексий... Но русская армия всегда должна быть наготове защищать свободу и решительно отразить все попытки извне и изнутри... А главный наш враг — внутренний, и имя ему — раздоры и разногласия. И нельзя их допускать, товарищи! Ура!..

На «ура» его голос уже совсем истощал, но ближние охотно подхватили, чтоб не было раздоров, а дальше подхватили от ближних одно «ура» и понесли.

И те двое слезли, однако вылез прапорщик с закинутой головой, из вожаков 180-го, кто их привёл. Снял фуражку, прямое гордеватое лицо. И — звонко, уверенно, кулаком под свои слова помахивая:

— ...Империалистическая, захватно-грабительская нота Временного правительства... Союз с английскими и французскими банкирами священен? — а кто заключил этот союз? Царь, Распутин и царская шайка! Солдаты! Вы защищали до сих пор тёмные договоры царя, которые прятали от вас как позорную болезнь. Милюков, Гучков, Терещенко, Коновалов, капиталисты — нуждаются в новых рынках сбыта. Если нужно уложить ещё десяток миллионов русских мужиков для ограбления малых народов — то наших министров это не остановит. Воюйте потому, что мы хотим грабить! Эта милюковская нота — есть провокация и отрывка старого режима. Она поможет Вильгельму: раз русские хотят воевать до конца — так и немцам остаётся только до конца! А зачем солдату война? Ему достаются только увечья, смерть, а для семей голод.

— Так что? — крикнули ему снизу. — Бросать фронт, что ли?

Прапорщик не дал перебить:

— Мы не говорим кончать войну на любых условиях немедленно. Мы требуем: отказа от завоеваний! Начать мирные переговоры!

Но не успел тот прапорщик кончить — перед дворцом на вскатную дорожку подъехал ещё один большой открытый автомобиль — а в нём генерал с двумя адъютантами. И генерал поднялся выходить — сразу его узнали, все батальоны уже в лицо знали: командующий Округом генерал Корнилов.

Вышел из машины легко, быстро, глянул строго на строй финляндцев перед собой — и солдаты безо всяких команд заворочались, заворочались, куда поначалу лицом стояли, — и выравнились: всё ж таки Командующего уважить надо. А там по строям раздалась и свои команды, винтовки к ноге, равняйся, пристукнули тысячи прикладов о плитчатые камешки. И никто уже прапорщика с вышки не слушал, он постоял — и спустился. 180-й полк тоже выравнялся, сам по себе.

А генерал Корнилов начал обход от флотского экипажа, и вдоль фронта финляндцев, и вдоль 180-го, и москвичей, и до конца. Смуглый, подвижно-сухой. Оружие золотое. Проходил — зорко поглядывал сощуренными глазами, укорного замечания ни одного не издал, а только местами приветствовал — и дружно кричали ему «ура».

А потом поднялся и на ту вышку, и сильный ветер отпахивал полы его шинели, красной подкладкой наружу. Не кричал, а хорошо было слышно, густо:

— Прошло то время, братцы, когда вы не могли и словом обмолвиться о том, что у вас в интересе. Ныне вы — вооружённый народ. В этом ваша сила. Но в этом и слабость. Сила: что всякое ваше требование вы можете поддержать штыками. А слабость: вы слабей дисциплинированы, чем кадровые войска. И я призываю вас к строгой дисциплине, которая создаст вам единство. Скажу о себе. Вот, я сын сибирского казака и бурятки. Родился я в бедной семье, и в военное обучение пошёл с тринадцати лет.

Площадь зашла в «ура».

— И 35 лет я на воинской службе, и всегда был от политики в стороне. Будьте и вы. Наше с вами дело — солдатское. Спокойствие и порядок. Только тогда мы сможем служить родине. Как лицо, стоящее во главе петроградского гарнизона, я считаю своим долгом довести до сведения Временного правительства о ваших пожеланиях. Сегодня вы показали свою силу — а теперь прошу вас разойтись по казармам.

И под долгое, то слитное, то разрывистое «ура» — сошёл с вышки. Стал рядом со своим автомобилем на покатоном подъёме к дворцу.

И заиграл марсельезу оркестр флотского экипажа, и заиграл марсельезу оркестр 180-го — и нашлись везде, кому командовать, снова взяли винтовки на ремень, разворачивались — и пошли в разные стороны.

Кто — прямо в казармы. А кто — по Морской да на Невский, охота теперь по главным улицам пройти. Пусть народ на нас поглядит, какие мы молодцы.

Линде — бежал за своим батальоном, кричал, отговаривал уходить.

И остался бы в эти часы генерал Алексеев совсем без дел, если бы не насочилось к довшину корреспондентов: другие поспешили на Мариинскую площадь, а эти сюда: Верховный в столице — небывалость. Гучков разрешил Алексееву дать пресс-конференцию, отвели им комнату.

Первый вопрос, конечно, касается последнего, что набурлило: как относится генерал к самовольному выходу войск?

А зачем ему в это мешаться? Он видел, в какой растерянности министры. Кося через очки:

— Я слишком оторван от жизни, живу в Могилёве. Ничего определённого сказать не могу.

Хотя и слепому видно. А вот:

— Все события последних месяцев армия переживает болезненно. Трезвый голос печати должен прийти на помощь армии. Твердить, что России нужна победа. Тут ещё пропаганда ленинского толка — опасная игра на человеческих страстях. Надо бы её прекратить.

Да они рады бы помочь, да они думали то же самое. Но их травили как буржуазную печать — и найдись, что ответить. Объявляли им рабоче-крестьянские бойкоты.

— Конечно, Бог нам даст, — (только на Бога и надежда), — пережить этот тяжёлый период, и мы выполним обязанности перед союзниками и придём к победе. У русского народа здравый ум, честное хорошее сердце...

Каково положение на фронтах? особенно — на Северном?

В марте, поднимая тревогу о Петрограде, действовали более верно. Но сейчас Гучков и другие министры просили: непременно успокоить.

— Петроград может быть спокоен за свою участь. У нас достаточно сил. О столице заботятся. Настроение в Петрограде близко к панике, но оно ни на чём не основано.

Шевельнулось сказать посмелей:

— Если мы и боимся за Петроград, то только в том отношении, что отсюда не всегда идёт здоровый дух. Заявления, что война окончена, вселяют в армии беспокойство.

Вопрос (на поддержку генералу): братание?

— Да, к сожалению. Но это позорное явление постепенно ликвидируется. Противник возлагает большие, но ложные надежды, что революция и пропаганда разложат нашу армию сами собой.

А можно ли ожидать в ближайшее время генеральных сражений?

— Да. Этим летом развернётся генеральное сражение и на Западе, и на Востоке. Вообще, 1917 год — решающий год в мировой войне, ибо народы так устали, что вряд ли смогут проявить способность к борьбе больше 4—6 месяцев.

Верят ли в победу союзники?

— Они непоколебимы. А у нас... — вздохнул, — у нас, к сожалению, мечты не о победе, а об установлении тихой мирной жизни. Даже вступление в войну Соединённых Штатов у нас не произвело впечатления.

Есть ли в армии ячейки или гнёзда, на которые могла бы опереться контрреволюция?

— Нет! От генерала до солдата все преданы новому строю. Надо было видеть, — пригальось невольно, — тот искренний порыв, каким был встречен переворот в армии... В общем, мы переживаем сейчас чудесное, но большое время. Будем надеяться, что этот временный кошмар исчезнет.

А может быть, нужно было говорить всё — не так? ударить в набат: разваливают Армию до конца?!

Боялся дать знать немцам.

Боялся столкновения с Советом.

И подорвать министров...

Со середины дня по Петрограду потекли слухи, что восстали полки, заблокировали Мариинский дворец и арестовали Временное правительство.

— Да что ж мы бездействуем, господа? Надо — вызволять правительство?!

— А — как?..

\* \* \*

Стал оживляться Невский. Там и сям собирались возбуждённые группы. Единомышленные, в них не спорят, а все возмущаются. Поднимаются и ораторы на случайных возвышениях:

— Да что ж это делается, господа? Да это же — не царское, это — наше революционное правительство!

Летучие митинги переливаются один в другой. Надо — *идти?*.. А куда мы пойдём? И что из этого будет?

Идти? Тогда надо и — *нести*. А — что? Красные флаги, их ещё много везде осталось. И плакаты, их тоже осталось от 1 мая. Хоть они — не о том.

Всё же стали — *идти*... Сперва неуверенно.

Но к ним примыкают.

\* \* \*

Но и так: идёт по Невскому беспорядочная толпа 16—17-летних и несут «Долой Милюкова».

Военный врач спрашивает одного:

— А как быть с Временным правительством?

— Пускай сидит.

\* \* \*

Всё более заливаётся Невский манифестациями, сочувственными Милюкову и Временному правительству. Уже — многосотенные, жители центра. И идут — через Фонтанку, через Мойку — на Мариинскую. Вызволять!

Уличное движение замедлилось, но трамваи пролетают.

\* \* \*

На углу Морской пересечение: с Мариинской площади уходил 180 полк, а от Мойки подошла манифестация штатских — котелки, студенческие фуражки, шляпки. Из солдатского строя закричали:

— Долой!

Но невские манифестанты не спустили плаката: «Да здравствует Временное правительство!» Тогда солдаты из строя кинулись на этих чистюль с кулаками, огрели кой-кого, а плакат изорвали штыками. Те и публика с тротуара кричали:

— Насилие! Произвол!

А солдаты:

— Долой провокацию!

Но — подхватились, и к своему строю, драка не развязалась. А публика — собралась гуще, негодовали. Высокий офицер выразил общее *недоумение*, что солдаты позволили себе такой поступок по отношению к гражданам, так же свободно, как они сами, выражающим своё мнение.

\* \* \*

После конца заводской дневной смены стали появляться рабочие демонстрации и в центре города. Шли в рабочей одежде, несли редко красные флаги, да оставшиеся плакаты: «Стать под знамёна Циммервальда», «Всеобщее страхование жизни за счёт государства» Несколько сот с революционными песнями прошли до Знаменской площади, но там не задержались, ушли по Лиговке.

И ещё вослед — толпа работниц, четыреста — пятьсот, среди них и подростки, с «Долой Милюкова» и пением «Отречёмся от старого мира» быстро-быстро шли по Невскому к Знаменской, будто им надо только отбыть проходку.

А им навстречу — «Полное доверие Милюкову!», и солдаты есть в том шествии. Проминули друг друга безболезненно.



\* \* \*

В начале Невского остановили автомобиль адмирала Весёлкина как якобы переодетого Милюкова, потребовали разоружить и арестовать. Но подоспели матросы, что знают этого адмирала. Всех повели в морской штаб для проверки.

\* \* \*

Противоположные шествия обмениваются резкими репликами, но без потасовки. Прошли по Невскому и опоздавшие какие-то небольшие отряды Измайловского и Петроградского батальонов. «Опубликовать договоры с союзниками».

Из окон Невского и с балконов энергичными взмахами приветствуют правительственные демонстрации.

\* \* \*

По всему Невскому на каждом перекрестке вырастают толпы, нетерпеливо слушают ораторов, кричат одобрителное или «долой». А где — образуется уличный председатель и даёт слово по очереди. Горячо жестикулируют, наступают друг на друга. Вот дама спорит с гвардейским солдатом. Рабочий в чёрном пальто:

— Милюкова надо подсократить.

Барышня в высоких шнурованных ботинках ахает.

Студент с фонарного столба:

— Милюков говорит — воевать до победного конца, — значит будем воевать без конца.

Господин в котелке, спиной к афишной тумбе:

— У нас же неспособны критически вникать в доводы. Успех у того, кто предлагает самое приятное. Что они предлагают? — пожалейте врага, который сильнее нас и захватил наших пятнадцать губерний!..

Полковник фронтовой со ступенек:

— Мы не скрываем, мы устали, оторвались от наших семей, живём почти в невыносимых условиях. Но армия решительно протестует против позорного мира!

С «ура» его подхватили на руки и понесли по Невскому.

На проспекте там и сям — иностранцы, с любопытством наблюдают.

\* \* \*

— Так нельзя! Сегодня кричат «долой Милюкова», а завтра кричат «долой Керенского»?

Долговязый солдат:

— Да ничего вы не понимаете.

— А кто понимает?..

Соседний господин:

— Россия всё должна испытать на своей шкуре.

\* \* \*

От высоких ступеней городской думы, где призывали к доверию, несколько студентов и офицеров крикнули: «Идёмте к министерству иностранных дел!» Наскоро написали на красных флагах мелом: «Да здравствует Временное правительство!», «Долой Ленина!», — и пошли. По пути к ним присоединялись, и уже под арку Главного Штаба вышло на Дворцовую площадь тысяч до пяти, впереди — однорукий офицер.

Вправо. Остановились, держа флаги. Ждали — не выйдет ли Милюков. На балкон вышел его заместитель Нератов:

— Русская свобода всегда была дорога Милюкову, и никогда он её не предаст!

— Верим! Верим! Да здравствует Милюков!

Овация.

Отсюда решили идти к Мариинскому дворцу, может повидать Милюкова там.

У «Астории» встретились с враждебной манифестацией, кое-кто схватился. Но разняли милиционеры, прыгнувшие с грузовика.

\* \* \*

А какие рабочие манифестации поплелись по привычке к Таврическому дворцу — там никого не заставляли.

Потом вышел Либер с пылкой речью:

— Самообладание, товарищи! Свержение правительства сейчас крайне целесообразно!

\* \* \*

В толпах только и слышны — то «ура», то «долой».

— Керенского! Пойдём за Керенским! Как он скажет?

Но — нет его нигде, и не слышно.

Студент института гражданских инженеров бежит по мостовой вскачь и кулаком описывает круги:

— Долой Ленина! Да здравствует Временное правительство! Да здравствует свобода!

\* \* \*

С клодтовских коней студенты убеждают проходящие манифестации:

— Не надо! Расходитесь! Вот-вот начинается общее заседание правительства, там всё и решится! Завтра узнаем!

## 60

Если считать от бессонной ночи и утренней переполошной встречи с Керенским, и потом нарастающих переполохов дня — Станкевич сегодня действовал достаточно, и был доволен. Главное: в последние часы он как бы взял военную власть в Таврическом: собрал свою Исполнительную солдатскую комиссию (ведь он — и был теперь вождь петроградской солдатни), быстро провёл постановление — и растелефонировали по всем воинским частям: всем вернуться в казармы, и ни одной части не выходить из казарм без распоряжения ИК. И так — он обрубил начинавшийся солдатский бунт, повторение Февраля. Конечно, тысячи солдат и сейчас на улице, и вон шумят под просторными окнами Морского корпуса, разлившись уже по всей полосе от здания и до неевского берега, — но ни одна часть, и вооружённая, — не выйдет. Решил брать в руки руль — и взял.

Морской корпус уже привык к грузной толкучке Совета и установленным скамьям (а модель фрегата и статую Петра I вынесли) — как будто в этом обширном зале никогда и не строили опрятных морских кадетиков. Теперь собирались две тысячи в чёрных нечистых куртках и в расхлябанных солдатских шинелях. Сегодня с утра напечатала жирно крупно в «Известиях», и депутаты же сами видели, а больше слышали, что где творится в столице, — и собирались с нововоенным чувством хозяев её, и страны, и своей судьбы: как мы сами постановим, так и будет, внушили за эти два месяца им.

А члены-то Исполкома знали, что Совет собран по перебулгачке, зря, уже и отменить нельзя, и решать нечего.

Чхеидзе от этого испытывал стыд, и растягивал вступительную речь, замазывал, что зря их всех собрали. Начал со всей истории: как ждали следующего высказывания правительства об аннексиях и контрибуциях, чтобы решить поддержку или неподдержку займа. И вот — правительство опубликовало документ, которого мы ждали.

За окнами — ещё закатное солнце.

В зале — тишина. В газете мало кто читал, не столько-то читателей. Давая отдохнуть Чхеидзе, Богданов своей привычной лужёной

глоткой прочёл ноту. Снова поднялся Чхеидзе, бесконечно утомлённый.

И вот, Исполнительный Комитет заседал всю ночь, но не мог вынести определённого решения. Сошлись, что под «до решительной победы» понимай что угодно, а отказ от аннексий и контрибуций затушёван.

«Аннексии и контрибуции» стали таким повторяемым сочетанием, что никто из ораторов их не объясняет (да и поперву не толковали), но что-то в них очень мерзкое, как какие-то червяки или пауки, толпа должна понимать.

И вот, сегодня днём опять заседал Исполнительный Комитет, и опять не могли принять решения. И мы собрали Совет, чтобы выработать общую линию поведения демократии. Мы хотим, чтобы Временное правительство отказалось от захватов без неясностей. Нам известно, что правительство тоже сознаёт всю серьёзность и остроту собственного положения. Во всяком случае, мы заявим правительству, что желаем ознакомиться со всей картиной работы, предшествовавшей опубликованию ноты. И мы от них потребуем посылки новой ноты союзникам, с ясным истолкованием. И вот, сознавая ответственность момента, мы решили созвать Совет и выслушать ваше решение. Но давайте не принимать никакого опрометчивого решения, не взвесив хорошо обстановки. И мы просим вас уполномочить Исполнительный Комитет для ведения переговоров. Они назначены на 9 часов вечера.

— Где??

— В Мариинском дворце.

Резкие голоса:

— Пусть идут они сюда, а не мы к ним!

— Что они, нас боятся, что ли?

Шум. Чхеидзе смущён:

— Результаты наших переговоров будут сообщены всем вам во всей полноте. Завтра. Поддержите нас сейчас, а окончательное решение мы примем завтра. Ввиду остроты положения Исполнительный Комитет хочет быть в контакте с вами, и предлагает вам собраться снова завтра.

— Почему завтра??

— Почему не сегодня решать? Мы все здесь!

Сбитый этими выкриками или запутавшись неясной мыслью, Чхеидзе вместо того, чтоб кончить дежурное вступление и сесть, за чем-то понёс в сторону:

— ...А теперь мы обратимся к нашим товарищам, социалистам Англии и Франции, и спросим, примут ли они решительные шаги, чтобы заставить и свои правительства отказаться от аннексий и контрибуций.

Но дёрнули его сзади за пиджак — он дальше не развивал темы, сел.

Кажется, он всё объяснил, решать ничего нельзя, и можно бы дальше не обсуждать, разойтись? — не тут-то было. У Богданова уже был список желающих ораторов около полусотни.

Но первым — с утра был записан Станкевич.

Стройный, худой, строгий сощуренный поручик (неузнаваемо овоененный приват-доцент) — вышел к трибуне, на ещё одну решительную схватку. Не только придать какой-то же смысл этому пустому заседанию, не только не дать толпе разбуяниться, но ещё публично потеснить эсеров и эсдеков, выбрыкивающих против абсолютно ясной необходимости коалиционного правительства. Кажется, Станкевич хорошо придумал, как эту речь сказать.

Вышел, чуть потрогал двумя пальцами маленькие усики, как это и делают офицеры (выступление офицера в Совете редкость, отменно). Постоял, дождавшись полной тишины. И — звучно, властно:

— Между правительством и Советом ещё вчера было единение — но ему нанесен удар. Временное правительство отошло от пути, по которому идёт революционный народ. В ноте мы читаем старые слова о победоносном конце. Некоторые члены Временного правительства не так понимают свои задачи, как нужно, и между ними самими существует взаимное непонимание. — (Обещанная помощь Керенскому.) — Мы имеем сведения, что для правительства наше порицание оказалось неожиданным. Оно думало, что этой нотой пойдёт навстречу демократии...

Шиканье и свистки. (Большевики.) Надо быть готовым, но и банализировать осторожней.

— ...однако ошиблось. Я не защищаю правительства, но только даю объяснение происходящему. Создалось обоюдное непонимание. Но надо думать: что теперь делать? какой выход? Можно бы просто свергнуть правительство и арестовать.

Бурные аплодисменты. (Большевики.) Переклонил в другую сторону? Но тут-то — самый эффектный, задуманный ораторский поворот. От роскоши зала, ещё не ободранного наверху, остались большие настенные круглые часы, и на ходу.

— ...но это был бы вывод примитивной логики, и я отношу ваши аплодисменты к тому, что это рассуждение — примитивное. Такие меры для нас неприменимы. Наша сила — велика и без этого. И это не то старое правительство, которое цеплялось за власть пулемётами. Вот, посмотрите! — взнесенная тонкая указательная рука. И все повернулись туда. — Сейчас без пяти минут семь. И если мы захотим — мы сейчас отсюда позвоним по телефону, и в пять минут восьмого Временное правительство перестанет существовать!

Поразил. И вертятся головы в поворотах от часов на оратора и снова на часы. Неистовые рукоплескания. (Как гордо народу сознавать себя властным!) Но ледяным отрубистым голосом возвращает их оратор:

— Но зачем это нам? Скороспелое решение только усложнит дело. Против кого нам применять силу? в кого стрелять? Ведь вся сила — это вы! И масса, которая стоит за вами. Помимо насилия есть разные выходы. Мы ни на минуту не поколеблемся выразить недоверие Временному правительству, если оно не удовлетворит наших требований. Но предостерегаю вас от поспешных решений. Момент слишком важный, чтобы поддаться чувству.

В зале — большое впечатление. Затихли.

Да если бы, если бы! всегда успевать ознакомить массу с положением внутренним, международным, истинными задачами войны, если бы всё основательно рассказать народу! — а в чём же народо-властие? как мы его мыслим? Мы говорим «демократия» — а понимаем: власть образованных, как ты и я, и никто из нас не имеет в виду подчиниться власти черномытых людей.

— Решать вопрос о смещении правительства может быть труднее, чем вам кажется. Когда так обострился продовольственный вопрос, транспорт, финансы, быть может, нам нужно, чтобы правительство осталось. В такой момент бремя власти — не радует, оно тяжело, и брать власть в свои руки — преждевременно и опасно. В первые дни революции мы же не взвалили её на себя. Так идите спокойно за своими вождями. Они не призывают вас немедленно захватывать власть — значит у них есть серьёзные основания. Дать стране сразу новое, лучшее, и всеми признанное правительство — не легко.

Ворчание, ропот большевиков. Но зал — и сильно убеждён.

— Кроме того, есть и такой выход; мы знаем отдельных представителей Временного правительства, мешающих единению с демократией, и могли бы удалить одного или несколько.

— Всех долой!! — режут из кучки большевиков близ кафедры.

Но Станкевич властно поднимает руку к спокойствию — и зал снова с ним. Теперь — сказать всему Совету то, что рикошетом пригодится и социалистам в президиуме:

— Демократия крепнет, и мы уже чувствуем, что скоро будем готовы разделить власть, взять себе часть министерских постов. И это — признак нашей зрелости.

После таких двух речей — президиум не мог выпустить никого, кроме как большевика, они рвались на трибуну. Но что это? где все их известные вожди? Ни самоуверенного Каменева, ни пламенной Коллонтай, ни напористого Шляпникова. Выпускают какого-то Фёдорова, молодого, с усиками, вид рабочего, но смышлено-поворотливый. Хотя и неизвестный, а всё лупит точно, по большевицкой грамоте:

— С какой этой наглостью вздумало буржуазное правительство выполнять старые договора Николая с союзниками? Правительство капиталистов не хочет и не может закончить войны, и никогда не откажется от аннексий! Не надо тешить себя иллюзиями, будто возможно какое-то соглашение с этим правительством! До тех пор, пока демократия не возьмёт власть в свои руки — она не добьётся осуществления своих требований. Нота Милюкова — вызов всей русской демократии, удар в спину всему международному пролетариату. Настал момент сказать нашей империалистической буржуазии: прочь с дороги! Или мы или вы!

Аплодисменты, к большевикам и часть зала, ведь каждой речью их поворачивают.

— Рабочие, солдаты и батраки — (от приезда Ленина пошли у них вместо крестьян только батраки) — должны подсчитать свои силы — и свергнуть Временное правительство! Захватить власть, хотя бы это и повело к гражданской войне! Наш лозунг — Интернационал!

Большевики дружно, горячо кричат в поддержку, и немало их тут, но зал всё же не кричит. Оратор ещё дерзей:

— Нечего бояться! Гражданская война и без того уже наступила! И только через неё народ добьётся освобождения!

Новые и очень страшные слова. Враждебные возгласы ему во множестве.

А когда снаружи рывкнут «ура» или «долой Милюкова» — то и внутри слышно. А видно, кто сидит ближе к окнам, — на пред-сумеречной набережной: всё гуще толпа, от самой стены корпуса до гранитного края берега и во всю длину здания, — тысяча не одна, флаги и плакаты, и кричат, и машут кулаками, и тоже там свои ораторы с возвышений. Может они — и все за большевиков? Тут и сам Совет поостерегись.

И выходит на трибуну — красивый обихоженный мужчина в цвете лет, с густыми русыми волосами, русой бородкой — за две недели уже его знают в лицо: это Чернов, ему гулко аплодируют все здесь эсеры. А он начинает говорить с таким вкусом, неторопливостью, любовью к речи, будто это не речь, а еда у хорошего стола, и успокаивающе передаётся слушателям:

— Товарищи! Положение столь серьёзно и запутанно, что первое слово, с которым я к вам обращаюсь, — это спокойствие, полное решимости. И — вдумчивость. И — мудрая предусмотрительность. Меньше нервности, товарищи, больше трезвого обсуждения дел. Сейчас положение серьёзней, чем было в февральские дни. Тогда мы, — (он, правда, был в Европе), — совместно свергали самодержавие, которое уже сгнило, так что мы не дрожали каждую минуту за успех, и положение было такое ясное: с одной стороны — правительство, с другой стороны весь народ. А теперь — началась усобица между победителями, и нет ничего опасней для революции. Положение неясное, реакция притаилась, но её змеиное шипение мы все слышим, — а если

вспыхнет гражданская война? Контрреволюция не умерла, она ждёт гражданской войны, чтобы вылезти на нас во всеоружии. Нам надо проникнуться серьёзностью момента, и помнить всю чреватость последствий. И поэтому я не стану предлагать собранию скороспелых решений, но скажу: завтра мы увидим, что нам делать. Мы имеем право быть терпеливы, ибо мы сильны.

Но не знал бы тот Виктора Михайловича Чернова, кто бы подумал, что вот он уже и высказался. Это он только вступление делал, а вся речь впереди. И пошёл, и повёл, и повёл.

Конечно, правительство должно отказаться от всяких аннексий и довести до сведения всего мира. Мы знаем, что и демократия других стран будет действовать в том же направлении, — (голос: «мы не видим этого!»), — в том же направлении, а мы покажем им своим примером. Или Временное правительство выполнит наше требование отказаться от завоеваний, или вернёт власть тем инстанциям, от которых получило её, Совету рабочих и солдатских депутатов и Комитету Государственной Думы. — (Громкие рукоплескания, но не всего зала.) — И если этот процесс должен произойти — надо принять меры, чтоб он не дал пищи для реакции. Борьба может быть очень трудной и роковой, но мы не должны торопиться захватывать власть, пока нет условий, гарантирующих удержание её. Не ставьте русскую революцию в положение беременной женщины, разрешающейся выкидышем только из-за быстрого бега. Каждый день увеличивает нашу силу, нам некуда торопиться.

Большевики роптали. Но Чернов — чемпион невозмутимости:

— Демократия не возьмёт власти в свои руки до тех пор, пока осознает свою силу. А когда уже возьмёт — то с тем, чтобы больше не выпускает её из своих рук. И — к этому ведёт нас история! И то правительство — уже будет действительно исполнять национальную задачу. И — я призываю вас к спокойствию, которое не может быть истолковано как признак слабости, а напротив: как результат уверенности в своих силах.

И ещё дальше — ободрительный обзор. Будущего нам нечего бояться. Если в начале революции была рознь между Петроградом и фронтом — то теперь единение с фронтом всё тесней. И каждый день уничтожает разницу в настроении Петрограда и провинции. А внутри страны идёт колоссальная работа, организация выборов в Совет крестьянских депутатов — нарождается ещё новая сила в помощь демократическим силам рабочих и солдат.

— Вооружитесь терпением, товарищи! Не терпением рабской России, а терпением людей, созидających новую жизнь! Власть — вы получите, но не захватом, а рассчитанными шагами.

Чернов даже очень способствовал задаче президиума — как-нибудь протянуть эти часы пустого Совета. И мог бы ещё долго говорить, но очень уж напирал список. Стали давать ораторам не больше пяти минут.

Ещё же один боевой большевик, с неподходящей фамилией Плаксин: Совету рабочих депутатов немедленно брать власть! (И регот большевиков с мест.)

В ответ уговаривает эсер Каплан: не диким криком толпы выражать свою волю, а организацией! От нашего сегодняшнего тут решения (верил ли он, что тут решается?) зависит судьба российского пролетариата, а может быть пролетариата всего мира. Пусть Исполнительный Комитет встретится с Временным правительством, пусть они вынесут продуманное решение!

И меньшевик Гольцман: нота — провокационная выходка, но мы верим Исполнительному Комитету!

И — внеочередный балтийский матрос, не снимая чепчика с ленточками:

— Я к вам — представитель войск, восставших против Временного правительства! Мы требуем отставки Милюкова! Или наше министерство, или гражданская война!!

В зале — разноречивый рёв. И прочёл кой-как сбитые фразы резолюции, будто бы принятой войсками на Мариинской площади. Не поймашь, что такой резолюции не было, — а в зале начинается раскачка, размах, не предвиденный президиумом: этот Совет, пожалуй, непрошено начнёт решать? Невобразимый шум.

— Назовите ваше имя! Кто вы такой?

Не объясняет.

Но Станкевич предвидел, и, подготовленный им, выступает солдат из Исполнительной комиссии:

— Хорошо, мы свергнем правительство, а кто заменит его? Мы? Так у нас руки дрожат, и ещё как задрожат. Нет, не надо нам строить карточных домиков, которые сдунуть будет ещё легче, чем Николая II. Не надо нам азартной игры.

И аплодируют ему шумно, опять зал повернулся. Успех.

Но сейчас же полез анархист:

— Немедленный захват власти! Немедленная социальная революция! Есть исторические примеры! Нельзя ждать ни минуты!

И опять большевик:

— Сегодня мы ещё можем бороться с Милюковыми, а завтра их силы могут вырасти!

Тут как бочку масла на взволнованное море, выпустили от Исполкома Бройдо. Этот сперва по ветру: Милюков не понимает положения вещей, и идёт вразрез с желаниями революционной демократии, он имеет в виду интересы буржуазии, а не рабочего класса. А вот и против ветра: но если мы возьмём власть в свои руки, не внесём ли мы раскол в демократию? Ведь с нами — не весь народ, часть народа против нас, а другие слои сейчас с нами, но отвернутся от нас, если мы восстанем? И это неправда, будто сегодня воинские части хотели занять дворец и арестовать правительство. Не было такого. А если бы это случилось — это было бы преступлением против демократии.

Чхейдзе, который уже и с Исполкомом не справляется, не то что с двухтысячным Советом (а ещё вызывали его и наружу, к толпе на набережной), пытается наставить ослабшим голосом: Исполнительный Комитет должен теперь ехать на совещание с правительством. Ещё записано сорок человек — но мы не можем уже обсуждать. А вы сейчас разойдитесь по городу — повлияйте на революционные массы, пусть будут готовы к борьбе, если она понадобится. Но пусть будут уверены, что Исполком предпримет всё. А завтра мы соберёмся, обсудим.

Президиум потянулся уходить, а закрыть собрание предоставили Скобелеву. У него глотка сильная, но большевики громче:

— Продолжать собрание!

— Предлагаем избрать председателем товарища Ленина!

Которого тут и нет, — но новый взрыв рёва!

Такого случая ни разу не было на Совете от первого дня революции. Скобелев:

— Призывать к гражданской войне — преступление против свободы народа. Собрание объявляю закрытым до завтра.

Крики:

— Нет! Продолжать!

А ещё ж и с набережной гул, и там не расходятся!!

Собрание распадается на множество мелких митингов. Большевики выскакивают на возвышение. Сейчас соединят и продолжат Совет?

Как же это легко поджигается!

Выскакивает всё тот же Каплан:

— И что? Это будет обман России! Вы тут вынесете решение — а Россия будет думать: решил Совет рабочих депутатов?



Кто из зала и потянулись, потянулись на выход, не хотят без президиума.

Кто: — Наш долг идти на улицу, к революционному народу!

Большевики неистовствуют:

— Идите торговаться!

— Лакействуйте!

— Сговаривайтесь с Милюковым, как обмануть народ!

Кто вываливал вон, кто плачивался в кучки, кипеть.

Всё смешалось.

## 61

Войска с Мариинской площади ушли, но площадь нисколько не успокоилась, напротив. Остались тут все взбудораженные, кто набрались при войсках, и начатый митинг с первомайской трибуны перед дворцом уже не утихал: всё время густило несколько сотен слушателей вокруг — и на помосте сменялись ораторы самые пёстрые, держась для верности за рейку, прибитую как перила. И в тон тому, как больше всего спорили о войне, — кружились в вечеряющем солнце перед дворцом голуби, голуби, всё менее находя себе тут покоя и свободного места на мостовой. тревожно воркотали, усеивали края гипсовых ваз при крыльце, ущерблённых февральской стрельбой.

Солдаты, которые порознь, не во власти своих вожаков и плакатов, — сплошь разумно рассуждали: «Конечно, войну никак бросать нельзя, мы всегда за победу».

Но за эти часы не только по соседству — весь город уже знал о войсковом выходе на площадь, и с разных концов вливались сюда люди стайками. Ушли полки — но тут возмещались петроградским жителем всех возрастов и одежд, — и уже снова площадь заливали тысячи, из края в край ничего не слышно, и там и сям образовывались свои группки и возвышались свои ораторы — кто на выкаченной бочке, принесенном табурете, кто на козлах пролётки терпеливого извозчика, а кто половчей — и взлезая по фонарным столбам.

И от кучки до кучки и дальше по площади, за спиной облегчённо-грациозного Николая I, прокатывались только «ура» и «долой», «ура» и «долой» — а сами страстные доводы гасли там накоротке.

Это был незапамятно небывалый самочинный народный мирный сбор: в февральские морозы больше бегали, глядели, поджигали и тушили, или тащили людей, вещи. Сегодня не было у толпы ни дирижёра, ни вожака, ни возглавителя — но один-то возглавитель мысленно реял постоянно перед всеми жителями революционной России: конечно, Керенский! Вот ему бы тут сейчас появиться с увлекательным словом! И вот за ним бы сейчас все повалили согласным валом!

И из ближней ко дворцу толпы составили делегацию из офицера, студента, двух штатских: идти во дворец, узнать, где Керенский, телефонировать ему, звать его срочно! Даже удивительно было, что он до сих пор не появился сам.

Сменилось на трибуне ещё два оратора, и спорили внизу по соседству, в толпе. Да из военных никто не высказывался против войны, а только против министерских тайн и за ясность целей, зато уж штатские и дамы все были за войну до решительного победного конца. Уж таков становился на площади состав толпы, что и спора настоящего не было, а всё больше за правительство. И очень жалели Милюкова, подвергшегося такой несправедливой атаке.

Вернулась депутация из дворца, и офицер, поднявшись на помост, объявил: Керенский — тяжело заболел, лежит в постели, на митинг приехать не может. Но просит граждан сохранять спокойствие и верить, что Временное правительство стоит на страже свободы. Наш дорогой министр передаёт всем собравшимся — привет!

Большое разочарование, хотя и доля очарования от дорогого министра.

За эти часы уже не первая депутация ходила от толпы во дворец — звать выйти Милюкова, или князя Львова, или кого-либо, кого-либо из министров. И как досадно: вопреки всеобщему представлению, что Мариинский дворец — резиденция правительства, — за весь день ни один министр не появился.

Около шести часов вечера с Морской вышла новая солдатская колонна, без музыки и без оружия. Нестройно пели марсельезу, перестали. Это оказался опоздавший к сбору батальонов — Павловский. Он шёл почти без единого офицера и довольно расхлябанно. Впереди несли «Долой захватную политику Милюкова!», «Да здравствует мир без аннексий и контрибуций!».

Пришёл — а ему на площади уже и места нет, так залито. Всё же нашёл, стал боком ко дворцу. И настолько не было вида военного строя, что публика легко к нему притискивалась и спрашивала: зачем пришли? и почему им нота Милюкова не нравится? и неужели они хотят отдать Россию немцам? Павловцы отвечали нескладно. Отдать немцам? — никак, никто не хочет. Чего в этой ноте? — ни один разумно не ответил. А что такое «аннексии»? — ни единый не знал.

А с трибуны не успевали выступать. Взобрался маленький, лет сорока, почти горбатый Алексинский, бывший член 2-й Государственной Думы, и больше к павловцам:

— Я только что прибыл из Франции. Я видел ту радость, которая охватила французскую демократию в дни нашего переворота. Рабочие говорили: «Теперь мы спокойны, ваше дело в верных руках». А если бы они увидели сегодняшнюю картину на этой площади? Такого удара от русской демократии они не могли ждать. Как же могут русские солдаты идти под такими лозунгами? Позор и тем, кто приходил, и ещё больше тем, кто их приводил! Но я надеюсь, что этот тяжёлый кошмар скоро рассеется. Надо думать не только о себе, но и о судьбах мира. Ваши сердца от революции должны стать гранитными! Я призываю вас к национальной чести! Вот вы поёте марсельезу — а какое право вы имеете её петь, если пойдёте против Франции?

Гражданская толпа всё время шумно одобряла Алексинского. А выступил большевик, что нельзя Алексинскому доверять, он печатается в буржуазных газетах, — не имел успеха, согнали его свистом.

Хмуро, диковато постоял Павловский батальон меньше часа, видно, что опоздал к именинам, — и сконфуженные вожаки увели его той же дорогой, без марсельезы.

На площади передавали, что из Демидова переулка подходил ещё и отряд Егерского батальона — но какие-то юнкера с винтовками перерогородили переулок и не пустили их.

Вылез выступать офицер:

— Сила штыков — на стороне революционной армии! Мы все — на стороне Совета рабочих депутатов. И пусть объявят тайные договоры, заключённые Николаем Кровавым!

Офицер! — и не поперхнётся. Свистом и криками согнали его.

А взобрался инвалид — и сердечно призывал к защите родины. И ему сильно рукоплескали, кричали «ура».

Ни одной воинской колонны больше не осталось, а солдат в толпе было много, но все — за родину.

Всё это было так необычно в России: никем не собранная многотысячная толпа, свободная трибуна и полная воля говорить что хочешь, в любую сторону.

Но больше того: здесь, сейчас, к людям вернулась привычка февральских дней: незнакомые легко разговаривали, как самые знакомые, горячо друг ко другу, и понимая же как друг друга:

— Свободу слова они поняли как свободу натравливания!

— Какая-то злая духовная эпидемия! Самодовольные фанатики бросают в массу ядовитые семена — а ведь это пахнет междуусобицей!

— Возгласили и дали свободу каждому, и каждый упивается — и возникло равнодушие к судьбе Целого, к родине!

— Ах, господа, это всё идёт ещё от Александра Третьего, это он виновник всех наших несчастий. Он всегда всему давал задний ход, и так пошло на 35 лет. Нам никогда не давали организовать народ, и поэтому как только рухнула полиция — мы стоим перед анархией.

А между тем солнце, полого забирая к северу, закатывалось, кончался и долгий северный вечер, хоть весенний, но прохладный. Ветер стихал.

А министров не могли ни увидеть, ни дозваться, — где же они? Дружелюбная толпа ждала объединения, возглавления — и не было его.

Тут показалась новая манифестация, мимо Исаакия и сюда. Приблизилась, на плакатах разобрали: против Временного правительства, и мир без аннексий, и даже «через Циммервальд к социализму», — и Мариинская площадь встретила их враждебными возгласами.

Это оказались василеостровские рабочие — Симменс-Гальске, Шукерт и Кабельный. Они всё же нашли место, остановились, не опуская своих плакатов. Но с трибуны несло:

— ...хотят омрачить нашу новорожденную свободу безумным своеволием! Это стыд наш и позор — «братание»! С кем братаются? С теми, кто в концентрационных лагерях морит голодом наших солдат? Кто душит нас ядовитыми газами? Кто отрёкся от демократических идеалов? Ну пусть братаются, но помнят, что есть и суд истории!

Поняв, что это всё им не по нюху, вожаки василеостровцев повели своих по Морской к Невскому.

И снова — вся разливистая площадь была заодно! Чудо какое!

— Довольно мы праздновали, господа, довольно славословили! Два месяца! А теперь нужен переход к власти!

— И к суровой работе!

— В такие моменты достаточно одного мгновения нерешительности, чтобы власть была утеряна навсегда! И лучше — наделать ошибок в действиях, чем воздерживаться от действия!

Да, но — где же, где же были наши министры?? Вот уже и день кончился, сумерки, зажигались фонари — а правительства за весь день так и не было никого во дворце. В этом тоже рисовался грустный символ.

Но нет! — настроение толпы было: не расходиться! Шёл слух, что в 9 часов во дворце будет важное совещание: съедется всё правительство и головка Совета. И так narosло не разряженное за полдня напряжение толпы — теперь хотели дожидаться министров! — и выразить им горячую поддержку!

— Если б нашу революцию побеждала бы контрреволюция — это было бы даже не так обидно: ну, не хватило сил, наше несчастье — но не позор! А вот — революция позорно погибает от собственного внутреннего разложения!

— Железную непреклонность проявляют только эти крайние левые. А мы — мы только красиво говорим об идеалах.

— В каждой стране есть граждане и есть обыватели. Но у нас вторых слишком много.

— Простите, что за ироническое отношение к обывателю как *quantité négligeable*? Обыватель — это учитель, врач, служащий, бухгалтер, лавочник, да и крестьянин. Это — весь народ.

За дворцом, по ту сторону Мойки, выползала луна, близкая к полной.

Пока — потянулась струя к итальянскому посольству, по соседству, приветствовать союзника. Там — посол вышел на балкон, раскланивался, благодарил. Туда подоспел и открытый автомобиль, из которого оратор объявил, что он — Скобелев, убеждал не травить Ленина

и разойтись. Его приняли за большевика, не давали говорить. Он оправдывался, что и сам против Ленина, тогда ему устроили овацию.

А на площади толпа — всё росла. И уже так была вся за правительство, что едва кто высказывался против — от взрыва возмущения вблизи замолкал — и убирался вон. К ночи и солдат становилось меньше, а рабочих — просто ни одного. Толпился, волновался и господствовал тут — центральный коренной Петербург. Вся площадь, и дальше николаевского памятника, была в головах, в головах — если не 25 тысяч, то 20.

А на фасаде дворца всё висит, от 1 мая, огромное: «Да здравствует Интернационал!»

Вот — бескрайняя площадь, и всё это — мы, и мы все заодно. И в этом, как будто бесплодном, стоянии час за часом, час за часом, наше тревожное сознание словно ещё проясняется: неповторимый вечер! Это, может быть, поворотный пункт революции! Или власть будет признана — или начнётся анархия по России. Может, эти часы нашего тут стояния — часы великой патриотической драмы. В ком бьётся любовь к России — не уходите! Дождёмся! Повлияем!

Ну, вот они! Вот, наконец! Подъезжают в автомобилях, по охотно освобождаемым проходам, и сами министры! Первый — Владимир Львов! Речь! Хотим речь! Взшёл на ступеньки дворца, дюжий, чернорободый:

— Заверяю вас, что члены Временного правительства, вышедшие из Государственной Думы, будут стойко исполнять волю народа.

Толпа уже накалена, ей только искорку! Хоть и здорового детину — подхватили Львова на руки и с криками «ура» внесли в вестибюль дворца.

Новый рожок через толпу — а это кто? Мотор взъезжает на пандус — из дверцы выскакивает быстрый Некрасов (у него появились приёмы Керенского) — и властно, на много рядов слышно:

— Мы пережили сегодня тяжёлый день. Мы слышали призывы к миру «во что бы то ни стало», и это нас больно поразило. Заветная цель Временного правительства именно дать стране мир. Но мир — после победы, а не какой иной. Позвольте нам надеяться, что страна поймёт и поддержит нас. — (Ну конечно! Ну для этого же мы и здесь. «Ура-а-а!») — Временное правительство будет свято исполнять свои обязанности до конца и передаст власть лишь в руки тех, кто будет выражать волю всего народа.

Намекнул! Намекнул, что Совету — не уступят! Ах, молодец!

— Ура-а-а-а! — И его тоже подхватили на руки с подъезда в вестибюль.

И тут едва не пропустили на ступеньках Шингарёва, перешедшего через толпу пешком от своего министерства. Потребовали речи и от него. Он выглядел совсем не вдохновлённо, и голос его не был слышен далеко:

— Мы клялись сохранить власть, лишь доведя страну до Учредительного Собрания. Мы присягали охранить народ от внутренних и внешних врагов, — и мы не желаем хоть на один час дольше сохранять власть, чем этого хочет народ.

А в этом — уже не было ли ноты слабости? Неужели они могут уступить?

— Граждане! Если вы поддержите Временное правительство — оно исполнит свой долг до конца.

Браво! Мы конечно поддержим! Да здесь вся бескрайняя Россия перед вами, неужели вы не видите? (Потерялась ещё какая-то его странная фраза — «но делать то, что правительство не вправе, — оно не станет».) «Ура-а-а!» Подхватили, понесли и Шингарёва.

Нет! Отечество ещё не на краю гибели!

Тут — с мощным рожком, в крупном открытом автомобиле подъ-

ехал от Морской сам гигант Родзянко. Рёв восторга встретил его ещё прежде, чем он выбрался через дверцу.

Но — и неузнаваем же был гигант: уже не высилась так его голова, и плечи не те, и ростом, кажется, уменьшился. И начал почти кряхтя:

— Граждане! Я чувствую всю тяжесть ответственности за создавшееся положение, из которого мы, русские люди, должны найти достойный выход.

Ох, значит, плохо дело?..

— Скажите мне прямо: вы — хотите сепаратного мира?

— Нет! Нет! Да нет же! — понеслись неукротимые крики.

Подбодрился Родзянко.

— Хотите ли вы, чтобы союзники отвернулись от нас? Чтобы малые угнетённые народы проклинали нас?.. Ведь враг попирает нашу священную землю — так почему ж вы хотите, чтобы тыл диктовал свою волю народу!

О Боже, да не мы! — не они и не здесь были те, кто этого хотел! И не о «тыле» шла речь, то был лишь окольный псевдоним Совета, тут так и поняли! И Родзянко увлекался, громчел и даже всё колокольней:

— Ведь мы обязаны быть честными, чтобы быть свободными! Неужели русский народ, освобождаясь от гнёта, под которым нас всех держал царизм, — думает сохранить свою свободу тем, что нарушит слово чести перед союзниками? Граждане! Я заклинаю вас верить тому правительству, которое поставила Государственная Дума...

Мы и верим! Это — одна наша надежда!

— ...Это — честное правительство. И оно исполнит свой долг до конца. И — да здравствует могучий! свободный!! русский народ!!!

— Ура-а-а-а! — перекатывалось по площади. Но более всего порадовал Родзянку офицер, подскочивший на ступеньки рядом с ним:

— Да здравствует Отец Русской Революции! — звонко вскрикнул. И это был сигнал: подхватывать в двадцать рук и тяжеловесного Отца, и нести его в вестибюль.

Да и пора: уже вот подкатывал и мотор с самим наконец Милюковым! — со славным и одиозным героем сегодняшнего дня. Его кинулись нести даже из автомобиля на ступеньки, но он не то чтобы не дался, но так наёжен был — пошёл сам. Он был в фетровой шляпе, и позабыл снять её для речи. Он — диковато смотрел, так напряжённо смотрел, как будто и здесь ждал увидеть не сторонников, а врагов. И начал с трудом, как пересохшим горлом:

— Я — видел плакаты. Но я — защищаю интересы народа. И не уйду, пока не выполню долга. Или — погибну.

И бесстрашно стоял, доступный растерзанию, мишень, дразнящая плёбс, — в мягком пальто, белейшее кашне вокруг шеи, очки, мягкая шляпа.

Но не только не напал ни единый голос, не протянулась ни одна враждебная рука — но овеивали от площади сочувственное тепло и дружественный шелест. И министр — уже наступательней:

— Я — тот Милюков, который 1 ноября разоблачил интригу и измену бывшего царского министра Штюмерера! Я — тот Милюков, который восстал против сепаратного мира! И неужели же я должен стать тем самым изменником русскому делу, каким я клеймил своих врагов?

Ответ толпы — несся несомненно. Но ещё, по инерции готовности, подставляя себя под страшный удар:

— Да! Войну — надо победно закончить! Я это повторяю. И пусть мне кричат в лицо «долей Милюкова».

Но никто же тут не кричал такой мерзости, слышалось одно одобрение! И всё твердея:

— Буду ли я жив? Или буду мёртв? — мне всё равно. Но мне не всё равно, если Россия покроется позором! И если мы станем добы-

чей наших врагов. Старая власть именно потому и рухнула, что нарушала обязательства перед союзниками. Временное правительство и я — не допустим, чтобы Россию могли обвинить в измене. Я — исполню свой долг и добровольно с этого места не уйду. Верите ли вы мне?

— О да, мы вам верим!.. Мы верим!.. Мы верим!.. Да здравствует Милюков!.. Ура-а-а!..

И тут же проворно вскочил офицер, но другой, и пронзительно: — Господа! Милюков — пожертвовал своим единственным сыном для блага России.

Верно напомнил, не все и знали. Потеряв сына на этой войне, мог Милюков иметь и пристрастие к победе!

— Ура! Ура! Ура-а-а! — подняли, потащили и Милюкова.

Тут стали подъезжать в автомобилях, в каждом по несколько, члены Исполнительного Комитета Совета. Не знали их в лицо, нигде не бывало их фотографий — но видно, что не наши министры. Их встречали враждебно-холодным молчанием. Не ждали от них речей и не кидались нести их во дворец.

Над дворцом уже высоко висела бледно-желтоватая луна.

По чьему-то крику стали отбиваться — сходить к английскому посольству.

А в стороне от подъезда стоял французский офицер с двумя соотечественниками, господином и дамой. И сказал им:

— Это правительство оказалось более *временным*, чем мы думали. История повторяется. Вот и у них, как у нас: народ постучал министерству в окно и объявил: «Вы больше не существуете!..»

## 62

Такой неприятный, совершенно неожиданный конфликт, и в такое нежелательное время!

За минувшие полтора месяца князю Георгию Евгеньевичу приходилось встречаться исключительно с хорошими людьми: были ли это неприятязательные мужественные воины из армейских депутатий, или делегация русского театрального общества из Москвы, привезшая новый театральный устав, или еврейская делегация, благодарящая за равноправие, или дружелюбно-предупредительные к новой власти старые чиновники своего же министерства, — и та же атмосфера дружелюбия лилась в неохватном потоке приходящих телеграмм. (И от кого только не было! — из Лозанны от семьи Герценов! ну когда б они о князе Львове знали бы или вспомнили! — а теперь он им отвечал.) Решительно ни разу не встретил князь кого-либо из отвратительных чудовищ царского режима, душивших всю нашу жизнь, и князя Львова тоже. И если где-то на местах необъятной России происходило нетерпеливое политическое творчество, возникали и кипели разнообразные новые комитеты и формы, никто не желал дожидаться, пока лучшие юристы страны разработают им безукорисненные новые правила, и доходило даже до ссор с помещиками и до захвата земель или до весьма дерзких национальных требований откола от России (какие придуманные проблемы, почему ж их не было вчера?), то всё это было по единственной причине удалённости, по невозможности встретиться со всеми лично и посмотреть друг другу доброжелательно в глаза. Как раз вот на послезавтра князь Львов созывал совещание губернских комиссаров центральных губерний, чтобы преодолеть это непонимание на расстоянии, — а тут вот...

Несмотря на частые сердечные встречи с представителями Совета (которые, в общем, все были неплохие люди, а некоторые и просто замечательные) — очевидно и тут что-то было недоговорено, что-то недопонято, вот с этой несчастной нотой. Поразительно, что они — тоже сейчас порицали правительство, хотя ведь всё время были с нами в контакте! Так надо встретиться сегодня же! — и в самом рас-

ширенном составе — всё полное правительство, это дюжина, и от Исполнительного Комитета придёт человек сорок. Идея: чтобы наших было всё-таки побольше — можно пригласить также и Родзянку со всем его думским комитетом? Соберёмся, сговоримся — и снова всё потечёт нормально.

Все эти полтора месяца никто в Мариинском дворце не вспоминал ни о Родзянке, ни о его комитете, ни обо всей Думе, как будто их и вовсе не было, и делать им нечего. А сейчас — они как раз оказались нужными. Да как солидно будут выглядеть на общем заседании, как бы третейскими, и особенно сам Родзянко. И какое впечатление будет через газеты на общество.

Георгий Евгеньевич позвонил Михаилу Владимировичу, тот был очень польщён и конечно согласен.

Заседание назначалось на 9 часов вечера в Мариинском, но раньше времени туда никто не хотел и ехать, через эту толпу, всю организацию вели по телефону из домина, потом кое-как доканчивали совещание с генералом Алексеевым, потом стоваривались министры, какой линии поведения сегодня вечером держаться. Милюков непреклонно стоял на своей ноге, на каждом слове её, и настаивал и требовал, что и все должны так держаться, потому что приняли её всем составом правительства единогласно. И действительно так, некуда деться. Ах, какая неприятность! Ах, кто бы мог думать, что из этого заварится.

Уверены были, что к вечеру, к темноте, толпа разойдётся, — а как раз наоборот! И пришлось министрам ехать на заседание через эту возбуждённую толпу — правда, оказалось, что у Мариинского дворца толпятся уже только дружественные манифестанты.

К обширному заседанию приготовили зал на половине Государственного Совета, теперь не существующего, а с непривычки совсем не подумали о процедуре. И возник сложный инцидент. Пресса-то ведь целый день изнывала, металась, наблюдала, мучилась — а теперь корреспонденты всех главных газет двух столиц толпились в Мариинском дворце перед князем Львовым и просили допустить их на совместное заседание, ввиду важности его. Ну что ж, гласность — это родная сестра свободы, тем надёжнее будет осведомлена и вся страна. Львов посоветовался с Терещенко, с Некрасовым, — и пригласили прессу занять места в зале.

Корреспонденты ликующе потянулись туда, с собой ещё повели запасённых стенографисток, и там заняли угол, разложили бумаги, отточенные карандаши, были готовы ранее всех: участники заседания ещё только собирались.

Собирались, и вдруг Скобелев подошёл к князю и, несколько заикаясь, заявил, что Исполнительный Комитет решительно против присутствия прессы! Вот так так! И как же князь не спросил их раньше? — он не предполагал, что они могут быть против гласности. Очень теперь неудобно, очень неудобно но ничего не оставалось — князь подошёл к столам прессы и объявил им, что вынужден сообщить, что Исполнительный Комитет категорически против их присутствия.

Корреспонденты были удивлены — ошеломлены — возмущены — но вынуждены были, что ж? — подчиниться. И потянулись из зала вон и они, и их стенографистки с собранными карандашами. А служителям у дверей было строго велено не пускать их больше.

Но тут же пресса прислала коллективное письменное заявление князю Львову с просьбой: первым пунктом заседания обсудить вопрос о присутствии прессы.

Что ж тут обсуждать, ещё посоветовались с Чхеидзе, — отказ.

Но не успели ещё все собраться и заседание начаться, как от проворных корреспондентов поступило новое заявление, теперь к Чхеидзе: «Николай Семёнович! Мы, журналисты, с первых дней революции достаточно доказали своё отношение к серьёзным моментам в



жизни нашей родины и заслужили право присутствовать в столь историческом заседании. И Временное правительство разрешило нам. К великому удивлению, мы были удалены по требованию Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Мы думаем, что это прискорбная ошибка. Мы свой долг умеем выполнять».

На советской стороне смутились. Посовещались. Подходили опять ко Львову: Временное правительство тоже должно присоединиться к запрету.

— Но мы же нисколько не возражаем,— ласково отвечал им князь.

— Но вы обязаны проявить солидарность с Советом и не перекладывать на нас одиозность. Ситуация слишком ответственна, чтобы мы могли допустить её разбалтывание и извращение в буржуазной прессе.

Теперь совещались министры: не портить отношений, надо уступить?

Скобелев пошёл и объявил журналистам: запрет исходит также и от Временного правительства, так как не всё на этом совещании может стать достоянием гласности.

Журналисты нисколько тем не убедились: но мы вовсе не имеем в виду разглашать секретные данные. Мы согласны сообщать и не всё, мы понимаем! Пусть наши отчёты просматривает и вычёркивает президиум.

Но никому не улыбалось ещё над этим просидеть ночь.

Заседание началось.

А корреспонденты в Квадратном помпейском двухъярусном зале и в комнате для печати томились, томились, томились и посылали записки: если там всё равно присутствует 80 человек — то гражданская обязанность присутствовать и у журналистов, заслуживших доверие в революционные дни!

Наконец, уже после полуночи, к ним туда вышел суровый Гучков с чёрными подглазными мешками: он берёт лично на себя состоявшееся недопущение прессы: им и Шингарёвым приводились секретные цифры.

## 63

\* \* \*

Вечерний Невский, при фонарях и светах витрин. По мостовой в сторону Знаменской валит многосотенная толпа, размахивает шапками, фуражками. Толпа штатская, но немало солдат и офицеров. Плакат: «Доверие Временному правительству!» Их горячо приветствуют с обоих тротуаров.

Задержались извозчики, трамваи.

\* \* \*

Идёт по Невскому человек 200 гимназистов. Плакат из шёлка: «Ленина и компанию обратно в Германию!» — переняли у воскресной инвалидной демонстрации. Одобрительные возгласы с тротуаров, смех, аплодисменты.

\* \* \*

«Ленин» и «Милюков» — так и носятся в воздухе два имени. Горячие споры, негодующие вскрики.

Прапорщик, георгиевский кавалер:

— А — как уход Милюкова скажется на фронте, вы подумали?

— Буржуй ваш Милюков, как и вы все.

Новое слово такое — «буржуй», не знаешь, что и ответить.

— А вы помните, как мы все восторгались им после речи в Государственной Думе?

— Кто — «мы»?

Господин южного типа:

— Чтобы руководить государством, необходим государственный ум и знания. И не злоупотребляйте терпением союзников, посчитайте наши денежные долги им. Они примут суровые меры.

Подъезжает группа верховых казаков:

— Просим разойтись. Именем правительства.

— Это какого правительства? — кричит кожаная куртка.

— Ленинского, — острят из толпы.

Общий смех.

\* \* \*

На Знаменской площади — многотысячная толпа. На военном грузовике — солдаты. Один из них держит речь к спокойствию и порядку. Ему хлопают. Но туда взбирается студент и держит речь против Милюкова и Временного правительства. Толпа не желает слушать, кричит:

— Долой ленинцев, большевиков!

Меняются ораторы и в уножьи памятника Александру III:

— Войну ведут капиталисты, только им выгодно! Немедленно опубликовать тайные договоры!

— А что немцы забрали — оставить им?

— Пусть там сами жители решают. А на фронте — уже идёт братание с немцами!

— Как же брататься, когда они Вильгельма не сбросили? Значит, с Вильгельмом брататься?..

— Нет! У них братание — уже отклик революции!

Инвалид: — Если нужно, то инвалиды-солдаты вместе с инвалидами-офицерами пойдут воевать до конца.

А с Невского втекает большая манифестация Трубочного завода: «Вперёд к свободе под знаменем Циммервальда», «Долой Милюкова!».

Выдвинулись под фонари. Но их встречают недружелюбными криками. И нет им места на площади. Поворачивают по Лиговке к Таврическому.

\* \* \*

К Таврическому вечером подошло несколько манифестаций, с надписями большевицкими. Но дворец даже не светился, и не выходил к демонстрантам никто. Поговорили свои ораторы — свергать Временное правительство! И ушли за Неву.

И поздно вечером пришли к Таврическому — волынцы, зачинатели революции, — «Да здравствует Временное правительство!». А тут, где раньше и по ночам кипело, — никого. Пошагали волынцы на Мариинскую площадь.

\* \* \*

Сразу за Литейным мостом, на Нижегородской улице, собрался многолюдный митинг — против правительства и против войны. Один оратор назвался — член Совета рабочих депутатов Марголин, долго говорил. Как Временное правительство обмануло, не выполнило обещаний 27 марта. И как вчера в Михайловском театре он своими ушами слышал: выступали Милюков и Керенский, мир будет только с аннексией и контрибуцией. Вдруг сильный голос из толпы:

— Я — заместитель министра Керенского Зарудный. Такого ничего не могло быть, это провокационная ложь. И вы — не Марголин!

Толпа заволновалась. Кинулись на гого — а его и след простыл.

\* \* \*

Пересекла Невский, немного прошла по нему, манифестация из одних рабочих, и впереди — десятка три-четыре с винтовками на ремне. Публика так и замерла: не солдаты, а рабочие с винтовками! — сильное впечатление.

И ведь — по-хорошему теперь не отдадут.

\* \* \*

На Невский с Литейного — шум и крики. При многих тут фонарях вываливает огромная манифестация. И впереди неё — большая группа солдат, и вокруг неё солдатская цепь. Так и гудит в воздухе:

— Да здравствует Временное правительство!

— Долой Ленина!

— Долой ленинцев!

Трамвай остановились, всё движение прекратилось. Ряды, ряды — юнкера, кадетики, интеллигенты, офицеры, женщины:

— Присоединяйтесь, товарищи! За Милюкова!

Авангард свернул на Невский, а конца и у Жуковской не видно.

\* \* \*

На Невском — споры на каждом перекрестке.

— Почему вдруг «мир без контрибуций»? Значит, разорённые народы оставить ограбленными? Значит, немцы останутся при награбленных у нас миллиардах?

— Без аннексий и контрибуций — это значит *мы* отказываемся. А если кто-то с нас потребует — вам в голову не приходит?

— Это неприемлемо для чести русского народа.

— На что нам твоя честь? Нам даёшь — мир!

— Заметьте: все крайние течения — это эмигранты-доктринёры. Но несмотря на страстность прений — драки нигде не возникают.

\* \* \*

Где собралась группа интеллигентней — там все за Временное правительство:

— Милюков досконально изучил дипломатию! Он самый компетентный во внешней политике! — чего они хотят?

— Милюков и Гучков были самыми опасными для царизма! И теперь — их за борт?

— Свергать тех, кто всю жизнь боролся против Сухомлиновых и Протопоповых? Кто подготовил переворот? А завтра станут не нужны Чхеидзе и Керенский?

— Да просто сваливают на министерство иностранных дел раздражение, что революция не принесла им немедленно благоденствия. Обходят и объезжают милиционеры, просят граждан расходиться. Расходятся. Но через 10 шагов на новом месте сходятся опять.

\* \* \*

С каждым часом на Невском и повсюду в центре города всё многочисленней котелки, «ясные пуговицы», дамские шляпки, студенческие фуражки, дружелюбные солдаты — и перевешивает настроение в пользу правительства и продолжения войны.

Господин в цилиндре:

— Граждане! Неужели теперь, когда мы низвергли старую власть именно во имя победы, — мы будем колебаться идти к этой победе?

Дама с собольей муфтой:

— Не для того мы избавились от режима Николая Второго и Распутина, чтобы теперь устраивать гражданскую войну!

Разъезжают по Невскому легковые автомобили с рабочими:

— Граждане, не волнуйтесь. Совет рабочих депутатов призывает всех к спокойствию и выдержке, он блюдет волю народа. Завтра утром будет опубликовано решение.

Но не редеет Невский, а даже, кажется, разыгрывается.

\* \* \*

Проехали медленно на моторе вооружённые милиционеры, просят разойтись и спокойно ждать решения Совета.

В это время с Садовой выехали другие милиционеры, с красным знаменем: «Да здравствует социальная революция!»

Сумятица.

\* \* \*

Около полуночи у Публичной библиотеки — летучий митинг. Неизвестный в циничных выражениях нападал на Временное правительство. Толпа сначала слушала спокойно, потом стала требовать, чтоб он назвал себя.

— Член Совета рабочих депутатов!

— Мандат.

Полез искать по карманам — не нашёл. Поднялся шум. Стали наступать на него с угрозами. Дружки заслонили его, и он скрылся.

\* \* \*

За полночь прошёл слух, что верные правительству царскосельские полки идут в Петроград.

\* \* \*

По пустеющему Невскому проскакали верховые солдаты, пятеро, винтовки накомь за спиной:

— Долой Ленина!.. Не верьте ему!..

## 64

А с площади перед Мариинским дворцом и после десяти часов вечера, и в одиннадцать и к полуночи — толпа не только не расходилась, а, кажется, ещё добавлялась. Всех держало сознание, что вот здесь, перед ними, во дворце, сейчас...

И толпа, всё более сдруженная своим стоянием и разговорами по соседству, ждала: быть может, ещё этой ночью здесь нам придётся вмешаться и повлиять? Что там делается во дворце? На семь ладов представляли ход и исход этого важнейшего заседания.

— Нам Россия не простит, если мы не сумеем сберечь её в сегодняшнем испытании.

— Всё наше спасение — в единении. Жертвовать личным — во имя общего!

— Будем верить!

— Да кроме веры у нас других ресурсов не осталось, увы.

— Бескровная революция казалась таким чудом! А вот опять приходится верить только в чудо...

Загадочен виделся свет во многих окнах дворца, мало кто знал внутреннее расположение: где же может сейчас происходить заседание? Что там делают с нашими министрами? Пытаются их согнуть, сломить?

— Нет, господа, в нашей революции есть, есть здоровый государственный инстинкт! Исполнительный Комитет — ведь не взывает против правительства. Благоразумие — вот уже берёт верх.

— «Власть масс» — это красиво произнести, но это — розовая мечта. Сами массы не могут править собой без направляющего меньшинства с ответственными навыками мышления. Именно потому и важно, чтобы сейчас интеллигенция не растерялась.

— Да в самые тяжёлые, в самые трагические моменты не следует забывать: как алмаз гранится алмазом, так и свобода в своих излишествах исправляется свободой же!

От времени до времени посылали внутрь лазутчиков: как-нибудь пробраться, что-нибудь узнать или попросить кого женибудь выступить. Но только и узнали, что даже корреспонденты главных газет не допущены в совещание!

Что же, что же там решается?? Сжаты сердца.

Нет, не уйдём. Не расходитесь!

Перед полночью подъехал ко дворцу генерал Корнилов и деловито пошёл внутрь. Его не смели подхватывать на руки и не просили у него речи, но восторженно рукоплескала и кричала ему толпа петербуржан, пока он прошёл внутрь. Генерал-надежда!

Сегодняшний угар — непременно развеется! — в этом упование России.

Что спасёт Россию — неизвестно, но спасёт что-то сильное, яркое, животворящее!

Вскоре затем замечилось движение в окнах балкона второго этажа. Возились фигуры у просветной двери, что-то не получалось у них? Потом открыли рядом окно, — и через подоконник в пальто и шляпе пролез — кто же? При фонарях, при оконных и лунных отсветах —

Некрасов опять! Соскочив на балкон, снял шляпу и приветственно ею махал, привлекая внимание. Его встретили — раскатистыми по площади рукоплесканиями. И он — вдохновлённо, звонко, с размахиваниями:

— Граждане! Министр иностранных дел Милюков — (вперебив бурнейшей аплодисменты, «ура», «ура!») — сейчас делает доклад по вопросу чрезвычайной государственной важности!

И слова-то какие! У самого голос дрогнул, и толпа замерла, ожидая.

— Он не может выйти к вам сию минуту, но выйдет, как только окончит свой доклад.

«Ура-а-а-а», — слишком даже оглушительное. Милюков — становится символом. Но — и Некрасов же не потерялся:

— Граждане! Кучки людей не могут смутить Временное правительство! Эти кучки пытаются представить себя в виде большого организованного движения, выдать себя за голос народа — но так и остаются кучками. Ваше присутствие здесь — доказывает, что они — не имеют почвы! Правительство уверено в поддержке народа и выполнит свой долг!

Что поднялось! Какие возгласы и рукоплескания! Мы так и верили! Мы так и надеялись! Дурной исход минует Россию.

Ну, после Некрасова стало толпе веселее ждать: наши министры там не сдаются и даже берут верх!

А минут через двадцать открылась, теперь видимо отпертая, высокая остеклённая дверь на балкон — и через неё нормально солидно вышел, без шляпы, седеющий, крепкоголовый, в очках, Милюков.

Наконец его увидела вся площадь — и те, кто не видел прежде на подъезде, — и одобрителный рёв не имел границ, перекатывался за Мойку, за «Асторию», за Исаакия.

С балконной ли прочной высоты или после своего удачного доклада — казался Милюков много спокойней и вольней, чем на ступенях три часа назад. И гораздо плавней, академичней, объяснительней произносил речь, даже и шутя:

— Граждане! Когда я сегодня днём узнал про демонстрации с надписью «долой Милюкова», — признаться вам, я испугался. Но испугался — не за Милюкова, а за Россию: если таково настроение большинства — то каково же положение в России? Что сказали бы послы наших союзных держав? Они сейчас же послали бы телеграфные извещения своим правительствам, что Россия изменила союзникам и сама себя вычеркнула из их списка.

Высоко держал голову, с нарастающей твёрдостью:

— Временное правительство не может стать на такую точку зрения. Временное правительство и я как министр иностранных дел всячески будем защищать такое положение, когда никто не сможет упрекнуть Россию в измене. Россия никогда не согласится на сепаратный мир, позорный мир! Как я сейчас говорил в заседании, Временное правительство — это оснащённое судно с развевающимися парусами. Судно это может быть выдвинуто вперёд лишь при наличии ветра, ветра доверия, — и вот я надеюсь, что вы нам этот ветер устроите.

Ликующий, обещающий гул по площади.

— Мы ждём вашего доверия, чтобы с ним ринуться в путь. И с опорой на ваше доверие мы — выведем Россию на путь свободы и благополучия!

Рукоплескания, возгласы:

— Да здравствует... Да здравствует...

И ура-а-а-а-а-а-а-а...

И Милюков с победной важностью удалился.

Там — заседание продолжалось, но уже исход его прояснился.

Двадцатипяти тысячная толпа стала уменьшаться.

Группы молодёжи перепевали, скандировали:

— Ленина — и компанию — обратно — в Германию!!

И в просторнеющей толпе чаще и громче раздавалось:

— Долой Ленина!

— Арестуйте Ленина!

И кто бы, правда, за это взялся?

## 65

Заседание устроили в просторном зале в глубине дворца. Вереница членов Исполкома в затрёпанных пиджаках удивлялась, проходя роскошную Ротонду, потом не менее пышный Квадратный зал, тоже с двухъярусными колоннами, и везде нежнейшие ажурные решётки вперекличку с вязью орнаментов, а полы под ногами почти зеркальные, смотри не поскользнься; и наконец в этот третий зал с кариатидами огромного мраморного камина, а по всем стенам вкруговую росписи каких-то античных историй, и всё опять перепутано орнаментом. Чистота и стройность этих залов, залитых электричеством, была, однако, странный мирок, вырванный из огрызнённого суматошного революционного города, и повисала над ним как нереальность: да, сидят тут, правительство может и совсем забыться. Ведь именно в этом дворце столетие медленно вращались жернова русской государственной мысли — и не успели за жизнью, заело их.

Всего набралось заседающих человек восемьдесят, и не всем было место за большим столом, в вальяжных креслах Государственного Совета, остальные садились на удобных диванах вкруг стен.

Все, кого возвысила или не слишком снизила революция, вся новая верхушка России, — все были здесь. Министры сидели за одной частью стола, лишь Керенского не было. Чхеидзе, Церетели, Скобелев, головка Исполкома — за другой частью. На одной долгой стороне стола — Родзянко, едва ль не два места, и думский Комитет. Худенькому Гиммеру досталось сидеть на дальнем диване и рядом со скучным малоподвижным Сталиным.

Министры приготовились к жёсткой обороне. Ещё днём в доверии сговорились: чтобы не попасть сразу в положение обвиняемых, начать эту встречу не с конфликтной дипломатической ноты, а прежде ввести её в правильные рамки: дать понять представителям Совета всю общую сложность и трудность руководства российским государством. И открывая заседание, князь Львов объявил, что господа министры в пределах своих ведомств изложат Исполнительному Комитету состояние дел в государстве Почему?

— Острое положение, создавшееся на почве ноты, есть, господа, только частный случай. За последнее время правительство вообще взято под подозрение, и мы всё чаще чувствуем недоверие со стороны Совета. — Сладковатый мягкий голос Львова выражал незаслуженную обиду. — А между тем правительство не подало к этому повода: Контактная комиссия — необходимая наша опора, и по всем вопросам мы с ней всегда находим общее решение, и выполняем его. Формула «постольку-поскольку» нас никогда не смущала. Но теперь мы чувствуем, что нас вообще не хотят поддерживать, и даже подрыв-

вают наш авторитет? Тогда мы не считаем себя вправе нести ответственность, и решили позвать вас объясниться.

Он что-то извратил историю этого заседания: его потребовал ИК!

— Мы должны знать, — со скромностью излагал князь, — годимся ли мы для нашего ответственного поста в данное время. Если нет — то для блага родины мы готовы сложить свои полномочия и уступить другим.

Что-что-что? что он несёт? Ни о чём подобном министры не договаривались! Что он, с ума сошёл? — Милуков был возмущён, но тут вслух не возражишь. Как же можно, почему начинать с капитуляции? Именно сейчас, когда заговорили об отставке отдельных министров, — и встречно предлагать отставку? Тряпка!

Тем временем вышел к кафедре первый Гучков. Совсем это не был тот поздоровевший воин, который сегодня звал министров к сопротивлению. Он выглядел больным, старым, говорил мрачно, — впрочем, это и шло к его предмету. Говорил пространно, даже о том, как царское правительство вело армию к катастрофе. Сделал общий обзор положения на фронтах и впечатлений от своих поездок. В начале своего министерствования он был настроен оптимистически. Питал надежды, что русский народ, так мощно справившийся с тяжёлой задачей низвержения старого режима, обнаружит энтузиазм и сокрушит внешнего врага. Что, в русской революции произойдёт такой же подъём, как в аналогичные моменты во французской. Но у нас почему-то произошло наоборот. Теперь Гучков лишился оптимизма, фактические данные погасили его. Должен открыто заявить, что положение армии, если брать его в психологическом разрезе, — вызывает самые серьёзные опасения. Он счёл бы себя преступником, если бы сегодня не влил в их души яд спасительной тревоги. Нет, положение не безнадежное, но весьма тяжёлое. И меры нужны самые решительные. Народные массы слишком прямолинейно понимают разговоры о мире: что мира можно добиться, немедленно сложив оружие. Сидя в Петрограде, надо иметь смелость представить, что разговоры о всеобщем мире вызвали в окопах дезорганизацию и упадок духа.

Советская часть аудитории была этими выпадами оскорблена, переглядывалась: они снова наступают на всемирную программу мира! (А Гиммер — так просто искручивался от негодования!) Правда, Гучков смягчил в заключительных фразах, что ни он и никто в правительстве не имеет в виду каких-либо завоеваний: даже по одному нашему военному положению эту мысль следует отбросить.

И — ещё министры не кончили? Теперь Шингарёв? Да что они?! — улицы кипят, а тут академию разводят!

А вот, мол, продовольственный вопрос — не менее важен, чем состояние армии. Печальное наследие, полученное от прежней власти, грозит перейти в ещё худшее. Из-за доктринёрских социальных требований крайних элементов, — и тут Шингарёв сильно раздражился, — надежда на урегулирование продовольственного дела всё призрачней. А ленинцы, — перешёл прямо в лоб, — в партийно-фанатическом ослеплении разжигают в крестьянах жажду конфискации земель. Дворец Кшесинской — гнездо отравы. И хлеба — не будет.

Ну, даже если всё так — нельзя допустить такого тона против революционной демократии!

Потом Шингарёв смягчился, успокоил: и на рельсах и на баржах — уже миллионы пудов хлеба, вот только дожидаться несколько недель первых результатов навигации — и мы доживём до следующего урожая.

Но когда же — злосчастная нота? когда же — Милуков? Сидит среди министров истуканом. А к кафедре лёгкой походкой ферта проходит сахарный миллионер. Впрочем, начинает не с финансов, а прямо с ноты, и довольно вызывающе звучат его слова.



Вчерашняя нота — не более чем перифраза и развитие правительственной декларации 27 марта, выработанной совместно с Советом, — и не понятно, не обосновано то недоверие, какое нота вызвала в советских кругах. Печальная услуга со стороны Совета! Это недоверие может заставить наших союзников порвать с нами все отношения — а мы живём их помощью в средствах на ведение войны. И ответственность за последствия падёт на тех, кто не хотел понять тяжести момента.

Но — кто же не хотел? Разве ИК — не хотел?! Разве ИК не понимает, что надо как можно мягче славировать из этого грозного конфликта? Вот эта агрессивность министров пугала Церетели. Они были по существу правы, — но этот агрессивный тон разозлял левых в ИК и разрушал соглашение, которое надо было любой ценой достичь сегодня здесь.

А в области финансов, — заверял тем временем Терещенко, — ведётся самая нормальная политика, приступлено к выработке нужных законопроектов, но это нельзя сделать быстро. Уже разрабатывается значительное расширение прямых налогов с крупных доходов плюс особый военный сбор с доходов и капиталов. А пока всё это введётся — необходима и ожидается от Совета энергичная поддержка Займа Свободы.

Для советских — самое вязкое место.

И четвёртый министр выходит! — и опять не Милюков, а Некрасов. Но этот — недолго, и не раздражая ничем советских, а бодро: дело грузового транспорта налаживается, и пассажирское движение тоже.

Так понять: если в работе всего правительства есть один светлый сектор, и не вразрез с желаниями Совета, — то это как раз Некрасов, очень приятный министр.

Наконец не выдержал Чхеидзе (от напряжения вторых суток и второй бессонной ночи у него уже отказывала голова) и напомнил: ведь мы собрались обсуждать ноту, нельзя ли выслушать министра иностранных дел? Нота содержит положения, совершенно неприемлемые для Совета рабочих депутатов. Затемняя цели войны, она не говорит об отказе от аннексий и контрибуций.

И тут бы — подняться Милюкову! — а он? не мог подняться? Все смотрели на него, и начинали подозревать, что это он такой застывший не в крепости вовсе, а в слабости? Он сбит и подкошен?

Он — не вставал, и чтобы придать ему толчок, взял слово Церетели. Министр иностранных дел, очевидно, не понял психологии новой революционной России, он действует приёмами старого царского правительства. Да в его ведомстве всё идёт по-старому, и даже нигде не сменены послы. А теперь — неизбежно обратиться к союзникам снова, ещё раз, и выразиться революционно-чётко.

Нечего делать, приходится идти к кафедре Милюкову. Но таким смущённым его ещё не видели, не слышали никогда.

Центральное внимание союзники обратят, естественно; на ту бумагу, от 27 марта, к которой нота — лишь приложение. А тем обращением Совет был доволен. Но на Западе циркулируют слухи, что Россия готовится к сепаратному миру. — и чтобы их рассеять, и были внесены в ноту те формулировки, которые сейчас вызывают ваши возражения. А иначе бы и поняли как подтверждение этих слухов.

Ох, придуманная конструкция — и все это слышат, и сам он это понимает. О сепаратном мире — так и можно было написать совсем прямо.

Но в привычном положении оратора, да когда не перебивают, чего он боялся, Милюков начинает и оправляться. Столь острое реагирование на ноту... Надо соблюдать величайшую осторожность, ибо дело идёт об интересах всех союзников. Не должно быть искания смысла, которого в ноте нет. И что-то длинно, и всё длинней и закрученней — о каких-то фактах, каких-то данных, которые именно под-

гверждают... И в этих околичностях набравшись сил, уже твёрдо: сегодняшний эпизод произведёт самое тяжёлое впечатление на союзников. Посылать новую ноту? — никак невозможно. Это не только скандально противоречит всем дипломатическим традициям, но и оскорбит союзников, и вызовет у них ещё большую тревогу.

Однако, не слишком ли он твёрдо взял? — ведь он в положении обвиняемого. И тогда, чтобы создать с аудиторией доверие и даже интимность, он предлагает: в нарушение всех дипломатических правил огласить сейчас, здесь, он надеется на скромность присутствующих, последнюю тайную дипломатическую бумагу, полученную от союзников. (Как Штурмер — разрушение *деликатнейших фибр* дипломатии?..)

Внимание — сразу выиграл. Но начинает читать, что это? — какой-то малоизвестный второстепенный дипломат сообщает, что французское министерство иностранных дел неодобрительно относится к идее межсоюзнической конференции для пересмотра целей войны.

Ну, неуклюж! Ну, бегемот неуклюжести! — уж лучше б эту возню с бумажкой и не начинал, только себе повредил.

Церетели и Станкевич тревожно переглянулись. Милюков — уж вовсе разрушал всю игру на соглашение.

Церетели склонился к Чхеидзе, они пошептались по-грузински. Милюков тем временем ушёл на место, никому новому слово не давали. Всё замалось.

Князь Львов замер. Можно было ждать полной неумолимости от революционного Исполнительного Комитета — и правительство расплющивалось бы тотчас!

Но нет. Чхеидзе поднялся и устало отвечал с места. По этим данным и фактам Совет согласен пойти навстречу правительству. Исполнительный Комитет считает, что при нынешних обстоятельствах уход Временного правительства недопустим. Да, собственно, разногласие и возникло только по внешнеполитическому вопросу. Правительство должно немедленно разъяснить русским гражданам содержание ноты.

И сел. И тут же поднялся и пошёл к кафедре Церетели. Очень мягко говорил. Нота неудовлетворительна не вся полностью, но в отдельных частях. «Война до полной победы» включает в себя и тот смысл, который придавал войне низвергнутый империализм. Смущенье от этого и сказалось в сегодняшних уличных волнениях. В разъяснении надо дать такую формулировку, которая не допускает сомнений, тогда народ поймёт, что Временное правительство солидарно с ним, а не придерживается старых шовинистических тенденций. И это разъяснение — должно быть направлено всем союзникам, по тем же адресам.

Да вот, собственно, и произнесен приговор. Весьма милостивый к правительству. И дальше, сколько ни говори, на этом останется. (Ах, как Гиммер презирал, презирал этих соглашателей!)

Тут же Некрасов подошёл мимо кресел к Церетели, нагнулся и тихо предложил: сейчас же им вдвоём и выработать текст этих объяснений. Почему Церетели — понятно, почему Некрасов — непонятно, но все видели, как они вдвоём вышли из зала. (Закулисная подлая сделка! А Сталин, рядом, — хоть бы пошевелинулся.)

А уже шёл первый час ночи, на улицах конечно разошлись, и пощадить бы собравшимся свои немощи, да и тоже — спать? Но как же разойтись, а где ж и когда ж ещё поговорить, как не в таком собрании? Уже подготовились ораторы, сейчас польются эти речи, от одного Совета чуть не десять человек.

Однако и министры, и советские смотрят прежде — на кого же? — да на Родзянку. Могучий арбитр, кузнечные лёгкие — сейчас бы ему и свершить и припечатать?

Увы, нет. Даже и не возвышается из кресел котёл его головы с большими ушами, и спина держится не прямо, а сторбилась, и ожидающих взглядов он не встречает, потупился. Да не может быть, чтоб

ему нечего было сказать! — да никогда же не закладывало его голос. А вот заложило. Обидой? Сокрушением?

Но — кому-то же из думского Комитета слово надо дать, зачем же их приглашали? А рядом с Родзянкой так и вьётся струнно, так и выворачивается из кресла и делает знаки князю Львову — молодой, а уже с лысинкой, остроусый Шульгин. Получил слово. И как легко вскочил, и как пошёл не по-полуночному, но в стиле лучших своих восхождений. А ведь выходит Шульгин к кафедре — всегда же с оттенком хоть лёгкого скандала, прорезать общую тягучесть, да резким диссонансом:

— Полный отказ всех союзников от аннексий и контрибуций — это и есть лозунг, самый приемлемый для Германии: тогда ей не надо ничем платить за причинённые разорения, её отпустят из капкана, в который она безумно полезла, она сохранится при довоенной силе, и Австрия, и Турция — в её руках. Это и есть мечта Вильгельма. Пройдёт немного лет, может быть двадцать пять, а то и меньше, — и Германия снова начнёт войну, пойдёт и на Россию. Нет, господа, мы обязаны думать и о будущем, а не только о сегодняшнем моменте.

Но — кому он это говорил? Какая невразумительность: одна Германия у него виновата, одну Германию сокрушить, да печалиться, что она через 25 лет снова нападёт на Россию? Старый ход мысли, избитый и враждебный демократии.

И — подлинным антиподом к нему выступил жизнелюбец Чернов, с такой победительной уверенностью и раздаривая снисходительные лукавые улыбки. Именно всё, что нужно, он и ответил сразу — и о международном братстве трудящихся, и о спайке интернационализма, и о своих собственных западных впечатлениях, более свежих, чем у того же Милюкова, — он не ограничивал себя временем, он любил поговорить, да ещё так поздно приехал в Россию, без него уже сколько наговорено, теперь навёрстывал. И вежливый председатель тем более не ограничивал его. Но с какого-то момента перешёл Чернов и к обвиняемому Милюкову: что надо идти по пути коренной реорганизации дипломатии и её зарубежного представительства, реакционность которого так гнусно проявилась в задержке революционных эмигрантов. А нота? — ничего не сделала для удовлетворения демократических элементов. Если действительно решили отказаться от аннексий и контрибуций — надо это прямо и категорически сказать. Зачем выражаться так робко? — учил он Милюкова державной гордостью. Россия должна говорить таким же властным голосом, как Америка, а не как бедный родственник. Или заявить, что в вопросе о проливах Милюков не выражает мнения правительства. Павел Николаевич? — очень почтенный человек и первоклассный государственный деятель, его участие во Временном правительстве конечно необходимо — но он бы отменно развернул свои таланты на любом другом посту, например министра народного просвещения?

Милюков чуть не охнул вслух, так это было коварно подготовлено, и как бревном саданули в бок.

Пресловутый Зурабов, — в этих днях поносивший Милюкова в прессе за лицемерие, — вот выходит, а как ударит сейчас он? Милюков даже прижмурился за очками.

Но странно: Зурабов обошёлся без личных выпадов. А с дерзостью высказал то, что не смели тут другие социалисты: что если союзники не согласны отказаться вместе с нами от аннексий и контрибуций, — то и мы за их интересы воевать не будем.

Всё-таки и он не посмел назвать откровенно — и всё же так ясно повисло под люстрой Государственного Совета: с е п а р а т н ы й м и р!

И не следующий же будет возражать, ибо это большевик Каменев. Но он — куда спокойней и академичней Зурабова: он излагает лишь теоретические выкладки, почему всякое буржуазное правитель-

ство будет вести империалистическую политику. А для демократической политики — необходимо, чтобы власть была в руках соответствующего класса, только он и будет способен вывести страну из тупика.

Да вы ж и мутите! С советской стороны ему крикнули:

— Так берите власть!

Но Каменев ответил, что большевики в данный момент не стремятся к свержению Временного правительства. И сепаратного мира — тоже не предложил.

А теперь ещё — неумомимый и пустозвонный Скобелев.

А теперь ещё — никому не известный Красиков, большевик.

Наконец добивается до кафедры ещё один думский красноречивец — Аджемов. И тоже не щадит ночного времени, своего и чужого. Зурабов откровенен, он нам как бы угрожает: толкнём вас на сепаратный мир! Но имейте в виду! — и поднял руку, палец, голос, центральный довод:

— Самая слабая сторона старого режима, которая делала для нас удары по нему особенно лёгкими, — это подозрение их в сепаратном мире. И мы все кричали, что это измена. Так неужели теперь, когда народ восторжествовал, мы (вы!) поставим себя в такое же положение, как царские прислужники?!?

Перемена взаимоотношений с союзниками? это надо осторожно! Если мы резким шагом заставим их ответить отказом — мы поставим и их под удар улицы, как сейчас очутилось Временное правительство! (Напугал!)

— Вы говорите, не вызывали этих войск, — но они пришли поддерживать вас! Вы ставите правительство в условия... покинутой сироты... — (Ах, напугал!) — Вы должны или поддерживать правительство всеми силами, или взять власть в свои руки. И понести ответственность перед родиной. А третьего выхода быть не может...

И ещё бы говорил, но в сильных страстях изощёл.

Да не начинает ли за окнами уже бледнеть? Петербургское весеннее небо...

А теперь, последний, — исклокотавшийся Гиммер. Да не очень ему нужно и выступать тут — но и нельзя же упустить случай. Всё это заседание было комедией: оппортунистическое большинство ИК заранее было согласно на гнусный компромисс — и вот, на глазах, они всё предали. Правда, и по теории самого Гиммера Временное правительство пока не следует свергать. Но непримиримое сердце его стучало, он даже досадовал на большевиков, что они тут говорили недостаточно резко, — уж им-то! А что мог Гиммер? Ну разве вот так: из всех докладов министров следует, что во всём разруха, — и как же тогда вы можете мечтать о войне до полной победы? Значит, вы искренно — не отказались от захватов? Вы, тайно, хотите получить свою долю? Но преступно продолжать войну — мы все погибнем от разрухи.

— И хотя от Исполнительного Комитета вы слышите другие мнения, но я выражаю мнение огромной части народных масс! Народ сказал ясно, он не хочет больше терпеть политику Милюкова, и он не доверяет такому правительству...

Он, кажется, противоречил собственной теории? Его, кажется, всё больше прибывало к ленинскому берегу? Но никто уже ничего этого не замечал, потому что разморились все бесконечно.

Заседание кончилось в половине четвёртого утра. А около трёх часов их тут всех потряхнуло — пришли, взволнованные, шептать один другой, — и все услышали: прибыла военная делегация от царскосельского гарнизона, от четырёх его стрелковых полков (!) и ещё разных других частей. Оказывается, весь царскосельский гарнизон с утра на ногах и ждёт выяснения происходящего, и наконец хочет знать, и требует объяснений!

Страшновато. Когда они начинали это заседание и длили его — за спинами их на площади густилась толпа, сочувственная правительству, а советским не опасная. Но она — растаяла, и вот в'неохранное предутреннее время — Народ стучался прикладом в их дверь. Эти — всякое могут выкинуть. Послали к их делегации кого же? — самых неутомимых и здоровых, Скобелева и Терещенко. И там они объяснили: в ноте ничего страшного не оказалось, только некоторые выражения, вызывающие сомнения, но так принято на языке дипломатических сношений. Однако правительство — не стремится к аннексиям и контрибуциям. Нет серьёзных причин тревожиться, никакой катастрофы для революции. Рвать с правительством — нет никаких оснований. Ни — говорить о смене его. Если бы положение было острое — Совет бы сам обратился к народу и войску. Но сегодня ночью здесь — никакое решение не может быть принято, потому что на то есть полномочный Совет, он примет завтра.

Делегация потопталась — и доверчиво удалилась к своему грузовику.

А корреспонденты — о, они ни один и никуда не уходили, да газеты ещё не верстались без их сведений, теперь они должны были каждого на выходе поймать и расспросить: и что он думает, и что он сам говорил на заседании, и что говорили другие? — корреспонденты тут же кинулись разрывать Скобелева и Терещенко.

И Терещенко (кое-что зная и предполагая, чего не знал и Милюков, и от чего испытывал личную заинтересованность в прочной судьбе этой ноте) ответил им уже победно:

— В принятии ноты солидарно всё Временное правительство, не один Милюков. Всякое предательство относительно союзников было бы гибелью России. И если бы последовало (но оно не последует) выражение недоверия правительству со стороны Совета — правительство сложило бы с себя полномочия.

И ещё подкинули ночную пищу журналистам: продиктовали им заявление Исполнительного Комитета. Совет рабочих и солдатских депутатов не организовывал сегодняшнего выступления войсковых частей против Временного правительства. Это — недоразумение, созданное некоторыми несоответственными личностями.

— А какими?..

— Выясняется.

## 66

К прошлому утру Ленин составил взвешенно-сдержанную резолюцию от имени ЦК — и дальше ждал развёртывания событий.

Все социалистические газеты вышли с ударом по ноте Милюкова. Но в Исполкоме недоумки социал-демократии и весь день ни на что не могли решиться. Так!

Заводы поднять с утра не удалось, и до середины дня не бросили работы тоже.

Но совершенно удивительно: стали подниматься полки! Гигантской важности дело! Такой политической восприимчивости от солдатских мелкобуржуазных масс — нет, невозможно было ожидать! Ленин испытал сильнейшее впечатление! Какой же успех! — гарнизон уже за нас!?

Там, на Мариинскую площадь, выходил полк за полком, а здесь, в особняке Кшесинской, Ленин метался в революционном нетерпении. Впервые в жизни дохнуло на него — народное восстание! опережающее! не нами организованное! — и вот уже бурлящее на улицах российской столицы! — уже и начало Гражданской войны! И что решить?? какой лозунг бросить?? Перед всеми вождями всех революций, от Спартака до Коммуны, отвечал Ленин сейчас за то, чтоб не ошибиться и не проиграть.

И трезвость (а может быть, она — всего лишь мещанская премудрость?) говорила: у нас ещё нет организованных сил, Красная гвардия не готова, рабочий класс не вооружён достаточно... А взрывающее нетерпеливое революционное чутьё (абсолютное чутьё!) — рвалось в облака: восставать! Вот тут-то и ударить! В революции удаются именно внезапные удары! Может быть, в эти часы — можно свалить правительство??

И не хватает агитаторов! Послал Сафарова выступать в центре города — его перед Публичной библиотекой задержали, повели в милицию.

Да если б вот, например, сейчас уговорить броневой дивизион тоже выехать на Мариинскую площадь — да и арестовать Временное правительство, да вот и всё! А дальше — внушить нашу пролетарскую волю Совету!

Но броневой дивизион выезжать не хотел без указаний Исполкома.

А между тем — день проходил.

И поднялось — всего лишь четыре полка из двадцати.

А помойные соглашатели из Исполкома уже объявили, что собираются на вечер в Мариинский дворец сговариваться со своими капиталистическими коллегами. Слюнтяи! Блевотина!

И на этом же архипошлом фразёрстве протянули вечернее заседание Совета, так и не дав ему принять революционного решения.

Не один Ленин кипел — и все ведущие большевики. Мчалось со всех сторон столицы, тут устраивали летучие конференции. И кричали:

— Добиваться, чтобы Совет вырвал власть у Временного правительства!

— Замена всего правительства!

Богдатыев примчался из ПК, заседающего непрерывно:

— На заводах идут митинги! Наша практическая директива — «долой Временное правительство!». Сами рабочие так организуются!

Слуцкий заминался: уже ли наступило такое время, чтобы свергать правительство?

Аксельрод с невозмутимой челюстью: полный переход власти к Совету.

Сталь, при общем смехе, взывала к товарищам не быть левей самого Ленина.

Ленин расхаживал, посмеивался.

Иногда надо давать стихии катиться самой.

Глаза Коллонтай сияли как звёзды:

— Владимир Ильич, восстаём!!

Она теперь занимается профсоюзной работой у прачек, готовит их на грандиозную забастовку.

Ленин ещё отшучивался:

— Александра Михайловна, во всяком случае мы и в социалистическое правительство не войдём. Мы будем критиковать их извне.

Но именно под её влиянием особенно заволновался, и голос его стал хрипл. В конце концов, даже если не удастся (скорей всего не удастся) — но проба сил! но разведка сил противника! В таких попытках массы закаляются! (А разгромят — придётся бежать отсюда?..)

А между тем — уже ночь на носу, и все спрашивают: какие инструкции агитаторам на места? Занимать ли фабрики и заводы? Выходить на улицу вооружёнными?

Да! все — по заводам и полкам! Учитесь убеждать! Учитесь агитировать! Находите сокрушительные аргументы! Поднимайте как можно больше воинских частей! Завтра всем рабочим отрядам — выходить на улицу с оружием! Объясняйте: оружие берём — для самообороны, и в случае чего — стрелять! На транспарантах писать не «долой Милюкова», это не имеет ни малейшего смысла, самообман,

а — «долгой Временное правительство!». Всё правительство — капиталистов, дело в классе, а не в лицах.

Побежали! Поехали! Понеслись!

Что задумано — исполняйся немедленно!

А Ленин ещё нервнее рассказывал всю ночь, по второму этажу.

Какая внезапность размаха!

Одно дело — дать лозунг устно или написать на транспарантах: это — стихия, воля масс. Но — каково решение ЦК?

Ясно, что надо готовить на утро новую резолюцию ЦК. Более наступательную. Но и очень аккуратную. Так, чтобы, по ходу событий, наклонить её хоть туда, хоть сюда. Резолюция ЦК — это официальная позиция партии, этим не шутят.

...Мы — вовсе не грозим гражданской войной. Это — масса солдат и рабочих смещает все власти. В такой момент необходимо *подчиниться воле большинства населения*. А если дело дойдёт до насилия — то ответственность падёт на Временное правительство!.. А чтоб узнать мнение большинства населения — *немедленно устроить всенародное голосование по всем районам Петрограда* — об их отношении к ноте. И — *о желательности того или иного Временного правительства!*

Коммуна!! Устроить такое голосование — поднимется буря — и сметёт Временное правительство! И будет — Коммуна!

...Везде выступать с пропагандой этих взглядов и стараться организовать планомерное голосование по заводам и полкам...

Не голосование, конечно, кто и как его организует, — а новая гениальная форма восстания: восстание — через голосование!

И ещё такая атакующая мысль:

...Правительство Гучкова — Милюкова потому и старается обострить положение, что знает: рабочая революция в Германии уже *начинается!*

Очень-очень может быть, что уже и начинается! И её азарт — разрывал ленинскую грудь!

Массам надо говорить всю правду:

...Слухами о неотвратимой разрухе Временное правительство запугивает народ, чтоб он оставил власть в его руках... *Выхода нет, кроме перехода власти к революционному пролетариату!*

Сказано прямо! — а и не прямо. Сказал — а не выразился.

...Политика теперешних вождей Совета — глубоко ошибочна. Попытки примирения с Временным правительством — это размножение пустых бумажек. Это — противоречит воле большинства революционных солдат!..

Решился:

...на фронте!

и:

...в Питере.

И для окончательной замазки:

...Перевыбирайте своих делегатов в Совет.

А из Петербургского комитета пригнали гонца: составили листовку, к утру опечатаем: «Свергаем Временное правительство!»

Ну что ж, это не ЦК. Пробуйте.

Ход революции завтра сам всё покажет.

После несчастных смертей «тигра» Гершуни и Михаила Гоца — хотя и не было в партии эсеров поста председателя и не числилось явного формального лидера, но по всем счетам и вычетам (вычитая слишком уже старую да и юмористическую Бабушку, антрепренёра революции Марка Натансона, не вождя, и по доносу Азефа посаженного Осипа Минора) по всем аспектам получалось, что вождь партии — Виктор Чернов, а кто ж иной? Он и сам не мог бы доказать, как это с течением лет получилось, но получилось. Первый теоретик партии, первый философ, первый писатель. Правда, он не

перенял прямой эстафеты от гигантов народовольчества, прямо от желябовской группы, но он ещё успел за границу к похоронам Лаврова и годами общался с промежуточными полугигантами — Семёном Раппопортом, Рубановичем, Егором Лазаревым, получил почти из первых рук свидетельства Ошаниной. Уровень поколений и не может повторяться буквально. (Что-то есть об этом у Маркса.)

Да и не повторял ли он в своей индивидуальной жизни — великой судьбы русского народа? Вырос — на Волге, стержне русского хребта. Был из неприютной семьи «бегун» — а разве наш народ не бегун? Дед его, из крепостных, решил забыть сына от мужицкой доли: отдал в уездное училище, после чего тот стал младшим помощником писаря уездного казначейства, 40 лет протирал стул и дослужился до уездного казначея, получил орден св. Владимира, с ним личное дворянство и отставной статского советника. Зато вне службы отдавал дань широкой натуре — любил принимать, угощать, преуспевал в преферансе, винте, бильярде, собирал хоры, лицедействовал в любительских спектаклях (был очень влюбчив, в увлечениях склонен к безумствам, и, видимо, передал Виктору, как и свою счастливую внешность), церкви не любил, не знал даже «Отче наш» (не много перенял и Виктор), но твёрдо знал: земля вся должна отойти к крестьянам, помещики только балуются на ней. Говорил: «я — мужик, мужиком и умру». Так чувствовал себя и Виктор. А рано умершая дворянка-мать в глухомани зачитывалась журналами Писарева, Курочкина, имела и номера герценовского «Колокола», — видно, и это всё впиталось по наследству. Затем поэзия Некрасова и культ Народа оттеснили ложное патристическое увлечение (стихи на взятие Плевны, Берлинский трактат как личное оскорбление, вернуть Царьград славянству). В саратовской гимназии Виктор открывал себе Добролюбова, Бокля, Михайловского, — а между тем по городу ходили легенды о социалистах и нигилистах, бродящих с кинжалами и бомбами по харчевням и базарным площадям — подымать народ на восстание. Нашлись и в Саратове интеллигенты, передававшие молодёжи ума (Балмашёв-отец, увы, запойца, а сынок, будущий террорист, сживал у Чернова на коленях). В то время молодёжь рано начинала жить политической жизнью — и 30-летние уже считались стариками.

На юридическом факультете Московского университета довелось Чернову прочесть всего один год — и на этом его формальное образование кончилось. Зато в этот год он активно участвовал в студенческом движении (боролся с легализаторской группой Василия Маклакова, чуть постарше себя: Маклаков объективно подрывал непримиримость студенчества тем, что пытался его приспособить к существующему глухорождённому строю). В этот год посещал Михайловского — увы, тот оказался не боевой вождь, только писатель, — но поразила Чернова его необычная мысль: «не через революцию к конституции (как все привыкли думать), а через конституцию к революции». Экзаменов 1-го курса держать не пришлось: арестовали, 9 месяцев продержали в тюрьме, — затем отпустили в родные места по ходатайству писателя Мордовцева, изобразившего Чернова своим племянником. В Тамбове Чернов продолжал развивать народнические идеалы и продолжал много заниматься Марксом, заучивал целыми страницами: знать его лучше марксистов, знать наизусть все боевые цитаты, на которые приходится опираться в спорах. В Тамбове же он пытался революционизировать деревню: во-первых, подбирать для сельских библиотек такую легальную европейскую литературу, которая может будить к революционерству: «Спартак», «Марсельцы», Эркман-Шатриан и Золя, и «Бунт Стеньки Разина» Костомарова (говорят, крестьяне говорили: «это святые книги»). Во-вторых, создать тайный Крестьянский Союз, пока на Тамбовскую губернию. И съехалось 8 человек на съезд. Заметил Чернов, что Крестьянский союз правильной всего опираться на социалистически настроенную крестьянскую интеллигенцию. Вообще же он всё больше нащупывал такую мысль, будущую основу эсеровства: массовое народное движение на тесном союзе крестьянства с городским пролетариатом (пролетариат — как авангард, крестьянство — основные силы), и комбинировать с народовольческим террором, чтоб он был как бы залевкой солистов, — и так массовое движение перельётся в народное восстание. С либералами сперва «идти врозь, бить вместе» самодержавие, а после победы над самодержавием повернуть фронт против либералов.

А тут — подпал под «коронационный» манифест, стал свободен от надзора. (По удачливому стечению — никогда в жизни больше не попал ни в тюрьму, ни в ссылку, ни под надзор.) И так неудержимо вдарит потянуло за границу! — погрузиться целиком в происходящую там борьбу идей и теорий! впитать в себя последние слова мировой социалистической мысли! — сколько было притягательного, многообещающего. И вот с чем можно было совместить: там, за границей, создавать и печатать литературу для революционной пропаганды в русской деревне! Сказано — сделано. Исхлопотал заграничный паспорт, заделали ему в каблук примерный устав будущего революционного крестьянского братства — и в 1899 через Петербург он поехал в Цюрих, везя с собой видение назревающей аграрной революции. Познакомился в Женеве с Плехановым — но жестокая словесная схватка, не сошлись. А на следующий год был и в Париже и знакомился с доживающими старыми народовольцами перенимал их живую традицию. Потом снова Женеве, Михаил Гоц стал лучшим и ближайшим товарищем, даже сказать «брат» — бледно для такой духовной близости. Так, между Женевой и Парижем, потекли года (Партийных денежных средств всегда хватало зарабатывать на жизнь не было нужды до войны 1914 года.) Бесчисленные бури на собраниях русских колоний (ещё же и такая партия — ВСПС: «всякий сам по себе»). Начал печататься и в России, в «Русском богатстве», на философские темы, хотя ещё и сам испытывал необходимость философски довооружиться. (Был такой план: выработать некую среднюю



линию между мистикой славянофилов, Достоевского — и против полного торжества марксистского материализма.) Но главная задача была — заграничная заготовка литературы для деревни, для этого создали Аграрно-Социалистическую Лигу. Средства для печатания нашлись, однако: какую именно литературу надо писать? сколько её изготовить? как переправить в Россию? и кто её будет там распространять и объяснять? Собственных отделов и агентов в России Лиге создать так и не пришлось.

Да в 1902 стал задумываться Чернов, не вернуться ли ему в Россию для живого дела? Но Гершуни раскриковал: «От вас ждут выяснения партийных перспектив, партийной программы, стратегии, тактики. Ведь вы — ученик Михайловского». И он — остался в Европе, заполнять бреши теории, в том числе — и теории террора. (Писать о терроре, не совершая его сам, — тяжёлая, неловкая обязанность для эмигранта.) Да Чернов и был по призванию — писатель, перо его никогда не уставало, и много было написано такого, что никогда и не печаталось. Он был и знаток поэзии, и сам немного поэт (ценители очень хвалили его переводы из Верхарна, да и сатирик (заполнял раешник своей «Революционной России», главного эсеровского органа). Было даже мнение у товарищей, что он интересуется слишком многим, чисто по-русски расточителен в своих силах, всё соглашается взвалить на себя. Но более всего интересовала его, конечно, европеизация народничества (несколько, увы, провинциального), ввести в него западную социалистическую традицию. (Был даже опыт у него: обосновать народническую программу подбором цитат только из Маркса — Энгельса — Бебеля.) Найти теоретические обоснования для союза рабочих и крестьян. Писать инструкции по работе в деревне. А уж «устав крестьянского братства» он теперь усердствовал, копируя с сельскохозяйственных рабочих Сицилии.

Тем более, что Боевая Организация действовала сама собой, без ЦК. Это было время расцвета эсеровской партии, ряд громовых актов, завершённый двумя блестящими, новой динамитной техникой, — разрывы фон-Плеве и Сергея Александровича, и авторитет партии стоял небывало высоко и в России и в Интернационале (получили в нём место). Осенью 1904 Чернов представлял партию на парижской конференции всех левых и левейших партий (только приезд социал-демократов сорвал Ленин), где Чернов увидел и старого знакомого Милокова. (Двадцать лет назад к этому ещё молодому приват-доценту приходил Чернов-студент, ещё не веря в силу собственного пера, просить переработать брошюру Тан-Богораза, для народа. Милоков же когда-то и председательствовал на споре народников и марксистов и казался вполне своим, — как причудливо трансформируются знакомые фигуры на фоне десятилетий!) А годом позже, на Манифесте 17 октября (ловушка? заманивают революционеров, чтобы потом арестовать?), стало ясно, что в эмиграции не усидишь. И хотя братья Гоцы отговаривали, что члены ЦК не имеют права рисковать собою, — Чернов счёл нужным ехать, чтобы создать в Петербурге легальную эсеровскую газету. И, со своей русопятской наружностью, поехал с паспортом Арона Футера, пручая себя говорить с еврейским акцентом. (Все члены ЦК имели предусмотрительность не легализоваться в России, не жить под своими именами, в любой момент готовые нырнуть в подполье.) А на улицах Гельсингфорса уже маршировала «красная гвардия» капитана Кока, русских же полицейских властей не видно, не слышно. Революция?? Неужели революция?!

Кроме обозеривания газеты «Сын отечества», тут-то и понадобилось руководство партийного теоретика. Петербургскую ситуацию Чернов оценил как крайне непрочную: правительство сильнее, чем оно думает, но просто растерялось. Если мы возьмёмся его «добивать», то оно перейдёт к мужеству отчаяния, и нам придётся плохо. Нет, нужна огромная осторожность в нападении, но усиленные организационные начинания. Главная наша задача — не оторваться от масс, и по возможности перенести движение в деревню. И он ужасался, что Петербургский Совет рабочих депутатов хочет вочным порядком ввести 8-часовой день — и тщетно отговаривал их. А в Москве пытался предотвратить стачку-восстание, и тоже тщетно. (Эсеры уже упрёкали, что они стали осторожнее социал-демократов, поменялись местами.) Но нет, писал он и объяснял, мы никогда не переменим нашего звания социалистов-революционеров, никогда не примем принципиального эволюционизма, никогда не втиснем себя в прокрустово ложе легализма во что бы то ни стало, не откажемся от священного права всякого народа на революцию! Но пока даже и в деревне надо избегать сплошных захватов земли, а только допустимое и невредное подталкивание законодательной работы: например, выдворять помещицкие семьи из имений без насилия над личностью, уничтожать документы на право владения, сносить межевые столбы, объявлять землю «перешедшей к народу». Увы-увы, ложны оказались иллюзии некоторых эсеров, что проснувшаяся мужицкая душа захвачена революционным движением и вот крестьянство целыми сёлами сразу повалит в Крестьянский Союз, — даже эсеровские лозунги не затронули наболевших струн крестьянского сердца. И войска — не переходили к восстанию. Старозаветные основы государства российского — не рухнули. И весь состав ЦК эсеров, так и не легализовавшись, уехал за границу.

А дальше — пошло ещё хуже. После всех блистательных успехов террора История повернулась к партии эсеров злою мачехой: откол максималистов, потом ужасающий урок Азефа, организационно-практический крах, не только падение позиций партии и в России, и интернациональных, — но даже ведущими эсерами овладело ощущение моральной катастрофы, вакханалия смятения: хоть всем разбежаться и всё забыть. И даже оказалось, что у вождей — и смены нет.

Эти ужасные годы после 1908 и до 1914 как-то не хочется и вспоминать. Всегда гордились активизмом своей партии — а вот: самой партии — не стало, одни вожд-

ди за границей. Приедет из Петербурга 19-летний мальчик Слоним — и больше может рассказать своим вождям интересного, чем они ему.

С началом войны Чернов кинулся изучать военную стратегию, тактику и философию войны — оказывается, он никогда ими не занимался раньше, упустил. Он, разумеется, отверг патриотизм, остался на позициях интернационалистических — и был из немногих делегатов Циммервальда.

А напрасно падали духом. Прав был Гершуни, когда писал ещё из Шлиссельбурга: последние да будут первыми! России суждено в XX веке быть тем, чем была Франция с конца XVIII, — и при этом минует нас пошлый период мелочного довольства, охвативший мертвящей петлёй европейские страны. И, напротив, как жестоко ошибся Тихомиров, что революция наша будет якобинско-бланкистской, в подпольных рамках заранее сложится пред-государство, своего рода мафия, и цель её будет один захват власти. Повторилась ожида́нная! — и в самых светлых, бескровных формах. И снова вот, второй раз, и снова через Финляндию, возвратился Чернов направлять революцию и восстанавливать расстроенные, ох расстроенные, эсеровские ряды. Естественно это делать через газету, «Дело народа», нужна неустанная теоретическая разработка. Но когорта пишущих как раз сохранилась. А — отстаивать местные организации? проникать в деревню, вотчину эсеров? не отдавать социал-демократам и пролетариата? не отдавать и армии? — дух захватывает от проблем. А руководства — снова нет, не устояли старые ряды перед временем, ну вот младший Гоц. (Комично распоряжается.) Авксентьев — и в развитии остановился и сильно сбился на патриотизм. Фондаминский? — он больше по ораторской части. Капризный высокомерный Савинков — и откололся давно, и никогда не был наш. Натансон — застрял в Швейцарии, да он уже слишком и стар. А Бабушка — уж за всеми пределами революционного возраста, и забалтывается сильно. (Отправить бы её опять в Америку, она там хорошо деньги собирает.) Вместо этого приезжаешь и находишь тут тонкую хлестаковскую штучку — министра юстиции, выдающего себя за старого эсера: оказывается, сердцем он всегда был в наших рядах, только мы его никогда не знали и не видели. Но держит себя так самоуверенно, а ряды эсеров так обновляются сейчас, что новички и впрямь принимают его за ветерана, и он становится партийно даже опасной фигурой, соглашатель-оборонец, а примазывается к партии, а дезавуировать его тоже не к пользе партии, колоссален успех его речей. Появление таких фигур — наша плата за слишком удачную, слишком счастливую революцию.

Но какова же ирония истории: самая боевая русская партия, гремящая *актами* и жертвами, перестоявшая сама 16 лет, да присчитайте сюда ещё 20 лет народовольческой традиции, — в момент, когда разверзся народный океан, вдруг оказывается почти без руководства и наполняется чужими рядами. И одиноко чувствуешь на своих плечах не только судьбу всей партии, но и судьбу всего русского крестьянства.

Заняли на Галерной дом великого князя, свой автомобиль с шофёром. Естественно, Чернов сразу стал заместителем председателя Петроградского Совета и приглашён в Исполнительный Комитет, солнечное сплетение сегодняшней революции. Но после наших славнейших величественных революционных десятилетий — как разочаровывает, что этой величественности не видишь вокруг себя. Исполнительный Комитет! — как это звучит! — тот невидимый народвольтерский, перед которым дрожали цари и сановники! А входил в него и чувствуешь тут себя как спешенный орёл: небоевая серенькая скотинка, да полдюжины чудаков, мелкий уровень, мелкие заботы их волнуют, вроде ленинского экстремизма, нашли опасность!

Первое, что сделал, разъяснил в большой статье, с точки зрения истории нашей революции: обыватель — всегда ждёт пришествия антихриста, и вот ныне явился Ленин. Не в силах говорить на уровне идей — говорят о лицах. Поспорили у дворца Кшесинской несколько запальчивых собеседников — в горячечном воображении обывателя уже встаёт фантом гражданской войны. Ленин только может благодарить врагов за эту бесплатную рекламу, его может только радовать ненависть буржуазии, но мы, его идейные противники из социалистического лагеря, не должны раздражаться, чтобы не попасть в одну кучу с буржуазией. А Ленин — просто жертва тех ненормальных политических условий, когда проклятое самодержавие всех загоняло в подполье, и неизвестно было, кто же ведёт за собой большинство партии, каждый претендовал. И множились маленькие муравейники со своими лидерами и создавались властные характеры с

раздутыми претензиями. Ленин — крупная фигура по своим задаткам, но беспощадно измельчённая обстоятельствами своего времени. И у него есть импонирующая цельность, он весь как из единого куска гранита, но круглый как бильярдный шар, зацепить его не за что, и он катится с неудержимостью, сам не знает куда. Его ум — однолинейный: не знаю, куда я иду, но я иду решительно. Преданность революционному делу пропитывает всё его существо, человек безусловно чистый, но он не понимает истинных интересов социализма. От однобокого волевого устремления у него несколько притуплена моральная чуткость. Он, конечно, просто не подумал, что выхлопотать у Вильгельма право на проезд — недалеко уходит от позора подачи прошения на высочайшее имя. Да и чрезмерным тактом он никогда не отличался, всегда у него виноваты противники и бей их. У него огромный запас энергии, но доселе он был осуждён на измельчание в микроскопической кружковой склоке, отсюда его оскорбляющий жаргон, скрипит как железом по стеклу, фехтует тяжеловесной оглоблей, и она своей инерцией господствует над его движениями. Он поддерживает правду, как верёвка держит повешенного. Но мне смешны страхи, что Ленин разломает новую русскую жизнь, мне смешно, когда Ленин гипнотизирует внимание целых газет. В Ленине просто говорит опьянение воздухом революции и головокружение от высоты, на которую его вознесли события. Не надо пугаться чрезмерности Ленина — их локализуем мы, социалисты, и тем скорей, чем меньше нам будет мешать гвалт перепуганных заячьих душ. Так не надо разжигать страстей против большевиков, они наши товарищи по подполью. А проще всего было бы — привлечь их в единое социалистическое правительство, от трудовиков до большевиков.

Сейчас, может быть, главная задача: как по всей необъятной России быстро отстроить единообразные Советы крестьянских депутатов — и уверенно опереться на эту третью демократическую силу. Чернов фактически становится теперь вождём русского трудового крестьянства.

А в ИК СРСД он нашёл слишком мало циммервальдского духа — и начал уже давить на группу президиума. Зато среди молодых солдат в ИК с радостью отмечал эсеровские симпатии. Однако сомневался теперь Чернов в своей прежней формуле, что сразу после победы над самодержавием надо открывать фронт против либералов. По приезде из-за границы Чернов в Контактной комиссии был главным инициатор, чтобы Милюков посылал ноту, поддержал бы циммервальдский энтузиазм в Европе. Но сейчас, когда нота была изгажена Милюковым, — ещё следовало очень подумать, сваливать ли всё целиком Временное правительство.

А Милюкова — конечно убрать, переместить.

Бывший робкий студент смещал своего бывшего уверенного доцента.

\*\*\*\*\*

ХОРОША У КУРИЦЫ ХОДА, ДА ПЕРЕЛОМЛЕНА НОГА

\*\*\*\*\*

Генерал Алексеев привык подниматься рано поутру. А на чужом месте не спится — так ещё раньше.

В Петербурге же всегда долго спали. А минувшую ночь всю навсквозь его хозяин Гучков просидел на заседании, так теперь тем более спал. А с Гучковым-то и надо было больше всего говорить.

Весь вчерашний день проклубился несчастливым сумбуром. И доклад правительству скомкался. Как неудачно приехал. А сегодня,

21 апреля, в пять вечера надо уезжать. Но тут и сегодня никому не до Верховного. Живут своими склоками.

Возвращаться в забытую армию — ничего не решив? И опять — всё по аппаратам?

Тихо встал Алексеев в отведенной ему небольшой комнатке, помолился на восток. Пошёл в аппаратную к прямому проводу, вызвал Деникина, узнал новости, распорядился.

И всё равно рано. А Гучков ещё и болен, он долго может спать.

Один неполный день оставался Алексееву, но и в него встречал Братиану, румынский премьер. Нанесло же его в Петроград на эти самые дни. Вообще русскому Верховному Главнокомандующему с румынским премьером вполне можно было не видеться: есть для того генералы в Яссах, а тут есть Временное правительство. Но вот съехались в один день в Петрограде — и никак нельзя обминуть визита вежливости. Дутый союзник, несчастье наше и гибель, но неизбежно оказать почтение. И заранее известно, о чём будет разговор. Что Румыния — присоединилась к державам Согласия (повилявши два года перед тем), о, совсем же не из корыстных интересов, а для осуществления общечеловеческих идеалов, которым румынский король особенно предан. Но и должны же быть освобождены три с половиной миллиона трансильванских румын, и вообще упразднена дряхлая монархия Австро-Венгрия, анахронизм, её разложением заражена вся Европа. И радость Румынии по поводу государственного переворота в России, сильно способствующего русско-румынскому сближению (спасибо), — но опасаются румынские власти захлёста анархического движения от Румынского фронта, даже вот на днях беспорядки в самих Яссах, самовольно освободили из тюрем революционеров. Так нельзя ли как-нибудь прикрутить Румынский фронт — и одновременно усилить боевую поддержку румынской армии?

Кисло было заранее от этого пустого разговора, где ничего он не мог ни изменить, ни поправить. При государе Алексеев делал всё что мог, чтобы только Румыния, не дай Бог, не стала нашим союзником. А всё равно стала.

Однако и к Братиану в эти пустые часы ехать рано, тоже почиает. И томясь, придумал Алексеев: поехать сейчас к Корнилову в штаб округа. А там уже будет и время — переехать через площадь в Зимний дворец, к Братиану. Предупредил Корнилова по телефону — и к нему.

Никак не удачно было назначение Корнилова на Петроградский округ в такие политические месяцы, всё Родзянко выдумал. Тут нужен был генерал — политик и дипломат, с государственной высотой а Корнилову это недоступный этаж, он дивизионный генерал и рубака. И даже, кажется, не представляет, какая сложная эта проклятая политика.

Но что хорошо в нём — невозмутим. (Не любил Алексеев нервных генералов.) Или по лицу не прочтёшь, смуглому, азиатскому.

Корнилов считал, что вчера он справился неплохо. Да пожалуй, так и есть. По теперешней обстановке как он мог действовать иначе? Именно он и уговорил полки разойтись по казармам.

Работа для генерала — проводить митинги с подчинёнными частями.

Оказывается, этой ночью, когда Алексеев уже спал, Корнилов ездил к ним туда во дворец на совещание.

Для чего?

Вызывал Гучков. Корнилов ехал — думал получить какие-то решительные распоряжения — и действовать. А не получил никаких, или отменились они за полчаса? Зато вместо попался в вестибюле корреспондентам и пришлось отвечать.

И что ж говорил им?

Что ж остаётся. Сегодняшнее появление воинских частей у Мариинского дворца считаю следствием недоразумения, созданного какими-то безответственными агитаторами. Однако граждане-солдаты в подавляющем большинстве проявили полное понимание интересов государства: оставались спокойно в казармах.

А на площади, в полночь, 25 тысяч народа — ревут, приветствуют командующего округом. И при такой поддержке — ничего не предпринять? Странное правительство.

Да...

Если правительство в таком виде — на что ж надеяться?

Ко всему, о чём вчера докладывал Корнилов Верховному, — ещё ж так называемая «рабочая гвардия». От самых дней революции наворовали оружия со складов, а после того умудрились перебрать оружие из городской милиции. Какой-то Боцвадзе, студент Военно-медицинской академии, а теперь комиссар Выборгской стороны, один забрал у них чуть не половину винтовок. Как это происходит, непонятно. Округ призывал давать оружие — не сдают. Зачем они вооружаются? Ещё одна армия в городе, неизвестно кому подчинённая.

Отважные секущие глаза, отважный лоб. А не дано ему сразиться.

Всё-таки склонялся Корнилов к этому, не им рождённому, шальному проекту... Спасение от разложения, когда нельзя выводить петроградский гарнизон на фронт: попытаться стянуть его, тут на месте, армейской организацией? Объявить повышенную опасность Петрограду от возможного немецкого десанта после прохода льда (и правда, немцам сюда лишь повернуться?..), и что против Северного фронта сосредотачиваются большие силы (Алексеев вчера объявил газетам как раз наоборот). Может быть, дыша на этот сброд опасностью, за строгими занятиями и можно превратить их в солдат? Вот проект приказа... Хотя Гучков — против...

...Для формирования новой могучей армии... приказываю переформировать запасные части Округа в боевые полки и, не теряя минуты, начать самую интенсивную их подготовку к бою. Этим частям оставаться в Петрограде, но быть готовыми встретить и разбить противника на подступах к столице...

Так, что ли?..

Не большая находка. (И надо же наконец однозначно сговориться об опасности для Петрограда.) Но — может быть, может быть... А что тут придумаешь?.. А откуда брать вооружение этим боевым полкам? А боевой офицерский состав?

Ладно, Верховный не возражает против издания такого приказа.

Смотрел Алексеев в широкое окно на пустую Дворцовую площадь. Красные флаги — на Зимнем, на Адмиралтействе.

Жизнь Армии — течёт сама, неизвестно куда.

Семь миллионов сидят в окопах — и никому до них.

## 69

С мачехой у Коли Станюковича — совсем разладилось. За минувшие недели приглашали её прежние эсеровские друзья то в одну компанию — «на Чернова», то в другой дом — «на Савинкова», — она возвращалась переколыханная впечатлениями и восклицала: «Какие вожди! Какие люди!» И это неожиданно обернулось вчера, на ноту Милюкова отзыв её был эсеровский: «Подлец!»

Но уже до ноты ли было? такое ли разыгралось в городе? Вчера после занятий Коля с двумя Сабуровыми и ещё десятком соучеников — ринулись на улицы, отстаивать правое дело, и носили плакат против Ленина, и просто лезли, с кем бы подраться, но не пришлось. Тем обиднее было, поздно вечером возвратясь домой, слышать слова

мачехи. Что ж она, обезумела? валить правительство, едва ставшее? А вот — «как скажет Чернов!». А что будет с фронтом?! «Это — нам отольётся! Это — отцу в спину удар!» — уже криком отвечал Коля, хотя всегда же зарекался — не напрягать с мачехой отношений.

А сегодня — никто опять не шёл в гимназию, сговаривались по телефонам. Да с вечера во всех домах телефоны были заняты, не проваться, трещали и трещали звонки, наговаривали слухи, слухи; правительство уже арестовано! — нет, арестован Ленин! — да, пришли войска из Царского Села давить мятеж петроградских! Все плохо спали — а с утра опять схватились за трубки.

Но Коля с друзьями рвались — действовать! бороться!

Какое яркое утро, переливает розовое солнце на шпилях. Всегда на уроках его просиживаем — а тут красота, свобода! и сил сколько!

Ох, будут сегодня дела! Задор: чья я возьмёт? Надо, чтоб на ша!

На перекрестках Невского возбуждённые группы жителей, вполне приличного вида. На тумбах и на стенах — небывалая вещь — расклеено воззвание кадетского ЦК:

«...Вильгельм занимает наши земли — а нас зовут скорее с ним мириться и пожертвовать нашей дружбой с передовыми демократиями мира? Неужели свободная Россия может изменить благородным народам Запада? Всех, кому дорога Россия, ЦК призывает к твёрдой решительной поддержке Временного... Граждане! Не идите за теми, кто требует отставки... — такие требования ведут к гибели нового строя, притаившаяся реакция ждёт раздора в среде освободившегося народа, чтобы поднять голову...»

Проворный господин в котелке, сбившемся на затылок:

— Вот! У нас — есть вожди, мы не забыты!

У тумбы вступают голоса:

— И чего ж от правительства требуют: почему оно не давит на союзников? А союзники — нам не подчинены, как мы можем принудить Францию отказаться от Эльзаса? А если она не откажется, так что — объявить ей войну? Или — не дадим ей больше займов? Или — не пошлём ей вооружения?

Смех.

— Если мы такие сильные — то почему ж не диктуем мира Германии?

Курсистка, рук не вынимая из пуховой муфточки (прелесть!):

— Да пусть Временное правительство и объявит, что мы отказываемся от Константинополя. Но — не изменять же союзникам!

— Войне ещё куда до конца, а мы ссоримся, на каких условиях заключать мир!

Возвания на тумбах, «граждане!» — это поднимает дух, но на вкус Коли и друзей — даже и недостаточно: чего-то ещё сильнее хочется! хочется — кутерьмить!

Перешли к другой тумбе. И тут обсуждают, солидные господа:

— Как это так — «долой Милюкова»? Уйдёт Милюков — уйдёт и всё Временное правительство, это же политическая азбука. И наступит полная анархия!

— Убрать Милюкова легко, но возьмутся ли они убрать Грея, Асквита, Вильсона? — ведь там «приказ № 1» не действует. И их «манифест к народам» там не услышали.

— Да кто его вообще услышал? Ну, в Германии его опубликовали, и что? Совет рабочих депутатов думает, что можно сочинить такое воззвание, перед которым союзники не устоят. Придёт прокламация за подписью «Скобелев» — и американцы не вступят в войну?..

И поспорить не с кем, и не на кого мальчикам кидаться.

— Да из-за чего вся буря? что нового в ноте? Что мы и дальше будем выполнять союзные обязательства? — так какие тут могут быть

расхождения? Обещали не заключать сепаратного мира — так и не должны! Договоры связывают не режим, а само государство.

Высокая сухая дама:

— Но одним днём таких споров — Россия уже обеспечена! Нельзя же обсуждать такие вопросы перед лицом немцев!

— Господа! Если конфликт между правительством и Советом — это ужасно! Это — невозможно сейчас для России! Согласие между ними — это теперь основа нашей государственной жизни.

— Да кто смеет трогать нынешнее правительство? Оно поставлено — самой революцией! По всенародному указанию!

— Это, наверно, всё Ленин устроил!

— Да что ж его не осадят?

— На самом деле непонятно: что же именно вчера произошло?

Непонятно и мальчикам, хотя допоздна вчера толкались на улицах и вроде всё видели. Что же именно, правда, происходит? Как это начинается, кем это поджигается?

Нет, главное: что делать нам самим? вот сегодня! И как угадать, где будут главные события? куда нам идти?

От получаса к получасу встревоженные группки на Невском стягиваются покрупней, человек по 30—50, маленькие митинги. Кто говорит, того и окружают.

— Мы свергли царское правительство не из-за хлебных хвостов! А из-за того, что оно не могло выиграть войны. А теперь, когда приближается полная победа, — вдруг всё бросай и мир?

Офицер с резиновой ногой (кольнуло: вот так и отцу оторвёт?):

— Когда нужно последнее напряжение! Когда судьба родины зависит от ещё нескольких, может быть, недель? — и этот отравленный клич: немедленный мир?

Перешли с друзьями к городской думе. Изломы её внешней лестницы так прямо и зовут к митингу. Близ неё собралось уже и до сотни, а со ступенек — пылкий студент, снявши фуражку, открытое светлое лицо, причёска ото лба назад:

— Идите с правительством! Не то мы как народ — кончены! Мы свободу получили настолько без усилий и так уже быстро к ней привыкли, что это опьяняет. Вот — подайте нам немедленный мир. Подхватили словечко — «отказ от аннексий». Но эта циммервальдская формула сама себя исключает. Если «мир без аннексий» — тогда никакого «самоопределения наций». По самоопределению, турецкая Армения имеет право отойти к нашей, а Галиция — соединиться со всей Украиной. Но тогда это будет «аннексия» от Турции и Австрии! Так что ж, мы должны оставить хищникам все их захваты? «Без аннексий» — это родилось в германской социал-демократии. Там этот лозунг понятен: чтоб не отдать ни одной пяди немецкой территории. А — как восстановить Польшу за счёт одной русской, без германской и австрийской?

Ему одобрительно кричат, кто-то и аплодирует.

К нему туда — подымается чиновник в ведомственной шинели. Всегда послушно немые исполнители — и те сегодня стали с голосом:

— Что ж, покинуть «малые народы»? всех, кто вверился нам? Не «без аннексий», а надо кончить войну так, чтобы кровопролитие не повторилось больше никогда! Чтобы Германия никогда больше не поехала на нас!

И опять перенимает тот студент, с воодушевлением:

— Как относиться к войне — нам подаёт пример бескорыстная американская демократия! Если б мы теперь вышли из войны — с каким презрением стал бы на нас смотреть свободный американский народ!

Пошли друзья, пошли дальше! Где-то что-то сегодня... — и мы пригодимся!

Терпеть не мог Терещенко смотреть бездейтельно со стороны на дело, которое плохо вяжется. Невинный акт с нотой союзникам разрастался в государственный конфликт, правительство и Совет так до конца и не поняли друг друга за всю ночь. Но когда два учреждения не могут сговориться — всё может решить частная встреча реальных деятелей.

И хотя лёг только в 4 часа утра, уже при утреннем свете, Терещенко вскочил в 9, по-молодому свежий, и сразу же понял, что надо спешить встретиться с Церетели. Керенского не было (по дружбе Терещенко знал, что притворно), да ещё не разрешила бы ему гордость переговариваться с Церетели, а Терещенко легко мог продолжить ночную попытку Некрасова, довести документ до конца, текст был тут.

И поспешил позвонить ему, пока тот не окунётся в месиво своего ИК. Застал. Сговорились, что Терещенко тотчас приедет. Министерский автомобиль уже ждал у подъезда.

А жил Церетели сейчас — в холостой квартире Скобелева, довольно богатого наследника (но не в сравнение с Терещенкой, и не по сахару, а по муке, отец его был купцом-мукомолом в Баку), изрядно платившего на революцию, а сейчас в карикатурной степени и поклонника театра. Значит, и он будет рот раззевать рядом с их разговором.

Среди комичного и ничтожного сброда Исполнительного Комитета (и нельзя им показать, чего они стоят) возвышалось всё же несколько серьёзных фигур — и вот постоянно внимательный и доброжелательный Церетели, такая же внезапная звезда в Совете, как Терещенко в правительстве. Два месяца назад и в голову бы никому не пришло, что для решения судебных России нужно встретиться им двоим. А вот.

Черноглазый Церетели с длинным худым лицом смотрел сейчас, кажется, с недоверием (после вчерашней терещенковской защиты ноты). Но вот Терещенко уверял, что вся история — чистое недоразумение, ничего плохого не имелось в виду. Церетели кивал. Он тоже очень хотел уладить.

Это нужно было для спасения России, но и в частности особенно нужно для самого Терещенки. Во-первых, как для министра финансов: из-за этой паршивой историйки зависала вся судьба Займа Свободы, а без займа грозили быстро рухнуть все российские финансы. И во-вторых, как для лица, более чем заинтересованного в ближайших путях российской внешней политики.

Весь выход был в том, чтобы отредактировать нужное «Разъяснение» от имени правительства. Это было бы не сложно, если бы Терещенко не опасался, что Милюков упрётся и испортит всю игру.

Больше всего пришлось советским против шерсти «решительная победа»? — так замазать длинной цитатой из декларации 27 марта. Потом надо было что-то измыслить о «санкциях и гарантиях». Придумано было, отчасти ночью с Некрасовым, потом и с Милюковым, что это — совсем не вредные мероприятия, а: международный трибунал, ограничение вооружений. Ещё бы что-нибудь? Ну: «и пр.».

Но что неприличнее всего: это «Разъяснение» теперь рассылать послам союзных держав как дипломатический документ? Это — крайне нетактично, невыносимо!

Дружественно расстались на том, что Терещенко как можно скорее проведёт бумагу через заседание кабинета — и тотчас же пошлют в ИК. И те двое поехали на ИК, у них начинало кипеть заведомо раньше правительства.

Но не так просто достанется Терещенке. Милюкова оскорбит прежде всего, что составление согласительного документа прошло без него — и уже поэтому он будет придираться к каждому слову. Он ревнует, что поле внешней политики не отдано ему целиком на



откуп. И ревнует, не без оснований, к Терещенке, что его английский да и французский лучше. И потом, как упорный торговец, Милюков больше всего боится продешевить, уступить хоть копейку раньше или на копейку больше, чем это абсолютно неизбежно. На самом деле, у него нет художественного чутья, чувства целого, чувства манёвра, вот капризно не желает считаться, что вырос какой-то Совет. Вся политику он понимает так: упереться и не пускать. А по сути нота его была совершенно верна, и даже, при гибкости, её можно было составить и более преданно к союзникам, но и более требовательно к ним, мы должны с них тоже получить хороший куш,— а вот неумело подана...

Недавно Бьюкенен пригласил сепаратно Керенского и Терещенко, понимая их растущую силу в правительстве, к себе на ланч. И они легко сошлись в оценке, что от Милюкова ждали не такой высоты, что деятельность его шесть недель разочаровывает — и вряд ли ему удержаться дальше вершителем внешней политики. И всем трём (ещё до скандала с нотой) было понятно, что только Терещенко единственный и сможет заменить Милюкова.

Но сию минуту не так легко было даже собрать правительство: кто ещё спал после этой ужасной ночи (князь Львов только что проснулся); кто, как Шингарёв, уже сидел в министерстве и отказывался ехать на заседание раньше чем в три часа пополудни: ещё не совсем готов его документ о земельных комитетах, подлежащий утверждению сегодня. Князь Львов обещал попытаться собрать — ну, к часу дня.

Нет, с этим рыхлым дрыхлым правительством можно просто известись! Они не понимают, что значит торопиться.

Тогда Терещенко предложил Львову собрать трёх-четырёх министров, с Милюковым, и решить келейно.

Но с Певческого моста твёрдо отбил Милюков, что надо отвыкать от закулисных комбинаций, решение правительства возможно только в полном составе.

## 71

В минувший вторник, назначенный быть Первым мая (промахнулись советские вожди: их европейские учителя, оказывается, и не праздновали), Публичная библиотека, разумеется, работала. Но и из окон, и выходя от времени на Невский, наблюдали это полумиллионное шествие — что-то в нём страшное есть. Страшное — в своей организованности: что в определённый день и час полмиллиона жителей, да даже больше, идут по указанным улицам, в указанном направлении, в предписанных рядах,— ведь это очень неестественно! А пение! — одни и те же песни в сотне разных колонн; а манера! — монотонная, то ли вынужденная, замороженная, — тон какого-то нового язычества.

Один библиотечный остроумец переиначил Козьму Пруткова:

— Скажи, если б не было красного цвета — как бы ты отличил друзей народа?

Заведующая выдачей ответила:

— Смешного мало. Вот это и течёт тот самый Ахеронт, который всё грозился поднять Василий Алексеич Маклаков. Мы уже видели в феврале, какой он бывает не мирный. Но он тек не против нас, и мы радовались. А если потечёт на нас?

И сбилось просто через день: в четверг он потёк уже на нас. Тех полков на Мариинской площади библиотечные служащие не видели, но к вечеру шествия полились под стенами самой библиотеки — и страшно выглядели: эти резкие, как пощёчины, «Долой Милюкова!», даже «Долой Временное правительство!», особенно когда уже в темноте выдвигались под фонари, и особенно та колонна, где рабочие шли с зинтовками. Лица были совсем не сонно-добрые, как на 1-е мая, а откровенно-злые, так зло и оглядывались на публику петербургского центра.

После служебных часов идя домой через Невский, Вера подходила к одной спорящей кучке, к другой (в день революции он просил её: только не задерживаться на Невском...), слушала, и задетая и обрадованная. Задетая обиднейшими подозрениями, которые то ли действительно зрели в головах у этих людей, то ли были им внушены со стороны, а обрадована — сколько и самой простой неинтеллигентной публики, по виду приказчики, торговые сидельцы, мелкие служащие, а главное простые солдаты, отвечали тем — трезво, ясно, с неиспорченным чувством. «Солдаты — за нас!» — это было вчера вечером открытие не одной Веры, но всего благоприличного Невского проспекта. Какие-то солдаты, выходящие в строю на Маринскую площадь, были против нас, но вот эти все отдельные, свободные от строя, — все разумно за правительство, за порядок и, хотя именно им предстояло воевать, они и за разумное окончание войны, не на полдороге и не в развал.

Это было ново — для петербургской улицы и для всякой русской улицы: не созданные кем-то сходки, а стихийные политические споры всех сословий вперемешку, и простонародья. Закованный угрюмый Петербург вдруг превратился в какие-то северные Афины. Внезапно оказалось, что потребность самим обмысливать и обсуждать политику — есть и у русской толпы, да слышались многие меткие замечания, и с сочными народными присказками.

Сама Вера в этих схватках не подала голоса ни разу, но мысленно пыталась отвечать, да кажется иногда и понаходчивей, чем те вслух.

Сегодня утром, развернув «Речь», она увидела большое эволюционное воззвание к стране кадетского ЦК, видимо, заседали ночью... И как может сегодня Россия требовать от союзников изменения прежних договоров? — это нарушит единение с ними, когда мы более всего нуждаемся в их помощи. Мы так не избавимся от бедствий войны, но только станем одиноко перед величайшими опасностями. Уже ведь видно, что наша революция не вызвала германской, но хищная монархия Гогенцоллернов строит все расчёты на нашем разладе с союзниками. О сепаратном мире мечтал царизм, но не мы с вами?!

И ещё новые, новые повороты аргументов и призывы. Воззвание было передлинено, от этого после прочтения Вера была больше встревожена, чем когда поднялась утром: вожди не были так уверены, как вчера сложилось на Невском.

И ещё такая была в сегодняшней «Речи» смутившая Веру статья: ни один сознательно мыслящий гражданин не может стоять одиноко, вне партии; вне партии невозможно совершать политическую работу свободной демократии. Превратим бесформенную массу русского общества в стройную организацию политических партий!

Что-то очень опасное произошло — центральная кадетская газета ещё никогда не призывала так. Но хотя Вера годами немало сил положила на разнообразную помощь кадетской партии, и вполне сочувствовала её программе, и высоко уважала многих её руководителей, — но она никогда не испытывала потребность стать и самой членом партии, это была форма сжимающего принуждения. Да в таких категорических фразах, да с расширением на всё русское общество?

На Екатерининской гимназисты раздавали прохожим белые печатные листки, прокламации. Взяла. Крупно:

«Граждане! Россия переживает страшный час!..»

Ну, читать уже в библиотеке. Но вошла — а там, сразу же за входной зеркальной дверью, завешена вся доска объявлений — таким же, только крупным печатным возванием — уже не от ЦК, а от всей партии Народной Свободы:

Граждане! Россия переживает страшный час! Решается судьба страны, судьба будущих поколений! Народ проявил великую мудрость в доверии Временному правительству. Сплотимся же вокруг него, не дадим разрастаться анархии, вслед за которой

придёт притаившаяся чёрная сотня... Милюков, появление которого у власти купило доверие к нам наших союзников, объявляется врагом отечества! Но они знают, что уход Милюкова означает уход всего Временного правительства,— куда ж они ведут Россию?

Мы стоим на краю пропасти. Граждане, выходите на улицу! проявляйте свою волю, участвуйте в митингах, выражайте одобрение правительству! Спасайте страну от анархии!

По всей библиотеке перебрасывалось волнение. Настроение было: и д т и! Почему, в самом деле, мы всегда бесконтрольно отдаём *им* улицу? Почему мы вот здесь, у себя, говорим свободно, а на улице стесняемся? А на улицах всё и решается! Вчера уже ходили другие — а что же мы?

Переговаривались в коридорах, на лестницах, передавая друг другу нарастающее:

— Правда! Надо не отделяться ироническими шуточками, а идти на Невский! И вслух говорить против анархической пропаганды!

— А то мы только поддакиваем тем, кто делает...

— Если имеем убеждения — почему таимся? А если наши убеждения ничтожны — не надо сетовать на развал.

Нашлись добровольцы — снаружи к зданию приставили лестницу — и с садового фасада сняли кем-то накануне вечером подвешенную красную полосу, криво отрезанную и с кривобуквенной надписью: «Да здравствует международная пролетарская солидарность!» Кто-то писал на ватмане: «Доверие Милюкову», «Доверие Временному правительству». В подвале служащие сколачивали под них щиты.

Кто-то внёс снаружи в вестибюль свёрнутое зелёное знамя — кадетское знамя. До сих пор такие красовались только на съезде, да в районных комитетах. А теперь вот — на улице?

Показать им, что в столице — не одни горлопаны-ленинцы. А получат отпор — их как бы и не было.

— Только заикнись против них — сейчас же кричат: «Буржуй! убрать его!»

— «Буржуй» — это стало теперь вместо «фараона».

— «Буржуй» — это становится как чёрная кость.

Мирнейшие библиотекари, интеллигентные посетители... «Уличное воздействие» — нам казался шаг, не допустимый для воспитанного человека? Но — пришла пора!

И Вера — была из решительных идти.

Тем временем прочли в «Известиях» заявление Совета, что это не он устраивал вчера выступления против членов правительства: «это — недоразумение, которое было создано некоторыми несоответственными личностями». Ах вот как! А между тем эти личности играют чужими головами.

Кем же тогда? большевиками? Хотя революция и победила, а большевики не раскрылись откровенно, остались со старыми конспиративными приёмами.

Но — как начинают манифестации? Друг друга убедили, всякую работу прекратили, подготовились, оставили двух дежурных,—

— Господа! Выходите! Господа, через главную дверь.

Вышли кучкой на тротуар против Екатерининского сквера. Сперва робкой. Потом больше.

— Господа! На мостовую! Не стесняйтесь.

Как странно: всегда *они* ходили по мостовым, а мы — только смотрели с тротуаров. А вот — сейчас пойдём по мостовой мы!

И значит? — у нас сила?

Взяли, подняли два плаката, одноручный и двуручный. Свой каталогист впереди — поднял зелёное знамя и развернул.

Да! Чтобы проявить свои убеждения не в гостиной, а на улице — нужна конечно смелость.

А уже вышли и все свои, с читателями.

И из прохожих примыкали — любопытные? или сочувствующие?

Уже их стало больше сотни.

И два-три весёлых солдата.

— Господа! И солдаты с нами!

По-шли.

А на Невском — уже опять муравейники! Вчерашние. Перегораживая тротуары. И соступая на мостовую.

Повернули налево — мимо Гостиного двора.

Чудовищно странно идти — по мостовой Невского. Извозчики придерживают, объезжают. Трамваи умедляют.

Со всех тротуаров — внимание: и к невиданному зелёному знамени, и к публике такой.

Одобрительные возгласы.

И присоединяются — гимназисты, офицеры. О-о-о, да нас много уже!

Всем — необычно, всем — чудесно.

К Казанскому собору! Там поговорим. Где ж ещё и говорят?

## 72

\* \* \*

И уже по всему Невскому — необычайное лихорадочное оживление. Уже не кучки, а едва ли не толпы чистой городской публики, как никогда не бывает. И солдаты есть. А рабочих не видно. Стеснены все перекрестные трамваи, звонят, медленно едут.

Вышла на улицу — интеллигенция! Ещё не знают, как себя держать, куда идти, — просто показать свою гражданскую убеждённость.

— С нами, товарищи! Кто за доверие — присоединяйтесь!

Молодёжь лезет на стены, снимает красные флаги с домов, их много наткано, и несут. У кого-то на флагах уже и скороспелые надписи.

На углах расклеены, в витринах выставлены жгучие воззвания партии Народной Свободы: «Выходите на улицу! Проявляйте свою волю!»

\* \* \*

На углу Пушкинской студент кричит возражательно с ящика:

— Нам надоели эти общие места! Народу противна буржуазная казуистика!

Гимназический учитель в форме:

— А причём тут буржуазия? Не буржуазия ведёт войну, а для жизненных интересов России!

Тот студент: — Нет оснований доверять Временному правительству!

Матрос с тротуара, густо:

— Вполне доверяем правительству, оно нас не подвело. А кто может сказать, что оно изменило?

Из гула: — Ленин и компания.

Матрос, приступая к студенту:

— А велика наука, вон, быть вагоновожатым? А ну, стань на его место, далеко ли уедешь?

\* \* \*

У Аничкова дворца, к Фонтанке, большая толпа. Между шляпок и котелков — есть и картузы и бабьи платки. Всё сегодня получило горло, перекликается, но обывательские речи смиренные, а если резко крикнет, то вот реалист:

— Отказаться от ноты! Потребовать от союзников присоединиться к манифесту Совета!

Дама, сплетя на груди пальцы в лайковых перчатках:

— Но нельзя же заставить союзников пересматривать договоры во время войны!

— Опубликовать тайные договоры!

— Это подло!! Секретный договор может быть опубликован только с согласия всех сторон.

Военный чиновник объясняет: опубликование договоров равно усилению шансов наших врагов. От оглашения могут быть большие осложнения, это бестактное требование.

Вроде банковского служащего:

— Ну, хорошо, с нашей земли изгнать врага, это мы согласны. Но надо точно объявить наши условия мира — тогда и немецкий народ пойдёт нам навстречу.

— Да кто ж до Учредительного Собрания может устанавливать условия мира?!

Студент: — Да зачем дальше воевать, когда на фронте уже братание идёт?

Представительный рослый господин в хорошем пальто:

— Это возмутительно! Сперва надеялись: немцы свергнут Вильгельма. Не свергают. Теперь — надежда на братание. Да откуда эта мечта, что немцы не пойдут на нас наступать? У нас просто голова кружится. Но надо встряхнуться! Мир — это многостороннее действие: надо, чтоб и союзники были согласны, надо, чтоб и противник шёл на мир. Как же мы можем сами объявить мир?

Та же дама, всё так же с руками на груди:

— Да имейте терпение! Вот, Америка вступила! — теперь война скоро кончится. Америка тоже долго говорила — мир без победителей и побеждённых, — а вот же присоединилась!

Тот господин:

— Мир вничью — так Германия скоро оправится, и опять нападёт на нас. Нам нужно укреплять нашу военную силу — и вот тогда нас будут бояться, и наступит мир.

Ему курсистка, чёлка из-под меховой шапочки:

— Вы хотите победы? Вам нужно ещё миллионы калек? А нам нужно — братство народов! Германский народ очнётся.

Тому студенту — лакей:

— Хотите с немцами брататься? А чем же французы хуже?

Студент — не ему, а всем сразу, с ледового бугорка:

— Выслушайте спокойно! Это иллюзия, что одержав победу над кайзером, мы потом своим революционным благородством заразим союзников, и они откажутся от захватов. Они — всё равно захватят! — и хоть с ними потом войю. Нет, кто-то должен благородно отказаться, и с самого начала. Нельзя упускать ни малейшей мирной возможности!

— Нет! Это если мы с Вильгельмом помиримся — вот тогда придётся воевать с союзниками!

Курсистка, встряхивая чёлкой:

— Мы согласимся защищать свободную Россию, но не алчные аппетиты богачей.

Два солдата прикатили бочку. И раненый солдат, рука на перевязи, влез на неё:

— Слушайте! Как так всё кинуть? А за что ж мы кровушку лили? А за что ж я три месяца, не зная покою ни днём ни ночью, лежал на лазаретной койке? Наши братья в окопах, а мы тут неужто будем слушать подзужников? А что бы мертвые сказали? Кто затеял эту суматошь? Не мы.

— Ленинцы! — кричат из заднего ряда.

Студент громоздится на снежной куче:

— При чём тут ленинцы? Я вот никакой не ленинец. Но демократия должна сыграть почётную роль посредника мира. Тайные договоры были заключены царским правительством, а демократия не обяза-

на их соблюдать. Вон, австрийцы заявили, что нет препятствий к переговорам о мире, — почему же мы не вступаем? Почему нужно не только отразить врага, но свалить на землю и наступить на горло?

— А что ж, вот, солдат — другое говорит?

Хорошенькая гимназистка язвит:

— Вы потому против войны, что на фронт боитесь?

Опять военный чиновник:

— Как будто кто-то спорит, что война — ужас. Но враг слышит наши раздоры, что мы устали.

Плотный седой господин, решительно:

— Всякий последовательный демократ должен быть и борец за полную победу!

Неуёмная та курсистка:

— Ну да! — завоевывать Константинополь, присоединять Армению, отбирать обратно Польшу, — а нужно ли это народным массам? Мы выиграли уже то, что ценой войны сбросили царя! И этим помогли всем демократиям мира. А расчленив Австрию, уничтожить Турцию — это не наше дело. Сейчас Германия борется за своё самосохранение — и это даёт ей страшную силу отчаяния! Опасно доводить её так...

Плотный господин не уступает:

— Но народ отверг утопические формы мира и не выпускает винтовки! Пока Германия не откажется от захватов, пока мы не услышим голос её истинной демократии — до тех пор мы будем непоколебимо стоять!

— А — где вы стоите? — ему мастеровой. — Вы — идите побеждайте своими руками, что вы других зовете?

А на бочку вместо раненого влез густобородый солдат, без винтовки:

— Не потому немец нас два месяца не трога'т, что рад нашей свободе, — а что мы друг дружку поедом едим. Немец понима'т, что напри он на нас — мы б сразу опамятавались, за оружие взялись. Вот он нам покой и даёт, чтоб мы ссорились...

Толпятся, толпятся... Вот так добывает масса горькое понимание политики — стиснутая плечами, спинами, едва видя через головы, едва лоя по воздуху далёкий голос, который з н а е т? Или — не знает? Кому верить?

\* \* \*

С Невского на Михайловскую несколько десятков человек бросаются с криками и проклятьями. Бегут, сбивая друг друга с ног, ловят, сами не знают кого. Одни: немецкого шпиона заметили! Другие: с бомбами! Третьи: провокатор!

Поймали двух молодых: ленинцы! Повели — в комиссариат. Там — приняли их, а от толпы внутрь не пустили. Постояли — разошлись.

\* \* \*

На Михайловской улице у подъезда «Европейской» гостиницы — тоже большой митинг, всех сортов публика, от офицеров до кухарок. Все — граждане!

Меняются ораторы на ступеньках, и только один крикнул «долой Милюкова», ему не дали кончить:

— Гоните его!

А хорошо слушали молодого безбородого солдата:

— Товарищи! Я трижды ранен, больше не хотел идти на войну. Но теперь — пойду. Только трусы требуют конца войны. Здесь — не имеют права говорить против войны, спросите раньше фронт, что он вам скажет? Если не разгромим немца — нам из кулька вытащат Николая...

Спорят везде горячо, но без кулаков. Перевес — везде за Временным правительством, и солдаты все — больше так.

\* \* \*

Большая организованная кадетская манифестация, человек триста, с зелёными и трёхцветными знамёнами вышла из кадетского клуба на Французской набережной, впереди медленно идёт открытый автомобиль, в нём — Винавер, ещё несколько кадетов, во время остановок обращаются с речами к окружающей публике. За ними — грузовик с вольноопределяющимися, и те разбрасывают листовки с кадетским воззванием.

В колонне плакаты: «Победа свободных демократий!» — «Долой германский милитаризм!» — «Верим Милюкову» — «Да здравствует Времен...»

Прошли по Литейному. Потом — по Невскому. А с Морской повернули к Мариинской площади. К их шествию по пути присоединилось много солдат, офицеров, обывателей, к концу стало в шествии несколько тысяч.

На Морской толпа подняла на руки встречного французского офицера и внесла, подала его в автомобиль ЦК. Винавер приветствовал его, толпа кричала «Бив ля Франс!»

\* \* \*

Но вот валит по Невскому совсем иное шествие: впереди, с четверть колонны, — хмурые рабочие, с винтовками на ремне через плечо. А три четверти — рабочие бабы да подростки. Несут — «Долой Временное правительство». А кричат:

— Долой Милюкова! Не дадим ему пить нашу кровь!

— Пусть умрёт от своей буржуазной жажды!

Им в ответ из встречного шествия:

— Да не Милюков, а Вильгельм пьёт нашу кровь!

А они:

— Да здравствует Ленин!

А им:

— Долой Ленина! Долой немецких шпионов!

Прошли, друг друга не задели.

А что это они — с винтовками? Вон, все солдаты на улицах — без оружия.

\* \* \*

И ещё — подобные же рабочие манифестации, приходят или с Литейного моста, или с Трицкого.

Враждебные — иногда минуют друг друга встречно, иногда идут параллельно рядом и перебраниваются.

Озлобление нарастает. Лица воспалённые, искажённые:

— Да здравствует Интернационал!

— Смутьянов — в Германию, они там нужней...

— Долой Милюкова!

— Долой Ленина!

— Долой войну!.. Нам не надо завоеваний!

— Верим только Временному правительству!

Трамваи — всё медленней, стоят в пробках. А извозчикам, экипажам — хоть вовсе с Невского сворачивай.

Митингуют — уже на всех углах, не пройти.

— Вот устроили! Только немцам это и нужно.

— Вот Вильгельм порадуетя...

После бессонной ночи ИК собрался — у всех главарей тяжёлая невыспанная голова и падение энергии. (Ещё прежде ИК произошло совместное заседание трёх народнических фракций. И эсеры поддержали трудовиков и пешехоновских энесов: что социалистическая демократия ещё не в силах выполнить задачу самостоятельного управ-

ления страной, и такое правительство подорвало бы кредит России перед буржуазной Европой. Нет, разрывать с кадетами не пришёл час.)

Церетели доложил, что сегодня утром к нему приезжал Терещенко и согласовывали набросанный вчера ночью проект примирительного документа. Вот он. Обещается лёгкий компромисс, затруднений не должно встретиться, в ближайшие часы его утвердят на совете министров. (Ещё надо обсудить, допустимы ли такие частные контакты Церетели с министрами: не может же он всегда знать и выражать мнение ИК.)

Документ может быть и неплохой, можно бы и утвердить: в конце концов, составляет всё-таки первый шаг в постановке на международное обсуждение отказа от насильственных завоеваний? Это — крупное достижение демократии. (Чернов: «трудовой демократии».) Большевики, конечно, не согласны: это — поражение! Но и многим в ИК не так уж понятно: почему надо быть столь вежливыми с союзниками? почему нельзя на них *давить*? Во всяком случае надо ещё раз потребовать от Временного правительства, чтобы ни один крупный политический акт не издавался без предварительного осведомления ИК. И чтобы скорей выгоняли всех царских послов.

Пока ожидать окончательной бумаги от правительства — стали думать, что надо крепче взять в руки петроградский гарнизон, как уже вчера начали, чтоб не повторялось самовольство. Вызвать завтра на бюро ИК представителей всех батальонных комитетов и с ними окончательно крепко установить: чтобы впредь ни одна часть не выходила бы на улицу без прямого постановления ИК.

Но даже такого простого делового решения нельзя просто принять: Красиков (всё же нахальные эти большевики) начинает требовать, чтоб на этом завтрашнем совещании могло присутствовать не одно бюро, но все желающие члены ИК.

Чернов посматривал вокруг с усмешкой: 80 из 90 этих членов ИК — революционеры без году неделя, никто их в революции никогда не слышал, не знал, а теперь они хотят всем управлять. Но так как самые шумливые — интернационалисты-циммервальдисты, то Чернов удержался против них выступить: уж он-то и есть коренной циммервальдист, вместе с их Лениным.

Но — что?? Теперь они поднимают вопрос о перевыборах бюро! Неделю назад выбрали — и уже переизбрать? Почему? зачем? Просто — рвутся к власти. Ну, нахалы.

При европейской успокоительной широте черновских взглядов — ему так дика эта дёрганая обстановка здесь.

И долго длится шум, неразбериха, вскакивают, трясут друг друга за грудь: переизбирать? не переизбирать? И не заставишь их умолкнуть!.. Только на том и уговорились, что весь вопрос снова будет поставлен на одном из ближайших заседаний.

После этого хватились, что мало удержать петроградский гарнизон, — а все гарнизоны окрестностей? Ораниенбаума, Стрельны, Гатчины, Красного Села, и самый кипучий Кронштадт? Надо составить для них всех удерживающую радио-телефонограмму: не отправлять в столицу войск без письменного приглашения Совета! И — передавать скорей!

А по всей России, местным советам и гарнизонам — тоже ведь надо? Воздержаться от самостоятельных выступлений, спокойно ждать указаний от Петроградского Совета.

Но в девяносто голов не составишь, надо и для этого назначить комиссию. Назначили: Стеклова, Эрлиха и Сталина. (Тихий, прибитый — и до чего ж комично прилеплена к нему кличка, лягушка дуется до вола.)

Ещё надо и Линде призвать, отчитать за вчерашний авантюризм.



«Разъяснения» от правительства всё не слали. А тут — зазвонили телефоны. Телефоны — со всех заводских окраин, а сообщение одно: рабочие того, другого, третьего, четвёртого завода бросают работу по распоряжению ИК! — и идут манифестировать в центр!!

— Какое такое распоряжение ИК? — кричит в трубку Скобелев. — Мы такого не давали! Сейчас произведём расследование!

Но — поздно расследовать! Со всех соседних телефонов то же самое: рабочий Питер подымается!

Здорово неуютно стало тут...

Однако за Невской и за Нарвской заставами ещё сохраняется спокойно.

А вот с Выборгской, с Васильевского повалили — да с оружием С оружием?! Да это ж провокация! Кто распоряжается? Товарищи, из членов ИК ведь никто...?

Где же наша власть??

Опять звонят: с Выборгской стороны и из Новой Деревни — к центру идут большие манифестации с оружием! и требованием отставки правительства!!

А на Невском — демонстрации в пользу правительства.

Что делать? надо не дать им столкнуться! Надо остановить выборгских рабочих.

Поедет — сам Чхеидзе и Скобелев, их не посмеют не послушать!

Но выскакивает Гиммер на середину комнаты:

— Товарищи! Но право манифестаций есть одно из ныне завоеванных, общегражданских субъективно-публичных прав! Его нельзя ни отменять, ни ограничивать. Вы не имеете права лишать массы возможности подать голос! Пусть сперва правительство запретит манифестации буржуазии и невской публики, враждебные демократии!..

Задержал. Дискуссия.

Два раза позвали к телефону и Чернова — с тех заводов, где образовались эсеровские комитеты: как вести себя?

— Пробовать остановить.

— Тогда потеряем авторитет. Они уже подняты и всё равно идут...

Верно. Если сейчас не согласиться с начавшимся движением — можно оторваться от масс.

Миг исторического решения вождя!

— Тогда присоединяйтесь и возглавьте, с циммервальдскими лозунгами.

В конце концов, рабочие выступления говорят о силе и зрелости народного движения. Значит, как же силен в массах дух интернационализма?

А с Московской заставы сообщают...

Жуть.

Чхеидзе, Скобелев и Войтинский в открытом автомобиле встретили голову многотысячной выборгской колонны — на Марсовом поле. Впереди каждого завода — вооружённая рабочая милиция, это кто-то же здорово успел организовать, и плакаты уже готовы — «Долой войну!» — «Долой Временное правительство!» — «Вся власть Советам!» — «Война войне!»

А в задних рядах — работницы, некоторые — и с чайниками в руках, как берут их на работу, и теперь с собой.

Все трое исполкомовцев поднялись в машине.

Колонна попризадержалась.

Чхеидзе приветствовал их от Исполнительного Комитета. Но: не нужно сейчас неорганизованных выступлений. Им сейчас лучше всего — вернуться на заводы и стать на работу. Правительство уже согласилось разъяснить ноту в желательном смысле, и потому дальнейшие демонстрации бесцельны.

И Войтинский, горячо, легко:

— Товарищи! Мы знаем, что вы готовы в любую минуту поддержать нас в борьбе. Без всяких манифестаций мы знаем, что вы — с нами. Из десятков казарм к нам тоже поступили желания продемонстрировать. У нас — миллионы штыков! Но пока — это не требуется...

Из вожakov толпы крикнули: рабочие сами знают, что им нужно делать!

И толпа — повалила дальше, к Садовой.

И потерянной головке исполкомовцев — что ж оставалось?

Приветствовать?..

## 74

Юрий Владимирович Ломоносов вчера в Петрограде не был, а по телефонам в Царское Село нёсся ворох непроверенных новостей. Сегодня так и думал, что лекции его не состоятся, но всё равно поехал бы в город, даже из одного любопытства.

Сперва в институт (с утра извозчики свободно ездили). К лекциям собралась кучка только уже вовсе смиренных, — даже и путейцев, этих самых нереволюционных студентов, утащило вихрем! Отменил лекции, поговорил с возбуждёнными профессорами — и пешком на Невский, посмотреть. Сегодня был он не в генеральской путейской форме, а в штатском пальто, фетровой шляпе.

Почитал расклеенные кадетские воззвания. И осмелела интеллигенция, ждать было нельзя, но и трусит. Не прямо своя грудь выставлена, а — «против реакции, притаившейся чёрной сотни», на всякий случай загордиться, обычный приём.

В банк нужно было — не добраться, да наверно закрыт. От жены было магазинное поручение — ну, куда тут.

По всему Невскому — словесный потоп! Все сословия, униформы и возрасты — в едином перемешении и в сотнях малых митингов. Ещё недавно трудно было представить в русском народе способность к дискуссиям. Разговорились. Откуда это?

Вот — и площадь перед Казанским собором, любимое место петербургских сходок, бушевали тут студенты ещё в первый год XX века — и куда нас с тех пор занесло! Уж тут-то море людей, от тротуара Невского и в обхват дуговых колоннад собора — да чуть ли не четверть Петербурга здесь? Там и сям возвышаются древки с обвисшими красными флагами. По обе стороны собора, близ Кутузова и близ Барклая, на трибунах меняются голосистые ораторы. Вот от Кутузова:

— Без продолжения войны Германия не пропустит нас в мир справедливости! Нет другого пути в Царство человеческой свободы!

А из толпы с меткой поддёрвкой:

— ...и в Константинополь!

Тот не растерялся:

— А что ж? Свобода плаванья через проливы — тоже справедливость! И если Штюмеру и Протопопову не удалось загнать Россию в постыдный тупик сепаратного мира, неужели она сама добровольно забредёт туда?..

Да куда хочешь эту Россию и загонят.

— Это — ложь про сепаратный мир! Кто предлагает!

С разных сторон:

— Ленин!.. Ленин!..

— А что ж, односторонний разрыв договоров — не сепаратный мир?

На трибуну энергично взбирается молокосос-вольнопределяющийся:

— Не заставляйте унижаться опровергать вздор! Да как может взбresti победившей революции капитулировать в сепаратном мире? Ни Совет рабочих депутатов и никакие партийные круги не предлагают такого, ложь! Мы готовы с оружием закончить войну во имя молодой свободы.

Свобода — это огонь, а молодая — пламя, не обожгитесь.

— ...Это фальшивый лозунг — «без контрибуций»! Это значит: переложить восстановление разорённых народов — на них самих! Ограбленную Польшу, Курляндию — с немцев на нас? Петроградских рабочих хотят убедить, что это заплатит буржуазия? Но для восстановления нужны семена, скот, металлы, машины, кирпич — а у нас у самих мало. Рельсы, косы, серпы, плуги, гвозди? — значит, рубите русские леса, опустошайте нашу землю — чтоб только облегчить германских династов, капиталистов и их верных товарищей социал-демократов? Вы вот э т о разъясните нашим рабочим и солдатам! Как вы предлагаете — нам и грозит экономическое рабство от немцев. Если мы не разобьём Германию — она задушит нашу промышленность, и бремя невыигранной войны сильнее всего и почувствуют бедные классы!

Хозяйственно — разумно. Экономике — неплохо бы людям понимать.

А от Барклая:

— Вы говорите — к международному братству? Но если германские социал-демократы всю войну твердили, что воюют против русского самодержавия, — то почему нам теперь не воевать против самодержавия Вильгельма? Теперь, когда у нас нет самодержавия, кто ж мешает германским социалистам выполнить свой идеал и выйти из войны? Вы же к ним обращались — чего ж они не перестраивают Германию в рабочую республику? Значит, они не имеют ни веса, ни голоса? Германские планы — ничуть не изменились от русской революции. Все циммервальдские фразы — болтовня! Большевики скрывают, что немецкий трудящийся нас не пощадит, он с винтовкой в руках верен кайзеру!

Да никаких бы этих митингов не надо и никого ни в чём убеждать, если бы в правительстве были не растяпы, а решительные люди. Революцию — надо сразу хватать за загривок, и энергию её — направлять правильно. (Ломоносов вытянул на Бубликове пустой номер. Бесконечно обидно, как руки сорвались с крепкого ведения. Такая авантюра, столько риска! а осталась, кем и был.)

Объявляют: сейчас выступит оратор от Совета рабочих депутатов товарищ Либер.

Да и Совет ваш гроша не стоит.

В штатском. Невысокий, сухощавый. Аккуратная квадратная чёрная борода. И срывистым голосом — сразу в полёт! — видно привык выступать:

— Буржуазные крикуны бросают по нашему рабочему адресу обвинения, будто мы не защищаем родину? — Чуть не подпрыгивает: — Они спровоцировали эту войну! Они затянули её до бесконечности! А сами, как и до революции, объедаются сластями в кондитерских! Господствующие классы стремятся овладеть новыми рынками для сбыта товаров. И теперь война продолжается во имя идей, объединяющих царя, Милюкова, Бриана и Ллойд Джорджа.

На Милюкова загудели: нет!!

А если — разобраться?

— ...И теперь мы узнаём, что декларация 27 марта была издана для усыпления революционной бдительности. Нота Милюкова — угроза уже вспыхнувшему революционному движению среди народов германской коалиции...

— Где-е-е оно? — кричат ему. — Когда-а оно?..

Либер продолжает страстную речь, вскидывая руку, то и дело поворачиваясь, чтоб охватить все стороны площади, но каждая же что-то и теряет, не слышит. Чу! — громит и Ленина с той же сердитостью, что и Милюкова. Всё перепутывается в людских головах: кто же прав остаётся? один Совет?

Да были бы хоть вы в Совете решительные люди. А то ведь тоже — только языками трепать.

А сзади, по Невскому, — идут, идут какие-то колонны, гуще. И кричат. Да они — с винтовками? Ого-о-о, дело только начинается.

А от Кутузова:

— Ну да, Сербия и Бельгия напали первыми! Бедняжка Германия только защищается! Это не немцы заняли нашу землю — это мы на немецкой! Стоило сбрасывать власть царя, чтоб отдаться под германское штык-юнкерство. Вильгельм именно и есть последний в мире враг демократических принципов!

Прямо же рядом с Юрием Владимировичем притирается солдат замухрыстый, в грязной шинели, слушает и в носу поковыривает. Нарочно не придумаешь.

— ... «Война до конца» — не значит истребить Германию и разделить Австро-Венгрию, а — навсегда покончить с политикой захватов, против которой вы и кричите. А что вы скажете, когда Петроград будет взят немцами? Мы зовём не к аннексиям, а к обороне родного очага. Это же немецкие речи, линия Мясоедова, вот что такое Ленин!

И близкая половина площади — кричит и воет в поддержку. И офицер, может быть и петроградский интендантский, победоносно кончает:

— Если мы предадим союзные демократии — предателей не щадят, и мы станем колонией Германии, а японцы и американцы нападут на Амурскую область. И разве Совет рабочих депутатов помешает армии микадо дойти до Байкала? Союзники заключат мир за наш счёт, Германия так и быть отдаст Эльзас-Лотарингию, а от нас получит — до Днепра. А Турция — возьмёт Крым!

А за спинами, с Невского, — маршируют, и кричат своё, своё. Всё больше валит рабочих, построенных колоннами.

Рвань.

Но с винтовками.

Нет, ясно, что на этом — дело не кончится. Всё это — очень-очень серьёзно. Упустили.

Свойство всех революций: ни одна не останавливается на полдороге, но будет катиться, вперёд ли, назад ли, — до конца, до самой стенки.

И ещё видно будет, куда шагнуть самому Ломоносову.

## 75

Хоть носил теперь Кирпичников Георгия на груди, хоть стали они с Мишей Марковым подпрапорщиками, — а не добавилось порядка ни в их учебной команде, ни во всём Волынском батальоне. Даже хуже намного стало: отлучаются — с них не спросишь, обучаться не желают — и не потребуешь. И тянет изо всех дыр, фронта не спрашивая: войну кончать! Почему так? — новобранцы сопливые, под снарядами не лежавши — и затеяли войну решать?

Приехал в батальон такой полковник Плетнёв, от военного министра, говорил лекцию. Не дадим протянуть нашу руку в рукопожатии к окровавленной германской! Не слушайте, солдаты, газету «Правду». Помните, что враг у ворот, и будем крепко держаться наших благородных союзников. И пусть весь тыл честно работает, а не слоняется. Верно! Волынцы ему ладошили. А уже через час прибежали поднатчики из Павловского: что, у вас тут натравляли солдат на рабочих? Да кто вам сказал? На другой день в газете «Известия» статья: волынцы слушали погромную лекцию черносотенца! Кто это писал — морду б ему набить, так не подписано. Взяли Марков с Кирпичниковым химический карандаш, бумагу — и тоже писать, советовались с поручиком в батальонном комитете: протестуем против анонимных угроз честным людям! Мы, волынцы, в первых рядах революции доказали... А вокруг нас кишат германские провокаторы и гады...

Рабочие? — они шкуры и оказались: мало того что их на войну не берут, ладно, но они и тут работать не хотят? На что революцию повернули: дай им 8-часовой день! Наши там в сырых окопах под пулями, газами 24 часа, а этим тут нельзя больше восьми, а то им, вишь, некогда политикой заниматься.

Да знал бы Тимофей Кирпичников раньше — ещё он бы им никакой революции не делал, выкусьте!

Такой же и Клим Орлов, даже хуже. Да что, разве знал его Тимофей? — два месяца в учебной команде, подкидывал против начальства, к поре пришёлся. А на фронте и дня не бывал, хотя ряжка бычья — тут всё учётным сидел, неизвестно сколько мин наработал. А как послали его в Совет от Волынского батальона, так он и вовсе заневернулся: всегда у него правильно то, как ихняя там головка скажет. Поначалу думал Тимофей — они там в Совете и впрямь рядят, а потом дознался: сгоняют их просто как баранов, голосовать.

Ну ладно, сидел бы там и хлопал ушами, но взял себе Клим голос ото всего Волынского батальона, вместо какого бы настоящего солдата. И ещё приходит, не в своё дело встречается: Ленина, мол, не трогать, он хороший. Да у тебя что, больше всех знатба? Этого стрекуна нам Вильгельм прислал, всё дело нам рушит, — и хороший? Всё немецкое против нас беспомешно высказывает — и его не тронь?

С Марковым, с Бродниковым, с Иваном Ильиным толковали, кто из волынцев и сам этого плюгавца у Троицкой площади с балкона слушал, а кто пограмотней газеты читал, да ведь это просто враг! да как же такой развал допускать? И чего правительство смотрит? Эх, хилое правительство у нас, братцы.

И в народе шатость.

Приехал Ленин на второй день Пасхи, и за толику дней набурили они с балкона, что к концу Светлой недели Тимофей с ребятами уже и поговаривали: а сходить бы — да взять Ленина, арестовать? Мудрого ничего, пойти человек пятнадцать — двадцать, всем с винтовками заряженными — и хватит? И кончить сразу, пристрелить гадину, — немцев-то и невинных стреляем, а этого чего жалеть? Да и живым его взять не трудней, чем языка на фронте. Неужто целую революцию заварить было легче, чем сейчас этого Ленина поймать?

Так не унялся Клим, а сходил пожалился советской головке, что, мол, тут замышляют. И спохватилась головка, и пожаловали сами в Волынский батальон и даже к Кирпичникову в казарму, вертлявые, схватчивые, да быстро-быстро суются: мы вот, мол, товарищи Богданов, Суханов, Венгеров, а это у вас дикие представления, как можно арестовывать?

Так, мол, министров же прежних арестовали? Так то — прежних, а наших — никого нельзя, товарищ Ленин глубоко наш, он много за революцию пострадал. А чего ж он через немцев приехал? А у него другого пути не было. А что ж он всё городит, как раз то, что немцам и надо? А каждый имеет право высказываться, на то есть свобода слова. Так тогда пусть и сами немцы приезжают высловляются?

Ничего эти трое хорошо не объяснили, много-много слов тараторных. Но — заборонили накрепко: и не трогать товарища Ленина, и не помышлять, это будем рассматривать как революционное преступление, и будем судить.

Нисколько не напугался Тимофей ихнего суда (ныне и суды-то никудашные), а раздумались с Мишей: хорошо, ну мы его арестуем, — а дальше к какому начальству его представить? Начальства-то никакого не стало, вот что. Командир батальона теперь — никакое не начальство, его и не слушает никто. К советской головке отвести — они его сразу и отпустят. А правительство — кто оно, где оно, да ещё и временное, да ведь тоже отпустят. Так чего и трудиться?

Раньше у офицера хорошего спросишь — а ныне и офицеры все зазябли.

Ползёт-ползёт всё куда-то-сь под гору, и чего будет! Пройти по Питеру срамно: у булочных али за керосином — хвосты длинше прежних, и бабы из хвостов как солдат увидят — ругают: «Просрали вы Расею!»

А на той неделе приехали делегаты из фронтового Волинского полка: «Где ваша помощь? Давайте пополнения немедленно!» И заварилась баламутица на целый день и пол следующего. «Петроградский гарнизон не должен вознаграждать себя за восстание — тыловой безопасностью и дезертирством». А ему в ответ председатель, ловкач: «Мы вам лучше поможем не подкреплениями, которые быстро растают на фронте, а радикально, — кончим войну!»

Кирпичников — сразу хотел идти, да от стыда одного, куда глаза девать? за офицеров теперь не спрячешься. Но его не пустили: нужен на обучении. А ефрейтор Ильин — пошёл. Канунников — пошёл. Кое-как две маршевые роты отправили.

А тут, за воскресеньем, ещё во вторник шибко праздновали. В среду ещё не дочнулись, а в четверг, вчера, вот заворощь началась на весь город! Тимофей с Мишей, и со своей кучкой, ходили вечером. На каждом углу — речи, только успевай в уши вбирать:

— Коронованные варвары держали нас в темноте и невежестве! Николай Второй спаивал нас 22 года!..

— Мира без силы не добиться! Если враги поймут, что мы обессили, — сговорятся и с союзниками и поделят наши земли! И потомство проклянет нас.

— ...Чтоб не разбойники за войну заплатили, а русские мужики? Вот это — правильно.

— После вашего манифеста — Германия ответила на Стоходе удушливыми газами! Братанье? А почему вы не требуете, чтоб ваши новые германские братья хоть бы уничтожили баллоны с газами?

Так, так.

— ...Не только каждый мыслящий гражданин, но и каждый солдат хочет кончить войну. В атаку — не пойдём!

Ты, сопля, ещё ходил ли в атаку?

— ...А привлечь в армию, кто незаконно прикрывается в тылу... Вот это правильно. Гудит в голове, сколько наслушаешься. И говоруны же, меж тремя соснами семьдесят семь петель напутают.

— А у кого есть сила — пусть сами берут власть и сделают лучше, чем Временное правительство!

— Солдаты в выборе не ошиблись: закалённые революционеры стоят во главе совета депутатов и проведут наш корабль!..

— Солдаты! Вы два с половиной года отстаивали родину грудью. И если теперь не вознаградим свои жертвы — как же вспомним наших убитых?

Ох, за сердце.

И на площади ночью кричали: «Арестуйте Ленина!» — только сами никто не шли. Ворочались наши волинцы в казармы уже попоздну, толковали: а может всё-таки — кинуться да арестовать? Где бы грузовик захватить? Но опять же: куда его потом везти? Всё равно отпустят. Ну, утро вечера мудреней.

А сегодня утром слышат: на Невском пуще вчерашнего ходят, кричат, спорят. После завтрака отменились в Волинском всякие занятия, повалили ребята опять смотреть-слушать. Обед записывали в расход, вечером съедим, теперь наша власть.

За кого ж тут ходят? Ходят — больше против Ленина, много больше.

От кучки к кучке ходили-слушали. Толкались и по Гостиному Двору — так, товары смотреть, чего не купишь. И большие часы в Гостином показывали три часа, как услышали снаружи сильный шум. Вышли поглядеть — шум с Садовой от Инженерной, — и крик, и оркестр как пьяный, каждый себе чего дерут не поймёшь. А первое, что увиде-

ли,— катит по Садовой грузовик с шестью пулемётами во все стороны, однако при пулемётах ни одного солдата, а рабочие. А по этому борту, что к Тимофею с Михаилом, прилеплена красная полоса, а на ней белыми буквами и потёки от сбежалой краски:

«Сгинь, капитализм! Мы расстреляем тебя из этих пулемётов!»

Ну, ну. Кому ж это они грозят? Не поняли. Но парни у пулемётов и не сидели всерьёз, а только хмурились, как перед дракой. И со всех панелей нагустилась чистая публика — смотреть на это диво. Никто тем парням громко не отозвался, и с панелей тоже никто к ним не шагнул, в осторожке.

Грузовик с пулемётами не быстро себе, но и быстрее пеша, завернул направо на Невский, и таким же порядком покатыл — туда, в сторону Главного Штаба. А вослед ему, оставши по Садовой,— вот тут-то и неслись крики и разбродная музыка. До них ещё было сажень полтора, и вот что увиделось: валит чёрная толпа, не меньше тысячи, несут красные флаги и щиты, в одну руку маленькие и двухручные, надписей издаля не прочтёшь, а впереди — строй рабочих с винтовками, и по бокам колонны — оцепление, тоже с винтовками. И ещё они не подблизились, прочесть нельзя, за кого идут, выругался Кирпичников Маркову, плюнул:

— Вот они где, винтовочки-то казённые! А у нас некомплект, и штаб не даёт. А кроме солдат — никто их не вправоте носить.

На тротуарах нарядная публика посильней затревожилась, кто бочком-бочком и прочь, от передряги подальше: кто хорошо одевается, тому беречь себя надо, а никак вот не научит их революция ни одеваться поплосе, ни в зубы брать папиросы простые. А другие, напротив, по любопытству ещё к краю, глядят, а наших серых шинелей стало как бы больше видать, и на мостовую шагивают. Врач военный. Сестра милосердия.

Ближе. Самый большой щит впереди — «Долой Временное правительство!», потом два рабочих друг другу руки жмут — «Да здравствует Интернационал!». Потом — колонной по четыре, уж как там умеют держать — человек двести вооружённых, винтовки на ремне есть наши, есть австрийские, рабочие всех возрастов, а есть и юнцы. И красные повязки у всех на рукавах. За ними — оркестр, не разбери чего поймёшь, только тарелками бьёт свирепу, на каждом шагу. А потом уже стадком, а в рядах взявшись за руки — безоружные рабочие, бабы в платочках и подростки. А боковое оцепление — прёт к самой панели, разгоняет публику, размахивает шашками, револьверами в руках, винтовками, просто отдельными штыками, а один и с кухонным ножом.

Штатская публика сильно напугалась, отвалилась, ноги утягивает. А которая не утекает — так всё одно ни шагом, ни пальцем.

А в колонне — ни одного солдата.

— Что ж это они и с ножиками кухонными? Прямо людей резать? К подходу шествия ближе стоял бородатый ратник:

— Эй, не ведаете, что творите.

А на него матом — и замахнулись.

Идут. А дальше видать — «Долой Милюкова!», «Война войне!» — и чёрное знамя, белыми буквами — «Пулемёт и булат...», на ветру не прочтёшь, а дальше — опять вооружённая колонна человек сто, а потом опять невооружённая толпа под оцеплением — ишь ты, не сами ж расстановились, это кто-то их со смыслом ставил.

Так понятно стало: они идут — Временное правительство скидывать!

И уже близко был самый передний ряд — военный врач и крикни: — Товарищи солдаты! Кому дорога родина и спасение её от срама — вперёд! Не допустим их! Образуйте цепь!

И вышел на середину мостовой, не молод уже.

И вольноопределяющийся кавалерист с Георгиевским крестом вылетел за ним:

— Сюда! Сюда, ребята!

И сразу — выступили, выступили к ним, человек двадцать — тридцать, солдат разных полков, и офицеров, и юнкеров несколько. И Тимофей с Михаилом конечно. И та сестра милосердия. (Марков — не промах, уже узнал, что Женя её зовут.)

У офицеров, у юнкеров шашки на боку, кортик, — а солдаты все до одного безоружные, тяжела нам винтовка стала.

Но — и ещё подбегали солдаты с разных сторон, издалека, уже нас и с полсотни. Стали поперёк всей мостовой густой цепью. Не пропустим.

Из рабочей колонны слышится:

— Гучкова и Милюкова — в крепость!

— Да здравствует мир и братство народов!

А при солдатах публика панельная осмелела и кричат тем:

— Позор!.. Предатели!.. Изменники!

А из колонны им:

— Буржуи!.. Провокаторы!

С панели:

— Да здравствует Временное правительство!

Боковой рабочий — винтовкой на них как тряхнёт:

— А вот чем ответим вашему правительству! Мы вас всех, буржуев, перестреляем.

А мальчик-рабочий гыкал им, кому придётся, браунингом, прямо в нос.

Одна дама:

— Лодыри! Солдаты на фронте кровь льют, а вы тут бастуете!

Из ряда кинулась работница — и сорвала с неё шляпу. Та завизжала.

Передние рабочие кричат цепи: — Пропустите!

Не пропустим.

Пропустите! Не то будем стрелять!

Не пропустим! Спрячьте оружие и разойдитесь!

— Что, вы с буржуями съякшались? Кого защищаете?

— А не для того мы в окопах сидели!..

— Не для того свободу добывали!

Из публики объясняют:

— Мы тоже против Милюкова, но при чём тут Временное правительство?

Чего, в самом деле, они на правительство? Только установили — и сбрасывать?

Оркестр замолчал, а толпа ревёт, в тысячу глоток ревёт, а передние — так и попёрли на солдатскую цепь.

Схватились солдаты друг с дружкой и с офицерами крепко. Из разных полков, несознакомые, и командира нет, — а дружно держат.

А те — уже не ревут, а воют, и револьверами и прикладами на нас замахиваются и обнажёнными саблями (но не бьют).

Ну, только тысячный напор полусотне не удержать.

Смяли нас, прорвали.

И — попёрли своим путём, и тарелки медные опять зашлёпали гораздо, и завыли трубы.

И по Невскому повернули опять направо.

— Э-э-эх, Миша, как же мы зимой не сробели против начальства, не боялись военного суда — а тут против рабочих не сдюжаем? Нашими же винтовочками да против нас же?

С угла Садовой публика совсем схлынула, а на широком Невском, от колонны подальше, — там с панелей кулаками пограживают, кричат им:

— Изменники!.. Провокаторы!.. Ленинцы!..



А те и вовсе не в долгу:

— Буржуи!.. Дармоеды!.. Собаки!.. Хотите воевать — сами идите!

А с панелей на то ничего и не ответят, крыть нечем.

— Впереди и с боков, кто с оружием, те сильно штыками размахались, — а посередке-то мирно идут, отшагивают положенное тоже как солдаты, кто просто шапками публике машет — то ли «ура», то ли «долой». Прошли мимо — не сладкий взгляд, с утра-то работали, уже и притомились, и лица зануженные, в чёрной пыли либо копоти, и одёжка в грязи да в масле.

Тимофей подошёл к ним ближе:

— Вы кто?

— Мы с Нового Лесснера, с Выборгской стороны.

— А ещё кто идёт?

— А все заводы за нами идут. И буржуи нас не остановят!

А в конце всей колонны — сильно злые бабы и подростки, кулаками трясли, от оркестра дальше, слышно:

— Долой Временное правительство!.. Долой негодяя Милюкова!.. Долой толстопузых буржуев, кровопийц!..

И обижался Кирпичников на рабочих, что они всё 8-часовой день требуют, а снарядов делать не хотят, — а им тоже не сладко, видеть, этот Лесснер — небось и есть толстопузый.

А сзади — шёл уже какой-то сброд, оборванцы, уже не рабочие, а доложно быть вору, — они ещё громче всех кричали:

— Долой Милюкова!.. Долой Временное правительство! — и уже никакого другого слова. А иногда подсакивали ближе к панели и наворачивали кулаками, кто попадётся из публики, только не солдат.

А потом ещё отдельно нагонял своих молодой рабочий парень лет 18-ти, тоже с винтовкой на ремне. Сестра Женя спросила его:

— А вы с какого завода?

— С Трубочного.

— А куда идёте?

— На общий сбор.

— А зачем?

— Будем Еремеевскую ночь делать.

— А что это значит?

— А бить направо и налево, забирать банки и капиталы. Довольно буржуазничать!

Прошло всё шествие туда, к Казанскому собору, — а тут теперь собирались кучки, и кто улизнул в подворотню, в парадное — тоже выходили из укрытия, и все тут лихостились. Какой-то господин в мягкой серой шляпе, размахивая тросточкой и от крика обливаясь потом, раскраснелый, — звал всех составить колонну в пользу Временного правительства и идти вослед тем разбойникам. И ещё студент-путеец звал. Начало их собираться на мостовой — немного штатских, немного юнкеров, солдат, — а вся публика с панелей только махала платочками, шапками, а примыкать никто не хотел. Закричал на них студент-путеец:

— Эй вы, что топчетесь? Напугались? Присоединяйтесь к нам, за правительство! Не бойтесь, идите скорей!

А другой студент взлез по стене Пассажа и снял большой красный флаг, висевший там с праздника. Флаг этот распластали на панели, один принёс из магазина мела — и стали писать по нему: «Доверие Временному правительству!», — но мел плохо держался, и надпись еле видна, не то что у рабочих, загодя заготовлена, писана кистями. Вынесли флаг перед кучкой — стало к ней ещё добавляться, и несколько солдат. А Кирпичников с Марковым не знали, — идти ли, нет? Своих никого близко нет. И обидно, что правительство хотят скидывать, и обидно, что они прорвали нашу цепь, — а как повидали в их середке притомлённых, чёрных, да и бабы, а чистая публика вот вся

жмётся, так чего её нам защищать? — это которые по ресторанам ножами лопают да в экипажах разъезжают, — они нам не чета, что они нам?

Но тут один раненый офицер крикнул:

— Товарищи солдаты и офицеры! Пойдёмте с нами! Военные должны идти, и впереди!

И сестра Женя тоже:

— Пойдёмте, ребята!

Ну, пошли. Солдат сразу десятков несколько подбавилось, тогда и штатских, осмелели.

А пошли — стыдно смотреть, солдату невзгодно и брести с ними: не строим никаким, а кучей, где плотней, где реже. Знамя впереди, а сзади ещё одно знамя, тоже «доверие», едва прочтёшь. Всего в двух кучах — человек по двести, дважды.

И прошли сколько-то, мимо Гостиного, до городской думы, до башни.

Но рабочие уже порядочно ушли, их сразу не догонишь — говорят, они пошли ко дворцу, где правительство, и мы туда же.

А Кирпичников из первых услышал, что сзади, от по-за Елисеевского магазина, доносится новый сильный гул. Глянули — а там валит чёрная толпа ещё и побольше, тысячи и две. И тоже у них красные флаги, и тоже большой двудревковый щит с белыми буквами, а отсюда не прочтёшь. Одни стали говорить: поддержка нам, подождать. Другие наоборот: скорей пошли, вперёд, они против.

Кирпичникову ясно, что — против. А ого-ого сколько их. Перетолковались военные: нет, пошли — этих встречать, будем опять цепь делать и отговаривать. А кто полегче, гимназисты, уже сбегали в ту сторону и вернулись:

— Против! Против!

И тут эта публика, что собралась вдогонку шествием идти — так и кинулась враспынную, и флаг первый, с доверием, кинули на мостовую. А второй флаг — и не заметил Кирпичников, что с ним, и не заметил, пошло ли сколько-нибудь вдогонку той первой колонне, — уже всё внимание было ко второй, озирались, сколько нас тут, серых шинелей. Офицеры хоть и были, но два-три и обчёлся, и то раненые: офицеры от февральских дней пришибленные, им ничего делать нельзя. А юнкера — есть, и солдат человек тридцать — сорок, опять все сбродных полков, без команды, без старшего, без единого оружия, да гвардейский моряк. Одни военные стягивались поперёк Невского, а Невский куда пошире Садовой, тут трудней задержать. (Трамвай и с той и с другой стороны поостановились.)

Теперь в подходящей сзади колонне уже ясно было крупно видно: «Долой Временное правительство!» Оркестра нет, так слышно крики лучше: «Долой Милюкова!.. Долой Гучкова!.. Долой буржуев!», свист и ругань. И опять так же: впереди отряд рабочих с винтовками, строй неплохой (и опять красные повязки на рукавах), по бокам мальчишки трясут открытыми револьверами, штыками, а дальше, сколько глаз хватает — чёрная колонна, уже разглядывать некогда.

А вне цепи стоял у панели дюжий санитар и крикнул тем:

— Что вы делаете! Вы продаёте Россию! Вы должны слушать правительство и Совет!

А ему револьвером в морду целят:

— Убьём! Иди с нами!

— Да хоть убивайте, с вами не пойду!

— Ну, узнаешь!

Из публики кричали:

— Предатели!.. Леницы!.. — но никто с панелей не сошёл.

Рядом с Марковым — солдат автомобильной роты:

— Да братцы, неужели мы, фронтовики, их не остановим? По чьему распоряжению идут? Остановим!

А два офицера сбоку:

— Не надо свалки, товарищи! Пусть себе пройдут, а мы вслед устроим демонстрацию за правительство.

Ну да, в пустой след. Не такие офицеры у нас были на войне.

— Остановись, изменники!

А санитар не понимается:

— По какой причине идёте? Почему не доверяете правительству? Может и мы с вами пойдём?

— Это не вам знать! Знают, кто повыше вас!

— А кого ж вместо Милюкова?

— Не ваше дело, узнаете потом.

— А, так вы не рабочие, а ленинцы! — крикнул санитар. — Долой тогда ваше знамя!

И кинулся к ихнему флагу.

А всё равно уже сошлись, сейчас кому-то подвигаться. Цепь наша редкая, цепи не удержишь — а нападать! И оба вольты, и тот из автомобильной роты — переглянулись и кинулись вперёд! — ломнись, ребята!

Первей всего — винтовки себе вырвать, они ж и держат их не умеют, и стрелять не знают, с какого конца. Кирпичников шеметнулся к усатому дядьке, схватился за дуло и у ложа, крутанул, вырвал — и двинул усатого прикладом в грудь:

— Не ваше имущество! Не воруйте!

И другие серые шинели кинулись, и быстро пошло, не уследить, кто-то древко ломал, кто-то флаг топтал, а рядом — выстрел!

Не усмотрел Тимофей, кто в кого, а только увидел в мёт ока, как русский парень на него револьвер наставляет, — и свободной от винтовки рукой поддал ему под руку! Тот и выстрелил — да в воздух. А Тимофей цап за револьвер — и вырвал.

А тут ещё от рабочих — выстрел! выстрел! — разов шесть-семь, — и упал солдат рядом, семёновец, и поодаль ещё один.

Ах вы, гады, вот как! Вскрапивились солдаты, заревели и кинулись как в атаку, круша, — кого с ног сбили, кому по морде, да прикладом, у кого ещё винтовку вырвали, уже и по две несут — и прут вперёд!

А что в рабочей колонне поднялось!

— Стреляют!.. Убивают! —

там же необстрелянные да бабы — вырвались из цепи, да кто куда — в магазины, в цветочный, в парадные, в подъезды, а кто и с винтовками убегают, да суёт её, швыряет в подвальное окно, мол, я безоружный.

Миша Марков — с двумя винтовками. А винтовки — все заряженные, вот что! Ах вы стервы, говнюки, на кого ж вы пошли!

До этой самой минуты не верили, что рабочие будут стрелять.

Рядом с Тимофеем моряк дослал патрон — Тимофей его за дуло:

— Не, погоди! Разберёмся.

Ещё какая-то сестра милосердия, другая, рвёт ихний потерянный флаг.

Нынче офицеры без шашек, а вот один — с шашкой, и кинулся в гущу, где устояли, — те сорвали с него погоны, шашку отняли, и кровь с лица течёт.

— Ребята, не надо стрелять! Мы вышли безоружные, пусть так и будет.

Свалка кончилась — отдышка. С панелей барышни, дамы, господа — побегали, кто куда. А из той колонны кто не убежал — отступили, опять сомкнулись, штыки выставили, и злобятся — а не стреляют. А два-три легли на мостовую с винтовками, на прицеле.

И повисла во всём квартале брань — «убийцы! ленинцы!» — и женщина ранена, и два солдата.

А семёновец... Семёновец — мёртв.

Где, браток, ты воевал, на каких полях? Здесь ли смерти ждал, в Питере?..

А что им сделаешь? Их много. Вон, сзади ещё отряд надвигается.

Да где ж наша силанька, наш строй, всех мы растеряли, уже не армия.

А кто-то кричит:

— Звоните, вызывайте Преображенский батальон! Он им покажет!

А наш Волынский — и не соберёшь теперь.

А с панели нам:

— Только не стреляйте, а то будут большие жертвы!

— Да мы голыми руками их разоружим, мерзавцы, подлецы!

Панельная публика снова возвращается, и ну поливать их! и ну поливать!

— Убийцы!.. Предатели!.. Немецкие пособники!

Сзади подъехал санитарный автомобиль, подбирает раненых.

Уцелевшая колонна сощерилась в оборону. Но молчит, не отвечает.

Санитар тот им:

— Положите винтовки! И идите спокойно, куда хотите!

Марков: — Ходите без оружия! Зачем вы с оружием?

Молчат. А — угрозно.

Не, их много больше нас, Миша. Не положат.

Придётся пропускать.

Тут и простая милиция появилась, с белыми повязками. И просят ленинцев, даже умоляют: да вы поверните к Николаевскому вокзалу, ничего и не будет.

Не, не повернут.

А Гостиный Двор — гляди, весь захлопнулся, закрылись лавки.

А рабочие-дружинники стоят с винтовками на изготовку. Сплочены.

Сила — их, придётся пропускать.

С нашей стороны кричали сильнее — а расступались.

\*\*\*\*\*

*Бушуй же, вихрь народной воли,  
Еще стихийней и грозней —  
Не родовые страшны боли  
Прекрасных дней!*

(Вас. Немирович-Данченко)

Пока правительство наконец собралось во втором часу дня у Гучкова в довшине — очень уже было тревожно в городе, необычные обильные манифестации и за и против, враждебно сходящиеся на Невском.

Собрались-то собрались — но ведь без Керенского. И Милюков так был этим недоволен, что едва не стал настаивать — отложить обсуждение на завтра. Ему непременно хотелось разложить ответственность и на Керенского.

И недоволен он был предложенным «Разъяснением», слишком уступительно, извинительно, и почему это выработывалось помимо него? Вот — и то слово неудачно поставлено, и это, и требуется теперь обдумывание не в один час. Павел Николаевич должен теперь пере-тереть все слова. А главное: не может быть и речи утвердить этот документ без включения, что нота была предметом тщательного и продолжительного обсуждения всем составом Временного правительства, и принята единогласно, министр иностранных дел не может становиться за всех козлом отпущения.

А Гучков — даже и тут уходил с заседания в свой кабинет: вчерашним порывом он исчерпался повлиять на правительство, а теперь — ждал его Алексеев, остались с ним часы.

Но хорошо хоть не провели манифестации, что правительство в довмине, не валили сюда по Мойке.

Про Керенского не говорили вслух, но министры, кажется, все понимали загадку его отсутствия.

Некрасов заменял Керенского тем, что расхаживал по комнате, выражая крайнее возмущение: что за кровавый раскол? какая безответственность (не называя — чья)! Какое было единство в февральские дни — и как же допустить его потерять? (Но — не кто именно потерял.)

А Милюков всё тянул, тянул, уходил в другую комнату обдумывать, — может быть рассчитывал, что обойдётся как-нибудь без «Разъяснения»?

А князь Львов нервничал, что ему же надо принимать Братиану, неудобно.

Тем временем заседание министров пошло по рутине, по повестке, по решениям, подготовленным секретариатом.

По министерству внутренних дел докладывал застенчивый Щепкин, что пора наконец законно оформить увольнение прежде отстранённых простым распоряжением губернаторов, вице-губернаторов, градоначальников и их помощников; признать, что не может быть когда-либо возвращения их к занимавшимся должностям; предложить подать прошения об отставке, установить пенсионное обеспечение их, а кто не получит пенсии — то месячный оклад содержания,

Уже обожглись на этих пенсиях, уже такой скандал получился громкий — безопасней правительству было бы ничего этим не назначать. Но противоречит всем понятиям государственной службы, и что вообще останется от государственного порядка? и какая судьба ждёт служащих сегодняшних?

Затем, всё от Щепкина: во многих городах стихийно возникшие исполнительные комитеты требуют на своё содержание средств казначейства. Всех удовлетворить невозможно, предлагается финансировать лишь тех, кто выполняют свои обязанности по поручению комиссаров правительства, но не на поддержку агитационно-партийной и общественно-политической работы, и не на содержание партийных, классовых и профессиональных организаций.

— И,— предусмотрел Терещенко,— государство не гарантирует займов, уже сделанных этими организациями за минувшие месяцы.

Предусмотрел, потому что он с подобными случаями уже встречался. Да чего ни коснись и куда ни глянь — вся общественная Россия как тысячеязычный крокодил — требовала только денег, денег и денег! Откуда их набраться министру финансов, когда вот и Заём Свободы повис и не идёт из-за той же всё ноты.

Да чёрт возьми, да занимая место великого изобретательного Витте, стыдно и не хочется каждую свою проблему вытаскивать на заседание правительства. Столько ли мог бы он тут накидать, сам находясь даже в отчаянии от этих проблем! (Да многие из них уже и обсуждались, бесплодно.)

Сами же в эти недели опрометчиво повысили оклады сельским учителям, железнодорожникам, почтово-телеграфным служащим, а теперь ещё и солдатам, — откуда всё платить? В российском бюджете была незаполнимая брешь с тех самых пор, как царь отменил винную монополию. Не слишком усердно собирали и налоги, не говоря, что подходящий был в России чрезмерно мал, всегда надеялись на иностранные займы. А после революции вместе со всею полицией исчезла и полиция по сбору налогов, так теперь вообще никто не собирает, остаётся посылать призывы к населению. Государственный бюджет на 1917 год Дума до революции не удосужилась утвердить, а теперь

нет ни Думы, ни бюджета. Внешняя государственная задолженность — 40 миллиардов рублей, на одни проценты надо в год 2 с половиной миллиарда. Каждый день войны тратим 50 миллионов, и с начала революции каждый же день выпускали 30 миллионов бумажных, до первых дней Займа. И рубль, от революции было даже поднявшийся, теперь на западных биржах падает. Подписку на Заём Свободы начали громовещательно, но несмотря на честную поддержку московского купечества и повсюду еврейства — результаты пока скромные. А за успехом займа следят и друзья, и враги, поражение с займом — как поражение в войне. (Ещё и такая неурядица, что к открытию подписки не успели приготовить сами облигации, а даём пока квитанции, а многие так не хотят.) И самое досадное — неподдержка Советом и большинством социалистических газет. Вместо этого преподносят утопические предложения: одноразовый поимущественный налог, граничащий с конфискацией имущества: прогрессия, а у кого свыше миллиона — отдать 50%, тогда, мол, рабочие поверят, что капиталисты тоже любят родину. Да если провести такую конфискацию (не говоря, что сам же Терещенко не сумасшедший всё отдавать) — будут закрываться предприятия, расстроится хозяйство всей страны, сами же рабочие и пострадают. Увеличить подоходный налог и ограничить военную прибыль — неизбежно, но такие мероприятия не разработаешь и не проведёшь в неделю. Без участия *всего* народа укрепить российские финансы не удастся. Большая надежда была на состоятельное крестьянство, у него накопилось за войну много денег, — но тут нужна помощь демократической агитации. Пока — успели только провести повышение железнодорожных тарифов с грузов и пассажиров.

Честно говоря, министерство финансов оказалось такой морокой и дела так запутаны, что Терещенко рад будет освободиться, и занять пост куда более интересный и свободный в движениях.

А между тем заседание шло. Мануйлов, за последние дни, после учительского съезда, где его разносили, и он утерял свою прежнюю либеральную славу, обозлившийся и огрызчившийся, и в ужасе от призрака анархии, выносил на обсуждение открытие и финансирование новых гимназий, прогимназий и реальных училищ, для обучения обо его пола и с преподаванием обоего пола. Ещё: Гримму надо было утвердить личное содержание 14 тысяч в год, да по 10 тысяч попечителям учебных округов.

Коновалов просил утвердить кожную монополию: передачу всех кож в распоряжение государства, как это сделано с хлебом, для того создать по всем губерниям комитеты по кожевенным делам, с правом реквизиции кож.

А Зарудный от министерства юстиции просил помилования какому-то троим, осуждённым за грабёж с насилием: ведь теперь дарование помилования от царя перешло тоже к Временному правительству.

Да это всё было только приступ — а вот уже готов был Шингарёв, охмуренный, вспотевший, с красными от бессонницы глазами, — теперь предстоял его часовой доклад об утверждении долгожданного Положения о земельных комитетах и воззвание к населению по этому поводу. И здесь ждала министров ещё худшая детализация — о Главном Земельном комитете, губернских, уездных и волостных, их составе по представительству от партий и организаций, их задачах, их съездах...

А Милюков всё ещё не мог выдать согласия на «Разъяснение».

Как вдруг вызванный Набоков вышел и едва не бегом тотчас ввёл:

— Господа! Генерал Корнилов с экстренным заявлением.

Шашкою на боку, шинелью не снятой, собранный, бесшумный, да с хмурым своим азиатским видом — произвёл он ударное впечатление, ещё не раскрыв и рта.

В самом деле, они тут затягивались, проворачивались в своей мотательной рутине — а ведь день был какой! И наверно, неужели, ещё не кончилось?

Князь Львов, и всегда слабым, а тут ещё ослабевшим, предчувствующим голосом, пригласил генерала сесть.

Но генерал не сел, и даже не расслабился в стойке, негнупто, прямой на прямых ногах, без фуражки:

— Князь! Господа министры! Только что на Невском в двух местах произошла стрельба в жителей. Есть убитые. Я прошу чётких указаний: уполномочен ли я использовать воинские части для охраны порядка?

Он ещё не сказал — где стрельба, кто стрелял, сколько жертв, что он понимает под охраной, — но все члены правительства разом подкинули брови, стали клониться назад, назад, кто-то поднял пальцы, кисть, или руку — как от привидения или от чёрта, — и в этой общей несрепетированной мимической сцене генерал уже прочёл ответ.

## 77

Более досадной поездки в Петроград нельзя было, наверно, и сочинить. И в довершение всех неудач или в едкую насмешку — именно сегодня «Биржевые ведомости» поместили скандальненькую статью о гибели «Императрицы Марии». Скандальную, потому что усилиями Колчака вся эта надрывная история миновала газеты и, с октября, почти никто никаких подробностей не знал до сих пор.

От гибели Толля в Ледовитом океане, Макарова в Порт-Артуре, от Цусимы — большего горя, чем гибель «Марии», Колчак не переживал в жизни. Он любил этот великолепный дредноут — как живое существо. И похоронил его таким. Все похороны длились — час с небольшим. В чёрном дыму, в языках огня Колчак распорядился спокойно, после нескольких взрывов приказал открыть кингстоны и затопить — потому что взрыв главного погреба взорвал бы и рядом «Императрицу Екатерину», — а цепь «Марии» к причалу почему-то оказалась приклёпана неверно, и не удавалось быстро освободить её. Омерзительными ногами опустился с кораблём в воду едва не до подошв. Потопил — и вернулся к себе на «Георгий» в отчаянии: лучше бы рискнул большим взрывом, и сам там погиб.

Ещё месяц потом он был способен говорить только о гибели «Марии». Но невыносимо было ему, что, ничего того не чувствуя, поспешат писать, «обличать» журналистские перья — и всё на радость Германий. В те дни Колчак не допустил ни донесений судебных гражданских властей, ни их расследований — и только через трое суток (как теперь верно и печатали) министерство юстиции узнало из шифрованной телеграммы прокурора симферопольского окружного суда. Колчак действовал сам.

К тому времени дредноут служил всего только шесть месяцев. Участвовал в походах, и вдруг открылось, что важные электротехнические работы недоделаны, — а таких рабочих не было ни в Крыму, ни в Николаеве (странно), и понадобилось везти 45 человек с Путиловского завода из Петрограда. «Мария» только что вернулась от болгарских берегов — и начались эти работы.

Невместимость всех дел в голову молодого командующего! Ты занят — самим флотом, боевыми задачами, а ещё же на тебе административные обязанности, к которым ты не готовился никогда, и крепость (с раздутым штатом) на тебе, и город, — и как за всем уследить или даже как успеть проверить и поставить всех тех, кто будет услуживать?.. Эти рабочие жили на берегу и ежедневно на катерах доставлялись на баржу, причаленную к «Марии». Тут у всех у них должен был проверять документы офицер, но, как выяснилось, поручил боцману, а боцман затем матросу, а матрос — никому. А затем и на са-

мой «Марии» уменьшились строгости подхода к бомбовым погребам. И получилось, что непроверенный человек мог бы принести непроверенный свёрток и вбросить его в вентиляционное окошко.

За следующие двое суток арестовал двух инженеров, нескольких рабочих — а двое исчезли. (Могли беспрепятственно уехать, и в Петрограде их тоже не нашли.) Колчак неистовствовал: разгружать Севастополь! выселять лишних жителей, лишние учреждения! (Ещё эти подозрительные греки шныряют всюду около кораблей.) Нужны какие-то новые меры строгости, о которых мы и понятия не имеем. (Да почти никакие и не удались.) Одни члены комиссии были убеждены в злом умысле. Другие высказывали, что это — непредусмотренные процессы в больших массах порохов, которые во время войны вырабатываются поспешно, без достаточного технического контроля.

А Колчака пронизало, что может быть он сам к этому отчасти приложился? Были невольные его движения: после закованного Эбергара — нравиться матросам! чтоб они обожали своего командующего. Он освободил матросов от посадки на сухопутную гауптвахту: провинившихся сдавать на шлюпки и на корабль. (А там, бывает, и простят.) Разрешил матросам на нескольких улицах Севастополя курить, лишь вынимая папиросу изо рта при отдании чести офицеру. (А что неелее этого запрета нижним чинам курить?) В конце лета, едва он принял флот, в праздничный день семеро пьяных матросов устроили на базаре дебош. Полиция и сухопутные патрули арестовали их и повели. Но стали сбегаться матросы, напали на конвой и освободили их. Начальник севастопольского жандармского управления полковник Редров доложил в Департамент полиции: крепость на осадном положении, а вот... Оттуда переслали морскому министру, а Григорович — Колчаку. Колчак вспылал, вызвал Редрова к себе, накричал на него и запретил когда-либо ещё заниматься доносами, всё надо решать тут, в Севастополе. Редров снова донёс и об этом разговоре, Департамент полиции запросил объяснений у Григоровича, тот — снова у Колчака, а Колчак приказом по флоту отрёшил Редрова и с немедленным выбытием из города. На внутренние дела тут как раз сел Протопопов, он не решился спорить с Колчаком, и отрешенье прошло. (И было замечено матросами.)

А пожалуй, поддался Колчак этому общему настроению — подвистеть жандарму, направление общества невольно затягивает. Он этим подавил жандармский контроль в Севастополе.

И как раз за месяц до взрыва «Марии»...

Но — и эта же самая слава Колчака у матросов дала соорудить нынешний заповедный демократический Севастополь.

Только — удержится ли?

Да — держится ли ещё сегодня?

Там, в Севастополе, уже отцвели абрикосы и персики, теперь — розы, миндаль, ароматный воздух, безоблачное небо. Как нет войны и не было революции — бульвары переполнены расфранченной гуляющей публикой, синематографы, летний театр на Приморском бульваре.

И немисливо позвать туда Аню.

И невозможно достичь её тут.

Тут — из пропащего времени выкроил час съездить к Плеханову (и Родзянко советовал так), — да и тоже неудачно. Сухонький, приятный старичок. Да, когда-то знаменитый революционер, но в 60 лет уже конченный человек. Совсем плох здоровьем, еле сидел, лежать бы ему, уже виделось в нём предсмертное усыхание и пожелтение. Отвечал: «Правительство не управляет событиями. Всё идёт не так, как мы ожидали, и отдельные группы мало что могут сделать. А откаться от Босфора и Дарданелл — это жить с горлом, зажатым чужими руками». Всё верно. Но, не сказал он прямо, а из разговора понял Колчак: у Плеханова и вовсе не было таких сильных агитаторов, ко-



торых послать бы в Севастополь. С ним было таких же несколько отработанных старичков, как он сам. А молодые не пошли за ним.

Не всякому долголетию и позавидуешь. Много лет нужно человеку, но только если они полны силой и способностью действовать. А тянуть десятилетия без того и другого — нет, лучше сгореть в борьбе.

А уж в логово Исполнительного Комитета, хотя правительство и гнётся перед ним, Колчак не мог идти унижаться.

Вот, он искренно готов служить новому строю — ведь это и есть сегодняшняя родина. Но — кому же служить?..

Вот — бушевал Петроград второй день, расколыханность хмурого города небывалая. Вернулся от Плеханова — узнал, что вооружённые рабочие на углу Садовой полчаса назад стреляли в безоружных солдат. Невозможно?!?

Но вышел на свой третьезажный балкон, прямо на Невский у Караванной,— с той стороны Фонтанки переваливало через Аничков мост и проходило вот под ногами ещё новое крупное рабочее шествие, впереди — с винтовками мрачные рабочие, а ещё впереди плакат: «Красная гвардия». Несколько матросов, наверно кронштадтских, а солдат ни одного. И — крики при поднятых кулаках:

— Милюкова в крепость!

— Смерть Гучкову!

— Покажем буржуям нашу силу!

— Бить буржуев!

— Да здравствует Германия!

После этой «Германии» Колчак вот тут, с балкона бы, из пулемёта сам их охотно косанул.

В солнце всё резко видно. Есть красные знамёна, расписанные и сусальным золотом, а одно знамя — чёрное, зловеще. Подошли ближе — на нём череп со скрещенными костями и «Да здравствует Коммуна!».

С тротуаров бранились, но потом — дрогнули, стали разбегаться. Захлопывались ставни магазинов.

И так, разметая Невский, они победно шли — мимо Екатерининского сквера, к Гостиному двору, и дальше, Колчак провожал их зорким взглядом — и там, увидел, у городской думы: блеснула поднятая шашка, а спустя — донеслись выстрелы. Да — десятка три!

Сумятица. Разбег. Во все стороны, за углы, сотни людей, свалка, а кто-то остался лежать?

Уверенность Колчака доплотилась: Временное правительство не способно управлять государством.

Нужна диктатура.

Всероссийская.

Да откуда её теперь взять?

## 78

А голод Колю раздирал среди дня когтями: не позавтракал дома как следует, а потом уже ни домой, ни к друзьям сбегать, и французской булки теперь так просто нигде не купишь. Но погорячило в желудке, пожгло — утихло. И даже весело: так — и надо сегодня. Легко!

В этот многолюдный многосолнечный день — где только с приятелями не побывали, потолкались, поспорили всыть,— а вот к стрельбе на Невский не попали, даже и ко второй. По слуху — кинулись сюда, бежали, насилиу отпыхались.

Дохнуло грозным, какого не было утром.

Весь Невский — кипение. Промелькнули два санитарных автомобиля. Пробежал какой-то студент без пальто и фуражки и кричал-умолял, что нужна ещё карета скорой помощи: в вестибюле Волж-

ско-Камского банка лежат ещё раненные. Начинали идти и трамвай, но с трудом, сильно звоня, потому что возбуждённые кучки собирались и на трамвайных путях. Затолпило извозчиков.

И все друг другу с живостью передавали, кто что видел, кто чего не видел, но верно слышал. Это была «рабочая милиция». Нет, они называли «красная гвардия». Просто — ленинцы. На Михайловской ещё сейчас лежит труп. Это был — завод Парвизайнен. Солдаты голыми руками героически разоружили вооружённую чернь. Всего только 5 раненных, но есть и штатские. Нет, человек пятнадцать. Шашкой ранена в голову женщина. Другой студент, истерически рыдая:

— Мало нас фараоны расстреливали! Теперь будем друг друга расстреливать!

— Вооружённые против безоружной толпы! По старому пути идут!

С сигарой в зубах, с менторским видом:

— А почему с ними не расправились судом Линча?

Говорят, пули попадали и в верхние этажи. Но сейчас все балконы переполнены любопытными.

Грузин в тонкорунной завитой козьей папахе:

— Никаких убитых не было.

— Ну как же так, если вот люди видели?!

Говорят: не умея стрелять, сами же своего рабочего подстрелили сади.

Негодуют:

— Когда в манифестациях самые страшные — Винавер и гимназисты, кто смеет брать в руки оружие?!

— А что ж новая теперешняя милиция — что ж они не останавливают? Куда они попрыгались?

А вот солдаты задержали штатского, рабочего вида, — обыскивают, нет ли оружия.

Матрос, сплёвывая:

— Да Петроград полон шпиёнов! Они тут как головастики в луже.

— Обратите внимание: все военные — за Временное правительство!

— Долой Ленина! Это из-за него стреляли! Арестовать его!

Но уже и снова высовываются, шныряют:

— Это тёмные силы стреляли, чтобы поссорить рабочих с солдатами! Это буржуазия подстрекала стрелять в безоружную толпу!

— Вон этих! Долой! Не хотим слушать!

Безногий солдат: — Вот я готов костылём бить провокаторов!

Ещё матрос: — Мутят одни смутьяны. Родины они не любят, не слушайте их, гоните прочь!

Говорят: были не только с Выборгской стороны, но ещё с Полюстровской, и с Васильевского острова. Говорят: многие совсем нехотя шли... Женщин спросили: «А почему долой?» — «А мы почём знаем? Мы работали, к нам пришли, сказали — бросайте, идите на Невский! Мы и пошли».

— А по номерам отобранных винтовок — нельзя узнать, кто стрелял?

— Винтовки — все незарегистрированные, расхвачаны в первые дни революции.

У Коли с друзьями просто ноги-руки вытягивает: куда бежать? кого найти? чем помочь?

На верхушке думских ступеней — городской голова с коллегами. Стоят в бессилии — разве они управляют городом? Тут же, против этих ступеней, была и первая стрельба 25 февраля. Тут же и сегодня.

Что будет дальше с правительством? И с нами всеми?

Но стрельба — всех объяла и объединила. Солдат с Георгиевскими крестами объясняет «котелкам» и «шляпкам»:

— Я пять раз ранен врагом и не могу помириться, чтобы здесь, в Питере, стреляли в наших солдат. Власть должна быть крепкой в руках Временного правительства.

А прибыли от дворца Кшесинской свидетели, что ленинцы там открыто раздают пятирублёвки хулиганью и сброду — чтобы только шли по городу, кричали «долой Милюкова», «долой правительство».

Митинги перемешиваются друг с другом, перетекают, уже, кажется, все на улице, никто нигде не работает. Стрельба показала всем, что надо что-то делать.

А вот что! — снимали со стен первомайские флаги, из Гостиного Двора вынесли ведёрки чёрного лака и белой краски, кисти. Расплатали флаги и плакаты под аркадами Гостиного, и Коля, лучший в классе шрифтовик, выписывал: «Доверие А. И. Гучкову и П. Н. Милюкову!», а Дима Сабуров попроще: «Долой анархию!» И ещё люди писали: «Авторитет Временного правительства — залог спасения родины!» — «Сепаратному миру не быть!» — «Долой германский милитаризм!» — «Берегите Временное Правительство!»

Дали подсохнуть, флаги с надписями поднялись — и под них стеклись люди. Сговаривались: теперь всем как есть — шагать. Кричали:

— Идите к Казанскому, там назначено!

— Идите на Мариинскую, там назначено!

Со стороны от Знаменской подошла уже состроившаяся манифестация служащих Управления Николаевской железной дороги — и Невский расступался, и кричали им:

— Да здравствует Милюков!

— Долой Ленина, наёмника кайзера!

А те несут: «Арестовать Ленина и его приспешников!» И: «Только согласие Временного правительства с Советом рабочих депутатов спасёт родину».

Да уже не напуганы тут, — все рады, все в победу верят!

И постепенно — двинулись. Толпа необозримо росла. Толпяное шествие, и ещё большие толпы с тротуаров, с аплодисментами. И со всех балконов рукоплеск, кричат с энтузиазмом, и «ура».

— Расправьтесь с Лениным и всё пойдёт как следует!

— В Германию его!

А навстречу шёл, его охотно пропускали, — открытый легковой автомобиль, в нём стоял пригорбый Алексинский, размахивал шляпой — и кричал согласное с толпой, и против Ленина.

Восторг толпы всё рос. Сейчас, кажется, и стрелять бы начали — так просто бы не разогнали.

— Ура-а-а, за нами!

— К Мариинскому!

## 79

Утренних часа два, после ухода Алексеева, Корнилов спокойно занимался.

Спокойно!.. Спокойно он в этом городе ни одного дня не провёл, от самого назначения. Но — не случилось за два часа ничего нового. И он пока работал за своего отсутствующего начальника штаба (Рубца-Масальского нельзя было дальше держать из-за Совета, и нового ему не давали назначить, какого он хотел).

А как глупо трусит правительство арестовать ленинскую шайку, всех там, у Кшесинской. Да послать ночью пару грузовиков с вооружёнными командами, да с парой пулемётов. И всё.

Верные команды были у него. А ещё — надёжны и все училища. Собрать силу он мог. Но правительство — манная каша.

Сидел, занимался. Тут стали докладывать о телефонных звонках из воинских частей. Снова какие-то агитаторы мутят солдат выходить на улицу, идти в центр. И только потому ещё никто не вышел,

что вчера вечером Исполнительный Комитет приказал частям оставаться в казармах. Но из заводов рабочие — вываливают. И — вооружённые! И направляются в центр.

Так!

Но и тут бы не поехал ещё в правительство, если б не стрельба и убитые на Невском.

Рванулся к ним на заседание. Отказали. Посоветовали: обратиться в Исполнительный Комитет.

В Исполнительный Комитет? Надо себя презирать, чтобы к ним за помощью. Они-то — и есть главные разлагатели армии.

Да чёрт возьми, командующий ты или нет? И что тут терять, на этой собачьей службе? Он ещё три недели назад просил Гучкова отчислить его на фронт.

Неужели ждать, когда придут ворованными винтовками махать под эти окна?

Все училища — послушны. Но есть одно, своё родное, Михайловское, кого и вызвать, как не их. Распорядился передать телефонограммой: две училищных батареи с боевым комплектом выслать немедленно на Дворцовую площадь.

Посмотри, городская сволочь, на наши пушки.

Сегодня Корнилов решил действовать, ни на кого уже не оглядываясь. Напомнить, что всё-таки в этой стране и в этом городе есть военная власть.

А по телефонам доносили: рабочие пошли, впереди — отряды с винтовками. И с Выборгской. И с Васильевского. И от Московской заставы.

Хорошо, хорошо, идите.

Послал распоряжение ещё в Гренадерский батальон (мимо Кшесинской невредно протопать): выслать на Дворцовую площадь крупную роту, с боекомплектом.

Однако пушки что-то не шли (уже и в окно на площадь выглядывал). Так — с горшками на базар ездят. Протелефонировать — почему не идут.

Оттуда — глухой ответ: распоряжение командующего пришло во время общеюнкерского собрания, в присутствии офицеров и подсобных солдат. Нельзя было исполнить, не объявив на собрании. И началось общее обсуждение — высылать ли батареи.

Это — с в о ё училище!

Узкая шея у Корнилова, и привычная к военному воротнику, а стало жать.

Но начал идти — иди, хуже нет останавливаться.

Наконец — броневики!? (Большая ошибка Хабалова не использовать броневиков в февральские дни.) Распорядился в броневую команду: немедленно выслать на Дворцовую площадь два взвода броневиков.

И уже ничем заниматься не мог, военным шагом ходил по кабинету и каждый раз у окна: не идут?

Не идут.

А по телефонам доносят в штаб Округа: толпы вооружённых и невооружённых рабочих переходят мосты, идут в центр.

Да это — и похуже февраля?

Но какой генерал что-нибудь значит, если ему не подчиняются?

В бешенстве ходил.

Вот тут — сидел Крымов, и ему говорил. Тогда — ещё не было поздно.

Адъютант: прибыла делегация из Михайловского училища.

— Что-о? Ну, введите.

Два офицера, два юнкера, два солдата училищной obsługi. Без этих солдат сказали бы откровенно? — а тут:

— Мы посланы узнать, действует ли командующий с согласия Совета рабочих и солдатских депутатов?

Ах так? (Ах, мать вашу...)

Командующий напоминает господам офицерам и господам юнкерам, что в штаб Округа да ещё в учебное время они могут прибыть только по вызову. Они не вызваны. Можете идти.

Гренадеры обошлись без депутации, по телефону: роту выслать не можем, на основе вчерашнего приказа Совета не выводить частей из казарм.

Ах, вот как повернулся тот приказ? А ведь Корнилов вчера сразу не догадался, думал — к лучшему.

Оставалось метнуться к Гучкову, там и Алексеев, всё военное командование, думайте вы!

Но адъютант просил Корнилова взять трубку, его вызывают.

Не доспросив — схватил, отозвался.

Требовала Корнилова — *власть!* Чхеидзе из Совета рабочих депутатов. Верно ли, что генерал вызвал артиллерию и броневики?

Да провалитесь вы, банда, почему командующий должен разговаривать с шантрапой? Что за грязная, нечестная служба для воина — начать с ареста царицы, а кончать угодничеством перед этой шайкой?

Так вот, Исполнительный Комитет хочет объяснить генералу Корнилову: вызов воинских частей может сильно осложнить положение. Мы высылаем к вам делегатов. А пока, для приличия и соблюдения вашего лица, мы предлагаем вам самому отменить все вызовы.

Ну, этого унижения он им никогда не забудет!!

— А правительству?..

\*\*\*\*\*

## ОДНОЙ РУКОЙ УЗЛА НЕ ЗАВЯЖЕШЬ

\*\*\*\*\*

### 80

Костя Grimm с Вадимом Андрусовым тоже шли на Мариинскую площадь. Костя говорил:

— И как неблагоприятны эти нападки на Англию, на Францию! А откуда же мы и получили семена нашей революции? Каков бы был идейный багаж и наших революционеров без культурного наследия Западной Европы? Все наши революционные деятели XIX века, больше ли, меньше, были питаны западным просвещением. Печальная, но необходимая истина: Россия не является Мессией среди народов, она отсталая европейская страна, но идущая тем же путём. Её судьбы тесно связаны с судьбами остального мира. Никакая действенная инициатива не может принадлежать России. Если в Европе и в Америке после войны не будет социальной революции — то и в России ей не бывать.

Да, конечно это так, — тем более думал и внук Шлимана.

Когда вчера вечером часть Павловского батальона самовольно вышагивала на Мариинскую площадь, — оба прапорщика, да и почти все офицеры — никто не пошел за их колонной подсеменовывать. Та неповторимая радость слияния со своими солдатами, какую Андрусов и Grimm испытали 28 февраля, ходя по казармам с криком «Подымайсь на революцию!», — давно в них растаяла, разрушилась, ничего не осталось. Солдат сносило куда-то косо в сторону — в непослушание, под комитеты, и вот против молодого правительства.

Но и какая ж общественная стена поднялась против бунта!

Вот и здесь с каждым четвертьчасом стекалась публика со всех семи втоков на площадь — сперва перед дворец, а потом и позади Николая I. И во всех группах нашлись ораторы — все за правительство,

за порядок, за победу в войне, все — разумные люди. И много же набродных солдат — и солдаты же все разумные. «Солдаты — с нами!»

(Если бы...)

Рядом с прапорщиками:

— Да, против мирных лозунгов всё трудней становится спорить. Опора может быть — только на честь, на патриотизм. А у них — расчёт на шкурное чувство.

— Не скажите, — раздумчиво возражал седой господин. — В этом позыве к немедленному миру — не просто шкурность. Тут угадана русская душа. Тут народным сердцам слышится вековая правда.

Костя с Вадимом переглянулись. Неужели так? Если так — то не довоюем, нет.

С трибуны — железнодорожник:

— Петроград много на себя берёт. С ним не согласны и Москва, и фронт, и страна! Я — делегат Юго-Западной дороги. 70 тысяч железнодорожников послали меня сказать: мы готовы недоедать! недоспать! умереть! — но ни за что не согласимся на позорный мир!

«Ура» ему!

И студенты — за правительство! (Когда это было в России, чтоб студенты — и за правительство?!)

Офицер:

— У нас, в Кавказской армии, только за последние дни узнали о вредной агитации Ленина тут, и что она делается совершенно свободно. Кавказская армия удивляется, почему эта вредная агитация до сих пор не пресечена. Кавказская армия лучше умрёт, чем допустит позорный мир! Долой Ленина!

Солдат с жёлтой клочкастой бородой:

— У меня пуля вот: под глазом вошла, около уха вышла. Я бы сам эту войну убил, но дайте разума: как?

Собрались уже тысячи — и росло нетерпение, чтобы вышли, выступили сами министры. Послали депутацию во дворец. Где ж оно, наше правительство? (Гримм — молчал, он — знал, где.)

Только на верхнем балконе, спугнутые с мостовой, разгуливали голуби.

И всё так же висело через весь дворец: «Да здравствует Интернационал!» А германское посольство, сзади, с массивными решётками, всё так же глядело пустыми глазницами окон. А «да здравствуют германские рабочие» — кто-то, видимо, ночью снял.

Выступает без переводчика английский морской офицер: воюйте заодно с союзниками! Германский флот заперт в Кильском канале. С каждым днём мы приближаемся к победе.

Французский лейтенант. Капитан сербской армии. Жена бельгийского офицера:

— Не покидайте нас! Не заключайте сепаратного мира!

Им сильно аплодировали.

А тут подъехали на автомобиле члены Исполнительного Комитета Скобелев и Богданов и, вставая в рост, уговаривали толпу разойтись, не нарушать порядка, это вносит раскол, опасный для революционных стремлений.

Оба прапорщика — соседям:

— А мы и не нарушаем. Почему надо расходиться, кто за правительство?

Исполнительный Комитет примет меры, чтобы не было эксцессов. Ну, и принимайте.

Уехали.

А толпа на площади множится — уже тысячи, тысячи, и все заодно. И уже тесно становится, много не походишь, кучки сливаются.

Ко дворцу стали подъезжать автомобили. Расступались перед ними, смотрели, спрашивали — кто. Оказались товарищи министров,

сезжались на своё совещание. Толпа приветствовала их — но требовала речей.

Выступили — военный, земледелия. Тут подъехал и председатель всех товарищей и сам товарищ министра просвещения профессор Гримм, старший. Он обратился со ступенек:

— Верьте, граждане, что Временное правительство в эти тяжёлые дни не отдаст на растерзание такими усилиями добытую свободу. Тем, что вы, много тысяч, пришли сюда на площадь, вы показали, как дорога вам родина. Чтобы явно вредная ленинская пропаганда не получила бы распространения — идите к менее сознательным и непросвещённым массам и разъясняйте им, что в свободной стране не может быть места насилиям!

Сын слушал с гордостью за отца.

Аплодировали, кричали: «Доверяем! Доверяем!» — но никто никуда не уходил разъяснять, а хотели сами слушать дальше.

И ещё одного задержали, заставили говорить, — товарища министра юстиции адвоката Зарудного, со смоляными бакенбардами:

— Граждане! Мы — не чиновники, мы такие же, как и вы, граждане Великой России. И если мы признаем, что Временное правительство стало на ложный путь, — мы первые об этом скажем, открыто и громогласно...

Господа! Наконец-то у России честное правительство. Наконец-то в России свобода!

— ...К счастью, мы не наблюдаем ложного пути. Но пока разыгрываются страсти — тормозится наша творческая работа. К сожалению, по-видимому, сохранились тёмные силы, которым нужны смуты, и они их вызывают...

Неискоренимая распутинско-протопоповская агентура!

Прошли товарищи министров.

А толпа всё густела, сама не зная, в ожидании чего. Уже забралась и на массивные столбы по обе стороны дворца. И тут

— тут — достиг с краю толпы и огненно передавался дальше ужасающий слух: что на Невском было — кровавое столкновение?..

Да — стреляли! убили!!

Кто? кого? сколько?

Кто — против кого?

Бросаться туда? (Или и самим тут небезопасно?)

А вот и на трибунку поднялся очевидец, типа торгового приказчика, и рассказал: группа рабочих, вооружённых винтовками, стреляла в сторонников правительства.

Толпа загудела в гневе.

Кричали разное, что теперь делать.

Тут с Морской подъехал грузовик, переполненный солдатами. Перед ним расступались, и он въехал в середину. К борту вышел штатский в пальто, с окровавленным рукавом, не перевязывал даже:

— Вот, в меня попали. Стреляли в упор.

Что поднялось!!

— Позор!

— Окрестили революцию стрельбой!

— Арестовать их!

С грузовика солдат:

— Это стреляли тёмные силы, и не без немцев. Они только прикрылись рабочей курткой, или шинелью.

Не стало ясней. Матрос гвардейского экипажа:

— Стрелявшие называли себя ленинцами. Соберём депутацию, и пусть с очевидцами пойдут сообщить Временному правительству.

Охотно собрали, и пошёл тот с окровавленным рукавом, и два солдата очевидца.

Вскоре на балкон вышел тот же смоляной Зарудный, спугивая го-

лубей. Оттуда его далеко было слышно, только щуриться на него против солнца.

— ... Мы решили принять самые строгие меры. Немедленно мною будет сформирована специальная следственная комиссия, которая, я уверен, будет санкционирована министром юстиции Керенским. И она немедленно приступит к выяснению виновных. Через несколько минут сюда придут представители следственной власти и прокурорского надзора. Очень прошу прибывающих очевидцев не расходиться и дать показания.

Вся площадь залилась «ура-а-а-а!..»

Нет, мы не уступаем! Мы — русское общество! Насилием — нас не взять!

Правительство не бездействовало! Граждане не были покинуты на произвол. Всех — накажут.

По всей Мариинской площади крики:

— Они начинают гражданскую войну!

— Они её и проповедывали всё время!

— Дайте нам возможность разоружить тёмные силы!

— Мы требуем ареста Ленина!

Забывалось, что не сами же министры тут перед ними.

Зарудный:

— Об этом вашем желании мы сообщим Керенскому.

На помощь ему вышел и Гримм:

— ... Будут приняты самые энергичные меры к борьбе с насильниками... В стране, где отменена смертная казнь, не может иметь место натравливание брата на брата.

Молодчина, отец!

Восплески толпы.

И долго продолжалось, и долго гудело уже перед опустевшим балконом. Придумали сочинять резолюцию, и кто-то собирал мнения, а кто-то записывал, и потом оглашали трижды, в три разных стороны:

— ... Граждане просят правительство стать на защиту закона и личной безопасности граждан...

Понесли во дворец, но чтобы передали непременно лично Керенскому.

А между тем с Морской вливались на площадь целые манифестации. И несли: «Полное доверие гражданину Милюкову!» — «Да здравствует Гучков!»

Да весь Петроград был здесь! Да весь Петроград заодно!

Кто же стреляет?.. Кто же мутит?

Манифестации прибывали — но тут уверяли, что сейчас ещё большее торжество начинается у Казанского собора.

Возбуждённой колонной многие потекли туда.

## 81

\* \* \*

На приметной внешней каменной лестнице городской думы висит: «Ленина и К<sup>о</sup> — в Германию!»

Имя Ленина на Невском не сходит с уст. Требовать указа об аресте Ленина.

— Это Ленин и объявил войну Временному правительству!

— Он и приехал вносить смуту в армию.

— «Всё решит бронированный кулак» — этот лозунг Вильгельма теперь переняли большевики.

— Ленинцы протестуют против братоубийственной войны на фронте — а как же они развязывают её внутри страны?

— А вот когда подпишем мир — тогда они и устроят нам настоящую войну!



— Да ничего подобного! Ленинцы вовсе не хотят вести гражданской войны! И даже взять власть они не хотят: знают, что не справятся.

— И как это: заменить победу свободой? Свободу мы завоевали, а победа не в наших руках!

Старик лет семидесяти:

— У меня четыре сына на фронте, но я считаю: войну довести до победы!

\* \* \*

В открытом легковом автомобиле едет пятеро раненых георгиевских кавалеров с плакатом: «Доверие Временному правительству!» Их шумно приветствуют.

У Надеждинской они встречают толпу человек 500—600, и есть вооружённые: «Доверие только Совету Рабочих и Солдатских депутатов!»

Из автомобиля кричат тем:

— Эй, тыловые герои! Вы оружие на фронт передайте, оно нужно там! Стыдно тут выходить с оружием!

Та колонна заминается.

\* \* \*

Идут по Невскому рядом две враждебные манифестации. Плакаты друг у друга не рвут, но переругиваются:

— Это буржуазия идёт. Им легко живётся! Поработали б с наше.

— Ходите «долой правительство» и думаете — сокращаете войну? Нет, вы отдаляете мир! Вы ведёте к гражданской войне!

— А Гучкову и Милокову — штык в горло!

\* \* \*

«Вся власть Совету!» «Доверие только Совету!»

На углу Литейного и Невского кучка рабочих и солдат набросились на мотор и сорвали плакат: «Полное доверие Временному правительству».

У Фонтанки, напротив, рвут ленинские плакаты и бросают их в воду.

А студент кричит:

— Милоков и Шингарёв — крупнейшие землевладельцы!

\* \* \*

Студент-путеец Балыков подошёл к колонне ленинцев и попросил объяснения, почему они вооружены. Ленинцы набросились на него, прикладом в голову, и сильно побили, прежде чем солдаты выручили.

К другой колонне ленинцев на Садовой наискось подошёл вольноопределяющийся Гинзбург, тоже из студентов, и строго кричал на них:

— Судьба России не решается на улице! Только по зову депутатов вы можете выйти, иначе вы не граждане! Преступные плакаты должны исчезнуть! На Невский вы попадёте только через мой труп!

На него направили несколько дул, но не выстрелили. Какой-то старый крестьянин обнял Гинзбурга и стал его целовать.

А в хвосте колонны шёл всякий сброд и растрёпанные бабы в платках. Одну спросили, чего она добивается, ответила:

— Уничтожить старое правительство и Николая Второго.

Над ней смеялись:

— Да старого правительства уже нет давно.

\* \* \*

Толпа тысяч десять — «Временное правительство — залог спасения родины», «Да здравствует гражданин Милоков», «Да здравствуют союзники» — пришла к Казанскому собору. Говорят: тут будут выступать Родзянко и генерал Алексеев.

Море голов. Возвышается на чьих-то руках большой портрет Керенского. Ждут.

Но ни Родзянко, ни Алексеев так и не прибыли. А студент с грузовика:

— Появились люди с керосином, поджигающие родину. А один среди них привёз из Германии целую бочку.

Офицер с красной розой в руках, помахивая ею ко вниманию:

— Сегодня знаменательный день. Снова чувствуется, что русские люди объединяются любовью к родине. Люди, на словах стоящие за свободу, стреляли в вольнцев, давших нам свободу. Пусть из нечистых уст таких людей не раздаются слова о мире! Свежая и радостная, как этот цветок, душа русского народа найдёт путь к миру. Но невозможен мир без победы.

Инвалид из немецкого плена: о мучениях наших там.

— А ленинцы поехали по Германии, пропитанной русской кровью!

Кричат солдаты снизу:

— Долой Ленина!.. Расстрелять ленинцев!..

Кто-то вроде председателя убеждает, что надо действовать только словами.

— А они стреляют!

Грузовик уехал. Митинг продолжается. Штатский интеллигент:

— Я — беспартийный. Кучка людей с оружием, пришедшая с Каменноостровского, позволяет себе призывать народ к свержению правительства. Сейчас на Марсовом поле я слышал призывы к избиению интеллигенции! И это — идейные борцы? Да разве можете вы не отдать должное Милюкову как политическому деятелю? — (Крики: да здравствует Милюков!) — Подобные ему люди — цвет русской интеллигенции, и мы должны им гордиться!

Военный врач:

— Я вернусь на фронт — и как мне нарисовать здешнюю картину? Не нанесите нам предательского удара из тыла! Армия должна знать, что может спокойно стоять к вам спиной. Иначе ей придётся стать вполоборота, и создастся опасное положение. Кучка бездарных людей пытается разьединить даровитую возглавившую нас власть. Временное правительство должно объединиться с Советом на общей платформе любви к родине.

Его качают.

Взошёл депутат от другого митинга, с Мариинской площади. Там Зарудный обещал, что все законные меры к стрелявшим будут приняты. И прокурор уже начал следствие по делу об убийстве...

Туда! Туда! Там — главное. Там — правительство, там будут выступать министры!

Необозримая толпа стала промешиваться, разворачиваться — на Мариинскую!

\* \* \*

Появилось гуще автомобилей — легковых и грузовых. Ездят от квартала к кварталу, останавливаются, и с них — речи.

— Происшедшее показало, что у нас есть элементы, которые добиваются гражданской войны. Но благоразумие удержит наш народ от этих призывов.

Из толпы пронзительно:

— Вы же сами, кадеты, в Пятом году звали народ на захватный путь! Что же вам теперь не нравится?

На площадях, где митинги, дежурят кареты и автомобили Красного Креста. Некоторые и движутся медленно, вместе с демонстрациями.

\* \* \*

К пяти часам дня рабочие колонны прошли и ушли — а Невский залит разношерстной толпой. Настроение самое приподнятое и уверенное: берёт верх — за правительство, за Милюкова!

— Смотрите! Не капитал манифестирует за правительство, а та же демократия!

— Мы шли на каторгу, на виселицы, а теперь мы, разночинная интеллигенция,— «буржуазия»?

— А кто — не «буржуазия»? А крестьяне — не «буржуазия»? Да большинство российского населения! Оттого и смешны притязания «пролетариата», каких-нибудь трёх процентов, на какую-то свою диктатуру...

— Теперь — мы сами должны охранять закон. Это — не в царской России, где он ничего не стоил.

Идёт колонна учащихся младших классов с плакатом: «Да здравствует Временное правительство!» С тротуаров — восторженная встреча, машут платками.

Проезжал Терещенко в открытом автомобиле. Его узнал Невский и шумно приветствовал.

\* \* \*

А со стороны Адмиралтейства всё врываются и катят по Невскому — оливковые военные грузовые автомобили, в победной февральской манере наполненные солдатами и публикой, но без оружия,— и машут толпе шапками, гимназическими картузами, круглыми матросскими шапочками, обнажая короткостриженные головы. Над кабинами развеваются флаги: «За Временное правительство!» — «Работа здесь, победа там!»

Их встречают рёвом, встречно машут платками и шляпами.

С одного грузовика разбрасывается кадетское воззвание к поддержке Временного правительства. С другого — в напоминание, листки с речью Вильгельма к его гвардии, зовущие к полному разгрому России,— их расхватывают, читают вслух. Когда грузовики останавливаются для речей — на них ещё пытаются взлезать из толпы.

Машут и раненые из дворца Сергея Александровича и других лазаретов.

Кажется: весь Петроград — за правительство! И — кто же ещё против!

Вот уже и на трамваях появились углём и мелом надписи: «Долой Ленина!» — «Вильгельм! Забери своего Ленина!» И каждый такой проходящий трамвай Невский осыпает аплодисментами.

— Да никогда со времён Петра в этом городе не было подобно-го! Удивился бы великий император!

И Коля с двумя друзьями — счастливые, неслись в грузовом кузове.

\* \* \*

В одном грузовике — солдат с дорогими цветами в руках. Ему аплодирует толпа.

В другом — опять георгиевские кавалеры. Стоит офицер, снял с груди бело-эмалевый крестик на золотой петельке и вытянутой рукой держит перед собой. Из толпы — аплодисменты.

С грузовиков разбрасывают: «Оставьте частные интересы! Соединимся для защиты России!»

Мостовые — это дороги революции. Кто владеет мостовыми — те направляют революцию.

\* \* \*

Потом — слух на Невском: шесть вооружённых автомобилей поехали арестовывать Ленина.

К Троицкому мосту повалили любопытные.

Заседание Исполкома растянулось изнурительно долго. Уговоренный текст своего Разъяснения Временное правительство не слало, не слало, не слало,— хотя большинство ИК давно уже было на него согласно, только пришлите.

А между тем заводы, возбуждённые кем-то... Никто тут не смел сказать, что большевиками — хотя сегодня и главарей их здесь не было. Никто не смел сказать, что — большевиками, потому что это не доказано строго... Но заводы шли и шли вооружёнными колоннами в центр, и поездки Чхеидзе и Скобелева никого ни на волос не остановили. А в центре — всё более распоясывалась обывательская публика в защиту правительства, и легко было ожидать столкновений,— и они произошли, со стрельбой и убитыми.

Немного тех убитых — но какой сигнал о неуправляемости событий! А главная опасность: что стреляли вооружённые рабочие в безоружных солдат! Что ж это могло развернуться? Только-только успокоили вражду солдат к рабочим из-за 8-часового дня — а что произойдёт сейчас? Слали несколько членов ИК в несколько мест на Невский успокоителями.

Не называли вслух, но что за тревожная неожиданность: маленькая ленинская группа распорядилась массами помимо Исполнительного Комитета? И массами — вооружёнными!

Вероятно кто-нибудь — не Церетели, обесилевший без Разъяснения Временного правительства, на что он всё поставил; и конечно не дипломат Чернов; и тем более не Гоц, на вторых теперь ролях; и не сдержанный Дан; но может быть Станкевич или вскипчивый Либер — с минуты на минуту вылепят это большевикам. (Либер — так взверчен против большевиков, что, кажется, разбуди его среди ночи — и он тотчас готов продолжать неистовую речь против Ленина.) Вылепят — и тут произойдёт взрыв? разрыв? раскол Исполнительного Комитета? И гибель вообще всей революции? —

— если бы не вбежали доложить: Михайловское училище получило от генерала Корнилова распоряжение вывести две пушечные батареи на Дворцовую площадь! Но михайловцы не идут без согласия ИК.

Удар в спину?! Ах, предатель, генерал Галифе!!

И так же — с броневиками, которые Корнилов вызвал!

И — грозная тень Контрреволюции, зловещей контрреволюции, всегда губившей все революции, — поднялась над смятенным заседанием. Вот где наша главная опасность всегда — справа! справа! — не надо этого забывать.

Исполком сплотился мгновенно, и с большевиками: нам надо держаться заодно! С Корниловым — не прямо конфронтировать, но поручить Чхеидзе выговорить ему тотчас по телефону, что никакой вызов войск ни для каких целей невозможен. А затем послать к нему и комиссию. (Да приставить же наконец постоянных комиссаров, чтоб такое не повторялось!)

А почему михайловцы и броневики не пошли? Да благодаря счастливому вчерашнему распоряжению солдатской комиссии Станкевича — чтобы полки не ходили самовольно манифестировать против правительства, а на всякий выход из казарм ждали бы распоряжения ИК.

Пригодилось! Спасло! Но теперь именно такое распоряжение надо развить и усилить: чтобы солдаты не вздумали сами выйти расправиться с рабочими!

Горячечно выработывали ещё новое воззвание, ко всему населению... Граждане, в минуты, когда решается судьба страны и каждый опрометчивый шаг грозит... Во имя спасения революции... Верьте, что Совет найдёт пути... Сохраняйте спокойствие...

А главное: солдатам — не выходить с оружием из казарм без зова Исполнительного Комитета.

Товарищи! Это не конкретно! А если поддельный телефонный звонок? Или явится кто, как Линде?

Хорошо, так: каждое распоряжение о выходе воинской части на улицу должно быть сделано на бланке Исполнительного Комитета. И скреплено печатью.

Ерунда! У нас кто хочет может поставить печать на нашем бланке.

Хорошо: и подписано не менее чем двумя членами ИК.

А у нас их — девяносто. Всегда наберётся два таких, которые...

Хорошо, не просто два, но двое из определённых лиц, например следующих семи — ну кто? Чхеидзе, Скобелев, Богданов, Либер... Ну от солдат Бинасик, от военных Филипповский...

Смеялись: семь диктаторов.

Революции любят откалывать такие номера. Они и в историю потом входят: «Семь диктаторов».

И ещё дополнительно: чтобы каждое распоряжение проверяли по нашему телефону.

А к рабочим? Им так не прикажешь (и большевики не дадут приказать)... Товарищи рабочие и милиционеры! Оружие у вас служит лишь защите революции. В манифестациях и на собраниях оно вам не нужно. Здесь оно становится угрозой делу свободы. Идя на собрание, не берите оружие с собой...

Ну, ещё из литературной части... Никакие насилия граждан друг над другом не могут быть допущены в свободной России... Кто ведёт к смуте, тот враг народа!

Теперь — скорей печатать, размножать, рассылать, сообщать по телефону во все казармы! Расклеивать по городу, как будет готово.

Да что же правительство?! Уже скоро и на Совет нам ехать — а Разъяснения всё нет?

Ну, наконец-то! Ну, наконец же! Измученный Церетели, не находивший себе места, вскрывает пакет и тревожно читает: не обманули? не изменили согласованного?

Ну, грубых изменений нет. Да половина Разъяснения — цитата из Декларации 27 марта, а от «санкций и гарантий» пятятся теперь.

Потвердевшим голосом Церетели читает вслух.

Спорить — уже все устали. И друг друга не переубедишь. Сразу голосовать. Трудовики, народные социалисты, эсеры, меньшевики-оборонцы — 34 за. Большевики, меньшевики-интернационалисты и внефракционные — 19, против.

Принято. Предложить Совету признать Разъяснение правительства удовлетворительным.

Скорей и ехать на Совет, в Морской корпус.

### 83

\* \* \*

На Невском слух: Москва возмущена и грозит принять карательные меры к Питеру, отрезать продовольствие.

И такой слух: Ленин предписал вызвать немедленно в Петроград кронштадтский гарнизон.

И такое известие: Исполнительный Комитет удовлетворился объяснением Временного правительства.

Кричали «ура».

\* \* \*

И от Троицкого моста пришёл слух: с плакатами против Ленина к дому Кшесинской ходили, но дойти не дошли. Уже по дороге их предупреждали, что будут расстреливать, как на Невском, и многие

отсеялись. А кто перешёл-таки мост — тех встретили вооружённые, изорвали их плакаты и поколотили.

\* \* \*

У Полицейского моста из автомобиля держит речь Скобелев:

— Исполнительный Комитет не допустит экспессов. Мы не допустим такие лозунги как «арестовать шпиона Ленина!». Не может быть насилия над кем бы то ни было. Исполнительный Комитет не допустит, чтобы граждане отстаивали свои взгляды при помощи оружия. Только старая власть могла опираться на силу штыков. А новая власть будет действовать силой слова и убеждения.

И тут же, при нём, несколько человек не давали проехать легковому автомобилю с лозунгом «доверие Временному правительству». А он как не заметил, не вмешался, поехал дальше.

\* \* \*

А ещё были митинги у всех посольств — французского, итальянского, английского. Бьюкенен несколько раз обращался с балкона к манифестантам: Англия воюет не ради завоеваний, единственная цель Англии — торжество права и справедливости. Поддерживайте Временное правительство!

И тут же, при Бьюкенене, кучка матросов и рабочих — рассеяла, побила манифестантов и порвала их противоленинский плакат.

\* \* \*

С митинга у Казанского собора повезли инвалидов в их госпиталь на Каменноостровском. По разумному совету они перед Троицкой площадью свернули флаг «Да здравствует Временное правительство», чтобы не дразнить ленинцев. Но их всё равно узнали — от «дворца Ленина» в них стали стрелять из винтовок. Люди не пострадали, но грузовик остановился. Подбежали, стали стаскивать инвалидов. Феликса Вольчака без двух ног — избили. А Василия Москаленко без правой ноги — поволокли к Кшесинской. Там, угрожая револьверами, его допрашивали, кто им заплатил за сочувствие Временному правительству, кричали: «Расстреляем!» Отпустили с угрозой: больше не попадаться, иначе лишится и второй ноги. А ещё двух одноногих инвалидов — Василия Романова и Ленарда Дуду, схватили, повезли на Выборгскую сторону, там заперли до ночи. Потом составили протокол и обещали суд через два дня.

\* \* \*

Ушло с Невского много манифестантов с чувством победы — а рабочие продолжали подходить из боковых улиц, и всё на Невский же, только там и можно *доказать*. Все такие же — с плакатами против правительства, и опять вооружённые отряды — и Невский снова встречал их: «изменники! провокаторы! за немецкие деньги!», а они: «буржуи, провокаторы, в норах сидели, а теперь повывлезли!» На углу Пушкинской студенты и гимназисты вырывали флаги, рвали плакаты Бумагопрядильни и Ниточной мануфактуры. А работницы кричали:

— Где же наша свобода? Мы имеем такое же право!

На Знаменской площади грузовики с солдатами, инвалидами, студентами перегородили подход очередной ленинской колонне — и не пропустили вооружённых.

Были и чёрные знамёна анархистов: «Отобрать без выкупа земли и заводы».

Одну такую колонну смяли у городской думы юнкера-константиновцы.

А на Марсовом поле разгромили грузовик с плакатом доверия правительству.

\* \* \*

Опять сгустилось, к драке. Одного прилично одетого господина в спортивной фуражке и в пенсне за какое-то брошенное слово ударили из колонны по лицу и хотели дальше бить, но солдаты и женщины отстояли.

Сухопарый англичанин, военный, прихрамывая, с палочкой, шёл за колонной и кричал с акцентом: «Провокаторы! Изменники!»

\* \* \*

Уже в сумерках на углу Морской и Невского были выстрелы в воздух, толпа шарахалась. Яростно кричали:

— Прекратите выстрелы! Немецкие деньги!

— Пусть стреляют! Мы умрём за свободу, если нужно!

С темнотой такая нервозность наступила: стучат клапаны неисправного автомобиля — толпа бросается врассыпную, крича о стрельбе.

\* \* \*

От вечерних рабочих манифестаций оседал народ на Невском, ходили, толкались, агитировали солдат. И злобно:

— Всех этих господ буржуев, что зря шляются,— взять да перестрелять.

После восьми и девяти часов вечера ходили по Невскому добровольные большие группы безоружных юнкеров и солдат, успокаивали публику и от имени Совета предлагали очистить Невский, не собираться в большие толпы, не манифестировать ни за ни против, и не нервничать. Брались за руки и цепями мягко вытесняли публику с Невского в боковые улицы. Многие сворачивали флаги, убрали плакаты и расходились.

Вечер становился ясный, прохладный. Проступали звёзды, а вот всходила и луна.

## 84

После приезда Ленина — среди петербургских большевиков положение отчаянно-сложное. Программу Ленина принимает меньшинство и неохотно, а кто и принимает лозунги — не хотят подчиниться власти эмигрантов. «мы, питерцы», были тут на местах, на постах. Нашей эмигрантской стороны мало. Но изумлялась Коллонтай, что при этом невыгодном соотношении и ещё не направляя уверенно ЦК — Ленин осмелился и победно провёл в эти дни городскую конференцию партии. Больше того: на послезавтра отважился назначить уже и всероссийскую конференцию (скорей утвердить ЦК и захватить аппарат!). Коллонтай там будет опять от Петрограда, Шая Голощёкин как бы от БЦК, кой-кто верный успел смотаться на места и вернуться с делегатством, как Клим Ворошилов в Луганск, да вот Сима Гопнер застряла в Екатеринославе, а Макс Савельев потерпел поражение в Киеве от Пятакова и Боши (но Ленин всё равно решил его в конференцию посадить).

Александра Михайловна восхищалась рискованной и блистательной тактикой Ленина, особенно в сравнении с исполкомской и правительственной: две недели назад совершенно одинокий, оттолкнутый, осмеянный.— он вот уже начинал вести за собой партию.

И вместе с необыкновенным моментом истории Александра Михайловна сама в себе чувствовала редкий расцвет, здоровье, мобилизацию душевных сил политического соображения (да почти же равняясь с Лениным! достойный его партнёр и в эпатажном выступлении в Таврическом), и жажду публичных выступлений,— и полную же личную свободу в 45 лет (уже без Сани Шляпникова), сорок лет бабий век, но в сорок пять ягодка опять, некоторые товарищи с трудом соблюдают с тобой партийное хладнокровие.

Что Саня хорошо успел в марте — это вооружить рабочую гвардию. (А потом попал под трамвай, но к счастью не тяжело.) В последнюю дань ему послезавтра Коллонтай читает в университете лекцию: «Самооборона рабочего класса».

Пока что — эта самооборона уже началась на улицах. Но — недостаточно для победы, а вызвала отпорный гнев, берегись! И сегодня Александре Михайловне от Ленина — срочнейшее задание: спасти положение!! Идти на пленум Совета и там возглавить большевиков: Каменев — слишком академичен, он не боец, оттеснить и его, и группу питерских, Фёдорова, и быть главным оратором от нас. Вчера большой Совет показал, что он — огромная сила, и сегодня вся ситуация заостряется в нём. Хотя мы там — в утлом меньшинстве, но надо сделать невероятное усилие и повести за собой Совет. Категорически отбить все обвинения в стрельбе! Конечно, Исполком — безнадёжные оппортунисты, нам их пока не взять, но для масс и нет ИК, никто не разбирается, есть Совет. Взять его — и вся сила у нас. Вы прирождённый боец, и вы обаятельны, если не вы повернёте Совет, то и никто. Тактику — вы сообразите на месте. А если не удаётся — то надо просто сорвать собрание, не дать им нас заголосовать.

Послали своих захватывать скамейки ещё с пяти часов — чтобы большевикам сидеть вместе: так — дружной, плотней, шумней, быстро передавать решения, мгновенно реагировать. Меньшинство, если оно сплочено, — разрезает большинство, проходит через него насквозь.

К назначенным шести часам и Коллонтай пришла туда, села (под жакетку надела алую блузку, сверкают отвороты). А президиума — всё нет (и Каменева с ними). Значит, Исполком весь день торгуется с буржуазным правительством, жалкие робкие куклы.

Фёдоров недоволен, что отставлен, и другие питерские поварчивают. Но уже они Лениным укрощены.

Больше половины зала — в солдатских шинелях. Плохо, серое крестьянство задавливает рабочий класс.

Нетерпеливо вертелась: когда же? Скорей бы! На больших часах зала уже семь — а головки всё нет, всё торгуются.

А на набережной, под окнами Морского корпуса, волнуется толпа, сошлось сюда несколько заводских колонн. (Это — мы поработали.) Всё те же грозные лозунги. Членам ИК придётся через это гудение пробираться, да какие-то и объяснения снаружи дать. Всё — подействует на нервы, всё — надо использовать.

А две тысячи депутатов — хозяев России! — не кричали, не вызывали, не топтали ногами, — покорно переполняли зал, ждали своё возглавление. Масса...

Не сказать этого нигде вслух, но к классовой теории, но к диктатуре пролетариата надо сделать поправочку на яркие личности. Без группы ярких личностей никакая диктатура пролетариата ничего не потянет. И тревожный момент, что сейчас в головке большевиков ярких личностей — два с половиной и обчёлся. Остальные здесь в Петрограде — все серяги, нет лица.

Ну, разумеется, вот придет Троцкий, это — пламя, это характер! Но если он к нам примкнёт. Ну, разумеется, Парвус, — но он уже германский. Ну, пожалуй Бухарин, да Радек, когда доедут. Ну вот Раковский уже в Одессе. Ну, может быть, толк выйдет из Ногина. А больше ведь никого, всё исполнители, жуть! Маловато для России?..

Но вот — и головка ИК. Сюда пробирается Каменев, сейчас расскажет. А в президиум заходят неразлучные длинный Церетели и маленький Чхейдзе, прямо Пат и Паташон, молоканский лоб Скобелев, и вся, вся соглашательская сволочь. Лица довольные. (Каменев сообщает: лакейский торг, Церетели сторговался с ними ещё утром, не знаю почему не слали своей поправки весь день. Хотят заморочить Совет «большой победой» и лизать пятки правительству.)



Начали — в двадцать минут восьмого.

Начал — Чхеидзе, слабым голосом, волоча уже непосильную председательскую должность. При встрече с министрами оказалось, что Временное правительство вкладывает в свою ноту то же содержание, как и мы в декларацию 14 марта.

Какой цинизм!..

Вот, получено необходимое разъяснение, его объявит товарищ Церетели.

И — поднимается социалистический князь. Как быстро он возвысился в главу всего Совета, едва воротясь из Сибири. Он — опасен: тем, что приятен наружностью, голосом, и говорит и мыслит ясно, и впечатление искреннее. (Он искренен и есть, он — искренне заблудился.) Но — и не слишком опасен, Ленин не считает его вождем: нет в нём борцовской хватки. Если схватиться насмерть — он не устоит.

Вопрос о мире должен быть поставлен в международном масштабе, его не решить силами одной русской демократии. (Это мы знаем, и согласны.) Мы рассчитывали, что наш отказ от аннексий вызовет встречное движение мировой демократии. Когда была обнародована нота Временного правительства, демократия признала, что она туманна. В ноте мы с тревогой прочли формулу «борьба до решительной победы» — известную формулу империалистической политики, которая означает войну до бесконечности. Но каждая неясность — удар по демократии. Временное правительство ответило нам, что дело только в неудачной формулировке. (Ах, шкуры цензовые!) Тогда мы потребовали издать разъяснение, чтобы поставить все точки над «и». (И что поняли, князь, депутаты в этом «и», и сколько точек?) И вот, сегодня правительство прислало нам разъяснение, которое будет передано и послам держав.

Уклончивый полет перепуганного правительства, отписались ничтожной бумажкой. Тут бы и пугать их дальше, но Церетели, конечно, спешит объявить «разъяснение» успехом Совета.

И вот, мол, конфликт, который *мог бы произойти*, устранён. (А — про нас? молчит, отметим.) Таким образом, правительство не порвало с демократией, оно доказало, что заслуживает нашей поддержки. Если бы Временное правительство действовало под влиянием буржуазии — тогда мы должны были бы взять власть в свои руки, хотя мы сейчас к этому ещё не созрели. Нет больше поводов подозревать правительство, оно с народом. Вот — разъяснение. Это начало международного осуждения отказа от насильственных захватов. Когда и другие государства пойдут по нашему пути, то мы и приблизимся к миру. Временное правительство будет продолжать оставаться у власти, а мы, поддерживая его, будем действовать заражающе на пролетариат других стран. (Какая чушь! Сколько таких утончённых буржуазных подголосков пришлось выслушивать в Европе — а вот они уже и у нас есть.) И вот, для нашего собрания — резолюция, читает. (Та же уклончивость, выложенная другими фразами. Потерпев позорное поражение — изображают победой.) Горячо приветствуем митинги и демонстрации пролетариата (которые сами же останавливали изо всех сил). Западные правительства теперь поставлены в необходимость высказаться перед лицом своих демократий... (Лови ветер!) И в конце, от себя: это — наше великое завоевание, поздравляет Совет с победой, мы нашли твёрдую основу для прочности наших отношений с правительством.

И — какая овация! какая овация! Бедные обмороченные массы... Да, бой сегодня будет отчаянный.

А президиум — явно трусит.

Вторым оратором — соглашатели выпускают Станкевича. Кажется, у них это уже съезженная пара. Станкевич — не гонится очаро-

вать слушателя, но — военный вид, но — строгие простые фразы, в каком-то отношении он даже опасней.

Он, видите ли, и вчера говорил, что это всё — недоразумение. Это потому, что атмосфера в Мариинском дворце не такая, как на заводах, а вот мы её освежили. Инцидент исчерпан, но он показал, что мы неустойчивы: из-за того, что правительство не нашло подходящих слов, у нас пропало два драгоценных рабочих дня. Мы, члены ИК, думали, что рабочие считаются со своими органами, а полки и рабочие выступили помимо нас. (Ага! довольно жалкая позиция! — и чем дальше, тем больше сорвётся.) Но мы сможем повести вас к победе, когда вся демократия будет согласована и сплочена, — поэтому слушайте нас. Лозунг «долой Временное правительство» возник без нашего разрешения. (Но — не говорит, от кого!) Если вы хотели взять власть в свои руки, то неорганизованными манифестациями не возьмёте. Применить силу можно, но когда есть организация. (Вот это верно.) И как мы можем свергать Временное правительство, если мы — только Петроград? Но нам нужна более твёрдая власть, да, и лозунг завтрашнего дня: социалистам войти в министерство. (Начиная с Мильерана, этой дорожкой вы все и кончаете, ничего умней не придумаете.)

Тут выскочил эсер Шапиро, довольно лихой, и говорил не в масть президиуму. Если бы правительство было наше, оно б уже 14 марта обратилось к иностранным державам с нашим Манифестом. А раз не сделали — значит не наши. Хотя и выдвинуты революцией — а цензовые. Правительство ведёт дело к контрреволюции, Гучков уволил только 60 генералов, а их полторы тысячи. И Чернов призывал к спокойствию. (В пику и Чернову, молодец.) Но если мы окажемся в хвосте — нас многие покинут. Необходимы революционные действия — и их нельзя откладывать! Вот, например, фронт решил перевести Николая II в крепость, он был преступным царём, а почему сидит во дворце? Народ требует знать, для чего он воюет, кто настоящий враг? (Да молодцы такие эсеры, надо у них поддерживать крайних. А то сегодня в эсеры записывается уже каждый извозчик.) Большинство знает, что эта война — для промышленников, а Германия России не враг. Резолюцию принимать нельзя, она вызовет гражданскую войну! Мы должны сделать перетасовку, особенно Милюкова и Гучкова, чем скорей уйдут — тем лучше! Во имя нашей свободы!

Видимо, в президиуме произошло недоразумение, перегибались и шушукались. Наверно, Шапиро записался фуксом, думали, что он от всей эсеровской фракции, теперь выпустили — точно от фракции. Этот — уже приглаженный: хотя партия эсеров и стоит за революционные методы, но головы у населения должны оставаться на плечах. Спокойствие — прежде всего, захват власти сейчас преждевременен. Совет должен войти в сношения с социалистами других стран, чтоб и они там тоже отказались от аннексий и контрибуций.

Ну, очередь большевиков. Коллонтай решила: пусть сперва выступит Каменев, подшептала ему последние импульсы, и не оправдываться в стрельбе, ни слова о ней, может так и замнётся. А сама намечала, в громовое развитие, выступить позже, под конец — важней.

Каменев начинает правильно, но в слишком спокойном тоне, так не захватить массу:

— Я думаю, что нота и всё, что разыгралось вокруг, не может быть исчерпано изданием новой бумажки, которой хотя бы усыпить бдительность революционеров. Именно нота и показывает, как близка опасность, и мы должны раскрывать на неё глаза. Правительство бросило вызов демократии, и я хочу знать: как оно осмелилось это сделать?

Всё — верно, но нет огня, порыва, а без огня не побеждают и верные мысли. Зал — не захвачен, нет, переливчатый голос Церете-

ли и командная точность Станкевича убеждали их больше, чем си-баритская манера Льва Борисовича:

— Проявилась классовая психология правительства, но ответственность падает и на нас, раз мы позволили такую ноту опубликовать. Какой эффект это произвело за границей? Европейская демократия считала, что появилась заря новой жизни с Востока,— и вдруг... Мы здесь говорим: «можем правительство свергнуть по телефону»? Но вы упиваетесь своей силой, а ничего не предпринимаете. А что если Временное правительство заявит: мы будем исполнять царистские договоры? Страна находится на краю пропасти, и как мы можем доверять спасать её людям, у кого руки и ноги связаны империалистической политикой? Мы сами — лучше можем спасти русский народ и свободу. Успокаиваться на объяснительной бумажке — это признак нашей слабости, это значит — проигрывать революцию. Нет никаких данных доверять Временному правительству, его надо свергнуть, но это невозможно, пока его защищает ИК.

Так-то так, но вяло, кабинетно, только профанировал великую мысль.

— Пора образовать чисто социалистическое правительство, это своевременно.

Нет, из Льва Борисовича бойца не будет никогда, он — эстет, аналит. Острую большевицкую тактику он принимает неохотно, как будто сам стыдится непримиримости своей позиции.

— Спасти русскую революцию может только то правительство, которое способно сейчас дать мир,— и предвидя возгласы и обычные обвинения большевикам: — Понятно, что не сепаратный, нет. Только тогда мы покончим с войной, когда зажжём мировую революцию.

Ну, дальше — от фракции меньшевиков, этого хоть и не слушай: что может быть в мире бледней и бездарней меньшевизма?

Они конечно присоединяются к резолюции ИК. Политика большевиков конечно гибельна. Захватить власть легко, но трудно удерживать её в руках. (О, дайте, дайте нам власть! мы вам покажем, как её удерживать!) При тяжёлом наследии царизма, если пасует Временное правительство — то разве мы бы справились лучше? Пролетариат не может сейчас брать власть, чтобы завтра не провалиться. Мы сейчас не можем решать социальные задачи. Нам надо лучше организоваться, чтобы показать себя на Учредительном Собрании...

Бездари! Только на это и хватает вашего засушенного доктринёрского умишки. Да посмотрите в окно, как бушует набережная! Наши массы! Наши плакаты качаются — читайте, пока ещё не погас закат.

(Уже выходил Чхеидзе туда, их успокаивать, поднимали его на крышу автомобиля, а он благодарил рабочих за их пролетарскую бдительность и уговаривал ждать терпеливо до завтра, пока опубликуется в газетах разъяснение,— жалкий старый шут; подошёл свежий большевик, тут пересказал через ряд.)

Всё-таки эсеры — куда боевей, их левое крыло. Вышел ещё, от Московской заставы. Нельзя успокаиваться на бумажках и на этой резолюции. Милюков и Гучков должны быть удалены, конфликта не боимся! Время — брать власть в наши рабочие руки.

Нет, с левым крылом эсеров вполне можно железо варить.

И ещё один меньшевик Испытывает, заячья душа, глубокое восхищение перед тем как Исполнительный Комитет сумел выйти из безвыходного положения. Но заставил Временное правительство отступить — голос революции (Мы, а не вы!) Однако дипломатически уловками не отвратит событий. Пока правительство в таком составе... Большевики предлагают создать батрацкую республику (смелый лозунг Ленина всех их уязвил), но есть другой выход — социалистам войти в правительство.

Само собой, после каждого соглашательского выступления друж-

но-слитный сектор большевиков поднимал такой топот, шум и свист, что заглушал всё собрание. И каждый оратор уже заранее поглядывал в их сторону с опаской.

Но вот выходит русобородый красавчик Чернов. С этим следует осторожней, чтобы не конфликтовать со всей партией эсеров. Коллонтай дала знак своим — пока не шуметь.

А Чернов — не оценил молчания большевиков и стал с издёвкой разбирать выступление Каменева. Призывал нас не успокаиваться? но он неправ. Нам надо было показать, что революционная демократия сильна, что мы можем давить на правительство, — и мы показали. (Мы, а не вы!) Если мы дальше не можем терпеть правительства — то что ж мы тогда можем? А что нам делать, если правительство подаст в отставку? (Сектор большевиков дружно расхохотался и чуть сбил оратора.) Сегодня товарищ Каменев предлагает свергнуть Временное правительство, но три дня назад он же говорил (а потому что всё пытается спорить с Лениным, и вот отдаёт козыри), что лозунг свержения Временного правительства может затормозить ту длительную работу, в которой заключается основная задача его же партии. Чего же именно хочет товарищ Каменев?

И зал, в отместку большевикам, бурно аплодирует. Коллонтай сжала губы — подходило ей взорваться и всё исправить.

— Предлагая свергнуть Временное правительство, товарищ Каменев не предложил никаких положительных мероприятий. В сущности, его позиция — «моя хата с краю, ничего не знаю». Хочет ли товарищ Каменев принять участие в коалиционном правительстве? Нет, он предлагает составить правительство другим, а сам он будет только критиковать. Страна, говорит, накануне гибели, но сам он не хочет идти ни по какой дороге, — он Иван Царевич на распутьи трёх дорог.

Смех и аплодисменты. Давно кончились регламентные 10 минут, и 20 минут, но никто и не тянется останавливать Чернова. А он — любит поговорить, ох и любит же, медленно-медленно перебрать по всем мелким косточкам. А для революционного вождя — это совсем не плюс, он никогда не удержится в темпе событий, и тем более не возглавит их.

— Бойкот, конечно, дело лёгкое. Но, товарищи, минута ответственная, и если вы пока не чувствуете себя в силе взять власть, то не берите!

Мудрость филистера. А зал — в одобрительных возгласах. Убедили бедняг слабоголовых.

— Не диким криком толпы проявляется воля, а только через организации, а пока у нас раздоры и коренные расхождения — я не советую вам захватывать власть, чтобы завтра её упустить, и предупреждаю об опасности таких лозунгов.

Вот тут-то ты и недоумок. Так рассуждая, ты никогда власти и не возьмёшь. Уже переняла Коллонтай, восхищённо переняла метучую тактику Ленина: брать власть — всегда! стремиться взять — во всякий данный момент! брать власть и тогда, когда это кажется совершенно невозможным!

Тем нестерпимее ждать, что следующая — ты. Первый опыт, первое такое крупное выступление, — сконцентрироваться! Не дать ослабиться ни одному нерву. О стрельбе никто ни слова, — тем более мы в атаку! Кажется, уже кончил, уже выложил всё? Нет, не унимается, теперь ему надо вывернуться с косою повёрткой и покрасоваться:

— Может быть, тут подумают: мол, вы, эмигранты, так долго жившие за границей и не видевшие Россию, — что вы можете сказать о ней? Если я долго жил в Европе, может быть, я не знаком с русским крестьянином? Но я и там видел тёмные углы. И я очень хорошо знаю русского крестьянина: он любит, когда ему режут прав-

ду-матку. И я заявляю: да, вы ещё недостаточно организованы, чтобы взять власть. Я вам советую поехать туда на заводы (значит в Европу, сбрендил уже), и вы убедитесь, как медленно завоевываются народные права, несмотря на большую культуру.

И ещё, и ещё: как для партии эсеров интересы крестьянства выше всего, и как не организованы наши солдаты, и даже сам наш Совет... И разве, положа руку на сердце, мы отчётливо понимаем политическое положение момента?

Наконец, и никем не останавливаемый,— иссяк. И неизбалованная толпа аплодирует ему. (Разумеется, большевик — ни один.) И тут — Чхеидзе выкидывает предательский номер: предлагает — прекратить прения! Полчаса сносил невыносимую болтовню — а теперь прекратить прения?!

Сколько есть ножек у скамей, сколько топота у ног, сколько есть воздуха в глотках — ураган негодования большевицкого сектора! И пронзительный свист разбойничий. Ка-ак? Не-е-ет!! Большинству можно, а меньшинству нельзя?! Позо-ор!! Диктаторская власть!! Провокаторы!! Долой их!!

— Уходим! Уходим!

Кто скидывал куртку — надевает. Уходим! Позор! Провокаторы! Диктаторы! Подавляют свободу мнений!

Какая радость во всякой схватке!

Мы — меньше четверти зала, а подняли шум за четыре таких зала.

И президиум уступает, и Коллонтай всходит на трибуну. (И солдаты разинули рот на красавицу!)

Упущено? невозможно? А — повернуть зал! Вскинув прекрасное лицо, откинув кудри, со всею звонкостью красивого голоса:

— Я призываю Совет рабочих и солдатских депутатов — к непримиримой борьбе против Временного правительства!! Оно идёт рука об руку с английской и французской буржуазией!

Резкий голос, по нервам:

— Зато не с германской...

Вперёд! своё:

— Политика нынешних вождей Совета — глубоко ошибочна. Попытки примирения с Временным правительством, размножение бумажек — пустая оттяжка! И грозит нашему Совету расхождением с волей революционных солдат на фронте! и в Питере! и с нашими зарубежными братьями!

Каждая фраза — как лозунг! как выстрел! призыв к опоминанию! Должны ж они быть подвластны чувствам! — и чувству любования неотразимым оратором, и великому чувству Интернационала:

— Берегитесь!! Не принимайте компромиссной резолюции! Хотя её защищают популярные люди — но она ложна! Подумайте о Карле Либкнехте в германской тюрьме! Вы протянули народам руку мира — а сами сохраняете империалистическое правительство? Не разбивайте нашей всемирной армии! И социалистам не место идти в одно правительство с буржуазией! Мы должны готовиться к моменту, когда власть перейдёт к нам, к Совету рабочих и солдатских депутатов! И только тогда мы получим мир!

А — слушают! Это — смело, это прямо, это не увёртки соглашателей, А ещё теперь о-ше-ло-мить потоком предложений: немедленно устроить всенародное голосование по всем районам Петрограда и окрестностей! — как относятся к ноте? какую партию поддерживают? какого хотят правительства? На заводах! в полках! на улицах — всюду устраивать мирные дискуссии и митинги! Полная свобода обсуждений! (И — засумбурить столицу на несколько дней.)

Видела краем глаза: к президиуму пробиваются Войтинский и Дан. Не придали значения (слова не отнимут). Потом — потеряла их, ушли ей за спину, и не видела, как они поднялись и шептались с Чхе-

идзе и Церетели, — и вдруг Чхеидзе набрал голоса перебить Коллонтай, и голос был так необычно болен, как будто сын его застрелился только сию минуту:

— Товарищи! Срочное трагическое донесение. Соблюдайте спокойствие.

Ах, перебил. И этому тону — она растерялась возразить. В зале сразу — гробовая тишина. А Войтинский (цепляет сердце, что вместе с Саней был в аварии) тут же подхватил от стола президиума: вот, они ездил сейчас в типографию «Известий». И чему свидетели сами: на углу Садовой и Невского стрельба пачками! На толпу безоружных солдат и горожан набросилась другая толпа, вооружённых, и открыла беспорядочную стрельбу. Все бросились врассыпную, падали на землю, сразу никого. Осталось два убитых солдата, несколько раненых, а вооружённые ушли, откуда пришли, по Садовой.

— Кто они? кто они? — голоса из зала резкие.

(Упало сердце Коллонтай: опять наши, шляпниковская гвардия. Как несчастно! Теперь — мы горим.)

Но Войтинский, — всё же для каждого социалиста есть рубеж социалистической совести:

— Я знаю, кто они, из какого места. Но пока считаю преждевременным называть.

— Это большевики! — орут из зала.

— Долой мерзавца! — хором кричат наши сразу же, не подведут. — Оскорбляет целую партию! — А кто и кинулся пробиваться на голос, морду набить.

Во всём зале — перекаты криков, ругательств, кажется — перестрелка начнётся вот сейчас тут. Чхеидзе без перерыву звонит в колокольчик, но только по соседству его и слышно.

Что теперь? Как исправить? Зал враждебно буйствует. Сами же мы и испортили, левая рука не знает, что правая. И наши активные силы — там, на улицах, а здесь не хватает нас.

Долго крутилась буря в высоком зале. И уже не колокольчиком, но поднятыми руками нескольких из президиума воззвали послушать — Дана.

Плотный, холодный, круглолицый (из самых безнадёжных и наглых соглашателей), озабоченно и неприветливо (его манера, отчего никогда не будет вождём масс) продолжил информацию. После суматохи около пострадавших снова собралась толпа. И раздаются нарекания на рабочих. Раненые солдаты окружены солдатами, которые говорят против рабочих, что это рабочие стреляли. Это очень опасно. Надо принять все меры против контрреволюции. (Всё же — и он не смеет выговорить, что стреляла — рабочая гвардия. Рубеж совести. Ещё не так плохо.) И раздаются нарекания — на сам Совет! Необходимо что-то, как-то...

И опять, опять закрутились вихри по залу, не давая никого слушать.

Что делать Коллонтай? Тихо элиминироваться (но не тупя глаз, алые отвороты), спускаться к своим, искать решение там. Небывалый случай! — большевик, не докончив речи, добровольно уходит...

В президиуме совещаются, совещаются, пишут что-то. Потом встаёт в рост высокий Церетели и поднимает руку. Стоит так. Удивительное у него влияние: вот смолкли, его — готовы слушать.

А он — не сам говорит, он умирил зал для Чхеидзе. А Чхеидзе дал слово Скобелеву. А Скобелев выступил на опустевшую трибуну и стал читать проект постановления, декретным голосом:

— ... Прекратить манифестации, демонстрации и митинги на улицах в течение двух дней. Считать изменником делу революции всякого, кто будет звать к вооружённой демонстрации, кто позволит выстрелы на улицах...

Поворачивают Совет против большевиков! Молненное кручение: как остановить? что противопоставить?

Скобелев от себя:

— Те, которые открыли стрельбу — изменники, враги народной свободы. Они — тёмная сила, с которой надо бороться всеми... — запнулся, — законными мерами.

А-а-а!.. ну, тут мы вас...

— ... Пытаются вызвать гражданскую войну, которая может погубить все завоевания народа.

И Дан, на правах свидетеля, добавляя в паузу:

— Не хочется верить, чтобы рабочие могли стрелять в солдат. Тут работала чья-то провокаторская рука. Тут дело контрреволюций, а потому нужны решительные меры.

Так! Коллонтай озарилась — и с места, во весь голос:

— Объявить изменниками тех, кто травит товарища Ленина!!

Скобелев замямлил:

— Такой резолюции принять нельзя, но мы — против всякого возбуждения страстей. Поручить Исполнительному Комитету прекратить вообще всякую травлю.

Прорываются из зала ещё предложения:

— Закрывать все буржуазные газеты на несколько дней! Не дать им агитировать!

— Осудить политику Ленина!

Могучий рык наших. Отвергнуто.

В этом шуме — проводят голосование за свою соглашательскую резолюцию о ноте, и собирают нужное им большинство.

Заголосовали-таки нас. Скандал.

Сектор большевиков стучит скамьями и топочет ногами: дайте огласить нашу, большевицкую резолюцию!

Не дают.

Президиум настаивает сквозь гул и беспорядок: всем членам Совета теперь разойтись для энергичнейшего воздействия на товарищей, для прекращения кровопролития. Оружие — всем оставлять в казармах и на заводах. Сейчас расходиться по улицам вместе по два, солдат и рабочий, чтобы видели, что мы друг другу не враги. И объяснить смысл постановления Совета.

А мы — остаёмся здесь! (Команда.) Мы — наступаем!

Чхеидзе складывает руки над головой почти молитвенно. Не слышно, но можно догадаться: только не допустить розни между рабочими и солдатами! Тогда — мы погибли.

Большевики собрали глотки воедино:

— Никуда не уходим! Продолжаем собрание! Объявить председателем — товарища Ленина!

## 85

Толчась в большой толпе, особенно позади, медленно что доведешь. Толклись, толклись на Мариинской тысячи уже в сумерках и даже при фснарях; и тут узналось: наши министры соберутся в доме военного министра, на Мойке.

И начался медленный отток и круговое завихрение — и потекла часть толпы туда. На углу Гороховой толпилась своя большая плотка с флагами, ожидая, что вот-вот тут будет проезжать Милюков.

И воодушевление одних заставило их стоять и дальше. А воодушевление других — течь к довшину.

А противников, а врагов, а ленинцев — уже никого тут не оставалось, даже отдельных агитаторов. Везде — победившее здравомыслие.

Долились до довшина, а тут уже до толпы нет. Стали звать, вызывать, просить, — из двери вышел, в сопровождении двух адъютантов

и в кителе без погонов — всей России так известный, приземистый, даже квадратноватый Гучков. Поднялось громкое «ура». Значит, не обойтись без речи.

Голос его не был сильным сейчас, но у набережной Мойки и глубина небольшая, и кто протиснулся к дому, тем слышно. Просил военный министр и дальше поддерживать Временное правительство. И дать отпор тем, кто хочет добавить к ужасам трёхлетней войны ещё и ужасы внутренней. Приложить все усилия, чтобы самим не пролить драгоценной русской крови, и так уже сколько её пролито германцами.

Ближние слышали, и кричали «ура», и, подхватив министра на руки, внесли его внутрь. Но те, кто стояли на Мойке в стороне, — стали просить, кричать, чтобы министр вышел на балкон и сказал ещё отсюда.

И он — появился там, и сказал строже:

— Дорогие друзья! Новый ужас братоубийства устроила кучка людей, которым не дорого будущее России, и даже уверен я, что эти люди оплачиваются немецкими деньгами. И тёмная невежественная толпа пошла за ними. Никогда Россия за всю историю не переживала такого ужасного момента, может быть и в Смутное время. Да будут эти люди прокляты! Я призываю вас к объединению. Поклянёмся, что мы не дадим растоптать свою свободу. — (Из толпы: «Клянёмся! Клянёмся!») — Поклянёмся, что мы поддержим наших братьев, которые страдают в окопах. Я верю, что замешательство пройдёт, да оно уже и кончилось, — и Россия снова возвеличится!

— Так! Так! Ура! Клянёмся! — одобрительно и долго кричали ему, когда он уже и ушёл, — и кричали против Ленина. А за Ленина тут никто и не заступался.

А после Гучкова вышел на балкон подбинтованный солдат со свеженьким Георгием на груди. Толпа наострилась. Он объявил, не робко:

— Я состою в автомобильной роте. Когда я сегодня днём увидел шайку бандитов-ленинцев, которые мешают течению жизни, и их флаги «долой войну», и сами кричат «долой войну», — а по-моему «долой войну» это «долой Россию». И я с товарищами солдатами стал протестовать, и древки у них вырывать, ломать. И в нас стреляли, и меня ранили. И вот только что министр Гучков наградил меня Георгиевским крестом.

В толпе поднялось ликование.

— Как фамилия?

— Моя? Гилевич!

— Да здравствует Гилевич! Спасибо Гилевичу!

А тут стали съезжаться и министры, правильный был прогноз. Первый — князь Львов, и его встретили оглушительными криками доверия. И он в ответ говорил перед дверью, но таким слабым голосом, что остальным потом передавали по рядам.

Что он благодарит за поддержку. Что без этой поддержки правительство не могло бы жить. И вы все хорошо делаете, что боретесь против анархии, — но боритесь только словом, только словом. А уж свободу охранит Временное правительство, которое готово и умереть за всех вас. Чувство чести русского народа поможет ему найти путь к правильной жизни и устоять против кучки смутьянов.

Не успели отпустить князя с благодарностями, как в огромном автомобиле подъехал толстенький Коновалов. Кричали «ура», получили речь и с него:

— Граждане! Наша основная задача быть на высоте требований, которые нам ставит история. Несколько месяцев назад русский народ был рабом. А теперь он свободен, и воля его будет выражена на Учредительном Собрании.

Ура-а-а! Тут перехватили Терещенку, с белоснежной грудью и чёрной бабочкой:



— Доверие, которое мы встречаем у населения Петрограда, и поддержка, которую в эту тяжёлую минуту нам оказывает Совет рабочих депутатов...

Ура-а-а-а! А вот и Некрасов. Бойко, звонко:

— Граждане и солдаты! Приношу вам глубокую благодарность за доверие. Мы относим его не к себе, а к той здоровой идее государственности великого русского народа, которая возьмёт верх над анархией.

Так дождались и героя дня — Милюкова. Он остановил свой мотор поодаль, и хотел пройти скромно мимо, но не тут-то было. Потребовали речи, да с балкона. И вот — его достойная фигура с седой головой в очках выступила на балконе. Ещё и луна посвечивала туда сквозь деревья. И полилась как будто специально подготовленная речь:

— Граждане, в вашем приветстве я нахожу новые силы для своей ответственной работы. Скажите мне, в чём я заблуждался, — и я искренно покаюсь вам в своём заблуждении. Ошибался ли я, когда говорил, что Россия не заключит сепаратного мира? — («Нет, нет!») — Ошибался ли я, когда говорил союзникам, что Россия требует освобождения угнетённых национальностей? — («Нет, нет!») — Имел ли я право сказать, не желая аннексий, что мы не дадим врагу отрезать у нас родную землю? — («Да! Да!») — Согласны ли вы, что нужно добиться, чтоб эта война была последней войной? — («Да! Согласны!») — Если вы согласны — то вот это и было в нашей ноте, которую приняло единогласно всё Временное правительство! Граждане! Я — первый слуга народа, и первый охотно подчинюсь его воле. И если бы воля его была иной — я счёл бы долгом сложить с себя бремя власти. Когда из тёмных углов выходит измена — свободная воля русского народа нам особенно дорога. Мы опираемся не на силу штыков, а на ваше доверие. Но если вы сегодня пришли сюда эту власть защитить, то я могу сказать вам: да, русские граждане, вы заслужили свободу, вами завоёванную, если умеете так её отстаивать! Мы ещё с вами встретимся в хорошие светлые дни нашей победы над врагами! Я не посмел бы вам этого сказать, если бы не знал, что это и будет так!

Долго гудела овация в воздухе, Милюков раскланивался. Наконец ушёл внутрь, должно было засесть правительство.

И те, кто знали, что Керенский, по несчастью, в самые эти роковые дни как раз и заболел, — понимали, что больше уже ждать некого, и начали оттекать. А те, кто не знали, — справедливо ждали Керенского.

И — надежда их не обманула, вот что! Да! Вдруг раздался резкий автомобильный рожок со стороны Невского — толпа готовно раздвинулась — и при фонарях набережной увидела своего любимца.

Что поднялось! Какие вóсплески! Славили! просили речь!

Но Керенский — бледный, тонкий, и видно еле на ногах, всё так же одна рука подвязана у бедняги, направо и налево показывал свободной рукой на своё горло, что говорить он — увы, не может.

И адъютант объявил, что гражданин министр Керенский вчера был очень серьёзно болен и совсем не выходил, а сейчас больной приехал на экстренное заседание, но врачи запретили ему говорить.

Увы, увы. С криками «да здравствует Керенский!», «да здравствует Временное правительство!» — толпа стала расходиться.

Керенского — внутри не ждали. Покосились, переглянулись.

Члены правительства начинали заседание смущённо, придавая лишней неискренней бодрости поглядываниям друг на друга.

Дела их чётко вёл Набоков, строго озабоченный. Были вопросы очередные, с подготовленными заключениями. Были вопросы внеочередные. А можно было обсуждать события сегодняшнего дня.

А можно и не обсуждать. За весь этот день (как и за вчерашний) правительство никак не вмешалось в беспорядки на улицах, предостав-

ляя расхлёбывать их Исполнительному Комитету. Ничего не сделало даже для своего сохранения. А — как само потечёт.

И теперь они поглядывали друг на друга, с трудом скрывая своё изумление, что они благополучно пережили эти два дня, и вот — целы. И вот — заседают.

И анархия подавлена.

Милюков наливался победой. Надо сейчас постановить, что ни один министр не имеет даже права — уйти с поста по политическим соображениям.

А Гучков мрачно опустил голову подбородком на грудь. Ему было стыдно этих двух дней. Себя в них.

И потрясён был неудачей Корнилова. И не помог ему ничем.

Но об этом всём — этим министрам он говорить ничего не мог больше.

## 86

Хотя «красная гвардия» так и не выиграла Невского за целый день, а даже всё более проигрывала его от дневной стрельбы, — но по большевицкой (и межрайонской) воле, какие заводы слушались их — те должны были своё промаршировать по главному проспекту, хоть и в сумерки, чтобы не дать буржуазии покойно ликовать.

И так они проходили все вечерние часы, и всегда по этому плану — с вооружённой колонной впереди, а то и сзади. Осмелевшая многолюдная невская публика уже не так пугалась винтовок, а всё же остерегалась. Но даже и после дневной стрельбы нигде не появилось в отпор вооружённых солдат. А рабочая милиция, красногвардейцы, хоть и бодрились своей заряженной винтовкой за плечом, но не было у них ни солдатской уверенности с ней обращаться, иные ещё и не стреляли ни по разу никогда, ни — развязности всамделишно стрелять в живых людей. Шли-то они с винтовками, но сами побаивались их.

Так, обоюдно, обходилось без свалок весь вечер, хотя перебранка металась самая резкая:

- Ленинцы!.. Долой Ленина!..
- Долой буржуев!.. Да здравствует Ленин!
- За немецкие деньги!
- Зажрались нашим потом!
- Смерть буржуазии!

А уже потрудились и успокаивающие безоружные солдатские патрули, и возвратившиеся городские милиционеры, унимали, отводили публику, уже на Невском становилось куда пореже. К десяти часам казалось: больше никого и не будет, всё кончилось. И жители центра ещё толпились — довозмутиться и доторжествовать.

Но тут появилась на Невском, со стороны Адмиралтейства ещё длинная колонна, к фонарям да при луне хорошо видная. Так же вперемежку вооружённые и невооружённые, да от разных заводов, отвечали:

- Мы с Нобеля. Гуляем.
- Тут ото всех районов, междурайонцы.

Были и с Айваза, с Экваля. Несли: «Долой Милюковых и Гучковых!», «Вооружайся, весь рабочий народ!», «Война войне!»

В передней вооружённой группе шло человек семьдесят — восемьдесят, с винтовками, вынутыми револьверами, обнажёнными саблями. В этот раз среди них было и немного вооружённых солдат.

Так же по всему проспекту поднялась перебранка с публикой — «долой ленинцев!», «долой буржуазную травлю», несколько раз из колонны крикнули вялое «ура», кто затевал революционную песню, но уже видно было, что опоздали, устали, не те дневные первые, хоть и сабли наголо.

Перед Садовой им преградила путь цепь успокаивающих солдат под командой юнкера инженерного училища и от имени Совета просили сохранять порядок, свёртывать плакаты против правительства и войны и расходиться. Из передних ответили, что они уже и поворачивают, идут по Садовой к себе на мост и домой.

— Мы сохраним порядок, но если нас тронут — откроем огонь.

Тогда солдаты стали шпалерами, очищая проход, и манифестация повернула по Садовой.

А оттуда навстречу втесался трамвайный вагон. От рабочих на него кричали:

— Не пускайте вагона! В нём все буржуи сидят! Пусть вылазят!

Вагоновожатый хотел медленно ехать и в окно своё уговаривал пропустить его — но перепуганная публика в панике стала выскакивать из вагона.

И так колонна рабочих прошла в заворот трети на две, но растянулась: передние подходили уже к Инженерной, а хвост только поворачивал с Невского. А тут, на углу, собралось много публики и солдаты — они кричали, теснились к колонне ближе, и стали вырывать последний плакат. «Хвост» был слабоват, а панельной публики много.

— Товарищи, не позволяйте! Буржуазия хочет отнять!

— Наше знамя отымают! Отомстим!

Тогда от этого хвоста несколько рабочих побежали догонять своих, чтоб вернуться на выручку. Вослед побежал и инженерный юнкер и уговаривал ушедших не возвращаться всем, а только дать малую подмогу, и сейчас он со своими солдатами выручит весь хвост.

Но — уже нельзя было отговорить! От главного шествия побежали вооружённые назад, снимая винтовки. Впереди их бежал молодой, лет тридцати, с тёмными усами, с красной повязкой на рукаве, но даже не рабочий, не в кепке, а в мягкой чёрной шляпе с полями и довольно интеллигентным лицом, он запомнился свидетелям. И когда увидел, что солдатская ручная цепь мешает им бежать назад, — поднял руку с револьвером и дал выстрел как сигнал.

И бегущие рабочие защёлкали затворами, дали нестройный ружейный залп — по солдатам! И вообще — вдоль Садовой, в сторону Невского, в кого попало!

И из уговаривающей цепи один солдат в автомобильной форме, Гаркуля, упал мёртвым, и кто-то рядом ранен, — и около них тотчас появилась медицинская сестра, да та самая Женя Шеляховская, что и днём попала в свалку и стрельбу на этом самом перекрестке.

И от стрельбы — никто уже не дрался за плакат, а все бросили его, — началась паника во всей массе людей — и невской публики, и рабочих, всё перемешалось, — одни кинулись в кофейную и в синема «Мажестик», другие падали на тротуары и мостовые, третьи бессмысленно поднимали руки вверх, кто убегал подальше к Гостиному Двору, кто хлынул к завороту Публичной библиотеки, и с ними вместе вооружённые рабочие, и оттуда тоже стреляли наугад, сами не зная, в кого и зачем, от одной непривычки к оружию.

Это были уже не залпы, не исполнение команд, — беспорядочная неутихающая стрельба, выстрелов сорок. Как раз сюда в эту пятиминутную панику, под обстрел, попал и глава городской милиции общественный градоначальник Юревич, и метался со своим адъютантом. Сюда же едва не попали, проезжая в автомобиле, — члены Исполнительного Комитета Дан, Стеклов и Войтинский.

Трамвайный вагон удирал от стрельбы через Невский, к Пажескому корпусу.

Так стреляли, пока рабочие поняли, что стреляют они одни, больше никто. После того стали уходить.

Поле сражения осталось за рабочими, но они сами спешили убираться — и так беспорядочно, что уже не только по Садовой, а и по Невскому к Знаменской, кто куда попал.

Думали — будут хватать виновных? Некому.

Женя Шеляховская задержала пустой проходящий автомобиль французского министра Тома — и повезла одного раненого солдата в Николаевское училище, где он служил.

Минут через двадцать подъехали и ещё автомобили Красного Креста, подбирали раненых. Их было шестеро, из них четверо солдат, одному пуля в голову. Убитых солдат было трое — ещё измайловец и ещё приехавший с фронта делегат. И один убитый рабочий, но выстрелом сзади — своими. Трупы убитых занесли в «Мажестик».

Медленно возвращалась на перекресток разбежавшая публика, с негодующим рёвом и плачем женщин. Офицеры друг друга убеждали гневно:

— Что же мы смотрим? Надо же с ленинцами бороться!

Кучки собирались где светлее, у фонарей:

— Это чёрт знает что! Кто смеет стрелять?

— Как можно стрелять в братьев?

— Как можно стрелять теперь, когда свобода?!

— Зачем они травят наше солдатское сердце?

— Образумьте их! Скажите, что это недопустимо!

Долго волновались.

Спустя час стали ходить патрули от имени Совета рабочих депутатов и энергично требовали: расходиться всем. Всякие демонстрации на два дня запрещены.

Публика подчинялась.

Ещё ночью, но уже по раннему белому свету, по улицам развешивались воззвания Совета.

И городской думы: «...мирное и организованное участие в политической жизни родины...»

Поздно ночью по городу разнёсся слух, что Ленин — покинул Петроград.

\*\*\*\*\*

ПОШЛО ВРОЗЬ ДА ВКОСЬ, ХОТЬ БРОСЬ

\*\*\*\*\*

Вдрызг изгажено! — на захват центра не хватило сил.

Но кажется, кажется — выбираемся.

Вчера, когда бушевал весь город, — около особняка Кшесинской было весь день спокойно. Но к шести вечера привалила огромная, правда безоружная, толпа, может быть 10 тысяч? — солдаты, обыватели, интеллигенты, вперемешку, знамёна красные, а лозунги — доверия правительству и против нас, и кричали, вот рядом: «Арестовать шпиона Ленина!» Момент был страшноватый, считался Ленин реально, не придётся ли поплатиться за пролетарское дело. Но тут от Троицкого моста подошли на вырубку и наши, вооружённые, и стали рвать тем транспаранты, знамёна и разгоняли прикладами. (Ленин заранее строго распорядился: вблизи особняка никому не стрелять, исключая последней крайности. Хотя и нарушили.) И — погнали тех. Но по Каменноостровскому в это время проходила какая-то вооружённая часть — и те кинулись просить у них защиты. И снова был реально очень опасный момент: не придётся ли спешно покидать дом Кшесинской, пока открыт ещё Кронверкский в одну сторону, архиглупо riskовать жизнью в самом начале борьбы. Но нет, пересидели: та воинская часть заколебалась, помог наш новый хороший молодой прапорщик, и обошлось без стрельбы.

Поодаль, на Троицкой площади, начали сколачивать трибуну, слух, что будет выступать Алексинский и ещё кто-то из смердящих социал-патриотов. Но скомандовали нашим не ломать, да и те не появились.

Был и слух, что Корнилов послал сюда тысячу гренадеров на умирение. Но — не пришли.

Ещё ж эта гнусная провокация на телефонной станции вчера: будто сами барышни отсоединили телефоны Кшесинской, подлый мешчанский способ травли, и прервали всю нашу связь, оставили без связи в самый опасный момент! И так — всю ночь, немота телефонов, осада! Но Ленин приказал не реагировать, подождать, разрядятся события.

Опасно критической могла быть ночь — и Ленин, не спя (а голова — болит, болит, порошки не помогают), ходя, ходя и строя планы, зарекался: никогда больше не повторить такого вчерашнего мальчишеского промаха, авантюристов останавливать вовремя. Но прошла и ночь спокойно. Наши построили активную оборону: вооружённые рабочие патрули стояли в разных местах, и ходили по площади, по Каменноостровскому, и убеждали собиравшиеся там группы расходиться.

А манёвр формировался в голове такой: сегодня, 22-го апреля, с утра, независимо от мер правительства, Корнилова, шагов Совета и ожидаемого воя прессы — утром же поскорее разослать во все редакции нашу новую, третью резолюцию ЦК, этим парализовать нашу вчерашнюю вторую (она в сегодняшней «Правде», скандал!) — и так перехватить развитие всех страстей. В кризисе играют получасы, а иногда и минуты. Изменения ситуации надо сообразать стремительно и незаметно успевать переступить или повернуть фронт. И так, с утра же, показав одному Зиновьеву, не дождавшись других, поспешил разослать гонцами в газеты новую — третью — резолюцию ЦК (помеченную: 22-го утром), хотя напечатают её только завтра. Но пусть все знают сегодня.

Вот. Безусловно соблюдаем постановление ИК о двухдневном запрете митингов! (Соотношение сил с буржуазной массой сейчас таково, что нам это выгодно.) Лозунг «долой Временное правительство» потому не верен сейчас, что без прочного большинства народа на стороне революционного пролетариата он или фраза, или объективно сводится к попыткам авантюристического характера. (В порядке отмежевания так и назовём.)

Не произошло тут эксцессов и с утра. У памятника «Стережущему» собралась было толпа человек двести, думали — идут сюда громить (а обыватели думали — это ленинцы собираются), — оказалось же: даёт представление какой-то китаец.

Подходили к особняку любопытствующие, сами напуганные, — но инцидентов не произошло. И распорядился Ленин: с балкона сегодня речей не говорить. /

Теперь, убедясь, что разрядилось, — послали на телефонную станцию Богдатыева и ещё двоих, устроить скандалчик. Богдатыев умеет держаться. Предъявили им там удостоверение от ЦК и грозно потребовали назвать телефонисток, примем решительные меры против таких забастовок. Управляющий телефонной станцией сразу струхнул: администрация ничего не знает, это собственный почин телефонисток. — Назовите виновных! — Сейчас выяснить невозможно, ознакомьтесь с техникой их работы. Пошли наши в аппаратную — эти шлюхи подняли шум и свист: «Вон отсюда! Долой ленинцев! Гнать их в шею!» И вдруг, провокаторски кем-то вызванный, на телефонную станцию прибыл наряд в 50 солдат, а их офицер: «Кого тут арестовать?» И хотели арестовать группу Богдатыева, нахальство! Но начальник станции заверил, что никого не надо, уладят сами. Солдаты ушли, Богдатыев пошёл в городскую управу, и те нахлобучили телефонисток: исполнять служебные обязанности без политических предубеждений!

Принесли все утренние газеты. И они ясно показали, что прави-

тельство ничего предпринять не в состоянии. Вся буржуазная пресса, конечно, струсила: никто не посмел обвинить в стрельбе — ленинцев, все возмущались, кричали, но неизвестно против кого. (Понимают, что и их сотрудникам можно морду набить. Да перестанут наборщики их набирать.) И Корнилов, вчера остановленный Советом, поджал хвост.

А «Рабочая газета», а «Дело народа» (при умелости их тоже можно использовать) проявили очень положительный гнев, но всё — против правительства и против кадетов, всколыхнувших погромные настроения. Меншевицкий ОК опубликовал постановление о кризисе — большевиков тем более не назвал. И «Известия» напечатали аршинно, сами себя пугая: «Провокаторские выстрелы» — но благоразумно не выставляя обвинений никому конкретно: «Будет тщательно расследоваться при участии ИК».

Так что самый острый момент прошёл.

Острый момент прошёл — а кризис, может быть, и не кончился. В завтрашней «Правде» напечатать так: подавляющее большинство рабочих-манифестантов понимало и несло «долгой Временное правительство» исключительно в том смысле, что когда рабочие завоюют в народе большинство. Не давайте же сбить себя одиночкам, склонным торопиться и раньше прочного сплочения большинства восклицаящим «долгой Временное правительство». Мы вовсе не бланкисты, мы не сторонники заговора! Что может быть нелепее сказки, будто мы «разжигали» гражданскую войну, когда мы самым точным и формальным образом объявили, что центром тяжести считаем терпеливое *разъяснение*? До тех пор, пока капиталисты не перешли к насилию над Советами, — до тех пор наша партия будет проповедовать отказ от насилия вообще!

А тем временем вожди этого Совета ведут себя с поганым тупоумием. Они виноваты даже не в том, что не взяли власти, но в том, что теперь ломают комедию, будто они «победили правительство». Да не имеют они никто никакой партийной выработанной линии, оттого и дают себя запугать. Они, по сути, поддержали империалистическую ноту, а сегодня, скоты, в награду кадетам, ещё проголосуют и за заём, — уж это будет полная и безусловная измена социализму! Коллонтай с возмущением рассказывала о вчерашнем подом советском спектакле, которого ей не удалось повернуть. (И о Чернове, оценила его по речи: какой он мямля. Это и прекрасно! Сильный вождь эсеров был бы нам в мелкобуржуазной стране гораздо опасней любого меньшевицкого. Пустопорожный Чернов, у него всегда одна беллетристика, никогда он ничего не сделал и не сделает. Кажется, оба они с Лениным всю жизнь были только эмигрантскими журналистами? только писали? Но как по-разному: Ленин через писания физически организовал партию.)

Да, вчера к ночи были часы, когда казалось, что мы проиграли. Но уже сегодня надо признать, что это не так. Мы не могли победить, потому что не успели мобилизоваться. Переоценили успех 20 апреля — и 21 недостаточно организовали демонстрации. Чего-то мы ещё, значит, не умеем. Во время кризиса проявилось, что сплочение пролетарских сил ещё недостаточно. За Невской, за Нарвской заставой никого не подняли. Из Кронштадта с опозданием прибыло всего 150 штыков, этим дела не сделаешь, пригодились только агитаторами по казармам. А чего стоит этот позорный эпизод, у Екатерининского канала, когда рабочие отдавали винтовки солдатам! Тем более сказалась мелкобуржуазная сущность солдат, опрометчиво было понадеяться, что они способны на революционную волну. (И сколько от них угроз Ленину!) Произошло вот что: в первый день мелкобуржуазная масса колебнулась от капиталистов к рабочим — а мы не сумели использовать. А через день снова пошла за вождями Совета. А трагическое опоздание гельсингфорсского Совета! — только сегодня его телеграмма в Петроградский Совет, что по первому требованию готовы свергнуть Временное правительство. Знать бы это на день раньше! Большая, большая

ошибка, что у нас в эти дни не было спевки с гельсингфорским Советом!

В Петрограде мы не выиграли, да. Но и не проиграли. Напротив, в эти дни мы узнали свою силу. И способность передвигать массы. «Рабочая газета» чертыхается, что это безответственное подстрекательство — предложение Совету брать власть. На Совете теперь кричат, что «большевики не в состоянии взять власть в свои руки». Да почти и в состоянии! Вот таких союзников, как Кронштадт, как Гельсингфорс...

Организация, организация и ещё раз организация пролетариата! И в первую очередь — Красная гвардия! — в эти дни она оказалась не готова, прошляпили! Форсировать! (На городской конференции не обсудили её — а на всероссийскую и не вынесем: не болтать надо, а дело делать скорей.)

И вот открылся наш серьёзнейший просчёт: мы совершенно упустили пропаганду и агитацию среди городской прислуги и городских чернорабочих — а именно на них в значительной степени вчера опёрлась буржуазия. Отнять у неё прислугу! — лозунг момента. Обратит особое внимание на домашнюю прислугу!

Великое значение всяких кризисов — что они отметают политический сор — и вскрывают истинные пружины классовой борьбы. (Писал, писал для «Правды».)

Запрещены уличные демонстрации — но всюду принимать и рассылать резолюции, благоприятные для нас! Усилить войну резолюций!

Весь вопрос сегодняшнего кризиса — что соглашение Совета с Временным правительством оказалось пустой бумажкой. Вожди Совета пошли на компромисс, сдав целиком все свои позиции. «Заткнуть» этот кризис новой декларацией можно, но ничего кроме вреда не получится. Массовые представители оборончества искренно не хотят аннексий — и вот почему были так возмущены нотой. Насколько мы были правы, говоря о добросовестном оборончестве масс в отличие от оборончества вождей. Против роковой ошибочности революционного оборончества действовать исключительно методами товарищеского убеждения. Все силы — делу воспитания, просвещения и сплочения отсталых на каждом заводе и в каждом квартале! Повторение подобных кризисов — неизбежно. (Скоро, скоро повторим.) Признают ли широкие массы «инцидент исчерпанным» — покажет будущее. Урок ясен, товарищи рабочие! — за первым из кризисов последуют другие! Наша задача — не принимать участия в игре двоевластия. Выхода нет, кроме всемирной рабочей революции! Всемирная рабочая революция явно нарастает у нас, у немцев и в ряде других стран! Пролетариат открывает путь в светлое будущее для всех трудящихся!

Но теперь на конференции не исключена атака от левых большевиков. Предусмотреть и это. Товарищи, у некоторых может явиться мысль, не отреклись ли мы от себя: ведь мы пропагандировали превращение империалистической войны в гражданскую — а теперь говорим: разъяснение массам? А потому, товарищи, что сейчас — переходный период, вооружённая сила у солдат, а Милюков и Гучков ещё не применили насилия. И вот — мирная терпеливая классовая пропаганда. Теперь всякая другая борьба вредна, кроме политического просвещения и воспитания. Кричать сейчас о насилии — бессмыслица. Наша задача сейчас — не ниспровержение Временного правительства, оно держится доверием мелкой буржуазии и части рабочих масс, — а организация и тщательное разъяснение классовых задач. Если мы будем говорить о гражданской войне прежде, чем люди поймут её необходимость, — то мы впадём в бланкизм. Мы — за гражданскую войну, конечно! В этом — гвоздь! Но только тогда, когда она ведётся сознательным классом. А пока — мы отказываемся от этого лозунга.

Но только — пока.

Аргументы созревали в голове раньше, чем появлялся случай публично их произнести.

Но это лучше, чем когда не сказанные вовремя мучительно догорают потом в груди.

#### ДОКУМЕНТЫ — 15

22 апреля

ГЕРМАНСКИЙ ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ В БЕРНЕ — В М.И.Д., БЕРЛИН

Эмигрантский комитет в Цюрихе просит гарантию, что в течение месяца будет отправлен и ещё поезд со 150—200 эмигрантами. Такая гарантия облегчила бы подбор для ближайшего поезда особо подходящих эмигрантов, с тем, чтобы других убедить поехать позже.

Надёжное доверенное лицо (социалист) усиленно советует разрешить важнейшим эмигрантам проезд через Германию до возвращения Гримма, который мог бы помешать отъезду. В своё время Гримм из страха перед Антантой пытался задержать отъезд ленинской группы. Может быть, можно задержать Гримма в Стокгольме!..

#### 88

Будущий историк, берущий одни внешние факты, только разведёт руками: после изумительного хода первого периода российской революции, единственного в истории, когда порывом всенародного энтузиазма было предотвращено крушение государственного аппарата, — откуда взялся этот смерч 20—21 апреля? Но станет всё понятно, если осветить светом психологического анализа. Некие лица с ограниченным *mentalité*, неблагоприятным по части логики, а то даже и по части элементарной житейской морали, не подходящие к фактам с критериями добросовестности и правдивости, — бросали лозунги, не продуманные до конца, но соблазнительные тем, что в них чувствуется смутная надежда на конец бойни, вроде отказа от аннексий и контрибуций — двусмысленный фетиш демократической веры, или дешёвая фразеология о том, что война ведётся капиталистами. И случилось то, что легко было предвидеть: эти демагоги привлекли симпатии тёмных масс, всех утомлённых и разочарованных, — и травля «империалистов» дала свои результаты в виде двух дней безвластия в столице. Естественно, что ленинцы сразу использовали эту ситуацию. Но крики об «империалистической политике Милюкова» считали для себя обязательными и все социалисты Совета, эти оборонцы, перелицованные из пораженцев; для поддержания своего престижа в массах они должны непрерывно вести «борьбу» с «буржуазным» правительством. А в широких слоях нет понимания государственного механизма и международных отношений. Это облегчает подрывную пропаганду и отягощает положение правительства. (Подумали бы: а какое впечатление это произведёт на наших союзников? А радость наших врагов? — Гинденбург и с первых дней возвещал свои надежды на нашу революцию.)

И призрак анархии зареял над Петроградом, вот до чего!

Но эти же дни безвластия и показали, что травля беспочвенна, что моральная основа Временного правительства гранитно зиждется на доверии населения, по крайней мере петербургского. Весь Петроград вышел на улицу, чтобы громко и торжественно заявить, что он — верит Временному правительству! Тут никого не «снимали», как это на заводах, но каждый выходил по собственному убеждению — положить конец отвратительной свистопляске. Кровавое бесчинство ленинцев переполнило чашу народного терпения — и нанесло обратный непоправимый удар антинациональной предательской пропаганде. Призрак междоусобной войны — рассеялся, масса неожиданно показала своё государственное чутьё, — и от дней безвластия открылся путь к светлому будущему.



Какая убедительная, неопровержимая, грудь наполняющая победа!

В подобных испытаниях политический деятель должен быть прежде всего — мужчиной, готовым выйти под общественный огонь. И Павел Николаевич — был им все эти дни. Ещё при составлении ноты — он был каменно твёрд с Керенским, заставил его согласиться с текстом, и никто в правительстве не сумел дальше спорить. И Павел Николаевич торжествовал уже весь день 19 апреля, когда нота, ещё не объявленная в русских газетах, уже неотвратимо рассыпалась по дипломатическим каналам; то было достойное настоящее на своём. (Тот день был подпорчен только неприятным эпизодом, что на углу Бассейной и Литейного задержали его автомобиль: почему-то показался милиции подозрительным номерной знак, будто бы из «чёрных автомобилей». И Павла Николаевича, и шофёра арестовали и повели в подрайонный комиссариат. Унизительно, что не знали министра иностранных дел в лицо, да ещё в нескольких шагах от его собственного дома! — вот уж, старая полиция не допустила бы такого хамства. Предлагал заехать для удостоверения в «Речь», тут близко, — нет, только в комиссариат. Правда, там узнали, освободили, извинялись.) В тот же вечер Милюкова восторженно принимали в Михайловском театре. И ещё половину дня 20 апреля Павел Николаевич торжествовал свою победу, не подозревая, что враги замыслили поднять против него Ахеронт.

Ахеронт!! — прежде грозно подымаемый против обветшалых чучел старого режима, теперь поднимали против кого же? против революционного министра?? Ну, дожили.

Надо признаться, Павел Николаевич настолько не ожидал такого масштаба негодования, что в первые часы был без шуток ошеломлён; вдруг загорелись под ним — и именно под ним одним почему-то — всегда сочувственные петербургские мостовые. С непримиримостью, ненавистью, яростью выставляли — что же? Долой именно и только Милюкова!

Какое трагическое непонимание от соотечественников! — впрочем, удел всех великих деятелей, начиная от Сократа. Толпа не выносит людей с высокими принципиальными убеждениями.

Двадцать лет дожидаться этого поста, а едва начавши славное поприще — уходить?

Да что гневаться на бессмысленную толпу; её подучили, ей сунули в руки эти мерзкие плакаты. Но поражала незаслуженная ненависть от социалистов, для которых Милюков столько сделал в прежние годы, так защищал их от царизма. И самую же эту ноту социалисты требовали, хотели, по их настоянию и написал, — и за неё накинулись? И теперь слышать все рекриминации — именно от социалистического крыла? Яростно колола только что появившаяся гиммеровская «Новая жизнь»: «Милюков-дарданелльский бросил вызов всей демократии и всему народу!» Неуютно почувствуешь себя, когда на тебя лично натравляют («весь народ»). А черновское «Дело народа» шло дальше, уже эскизно рисовало правительство «от трудовиков до большевиков», а Чернов, со своей сладенькой улыбочкой и кривляньем, на ночном заседании в Мариинском дворце уже предлагал Милюкову перейти на министерство просвещения. Да даже и благоразумный умеренный трудовицкий «День» обвинял Милюкова в двусмысленности фраз ноты. (О, конечно, она там есть, вы ещё не всё раскусили. Но счастье, что кинулись все на ноту, а интервью с «Манчестер гардиан» как не заметили, психология толпы, куда кинется первый, — а интервью было гораздо острее и опасней, его так легко не защитишь.) Да нота была бы неуживима, если б не послушался Тома, не вписал бы эти его «санкции и гарантии», в них-то вся и беда.

Но пусть помрачатся хоть все головы — а моя да останется непопращённой! Для чего же была и совершена революция, если не для

успешного окончания войны? Славную революцию теперь портили тем, что ей якобы противоречит война! Теперь, когда американцы вводят небывалую у них воинскую повинность, за год будет призвано 2 миллиона, — и теперь уступить? Да и что за наивность: кто во всём мире поверит, что воюющая держава отказывается от компенсационных приобретений? Нельзя же выставять себя дурачками тоже. Шла бы война обычным путём, не появившись эти циммервальдисты — ничего бы и не было. Даже у Набокова аберрация, сказал в эти дни: усталость от войны — одна из причин революции, и она может сейчас сказаться роково. Да нет же, не она причина, басни! И не надо прислушиваться к шкурным настроениям. На самом деле: только благодаря идущей войне и держится единство страны. Но с циммервальдистами бороться что ни день, то трудней: из горного швейцарского аула они удивительно цепко перенеслись в Россию, и уже налезли к Гучкову в армию, и уже в собственном милюковском ведомстве их не останешь: открыли при Совете как бы своё министерство иностранных дел, презентацию революционной России перед Западом, и за казённый же счёт шлют за границу телеграммы опровержений, курьеров, копошатся в Стокгольме. Этот «отдел международных сношений ИК» становится уже поперёк горла, просто оскорбление министру иностранных дел.

Но чему угодно можно было бы твёрдо противостоять, если бы Временное правительство держалось спаянно и мужественно. Однако кроме Милюкова не осталось надёжного министра: и подло дали создаться ядовитой легенде, что правительство ни при чём, а это Милюков, *bête noire*, проводит свою самостоятельную упорную политику — и все демонстрации полились лично против Милюкова.

Но тут-то, когда весь удар сосредоточился на Милюкове, его собственный характер — несокрушимый характер тургеневского Базарова, любимого героя, — ещё более отвердел: обломаете ваши зубы! Бушевал Ахеронт — а в пасть ему со ступенек дворца, с балкона дворца Милюков отбивал неустрашимо: «Видя эти плакаты, я не боялся за Милюкова, я боялся за Россию!» Застывшая воля! Шли толпы — Милюков и вправду был готов: пусть его линчуют, он не отступит от того, что считает верным. Конечно, в этой твёрдости его поддерживало и ощущение западных союзников, и чести перед ними. (Хотя Бьюкенен стал вести себя двусмысленно. Верен Палеолог, но у него своя трагедия, его отзывают.)

И вот — устоял. После такой бури — и всего лишь такие скромные понадобились разъяснения, вполне незначительные. И всё — сошло.

Принимал сегодня японского посла и сказал ему: эти волнения были апогеем затруднений, теперь пойдёт всё лучше. Увидел Альбера Тома и (хоть он во многом виноват и неискренна его роль с Советом) сказал ему торжественно:

— J'ai trop vaincu! Я — с л и ш к о м победил!

Какая победа! И кадетская партия, и правительство от этого кризиса только укрепились. И правильно было сейчас: дать продолжение боя!

Но — кто это понимал?! Даже кадетский ЦК не понял. Ведь его вчерашнее обращение к массам вызвало такое народное движение! сломило силу ленинских отрядов! На сегодня надо было это движение развивать, чтобы добить врага! — и готовилось сильное новое обращение ЦК, долженствовавшее сегодня появиться в «Речи», уже ночью набранное, — но с вечера этот призыв Исполнительного Комитета не демонстрировать, а всем набрать воды в рот — и кадетские цекисты заколебались, и Милюков всей силой убеждения не мог придать им смелости: рассудили, что не следует сердить Совет. И — вынули боевое обращение из «Речи», заменили успокоительной передовицей.

Робкие души, так не делается история!

Умилила Павла Николаевича один из районных кадетских активов: «Ваше участие в правительстве служит гарантией вступления России в круг культурных наций. Ваш вынужденный уход послужил бы доказательством отсутствия в народе национального самосознания. Только пока вы в составе правительства, нам не придётся повторить слов Верньо, сказанных им перед казнью...» И немало других подобных резолюций.

Но уж совсем не понимало ситуации оробевшее правительство: что в Петрограде его сторонников больше, чем противников, что оно — владеет положением. Не понимали своего торжества, что уже и Заём поддержан Исполнительным Комитетом, и сегодня проголодает Совет. Напротив, в сегодняшнем заседании Милюков застал правительство в паническом настроении, что надо искать коалицию с социалистами, а сами не справимся.

Собрались в Мариинском, без Гучкова. (И без толп на площади.) Заседания, собственно, почти и не было, мелкие вопросы, наблюдательная комиссия над Трубецким бастионом, а просто сидели и пересуживали впечатления. И Милюков, переполненный победой, произнёс им одну из своих лучших речей, увы, никем не записанную. Он пытался передать им своё мужество, своё сознание: не поддаваться этой кличке «буржуазное правительство», — мы правительство всенародное и готовим страну к Учредительному Собранию, вы же видели поддержку народа, как же может закрасться капитулянтская мысль, *ab initio vitiosum*, — вступать в коалицию с социалистами? зачем, когда мы победили?

Князь Львов озабоченно спешил к себе в министерство — вернуться на совещание губернских комиссаров, тем и прикрылся. И замученный Шингарёв тоже искал, как вернуться к текущей работе. Терещенко и Некрасов выглядели, как всегда, блудливо-интригански. Керенский продолжал изображать, что голос к нему ещё не вполне вернулся, — и только носом покручивал на речь Милюкова, уже видимо задумав какую-то пакость.

И когда доложили, что в вестибюль пришли фронтовые делегации, дожидавшиеся эти бурные дни, — 9-я армия, 1-я гвардейская дивизия и Оренбургская казачья, то Милюков вышел к ним самый энергичный и уверенный:

— Вы видели тут манифестации заблудшихся людей против народного правительства, Старый режим в таких случаях применял силу кулака — мы никогда её не применим... Под «победным концом» мы разумеем не порабощение других народов и не захват территорий, а: пресечь в будущем всякую возможность возникновения таких войн, обезвредить народ-хищник и сделать его членом мирной семьи народов.

В политическом, как и личном, поведении Шульгина были неизживаемые черты импрессионизма, он знал. Он узревал решения и вёл себя скорее как художник. В первомартовские дни, поучаствовав в обоих отречениях, красиво было не вступать в драчку за министерский портфель. Гордо отойти в сторону. Да не бросить и свой «Киевлянин», не отойти от своего Юго-Западного края: Киев и вокруг Киева казались Шульгину сердцем России, где ещё, может быть, прочнее всего отстоится наше будущее.

А политическим деятелям нельзя ни на неделю впадать в дрему или в иллюзии: они сразу теряют управление событиями. Такую ошибку допустил и весь Комитет Государственной Думы после двух царских отречений: понадеялись, что события получили сильный импульс и теперь течение революции пойдёт само как надо. Но только самопоённый Родзянко старался и до сегодняшнего дня не замечать, что

из этого проистекло. Ото всего Таврического дворца остались прославленному Временному Комитету библиотека Думы да маленькая комнатка рядом с ней, — во всё остальное разлились советские. Громко составленный в революцию из 12 видных членов, Комитет тут же потерял шестёрку их на формировании Временного правительства, для комплекта заменил их другой шестёркой, но из них только Маклаков и Ефремов были фигуры видные, а четверо — статисты. Да и Маклаков на заседаниях бывал редко. Манкировали и другие. Комитет как будто не был отменён, но и вонне не проявлял себя ничем. На его заседаниях обсуждалось то, что знали малые дети на улицах. Да ещё по городу были развешаны на трамваях призывы к жертвованиям «жертвам революции» (сегодня уже не вполне было понятно, кого на самом деле нужно под этим подразумевать) — так и то подписано «Комитет, состоящий при Государственной Думе», это уже не мы, это кто-то другой. Ну, ещё, конечно, Комитет горячо поддержал Заём Свободы, с первого дня. Ну, ещё продолжали поступать в Комитет со всей страны бесчисленные приветствия. А думских делегатов на фронты теперь посылали с инструкцией: действовать в полном единомыслии с едущими представителями Совета рабочих депутатов. (И те всю поездку держали думцев как под конвоем.) Намного позже Совета сообразили, что надо снабжать фронтовые части не только же социалистическими газетами и брошюрами, создали «газетную комиссию». Да ещё прямо было поручено Комитету от правительства — собрать из думцев совет по церковным делам, чтобы авторитетом Думы помочь Владимиру Львову произвести перемещения в правящей церковной власти. Изредка ещё напутствовали думцы на фронт кой-как раскочаные маршевые роты. (Так что несли? — левый кадет Лев Велихов кричал ораниенбаумским пулемётчикам, которые, впрочем, никуда и не отправились: «Вашим братьям доводилось сражаться за родину-мачеху, а вы будете сражаться за родину-мать!»)

Недаром проныра-хитрец Некрасов, так ещё недавно всеми интригами добивавшийся стать товарищем председателя Думы, теперь прислал письмо, что слагает с себя это звание. (Не хочет быть смешным.) А Маклаков — явно тосковал, как мог сторонился, искал себе отдельного ампула, заседал в комиссии по пересмотру уголовного уложения (когда уголовников толпами выпускали просто на улицы: грабь дальше!), то ездил в Москву с выступлениями, но и там нёс нечто неподобающее своему острому уму: старая власть была насквозь одна ложь, а теперь перед нами светлое ясное будущее, и только опасность реакции.

А Родзянко жадно ловил всякую ещё сохранившуюся, его выделяющую почесть: катил на минский съезд трубно славить завоёванную свободу; вот сегодня *принимал* у себя Брагиану (для чего просил Исполнительный Комитет на несколько часов очистить ему его бывший пышный кабинет). Так и качалась его жизнь: искренно умилялся (для газеты) глубокой вере князя Львова в великое сердце русского народа, первоисточник правды, истины и свободы, — а как доходило до практического, получить поезд или охрану, — то обращался не в правительство, а в Исполнительный Комитет. Совсем он стал мешок, рыхл, опущен.

Были думцы, кто возмущался бездействием Родзянки, что он за весь март и апрель не хотел и не умел добиться созыва думской сессии — в прежнее время самого желанного, громкого акта, за который шло столько боёв с царём. Родзянко, сам томясь, отговаривался, что в условиях анархии созыв Думы невозможен, будет открытое столкновение с Советом при невыгодных для нас условиях. До того пали, — ходило выражение, что созыв Думы — это «гальванизация политического трупа».

Шульгин всё более чувствовал себя — одиноким, потерянном. И униженным. Была боль для него проходить по Таврическому дворцу, по этим заплёванным полам, которые не отмыть до конца веков,

по опустевшему министерскому павильону, теперь понесшему вечную печать тюрьмы, а особенно — заходить в думский зал, знавший 10 лет конституционной России, столько блистательных риторических сражений, а теперь, не говоря уже о выдерганном царском портрете, следах погашенных окурков на белых стенах, — кафедра выступающего и вышка президиума покрыты идиотской красной бязью, во время советских сборищ — висит слитная туча махорочного дыма и нестройно кричат с мест, отзываясь на корявые речи простаков или на извивистые упражнения ведущих «революционных демократов».

И с ужасом спрашивал он себя: да в чьих же руках Россия?? Кошмарно было бы, если бы в руках вот этого табачного мычащего сборища: как красиво ни поджигай идеи свободы, но не способно большинство вести само себя. Но и — не это сборище вело, на самом деле всем крутили хваткие наглецы из Исполнительного Комитета. Их внутренней механики Шульгин не знал, да и знать не хотел, а перед ним всегда выдвигалась самая там крупная мясницкая фигура Нахамкиса. (И он дал волю своей едкости, в апреле в «Киевлянине» тиснул о нём статью, которая, кажется, ужалила: Исполком пожаловался... Родзянке.)

Ах, куда ушли эти недели марта и апреля! Вся Дума дореволюционная (с её Прогрессивным блоком, и с Шульгиным в том блоке) не туда тянула. И вся Дума отрешённая и их пустой Комитет ничего не понимали, два месяца боролись с мифом контрреволюции — и вступали в позорный компромисс с социальными подонками.

Но в молодом ещё возрасте, но полному ума и сил — как отказать направлять события?..

А события сами прикатили в бездейственный угол. Как раз же с 20 апреля была наконец назначена дезинфекция всего Таврического, убить семинедельную накопившуюся гадость, предстояло и Совету стесниться, прикрывать по очереди по подворца, — и именно в этот день члены Думского Комитета с утра прочли разумную милуюковскую ноту и торжествовали, что, кажется, правительство заговорило языком твёрдой власти, правительство достойно становится на ноги, — и вслед же за тем достигли страшные слухи: восставшие полки взяли штурмом Мариинский дворец!.. всё Временное правительство арестовано!!.. И в сам Таврический, мешая всякой дезинфекции, поперли одиночные рабоче-солдатские, или чёрт их не разберёт, депутаты, и читали ноту с той самой кафедры, с которой Милюков полгода назад так самоуверенно произносил свою «штормовую» первоноябрьскую речь под рукоплескания сюртучно-габстучных чистеньких думцев, — а теперь мурлы из кресел орали: «Долой Милюкова! в отставку!»

Думский Комитет собрался в комнатке при библиотеке, и заседал, и заседал, но больше регистрировал противоречивые слухи, а решить ничего не мог. Родзянко всё звонил и звонил князю Львову (правительство оказалось цело), но с того конца не несло к нему ни подбодрения, ни указания. Наконец — назначили вечернее совместное совещание. В кой-то веки, в тяжёлую минуту, пришлось им позвать и забытый Думский Комитет!

И Шульгин — устремился в эту щель. Высказать хоть этим, если не донесётся до всей России.

Но — никого не подвинул. И — никуда не донеслось.

А между тем события разворачивались вчера — многодесятитысячно. Рабочие трижды стреляли в солдат! Что стоило теперь поднять солдат и смести гидру? Ничего подобного. Не прорезали над толпой решительные министры, все где-то прятались, и так пропустили часы, когда могли смять не только Ленина, но, пожалуй, окоротить и Совет. Кадеты остались кадетами, шипучка выходила на воздух бесполезно. И трусливая же городская дума, так пронзительно кричавшая против старого правительства 25 февраля при первых

трупах у своих ступеней,— теперь, при трупах у этих же ступеней, не искала прижигать виновника, но выступала с «успокоительным» обращением к гражданам: «несогласие во взглядах выливается в столкновения, выгодные только контрреволюции»... Пинай её, мёртвую, не опасно.

Так отбивал метроном революции. Часы для ареста Ленина были упущены — а трусливые души правительства с радостью приняли обманное уличное успокоение от Исполнительного Комитета, напуганного выстулением здраворассудочной массы. Разгонять по домам стали тогда, когда взяла верх благоразумные. Надели революционный намордник на сознательную часть населения: раз вас оказалось больше, чем нас, и раз вы не обморочены нашим красным бредом,— так извольте замолчать!

И кадеты, упустившие вчерашний неповторимый день, теперь торжествовали победу, так и не поняв, что это был их проигранный день.

На том и прошёл первый возвратный пароксизм революции. По опыту французских — они должны были теперь повторяться — и становиться острее.

А в сегодняшних газетах печатали, правда ли, нет, что солдаты были убиты *разрывными* пулями, которые не употребляются в русской армии,— так от куда они?

Ответа не доискивались. Прокурор Переверзев, вчера громко объявивший следствие, уже сегодня изворачивался: «Пока ещё трудно говорить о виновниках происшедшего кровопролития. В одном месте стрельба вооружённых рабочих началась только после того, как кто-то выстрелил в воздух».

Самое подлое было в сегодняшних всех газетах, что никто так и не назвал стрельбу — ленинской, а только радовались «такту» Исполнительного Комитета, и что, «к счастью», толпа не пошла на особый Кшесинской.

Но ещё подлей, что все социалистические газеты теперь высмеивали и проклинали кадетов за их единственный смелый и правильный шаг — за вчерашнее воззвание к гражданам выходить манифестировать в пользу правительства. Вчера проявленный поразительный патриотизм солдат, студентов, интеллигентской публики и простых петроградских обывателей социалисты поносили как выступление *культурной черни*, *культурного охлоса*, ширму для тех, кто давно злобится на революцию, игру с огнём, и кадетов обвиняли, что они «пустили в ход старые царистские приёмы» (ка-кие? при царе-то и не додумывались до контрагитации), делали, мол, попытки вывести на улицы войска, грозились пулемётами, да оказывается, именно кадеты и разжигали анархию и гражданскую войну — а вовсе не ленинцы!

Вот бесстыдство! Оскорбишься за кадетов и вчуже. Ленинцы на виду у всех разлагали армию и Россию, вели пропаганду предательства — Исполнительный Комитет не смел их одёрнуть. Выступил наконец возмущённый обыватель — так во всём виноват обыватель, а не поджигатель Ленин! Это кадетская партия «организовала эксцессы», это она «защитница контрреволюционных слоёв», — все социалисты перехватили интонации большевиков.

Не кадетскую вовсе партию хотелось теперь защитить Шульгину,— весь его политический путь они были всего лишь пикировочные собеседники слева, и у них были свои отличные говоруны, отговариваются. Но — распахнулось ему за эти два смутных дня, что конфликт не только не улажен,— а правительство подкошено, шатается на краю гибели, а другого правительства, увы, увы, теперь в России нет. И остаётся — поддерживать это, чтоб не было ещё хуже.

И то, что давно уже было ясно каждому здравому уму, теперь

с настоятельной экстренностью Шульгин представил собравшемуся Думскому Комитету, не давая ему успокоиться и снова задремать.

Временное правительство висит в воздухе: никого над ним, никого под ним, висит в пустоте, в положении захватчика власти или даже самозванца. Не может оно существовать дальше без совещательного органа, где бы оно обменивалось с представителями разных политических течений. Нормальный такой орган — парламент. Но Дума, к сожалению, от самой революции не заседает — и такой трибуны не стало. Совет рабочих депутатов? — но он представляет только низовой Петроград, не отражает настроения всей страны (вся остальная страна — «буржуазия», и нигде не представлена), да подробности их заседаний не доходят до читателей, а заседания никем не выбранного Исполнительного Комитета и вовсе скрыты. И представители Временного правительства тоже не выступают в Совете, это не их аудитория. И в Совете нет общепарламентского порядка обращаться к правительству с запросами. А существовал бы сейчас такой орган — и не создавалось бы недоразумений и столкновений, как в эти дни, правительство имело бы общественную опору. Созывать это подобие парламента можно было бы хотя бы в тех случаях, когда Временное правительство захотело бы выступить с объяснениями и выслушать мнения политических течений... (Какое унижение для прежней гордой Думы! попробовало бы царское правительство нас не созвать!) Составить можно было бы так: поровну членов от Думы и от Исполнительного Комитета. И допущены должны быть представители печати, чтобы отчёты (как и в Государственной Думе, о тоска!) могли бы публиковаться.

Заинтересовались. Обсуждали. Возражения были, что создание такого псевдопарламента вызовет в стране впечатление, что Учредительное Собрание соберётся не скоро. (Оно — и не скоро.) И: как формально совместить такой парламент с неотменённым, и продолжающимся существованием Думы? И: засыпят Временное правительство запросами — ещё более затруднится его положение. (А как барахталось царское? — мы же не беспокоились.)

Нашлись, посмелей, и сторонники у Шульгина: не должна Государственная Дума вообще молчать, да ещё при таких событиях. Для правильной формулировки российского общественного мнения необходимо высказываться не одному же Совету рабочих депутатов!

(Да Временное правительство должно бы схватиться за такой проект! Ведь мы же спасём их от Совета! ведь им же сейчас невозможно жить!)

Оживились — и, пока до дела, собрали сегодня частное совещание членов Думы. Священник Филоненко, назначенный с апреля присутствовать в Священном Синоде, доложил о ходе революционных дел там. Приехавший с Кавказа (сильно полинялый) Караулов докладывал, что в Терской области эксцессов нет, всё налаживается. И ещё было предложено, чтобы на частное совещание допускались бы представители печати, для газетных отчётов.

Но это, конечно, совсем не то.

Правительство — на предложение Шульгина не реагировало. Исполнительный Комитет, разумеется, игнорировал.

А тут подпирал Винавер: хлопотал устроить чествование его любимой 1-й Думы, созыву которой 27 апреля исполнится круглых 11 лет. (Это поднимало немалую задачу очистить, почистить Белый зал? — опять-таки с разрешения Исполнительного Комитета...)

То был — неделовой заместитель, уводящий в сторону от шульгинского замысла. Но — может быть? может быть, и это путь? чем чёрт не шутит?

Львов — и этот проект стал оттягивать.

А уже заблестала перед Шульгиным его предстоящая речь. Завоновался.

Подкосился авторитет Стеклова — и пошёл, пошёл под откос. Уже ему поручали самое ничтожное: поехать расследовать взрыв на Пороховом заводе; или открыть солдатский клуб за Нарвской заставой; или на концерт-митинг в Михайловский театр, просто обманув, что Чхеидзе и Скобелев тоже будут там, а их не было, и торчал ничтожно, как дурак. И тут же Дан вошёл в редакцию «Известий», и связали руки: не выражать отдельных партийных оттенков, — а что и было до сих пор в «Известиях», как не его собственная линия, резкие заголовки, резкие удары? — всегда можно почерк узнать без подписи. Он потерял и членство в Контактной комиссии, и не выбран в бюро ИК, — но это оттеснение ещё можно было исправить, если бы не ужаснейший провал с фамилией: какая-то досужая сволочь, перебирая архивы правительственной канцелярии, обнаружила-таки его прошение на высочайшее имя о смене фамилии Овший Моисеевич Нахамкис — на Юрий Михайлович Стеклов. И не погасил, и не принёс самому Стеклову, а стал показывать, и это утекло в буржуазную прессу, и теперь везде муссируется. А обращение к царю с какой-либо просьбой, «припадаю к стопам», издавна считалось не только среди революционеров, но и в обществе — самым последним наипозорнейшим делом, хуже подлога, воровства и совращения малолетних. Такое открытие — кончало всякую политическую карьеру обычно после такого никто уже не поднимался.

Теперь дошло до того, что 16 апреля на пленуме объединённого Совета Стеклову вообще не дали слова.

Очень понимал Стеклов Ленина: что тошно видеть соглашателей ИК и с ними в одном зале заседать.

А собой был недоволен очень-очень.

Сегодня же, 22-го, ИК собирал все батальонные комитеты, — у Стеклова промелькнуло: может, вот это и есть хорошее место взять в руки петроградский гарнизон? Такого собрания ещё ни разу с революции не собирали, импульсивно найденная форма организации, она может пригодиться. Отдельно повести гарнизон?

Собрали их в Белом зале Таврического, набился полный зал. Привычный, неутомимо многословный Богданов всё подряд охотливо пересказывал: и первое ночное заседание ИК, и дневное, и потом ночное вместе с правительством, и потом опять дневное, и почему именно такие решения ИК были правильны, и вот острый момент миновал. (С места: «Надолго ли?» И верно.)

Никто больше видный от ИК не догадался прийти, взял слово Стеклов и уж тут вволю поговорил. Что в основе ликвидированного кризиса лежали глубокие социальные причины, задеты классовые интересы. Это был конфликт революционной демократии с буржуазными классами. Крупная буржуазия, конечно, не может быть довольна ходом русской революции, а введение конституции в казармах отняло у неё надежду использовать армию против революционных выступлений. То — она травила рабочий класс, теперь нота Милюкова. Но вот революционная демократия принудила правительство к уступкам. и если дальше стоять на страже и осуществлять контроль...

Всё — так, и никто не мешал Стеклову говорить, можно было и вдвое, — и вместе с тем — не бралось!.. Возжи руководства — не брались в руки. Какой-то находки не было.

Ораторы от батальонов вразнобой то хвалили Исполнительный Комитет за находчивость (которую он как раз и выронил), то просили предупредить такие конфликты в будущем — через создание коалиционного правительства, нет, чисто социалистического. А два представителя броневых дивизионов бестактно проговорились и выдали: в эти дни к ним обращались с требованиями дать броневики для ареста



Временного правительства и для стрельбы на улицах! А кому подчиняться? — все приказывают, и со стороны. И бронедивизион — *просит простить за кровь, пролитую на Невском.*

Бестактно, потому что не был секрет, что бронедивизион прежде стоял у Кшесинской и не потерял связи с большевиками.

Однако имя ленинцев не было названо и тут никем. И Стеклов предложил в резолюцию такой деликатный извилистый тезис, ещё отводя от Ленина: «выступать как против контрреволюции справа, так и против голосов, идущих из среды тех, кто сложный вопрос о победе революции в условиях войны сводят к вопросу о поиске виновных и находят их не там, где ищут».

И энергичный Богданов провёл такое. И — признать гражданскую войну губительной для дела революции.

Но что ж? — не взялись и батальонные комитеты.

Революция — сложнее, чем шахматы, тут нет для каждой фигуры определённых возможных ходов, из которых и следует выбирать. Тут — их такое неопределённое множество, и самых неожиданных, и у самых разных фигур, что надо иметь действительно гениальную интуицию, чтобы каждый день усматривать, вытягивать эти возможности и назначать лучшие ходы. И вот у Ленина (в своё время в эмиграции недооценил его Стеклов) эта интуиция определённо есть. Вот, он приехал, опоздав на революцию на месяц, все места заняты, все программы в действии, — он объявляет свою оглушивающую, до крайности всем неприемлемую, все отшатываются, — а через две с половиной недели выводит на улицу рабочих Петроград против правительства, да по сути и против Совета.

Но, к счастью, идейная близость к позиции большевиков сама помогла Стеклову делать по отношению к ним все эти месяцы правильные шаги. Не только он всегда голосовал заодно с ними, но в «Известиях» он высказывался всегда благоприятно для них, иногда повесомее «Правды», вовремя сопровождал одобрительной статьёй быстрое создание большевиками рабочей милиции, сочувственно и другие шаги. Имел ошибку сперва сказать, что Ленин потерял контакт с русской действительностью, и выступить против при его первом появлении в Таврическом, — ну, когда и все же против него выступали, но на другой же день (уж не помня Ленину обиды, как тот обзывал «социал-лакеем» и долго включал Стеклова в одну обойму с Чхеидзе: «луи-бланы, душители революции, усыпляющие массы сладкой фразой») не чинясь покрыл свою ошибку статьёй в «Известиях», сочувственной к ленинскому переезду, защищал его от травли бесчестных и отвратительных тёмных сил и даже, хотя орган Совета, отказался напечатать постановление солдатской Исполнительной комиссии против Ленина, для него оскорбительное. И по той же причине — вообще промолчал в «Известиях» о манифестации инвалидов. О, он много мог принести Ленину, во многом подкрепить его. День ото дня — Ленин явнее выступал против самого Совета, — а вот орган Совета защищал не Совет, а Ленина. Поражённый его острой, быстрой, сильной хваткой, Стеклов всячески показывал себя союзником ему. Уже горела под Стекловым платформа «Известий», а он продолжал давать там бои в помощь Ленину: 14-го напечатал яркую резолюцию Парвиайнена, совершенно в ленинском духе: свержение правительства, захват земель и фабрик; ещё и 17-го успел протолкнуть передовицу в защиту Ленина, в день его трудного выступления снова в Таврическом. Прежде чем уйти из «Известий» — так ещё хлопнуть дверью! Все равно: с торжествующими предателями, черетелевским большинством, он порвал уже бесповоротно.

Не покинув ещё поста главного редактора, Стеклов уже перебрал своё перо и в «Новую жизнь». Где-то надо выражать себя. Создать собственную газету — нет сил. Идти в какую-то другую газету было бы унижением, но к Суханову — ничего: тоже внефракцион-

ный, а вместе с тем не личный конкурент, хотя очень досадно-быстро суется с мненьями и поправками. (И настолько этот переход стал естественным, что и Гольденберг, и Циперович, и Базаров, и Авиллов — почти все «Известия», тоже потянулись к Суханову.) Там — Стеклов мог выразить и свою независимую, однако лояльную позицию к Совету (его надо удержать под своим влиянием): что Совет как невиданное в истории нерасторжимое единство рабочих и солдат — выше, чем Парижская коммуна, где не было настоящих представителей армии; и что наш Совет не может быть обруган как оборонческий, ибо истинная его политика — ликвидация войны интернационалистическим методом. (Скоро удивятся!) А в самом Исполнительном Комитете неумолимо сделал ещё один шаг по овладению Ставкой (кто владеет Ставкой — тот и всем положением): доложил проект введения комиссаров в армии, совершенно независимых и с правом смешать командиров, даже арестовывать их, но одновременно сообщая в ИК. (Стать бы самому таким комиссаром в Ставке или хотя бы войти в коллегию ИК по руководству комиссарами.) Но церетелевское правое большинство не решалось.

И в такой-то нерешённой позиции застал Стеклова кризис 20—21 апреля. Он, конечно, дал ему возможность в двух газетах широко излить желчь на Милокова — на его гнусную империалистическую сущность (и очевидный стовор с приезжавшим в роковые дни генералом Алексеевым, ворон ворона призвал на добычу); и на буржуазное лицемерие правительства, на которое должна давить и давить организованная демократия; и на не меньшее лицемерие проправительственных (ловко срежиссированных) манифестантов, скрывавших от солдат свою жажду Константинополя и Армении и увлекавших двусмысленными лозунгами «да здравствует Временное правительство, долой Ленина». И выгораживать потом победу Исполнительного Комитета, без кого число жертв дошло бы до тысяч. Выступал и перед толпой у Морского корпуса: «Через каких-нибудь две-три недели мы могли бы заключить мир с Германией — и этого испугались такие разбогатевшие капиталисты, как Милоков». Прикрывал Ленина вчера: дадим отпор контрреволюции, но не допустим также и торжества чёрной сотни! Ещё раз протянул ему руку, сегодня напечатал в «Известиях» так: «Происки чёрной сотни, вчера уже пробовавшей производить дебоши на улицах... Мы предупреждаем скрывающихся черносотенцев, что если они осмелятся вновь проявить свою злую волю, то власть революционного народа через свои органы немедленно проявит себя, обрушившись всюю тяжестью на этих нетерпимых в свободном государстве людей».

Хотя: до конца шагнуть к Ленину — значит подчиниться удушающей ленинской дисциплине.

На самом же деле Стеклов был разочарован итогом этих дней: что не свалилось правительство; и дряблостью ИК; и тем, что ИК устоял; и разочарован собственной безвлиятельной ролью в эти дни, — никакой ролью, не нашёл себе роли.

Впрочем, оставалась у Стеклова ещё одна опора — международная: всё же считалось в ИК, что он знает французский и немецкий языки. Встречаться ли с приехавшими Брантингом или французскими социалистами, как понимать «мир без аннексий и контрибуций» — ИК уполномочивал его как главного. Его имя по социалистическим каналам известно было в Стокгольме. Привычка к международному взгляду помогала Стеклову делать и такие ловкие сражающие шаги: напечатать в «Известиях» «Манифест о русской революции» бернской социалистической комиссии. Сколько человек в той комиссии, кто они такие — не публикуется, но звучит интернационально и неопровержимо: «война убьёт революцию», кончайте войну, призываем ко всеобщему восстанию пролетариата против войны и буржуазных правительств! — а значит и в России. И — кто из ЦК, какой Церетели возь-

мётся поспорить с чисто-интернациональным документом? И вобле Плеханову ещё один удар.

А когда из Стокгольма приехал Колышко (был когда-то секретарём Витте, был известным журналистом, умел печататься и у консерваторов — в «Гражданине» как Серенький, в «Новом времени» как Рогдай, и одновременно в либеральном «Русском слове» как Баян, теперь жена его немка в Стокгольме и там у него контакты с ответственными немцами и с кругом Парвуса), — приехал Колышко и от немцев привёз двум самым видным социалистам России — Керенскому и Стеклову — проект перемирия с Германией!

Ничего себе документ! Не мог Стеклов унизиться узнавать у Керенского, как поступил с документом тот, но скорей всего никак, потому что, став министром, он загряз в оборончестве. И вот история вкладывала Стеклову — самому сделать грандиозный исторический шаг, который решит судьбу Европы. И тут же уезжающему снова Колышке он поручил передать своё согласие: пусть присылают немецких социал-демократов для переговоров с нами прямо на двинском фронте.

Это был — сильный козырь для Стеклова на предстоящие дни, надо суметь разыграть его.

Но пока это ещё сработает через Стокгольм и Копенгаген — слишком кружной путь, и много желающих перехватить успех себе. Надо — прямой и быстрее. А тут как раз приехал с Северного фронта один знакомый, часто ездит сюда, вполне надёжный унтер, рижский конторщик и знает немецкий. И научил его Стеклов: идти в братание и добиваться вызова немецкого офицера не меньше как из полкового штаба и чтоб он передал вверх по команде: что в Исполнительном Комитете есть первый заместитель Чхеидзе, видная фигура Стеклов, очень влиятельный, и готовый к переговорам о мире, можно будет обсудить и уступки территории и уплату за избыток наших военнопленных. Стеклов готов в любую минуту приехать на фронт, разговаривать с немецкими парламентариями, а без него переговоры не состоятся. И: если будет запрос — немедленно вызывайте меня из Петрограда!

Подарить России немедленный мир! — вот это был шаг ему по плечу. И Россия бы этого не забыла.

И — Интернационал.

А без того — он скользил всё вниз и вниз, и скоро не на чем будет удержаться.

Он не имел ещё решения и последней крайности прямо идти на поклон в особняк Кшесинской — но уже смирился, что наверно придётся так.

\*\*\*\*\*

*НА КОЛЕСЕ СИДИШЬ — ПОД КОЛЕСО ГЛЯДИ*

\*\*\*\*\*

Ещё во вторник, в день нового «первого мая», была в Москве ужасающая погода — с утра тёмно-пасмурно, снежная крупа, весь день холодно, свинцовое небо, то вихри мокрого снега, то мелкий холодный дождь, то вроде града, — и гнетущая тоска подавила Ксенью, ещё от этих колонн и рядов марширующих с их старанием показаться весёлыми. Да тоска — своя у сердца: вот такая — четвёртая весна в Москве, и ничто не сбылось, и ещё только один последний годик — и возвращаться в кубанскую глушь, ни с чем. Такая потерянная горькая. Ускальживает жизнь. (А в Ростове у Жени — уже второй ребёнок! и — сын!!)

Но с четверга пахло тепло — и на участке голицынских курсов в Петровско-Разумовской Академии поля не ждут, и от 4-го курса уже требуется много навыков, да сколько учебного времени пропало от революции. И каждый день с утра ехали туда, «паровичком», маленьким поездочком.

Да с агрономической-то участью Ксения примирилась и находила немало радости понимать и направлять жизнь растений. И отец — так ждал этой её помощи.

Так и сегодня в субботу, ещё теплей, весь день Ксения с другими курсистками усердно работала там на участке. И пока гнулась — не замечала, а возвращалась домой в седьмом часу вечера — такая ломота в спине, ноги отваливаются, прямо сейчас растянуться в постели — и ни движения!

Но — телефонный звонок: внезапно собирается у подруги вечеринка, приезжай, да поскорей.

— Ой, не могу, ноги не идут. Не приеду.

Села доужинать. И вдруг внутри потянуло: да как же так не поехать? да что ей тут в четырёх стенах?

И тут же сама отзвонила:

— Еду! Лечу!

И что же с ногами? — они как и не устали. И что же со спиной? — ровна и молода. Зажёгся внутри огонёк — и всё излечилось вмиг. Надела кремовую блузку с напускными рукавами и шоколадную свободную юбку-клёш, только этой зимой появились, далеко не у всех есть.

Теперь гнать ещё в третий конец, к Чистым прудам. Нашёлся извозчик.

Послереволюционная Москва — уже без разгула кафешантаных огней, без громкого смеха из автомобилей, из саней, оголтелого гона с бубенцами, открытого кутежа, как последний год, — поприпугалась публика и подобралась. Зато жди любого нахрапа: сегодня среди дня в Петровско-Разумовское приехал автомобиль Красного Креста, шофёр и рядом с ним — пьяный, внутри несколько женщин, и громко бранятся; студенты подскочили, потребовали документы — пьяный выставил на них револьвер.

На вечеринку опоздала, уже все собрались, курсистки и студенты, больше дюжины, почти все знакомые, студенты не все в форме, после революции стали её игнорировать. Опоздала, уже громкий свободный гам и смех, — а вот и незнакомый: молодой офицер с обильными русыми волосами, лицо задумчивое и светится — но не от возбуждения, а ровный какой-то изнутри свет, — так и вздрогнула от одного взгляда, ещё прежде чем их познакомили: подпоручик Лаженицын, в отпуску (прежде учился в университете, вот, с Борисом), — так и вздрогнула внутри от этого светлого взгляда, не к ней даже обращённого, только уже потом — к ней.

А когда познакомили, то в его чуть печальных глазах — как бы повернулось несколькими гранями — удивление.

И с этой минуты — фонтан ликования забил в ксеньиной груди! От первой внимательной встречи их глаз, от этого изменения-поворота в его глазах. Да что случилось? Что-то случилось! (Даже: ой-ой-ой, как бы не то самое, что и должно было, должно было когда-то случиться!)

И только потом заметила на нём ещё и Георгиевский крест.

Была общая оживлённая болтовня. разговоры на все темы в перебивах, переходах, к скромному ужину из бутербродов на чёрном хлебе не спешили, а пить хмельного и вовсе не предстояло, — и в этих переходах подпоручик улучил сестр рядом с Ксенией, и она утеряла летучесть, подвижность, так и осталась на этом стуле, так и осталась, и никуда не шла, куда звали.

В компании было барышень семеро — а он не отходил от неё.

Под общий шум разговаривали — и очень неестественно. Да прежде всего открылось, что они — близкие земляки: он — невдалека от станции Нагутской, и мимо Кубанской сколько ездил, — а наш дом из поезда видно, когда проезжаешь, короткий миг. Земляки — и, значит, степняки. (И, значит, — мужики...) И сразу её кубанская печенежская глушь — не стала постыдной, непоминаемой. Ставропольская степь — вдруг щедро соединила их, отделяя от московской компании, Саня стал рассказывать, как работал в хозяйстве у отца, и Ксения постеснялась, что сама-то не работает, на всё готовом, — но вот будет, будет работать! И агрономию — он очень одобрил. А из оброненных фраз понимая их богатый быт — тоже принял неосудительно.

И как-то сразу так много и чётко вмещалось в голову — Ксения всё слышала до слова, и понимала до подробности, и отвечала разумно, правильно, — а в груди её бил и бил тот открывшийся фонтан радости! буйной радости! И — почему? Простой разговор, простое рукопожатие знакомства (а рука всё чувствует, как будто так и осталась вложенной в его руку!), — ещё ничего не случилось, но счастье уже в том, что встретились, — и этого не отменить! не отменить!!

А самое удивительное, что при этой случайности встречи Ксения чувствовала себя такой свободной, как никогда! Ощущение — простой, не пугающей, а как бы давно знакомой близости с ним. Дивное состояние!

И вдруг: страх за него, что он сейчас как-нибудь не так себя проявит? и всё разрушит?

Но: нет! нет! С каждой его фразой — нет! этого не может произойти!

Подумать! — и год перед войной учились тут оба в Москве — и не встретились.

И что-то о фронте. Голос глуховатый. Рассказывает неторопливо. Пшеничные усы, небольшие. Губы совсем нежесткие. Мягкие пшеничные волосы — богатые волосы! — укладисто лежат над высоким чистым лбом.

Так забылись, отделились от компании — уже стали их покалывать шутками. И правда: Ксения не всех могла бы перечислить, кто сейчас тут был, — она не успела даже вместить! Увы, надо было оторваться.

Но и на расстоянии, что бы ни делалось — игра в шарары, игра с бегом и пересаживанием со стула на стул, чай с бутербродами, парные танцы под пианино, — Ксения всё время видела, ощущала его издали. И знала верно, что и он занят только ею, так же не взглядевшись, сколько надо, в остальных.

Танцевать он не стал, сослался, что на фронте отвык, — но такая взрывчатая отчаянная весёлость всё больше наполняла Ксению, что она придумала, объявила: сейчас будет танцевать соло! — хотя без костюма.

Похлопали, расселись. Со студентом у пианино поискали чардаш, нашли. И Ксения пошла-пошла-пошла в танце! — да Боже мой, танец — это лучшая мысль! из прямых выражений красоты! (А Саня стоит у косяка двери и глядит неотрывно.) И как легко! Танец — известный тебе, отлично разученный, те же движенья и всплески рук, ног. только слишком просторна юбка-клёш, и тот же жаркий ритм, как всегда, — но нет, это особенный, единственный в жизни танец! Уже уловила она в нём медлительность, оглячивость — но этим танцем всё взрывала и приводила в кружение. Пусть, пусть ему передастся! (Она уже знала ответ!..) И даже в бешеных движениях, на мельку, успевала видеть, как он выдвинулся.

Навстречу! Будущему!

Нашему!

Вот уж не вспомнила, какая была наработанная и как ноги не тащили к вечеру. Вот счастье, что рванулась на вечеринку!

И — времени не замечала весь вечер, откуда одиннадцать часов? — уже расходились.

Не усумнилась: он конечно будет её провожать.

И конечно провожал.

Вечеринка прокрутилась как сон: всех ли заметила? со всеми ли попрощалась?

Поехали на извозчике — по Покровке, через Варваринскую площадь, по Москворецкой, Софийской набережным, — и все эти места теперь будут их первые общие московские места. И при поворотах извозчика полная луна с большой высоты щедро светила им то слева, то приветственно спереди, то снова слева, иногда скрываясь за близкими высокими зданиями, а то через реку напротив, — и всё это осталось как единое плавное счастливое проплывание под луной, при первенских листочках на деревьях, — и всё время хорошо было видно его лицо — эта особая чистота выражения, и в медленной речи настойчивое струение к чистому, совсем нет в нём мужской грубости.

И при всей перебудораженности Ксения отчётливо понимала их разговор (хоть весь теперь повторить, фразу за фразой) — и ещё успевала почувствовать неожиданное и забытое освобождение: какая ты есть, со всей твоей кубанской простотой, та и хороша, ни в чём ни малой роли и притворства.

Не холодно и ночью, лужицы не замерзают.

Сошли с извозчика у ворот, постояли в лунной полутени — он сейчас же предложил встретиться завтра, и конечно Ксения согласилась, даже не вспоминая, что там у неё завтра.

И — руку её двумя своими как бы с выражением и с задержкою сжал.

Ей уже и к хозяйкам нельзя было позднее, чтобы не сердились.

Сперва у зеркала: какая я сегодня была? каким он видел моё лицо? глаза? вот так и сияли?

Но — какая радость! невесомость! И на что в комнате ни взглянь — как сияет.

Единственный недостаток: Исаакий Филиппович, это совсем не красиво.

Но — и Томчак не находка.

Он — православный, и серьёзно. (И — будем, конечно, венчаться.)

Сколько читано любовных историй! И сколько бывает жестоких ошибок, случайностей, непониманий, через которые не объясниться? Вот Гамсун: у него любовь — всегда нервная, мучительная, всегда — борьба мужчины с женщиной, преследование и добывание, один стремится к другому, а тот прочь, но если второй обернётся взаимно — первый тотчас охладевает. Как будто: счастливой взаимной любви на земле вообще не бывает?

Но это — не так! Это было бы невозможно и чудовищно! Ксения всем нутром предчувствовала иную любовь: полюбив, не бороться. Но и отдавши свою волю — не обезвольтиться.

Впрочем, и у Гамсуна: «любовь — это золотое свечение крови».

Да!!

Радость! Радость! Радость!



---

---

## ЭЛЬМИРА КОТЛЯР

\*

### СВЕТ КЛИНОМ

\* \* \*

У меня была няня —  
русская крестьянка,  
Анна Дормидонтовна,  
христианка.  
По вечерам, в Библию вникая,  
она вздыхала:  
— Глубина морская! —

Няня за нас с мамой молилась,  
а я веселилась:  
— Что с нее взять?  
Темная старуха  
верит в Святого Духа! —  
Давно уже няни нет,  
но видно, пал и на меня  
свет.  
Сама я нынче старуха  
и верую в Отца и Сына  
и Святого Духа!

### Памяти матери

Мамочка! Поильник стоит на  
столе,  
а ты в земле.  
Костыли в углу стоят,  
последние шаги таят.  
Рядом в шкафу лежит белье —  
твое и мое.  
Мамочка! Нет тебя со мной.  
Я варю суп  
в маленькой кастрюльке  
для себя одной.  
Висит на гвозде  
хозяйственная сумка твоя.  
Теперь в магазин  
ходишь не ты а я.  
Мамочка! Пусть совершится  
чудо,  
пошли мне знак оттуда!  
Как я рада,  
когда ты мелькнешь во сне,  
как в окне!

Мамочка! Ты была бы в  
смущенье:  
я приняла крещение.  
Здесь у нас большие перемены:  
распался Советский Союз!  
Поднялись сумасшедшие цены!  
Мамочка! Все б ничего, но вечер,  
потемки:  
мечтаю о собаке, о котенке!  
До старости я была мамина  
дочка,  
а теперь казак-одиночка!  
Мамочка! Я уже малость  
оклемалась.  
Мамочка! Ты бывала резка,  
ласка была редка.  
Я берегу,  
как в горсточке зернышко:  
«Ты — мое солнышко!»

## Зоопарк

И стала я ходить в зоопарк  
и слушать львиный рык,  
и птичий свист, и карк!

Смотреть на полярного белого  
мишку,  
как он плавает в бассейне  
с автопокрышкой!

На хищную кошку оцелота.  
Ходит и ходит по клетке  
тревожно —  
взгляд оторвать невозможно!

На тигренка-сосунка,  
выращенного без материнского  
молока!

На орла,  
на культу его подрубленного  
крыла.

На желтого тукана в карантине,  
до крайности удивленного  
своим новым жилищем,  
новым соседством и пищей!

На выдру с язвами на хвосте.  
Их смазывали, бинтовали,  
а они не заживали.

На бедняжку  
мартышку Яшку.  
Он с игрушкой не играл,  
еды и питья не брал,  
только плакал,  
заламывал ручки в тоске,  
и жизнь его висела на волоске!

А на площадке молодняка,  
где взрослые и дети  
хватаются за бока,  
там уже несколько недель  
бродил из угла в угол  
коричневый спаниель.  
Когда его бывшая хозяйка  
подошла к площадке молодняка,  
он узнал ее издалека,  
но не подал и вида,  
так велика его обида!

И при виде звериной тоски,  
бывало,  
я о своей забывала!

\* \* \*

Боже!  
Боже!  
Молю Тебя  
о бездомном бомже,  
что спит на мостовой,  
притулившись к асфальту головой.  
Зима на пороге,  
он замерзнет где-нибудь на дороге!  
Пошли ему, Господи, теплый подвал,  
чтобы он перезимовал.  
Пошли ему просветленье души,  
молитву ему внуши.  
Бомжа пожалей и прости,  
может быть, его можно спасти!



---

---

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

\*

## ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ

Роман

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧЕРТОВА ЯМА

Часть вторая

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

**И**сжданно-негаданно в землянку младшего лейтенанта Щуся пожаловал Скорик. Поздним вечером пожаловал, когда большинство землянок не дымило уже горлышками железных труб, командиры, покинув свои роты, взвода и службы, отогревались чаем, поевши чего бог послал, где и выпивши водчонки, отдыхали от муштры, забот, пустого рева и бесполезного времяпрепровождения на строевых занятиях, на полигоне, на марш-бросках. Хлопчики двадцать четвертого года, за две недели выучившиеся ходить строем, колоть штыком, окапываться, ползать по-пластунски, делать марш-броски, все более и более охладевали к этим занятиям, понимая, что нигде и никому они не нужны. Пострелять бы им, полежать в окопах под гусеницами, побросать настоящие гранаты и бутылки с горючей смесью. Но вместо подлинной стрельбы щелканье затвором винтовки, у кого она есть, вместо машин и танков макеты да болванки, вот и превращается красноармеец в болвана, в доходягу, поди им командуй, наведи порядок — всюду молчаливое сопротивление, симуляция, подлая трусость, воровство, крохоборство. Люди слабеют — условия в казармах невыносимые, скотина не всякая выдержит, больных много, слухи, пусть и преувеличенные, о жертвах и падеже в ротах ходят по полку.

А слухи — это первый признак неблагополучия в хозяйстве. Появилась и стремительно распространяется по казармам ошеломляющая болезнь гемералопия, попросту, по-деревенски — куриная слепота. Не хватает молодым организмам витаминов, главного для глаз витамина А. Чтобы она, слепота эта, не угнетала человека, что казарменная вша, нужно масло, молоко, рыбий жир, морковь, зелень. А где все это добро взять? Кто его припас? Вот и бродили по казармам, держась за стены, человеческие тени, именуя свою болезнь приближенно к месту и времени гемералопией, бродят, словно по текущим облакам, высоко поднимая ноги, шатаясь, падая. И шлялись бы по казармам, лежали бы, что ли! Так нет же, выберутся на улицу, тащатся к помойкам, нащупывают в них очистки, кожуру, жуют грязные отбросы — организм защищается, требует той пищи, которая ему необходима. Иной раз шарясь где-либо, чего-то отыскивая, прячась, ослепленные болезнью люди сталкивались друг с другом, не уступая

дороги один другому, и вдруг с визгом, плачем схватывались драться, да с такой дикой осатанелостью, что дневальные по казарме или патрули едва их растаскивали.

Ну, конечно, в первую голову гемералопией этой позаболели казарменные артисты. Булдаков бродил, держась за стены, и, возводя очи к небу, твердил: «У бар бороды не бывает». Старшина Шпатор научился быстренько симулянтов разоблачать: «В какой стороне столовая — забыл, памаш?» — и покажет доходяга столовую безошибочно. Да разве всех изобличишь? Переловишь?..

Понимая, что так просто начальник особого отдела полка в землянку взводного не заглянет, Щусь пристально всмотрелся в лицо Скорика, спросил:

— Разговор? Длинный?

Скорик кивнул утвердительно, разделся, попробовал пальцем сучок, оставленный в бревне плотниками, и повесил на него шинель, неторопливо заправил гимнастерку. Убожество землянки, этого еще первобытными людьми придуманного жилища, скрашивал угловик над кроватью, на котором был бритвенный прибор, флакон одеколона и разная мелочишка, необходимая в житье.

Над кроватью висел и чуть колыхался от печного жара соломенный коврик со взлетающими из камышей коричневыми журавлями, с кругляшком на небе, тоже коричневого цвета, быть может, солнышко, быть может, луна. Коврик привезен и как-то еще сохранен с озера Хасан, догадался Скорик. За ковриком, почти уже в углу, была гвоздями прищиплена к бревнам артистка Серова. Была она срисована цветными карандашами на картинку с гитарой, грустно и доверительно улыбающаяся. Артистка эта украшала почти все офицерские землянки — сим искусством промышлял художник, творивший в клубе еще до Боярчика.

— Водку будешь?

— Немножко.

Щусь откинул приспущенное на койке одеяло. Скорик услышал, как с постели на пол сыплется песок. Под койкой один на другом стояли ящики с посылками. Щусь приподнял фанерную крышку на одном из ящиков, вынул из него поллитровку, кусок вяленого мяса и несколько домашних печенюшек.

— Красноармейские посылки?

— Да. На сохранении. В казарме раскрадут.

— Водкой расплачиваются?

— Да, — ловко, бесшумно выбивая пробку из бутылки, сказал Щусь. — Сами ребята почти не пьют, им пожрать чего, да многие, слава Богу, и не успели научиться. Ну так за что мы пьем? — налив по половине кружки водки, крупно нарезав на газету мяса, спросил младший лейтенант.

— За победу. За чего же еще нам пить-то?

— Ну, за победу так за победу, — согласился Щусь и небрежно, даже с форсом выплеснул водку в рот, размял черствую печенюшку, понюхал сперва, потом стал жевать, наблюдая, как неторопливо, степенно пьет Скорик, все выше и дальше откидывая голову.

— А-ах! — передернулся он и, пожевав мяса, спросил: — Медвежatina?

— Она. Бойцу Рынди́ну бабка прислала. С этого мяса мускула крепнет. Мужик звереет.

— Спасибо. Звереть дальше уж некуда. Ты на суду был?

— Нет, не был, но слышан. Парня дня три про еду не говорили, все про суд. Поломали комедию! Перевоспитали народ! Теперь с ними управься попробуй! О-о-о-ох, му-даки-ы, о-о-о-ох, му-даки-ы!

Скорик, отвернувшись от стола, грел руки над печуркой. В печурке прогорело, гнездом лежал жар, и в гнезде том шевелилась, трепетала, билась подстреленно голубокрылая красавица сойка, в зимнюю

пору слетающая из лесов на полковые помойки. Самая красивая и самая базарная, драчливая, вороватая птаха в пух и перья бьется со своей более скромной соседкой сорокой, тоже не последнего ума и достоинства птица. Вот и пойми сей бренный божий мир, осмысли его, полюби. Внезапно потолок землянки захрустел, сверху струями посыпался песок на стол, на печку, на командиров.

— И я вот вам, так вашу мать! — закричал Щусь, грозя в потолок кулаком.

От землянки затопали.

— Картошку в трубе пекут,— пояснил Скорик у Щусь.— Работает сообразилка солдатская. Жива армия, еще жива, как показал суд. А что дальше с ребятишками будет?

— Да-а, работает. Удальцы! — Скорик шомполом от винтовки, загнутым в виде крючка, загреб в кучу головешечки в печке.— Вот я и пришел поговорить про дальше. Плесни-ка еще по глотку, если не в разор.— И щелкнув пальцами под потолком: — Не пьянства ради, а удовольствия для.

— Я и не думал, что ты пристрастишься...

— Да мало ли о чем мы не думали. О многом мы не думали. А о главном не только думать не научились, но и не пытались научиться. За нас там,— показал Скорик в потолок землянки,— все время думали, ночей не спали.

Стукнувшись кружками, гость и хозяин выпили, пожевали молча, и, чувствуя неловкость от затянувшегося молчания, Щусь начал рассказывать, что медведя завалила в берлоге тетка Коли Рындина — с детства охотничает тетка, живет одна в тайге, пушнину добывает, зверя бьет. Племянник же ее здесь доходит. Его бы дома оставить на развод, как племенного жеребца, чтоб род крепить, народ плодить, но попадет на фронт, если здесь совсем не дойдет, мужик видный, богатырь,— его какой-нибудь плюгавенький немчик и свалит из пулемета или из снайперской винтовки.

— Если раньше не свалит дизентерия. Иль эта самая, как ее, ну куриная слепота. Вот ведь генерал-заботничек порадел о том, чтобы в желудок бойца больше попадало пищи, а обернулось это для ребят бедой — весь полк задристан. Он что, от роду такой,— посверлил пальцем висок Щусь,— иль недавно у него это началось?

— Он ведь хотел как лучше.

— Все хотят как лучше, но выходит все хуже и хуже. Что это, Лева, почему у нас везде и всюду так?

— Ты думаешь, я про все знаю.

— Должен знать. В сферах вращаешься. Это мы тут в земле да в говне роемся.

— Да, да, в земле и в говне... Вот что, Алексей...— Скорик помолчал, отрезал еще кусочек медвежатины, изжевал.— Ты так и не куришь? С детства не куришь? Вот молодец! Долго проживешь. А я закурю, ладно?

Щусь кивнул и, опершись на обе руки разгоревшимися щеками, не глядящимися в этом первобытном жилище, ждал продолжения разговора.

— Значит, так. Скоро, совсем скоро тебе и первой роте станет легче, значительно легче. Но,— Скорик отвернулся, выпустил дым, покашлял,— но я прошу, предупреждаю, заклинаю тебя, чтоб в роте никаких разговоров, никаких отлучек, драк, сопротивления старшим. Главное, самое главное, чтоб никаких разговоров. Уймите бунтаря Мусикова: что он комсомол цепляет, имя Сталина поганым языком треплет? Это ж плохо кончится. Васконяну скажите, чтоб не умничал — не то место, здесь его сверхграмота, знание жизни руководящих партийцев ни к чему. Шестаков все-таки рассказал ребятам, что кидал в меня чернильницей. Герой! Храбрец! Не понимает, дурак, что и меня под монастырь подводит. Алексей! — Скорик бросил иску-

ренную папироску в печурку, закурил вторую, ближе придвинулся к Щусю, налег грудью на столик.— Алексей! И до нас докатились волны грозного приказа номер двести двадцать семь. В военном округе начались показательные расстрелы. По-ка-за-тель-ные! Вос-пи-та-тель-ные! Рас-стре-лы! Понял?

— Что за чушь? Как это можно расстрелами воспитывать?

— Воспитывать нельзя, напугать можно. Средство верное, давно испытанное и белыми и красными. С этим средством в революцию вошли, всех врагов одолели.

— Та-ак! Дожили!

— Да, да. Дожили!

Гость и хозяин помолчали. Щусь неслышно разлил по кружкам остатки водки, подsunул посудину гостю. Выпили и долго сидели неподвижно. Лампа, стоявшая на деревянной полочке, было запыхавшая от жары и отсутствия кислорода, успокоилась, светила ровно, струя унылый свет сверху, но в землянке с белым пятнышком окош-ка в стенке, под потолком, все равно было темно, сумеречно и душно.

— Ты всем командирам предупреждения?

— Только тем, кому доверяю.

— Спасибо.

— Не за что.

— Рискуешь, Лева. В нашей армии насчет доверия в последние годы...

— Дальше фронта не пошлют, больше смерти не присудят. Я ведь тоже прошусь туда, только не так, как ты, другими способами. Пишу рапорты. Четыре уже написал.

— Чего тебе здесь-то не сидится?

— Да вот не сидится. Думаю, что после суда этого дурацкого, многих происшествий в полку, твоих пьяных выходов и демонстраций у штаба полка просьбу мою все же удовлетворят.

— И пошлют в особый отдел фронтовой части. Мешками кровь проливать?

— Необязательно, Алексей Донатович, необязательно. Да и какое это имеет значение?

— Имеет, имеет. Уже в трех километрах от передовой полегче, в тридцати совсем легко.

— Боюсь, что там, под Сталинградом. война совсем другая, чем на озере Хасан.

— Да, пожалуй.

— Боюсь, что ты, Алексей Донатович, мало про меня знаешь, не смотря на давнее знакомство. Боюсь, что неприязнь твоя ко всем тыловикам, и ко мне в частности, не совсем обоснованна. Ты вот даже отчества моего не знаешь. Не знаешь ведь?

— Не знаю? Хо, правда ведь не знаю.

— Соломонович мое отчество. Лев Соломонович, ваш покорный слуга.— Скорик слегка наклонил голову, и как бы давно не чесанные волосы съехали на его массивный, далеко к темени взошедший лоб.— Сирота Скорик по собственной воле, сирота-одиночка, ни родителей, ни жены, ни детей. Родителей предал, жену не завел, детей пробовал делать, может, где-то они и есть, да голосу не подадут. Слушай, больше водки нет?

— Нету. Но я могу достать. Живет тут одна...

Не дожидаясь позволения, Щусь голоухом выскочил на улицу. Скорик смахнул с подушки песок, прилег на койку и поглядел на мило улыбающуюся артистку.

— Ну что, товарищ Серова? Как твоя жизнь молодая протекает? Лучше нашей ай нет?

Сообразительный младший лейтенант решил, что ради одной поллитры бродить поздно вечером по земляному городку и тревожить людей не стоит, занял две. Они со Скориком постепенно обе бутыл-

ки прикончили и, по-братски обнявшись, спали на единственной узкой койке.

Щусь по привычке строевого командира проснулся на рассвете, стал готовить себя к дальнейшей жизни. Скорик, получив простор, раскинулся на постели вольготней, похрапывал себе, забыв про службу.

Бреясь безопаской возле печки, макая бритву с лезвием в кружку с горячей водой, Щусь все поглядывал на Скорика, все перебирал и перебирал в памяти ночной рассказ гостя, еще и еще удивляясь превратностям судьбы.

Папа Скорика, Соломон Львович, всю жизнь возился с пауками. У него была даже маленькая лаборатория, примыкавшая к квартире, в лаборатории той плодились пауки, которых мать Левы Анна Игнатьевна Слохова, урожденная на уральском железодельном заводе и угодившая замуж за Скорика в смутные и грозные годы гражданской войны, звала мизгирами. И мать и сын мизгирей боялись, в лабораторию Соломона Львовича заходить брезговали, она была вся в паутине, пахло там тленом, пещерной сыростью и все там было пугающе-таинственно.

Папа писал книгу про пауков, пачками получал труды из-за границы, журналы с переводами его статей, иногда и таинственные пакеты из столицы получал, их почему-то посылали не по почте, приносил их военный с наганом на боку и отдавал только папе лично под расписку.

Деньги за труды папа тоже получал лично, через сберкассу. Анна Игнатьевна, женщина аккуратная, смиренная, много читающая, вообще-то не очень вникала в дела мужа, она занималась воспитанием сына, следила за его физическим развитием и всячески оберегала от наук про пауков и прочих тварей — на ниву просвещения она направляла Леву. Он учился на втором курсе университета, на филфаке, когда пришли двое военных и увели папу. Анна Игнатьевна думала, что он через день-другой вернется, так уже не раз было: исчезнет на два-три дня, когда и на неделю, вдруг позвонит из Москвы, просит, чтобы ни о чем дома не беспокоились.

Но вот исчезла из дома и мама Анна Игнатьевна, потом потянули в строгую областную контору и Леву. Там с ним вели странные разговоры, расспрашивали насчет работы отца, насчет жизни матери и под конец разговора показали записку матери, в которой она сообщала, что оба они с отцом, Соломоном Львовичем, преступники, враги народа, и «ему следует» — мать дважды подчеркнула это слово — отречься от них и выбрать себе любую подходящую фамилию. «Бог даст тебе лучшей доли, Левочка! — писала в конце записки мать. — Будь достойным человеком. Пусть тебя не мучает совесть. Ты не предатель».

Комнатный мальчик, выросший в достатке, в тишине городской просторной квартиры, не имевший родственников и друзей, он совсем потерял голову и подписал отречение.

А через полгода в столице сместили одного наркома и назначили другого. Леву вызвали в ту же строгую контору и сообщили, что произошла роковая ошибка. Папа его, Соломон Львович, был ученым, работал на военное ведомство, усовершенствуя прицелы пулеметов, полевых и зенитных орудий. был одним из крупнейших специалистов в отечественной и мировой оптике. Он был так засекречен, что вновь всплывшие местные органы, выбившие старые кадры, хорошо учившие их непримиримости и принципиальности, оказались «не посвящены» и не составили себе труда связаться с Москвой, хотя Соломон Львович Скорик требовал этого, топтал на органы ногами.

Его быстренько без суда и следствия расстреляли вместе с другими врагами народа. И вдруг строгий запрос: где такой-то? Чтобы

жена Соломона Львовича не сказала где, забрали и ее, быстренько увезли и скорей всего тоже расстреляли или так надежно упрятали, что не скоро найдешь. Молодому Скорика объяснено было, что и в местное энкавэдэ просочились враги народа, но они понесли суровое наказание за совершенную акцию против кадрового работника вооруженных сил Скорика Соломона Львовича, приносят извинения его сыну. Если он пожелает, пусть вернет себе прежнюю фамилию, отцовскую, и, как все юноши-патриоты его факультета, целиком поступившего в военное училище, так же беспрепятственно может поступать куда угодно, желательнее, однако, в училище особого свойства, где так нужны такие умные и грамотные парни. Что касается матери, Анны Игнатьевны Слоховой, то будут приложены все силы, чтобы вернуть ее домой.

Мать Левы Скорика так до сих пор и не нашли, да и искали ль?

— Но чувствую, чувствую, что она живая и где-то совсем недалеко! — плакал Лева, в отчаянии обхватив голову, все еще лохматящуюся с затылка. — И пока я ее не найду, нет мне жизни. Она где-то здесь, здесь, в Сибири где-то...

Щусь помылся, побрился, прибрал на столе, тронул Скорика за плечо.

— Лева, а Лева! Тебе пора!

Когда Скорик подскочил и протер глаза, объяснил ему:

— За мной скоро дневальный придет. Я подумал, ни к чему посторонним тебя здесь видеть.

— Да, да, конечно, — согласился Скорик и стал обуваться. — Ну и гульнули мы с тобой вчера! — Скорик снизу вверх испытующе смотрел на Щуся.

Тот покивал головою — все, мол, в порядке, ни о чем не беспокойся.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Лешка Шестаков залег на нары с большими доходягами и постоянными, уже злостными симулянтами вроде Петьки Мусикова и Булдакова.

Кухня! Благодетельница и погубительница загнала Лешку на голые нары, в постылую казарму. Дежурства на кухне солдаты ждали как праздника законного, хотя в святцах и не написанного, но почти святого. Каждой роте выпадало дежурство примерно раз в месяц, тем дороже еще был праздник, что редок он. Но второй батальон, размещавшийся в соседних казармах, угнали куда-то на ученья или работы, и выпало счастье первой роте дежурить на кухне вне очереди.

Лешку назначили старшим на самый боевой и ответственный участок, в картофелеочистительный цех. Для солдатской похлебки картошку по-прежнему не чистили, но для картофельного пюре овощи снова начали чистить, да не ножами, как прежде, — машинкой с барабаном. Барабан этот состоял из огромной чурки, обитой железом, протыканным гвоздем или пробитым керником. И вот, значит, надо этот дырчатый барабан крутить за ручку, будто точило. Бедная картошка, вертящаяся в цинковом ящике, натываясь на заусеницы, должна была терять кожу тоненько-тоненько, чтобы продукт без потерь попадал в котел. Картошка получалась исклеванная, в дырках вся, с одного бока чищенная, с другого нет, крахмал ведрами скапливался на дне корыта.

Повращав сей хитрый прибор часа два, дежурные спросили у старшего сержанта Яшкина, ответственного за дежурство на кухне:

— Кто эту херню придумал?

Яшкин не мог назвать имени изобретателя, не знал его. Полагая, что паршивцы придуриваются, волюнтят, понарошку неправильно обращаются со сложным агрегатом, чтоб его повредить, сам повертел ручку — результат был еще более удручающим, потому что ребята вертели барабан вдвоем в две руки, резвее гоняли картофель по кругу, от вмешательства Яшкина механизм вовсе заклинило, помкомвзвода велел переходить на обработку картошки старинным способом, стало быть, ножом.

Пока-то наши ножи, пока-то их наточили, пока-то чистильщиков изловили, шарясь по столовой, назначили на грязную работу из разных команд, время ушло. Головной кухонный отряд из поваров, дежурных командиров дал первое предупреждение: «Если к завалке в котлы картошка не будет вымыта и начищена — Яшкину несдобровать, с него шкуру спустят».

У Яшкина ничего, кроме шкуры, и нету, да и шкура-то никуда не годится, на фронте продырявленная, от болезни желтая. Полевая фронтальная сумка, хворое тело и слабая внутренность, едва прикрытая тлелой, должно быть, еще на позициях нажитой шинеленкой, — вот и все имущество помкомвзвода. И чтобы не утратить последнее свое достояние, помкомвзвода сулился в свою очередь содрать шкуру с работяг, если они, негодники такие, сорвут ответственное задание. А работягам с кого шкуру снимать?

Тем временем опытные, уже участвовавшие в кухонных битвах и боевом промысле бойцы шныряли по кухне, тащили кто чего, прятали, вели обмен продукции. Воровство начиналось с разгрузки и погрузки. Если разгружали мясо, старались на ходу отхватить складниками или зубами кусочек от свиной, бараньей, бычьей, конской туши — все равно какой. Если несли в баке комбижир, продев лом под железную дужку, сзади следующий грузчик хлебал из бака ложкой, потом головой переходил на корму и хлебал тоже, чтобы не обидно было.

— Да что же вы делаете? — возмущались, увещевали, кричали на ловких работников столовские. — Обдрищетесь же! Вы уже каши поели, из котлов остатки доели, ужин свой уравили, маленько подюжьте, картошка сварится, всем по миске раздадим, по полной, с жирами...

Никакие слова и уговоры не действовали на ребят, они бадели от охватившего их промыслового азарта. Ослепленные угаром старательского фарта, они рвали, тащили что и где могли, пытались наесться впрок, надолго. К середине ночи половина наряда бегала к столовскому нужнику, блевала, час от часу становясь все более нетрудоспособной.

Самое главное начиналось под утро, когда с пекарни привозили хлеб в окованной железом хлебовозке. Хлеборезы, работники столовой, дежурные командиры, помощники дежурных выстраивались коридором, пропуская по нему в столовую вниз по лестнице до самых дверей хлеборезки людей, разгружающих хлеб. В протянутые руки работника складывались свежие караваи с бело выступившей по бугру мучной пылью, с разорвавшейся на закруглениях хлебной плотью, соблазнительно выпятившейся хрусткой корочкой. Пахучая хлебная лава еще теплая, только-только усмирившая огнем — великое чудо из всех земных чудес, — вот оно, близко, против глаз, выбивающее слюну, желанное, мутящее разум, самое сладкое, самое нежное, самое-самое.

Но украсть никак нельзя отломить корку нечем — караваи накладывают на вытянутые руки так, чтоб было под самое аж рыло. Откинув голову, тащит булки огуленный близостью счастья человек. У самого носа хлеб! Сытным духом валит, всякой воли, всякого страха лишает. И никаких окриков не слыша, никаких угроз не страшась, рвет парняга по-собачьи каравай зубами, его в затылок кула-

ком лупят, пинкарей отвешивают, но он рвет и рвет — вся пасть в крови от острых твердых корок, иной возьмет да еще и упадет, раскатав каравай по лестнице. Что тут сделается! Схватка и свалка, бой начинается. Спихватятся дежурные, соберут буханки, глядь-поглядь — нету разгибдья, сотворившего проруху, и вместе с ним утек каравай. И горько, конечно, обидно, конечно, бывает, когда начальник хлебобрезки — самое главное лицо в полку — надменно объявит:

— Кто шакалил, пасть кровавая у кого, тому в роту отправляться. Кто вел себя по-человечески — добрая горбушка тому! — И сам лично длиннющим ножом-хлебобрезником раскроит хлебушек, кушай-те на здоровье.

Лешка заработал на разгрузке добрую горбушку хлеба, отломил кусочек художнику Боярчику, согнанному после суда над Зеленцовым с теплого творческого места и тяжело переживающему в одиночестве эту утрату. А тут еще лютая тоска по Софочке. Боярчик поблек и почему-то перед всеми ребятами испытывал чувство вины, залепетал вот слова благодарности, глаза у него повлажнели — воспитанный в заботливой, навеки запуганной семье спецпереселенцев Блажных, он ни ширмачить, ни украсть не умел. Лешка хлопнул Фелю по спине: «Да лан те. Че ты? Все свои...» Казахи, четверо их на кухне было во главе с Талгатом, которого не то в насмешку, не то всерьез соплеменники стали звать киназом, получив хлеба, оживились:

— Пасиб, Лошка, большой пасиб, са-амый замечательный продукция килэп.— Они упорно учились понимать и говорить по-русски, поднаторов, готовы были болтать без конца, потому как «нашалник Яшкин» им внушал: все команды на войне подаются на русском языке, вдруг случится так, что им скамандуют «вперед», они побегут назад — хана тогда им. Слово «хана» ребята-казахи запомнили сразу, Яшкина-нашалника звали они Хана. Чуть чего — начнут себя хлопать по бедрам, будто птицы крыльями: «Ой-бай хана! Псыплет нам нашалник Ха-на».

Хлеба поели и усекли: жолдас Лошка Шестакоб, старший по наряду в овощном отсеке, варит картошку в топке «с-селое ведро!», — и запели ребятишки-казахи, довольно выносливый и компанейский народ, искренне и бурно радующийся дружеству, умеющий ценить внимание к себе и всегда готовый отвечать тем же: «Ортамызда Толеген коп жил отти. Нелер колип бул баска, нелер кетти агугай...» Пели казахи в сыром, полутемном кухонном полуподвале, усердно при этом трудясь, нашалник Хана, разъяренно примчавшийся на звук песни, готовый давать всем разгон за безделье, прислонясь к дверному косяку, измазанному, испаранному носилками с картошкой, усмирно думал: «Вот тоже люди, поют о чем-то своем, работают исправно, послушными и толковыми бойцами на войне будут. Вон как они быстро вошли в армейскую жизнь, болеть перестали...»

Тут жолдас Лошка Шестакоб жару поддал, прибодряя, крикнул — Громче пойте! Скоро картошка сварится!

Ребята-казахи рады стараться:

Ай-ын тусын оныннан  
Жуддызын тусын солын-нан...

На картошке той распроклятой, самим же сваренной, Лешка и погорел. Хорошо сварилась картошка, прямо в ведре истолкли ее круглым сосновым полешком; какой-то деляга-промысловик, завернувший на огонек, налил работягам полный котелок жиру под названием лярда, не за так, конечно, налил, в обмен на картофельную драчену. В толченую картошку всяк лил жиру сколько душе угодно, песьельники-казахи пожадничали было но киназ Талгат рыкнул на них, и отвалили песьельники от котелка с жиром, стоявшего на чурке.

Лешка плеснул разок-другой в картошку лярда — ни запаху от него, ни вкуса, главное, не видно, есть, нет жир в картошке, какое



свойство этого продукта, никто толком не знал. Лешка взял котелок за дужку и вылил остатки лярда, схожего с закисшим березовым соком, в свою миску с картошкой.

— О-ох, Лошка! — предостерег его киназ Талгат. — Мал-мал жадничать, много-много в сартир бегать.

— Да ниче-о-о-о! У северян брюхо закаленное, строганину едим, рыбу иль мясо мороженое настрогаем и с солью, с перчиком. Мужики еще и под водочку — только крякают.

И закрякало! Узнал северянин с закаленным брюхом свойства хитрого химического продукта: которые сутки днем и ночью, штаны не успевая застегнуть, соколом носится на опушку леса к редко вбитым кольям.

Почти весь наряд, бывший на кухне, носится, и он не отстаёт.

— О, пале! — всплескивал руками киназ Талгат. — Шту я тебе, Лошка-жолдас, говорил? На вот, жуй трава, полын называется, от всякой болезн трава, хоть шыловок, хоть баран лечит..

Лярд этот самый клятый, объяснили Лешке знатоки, делается из каменного угля, никакой от него пользы и прибыли в организме нету, обман один и только, одна видимость питательного продукта.

Раскорячась, сходил Лешка на речку Бердь, настрогал черемуховой коры, чагу отрубил; кразу в посылке Коле Рындиному бабушка Секлетинья прислала корней змеевика и листья зверобоя — полк-то вселюдно несло с нечищенной картошки. ребята укреп требовали с тыла. Целое ведро травяной горечи и коры напарил в дежурке Лешка. Полегче стало, но еще скулило в животе, на улку потягивало — хорошо подежурил на кухне, славно пошাকাлил!.. Чего это он? Тоже опустился, ожадничал? Дома мать бескишочным звала, есть-пить насильно принуждала — плохо растет.

Да этот еще, нашалник Хана, помкомвзвода-то! Не разозли он Лешку, так, может, ничего бы и не было. Приперся в овощедах среди ночи. Там после сытной еды все сморились, спят, согрившись картохой горяченькой, — кто в углу на картошке, кто на скамейке, казыхи так даже подобие юрты из ящичков соорудили, спят себе, кочуя во сне по родным казахским степям, поспали бы — так горячее за дело взялись, справили бы работу ладом. Лешка, понимая, что всем поголовно спать нельзя, как старший наряда крутил барабан, иль его барабаном крутило — шлеп-шлеп-шлеп, шлеп-шлеп-шлеп, так и ведет в сон под эту музыку, так бы вот и лег на пол, но лучше на дрова возле печки, там тепло, сухо.

— Эт-то что такое? Мать-перемать! — налетел Яшкин. Ну и голос у человека! Пикулька и пикулька из медвежьей дудки — дома такие вырезали, с дыркой у рта и с одним отверстием для пальца: дунешь — она и запищит, воды нальешь — брызгается. — Шестаков, почему у тебя люди спят?

— Хотят, вот и спят.

— А завалка?

— Какая? Куда завалка?

— В котлы. Я, что ли, обеспечивать буду завалку?

— Да успеем мы, успеем! Поспят ребята да как навалятся..

Лешка при этих словах так сладко, так широко, да еще с подвывом зевнул, что психопат Яшкин принял это за насмешку за издевательство над старшим по званию и толкнул Лешку. Полусонный от сытости, утомленный работой жолдас Шестаков плохо держался на ногах, полетел по подсобке, ударился грудью о бочку, угодил руками в грязь, намытую с картошки, в лицо ему плеснуло, глаза едкой жижей залило. Утерся Лешка рукавом, прозревая, видит: Япкин кашащат пинками будит, матерится визжит. Те в углы спросонья ползут, в картошку норовят закопаться.

— Зашым дырошса, нашалник? Зашым жолдаса обижащ? Советским армиям так нельзя! Закон ни знашь?! — просыпаясь, вопили

ребята-казахи, по-русски вопили, сразу в них знание русского языка пробудилось.

— Так вы еще и пререкаетесь, бляди!

— Сам ты блядь! — тоже тонко, сорванно завопил вдруг окончательно очнувшийся Лешка и, схватив черпак из бочки, ринулся на Яшкина да и огрел его по башке черпаком.

Все бы ничего, да Лешка со скользом по морде «нашалнику Хана» угодил, расцарапал его шибко, потому что черпак тоже с дырочками был, с заусенцами железными.

Яшкин умылся холодной водой, остановил кровь и, уходя, пообещал:

— Ну погодите, шакалы, погодите! Я вас... Законы они знают...

Работяги-казахи чистили картошку, виновато вздыхая, качали головами:

— Ой-бай! Ой-бай! Хана, сапсым хана. Мы виноваты, Лошка, сапсым спали, картошкам чистить прекратили.

— Сгноит он тебя, Лешка! — сказал вовсе оробевший Феликс Боярчик. — В штрафную роту загонит, как Зеленцова.

— Лан, лан, не дрейфь, орлы! Живы будем — не помрем! — хохорился Лешка.

Ребята-казахи вместе с киназом Талгатом, с жалостно глядящим Боярчиком ходили по кухне за Яшкиным, в угол его прижимали:

— Не пиши бумашка, нашалник Хана, на Лошку. Нас штрафной посылай. Куроп проливат.

— Да отвяжитесь вы от меня, ради Христа! — взмолился Яшкин. — Спать надо меньше в наряде. Снится вам всякая херятина. Я на дрова упал в потемках, мать ее, эту кухню!..

— Прабылно, прабылно! Свыт подсобка сапсым плохой, дрова под ногам. Ха-ароший нашалн-иик Хана, са-апсым хароший. Как нам барашка присылают, мы половина отдаем тебе.

— Да пошли вы со своим барашком знаете куда?

— Знаим, знаим, харашо-о знаим, са-амычательно русским язык обладиваим.

Никогда у Лешки не было столько подходящего времени, чтобы жизнь свою недолгую вспомнить, по косточкам ее перебрать. Случалось, возле чучел, карауля уток, часами сидел, вроде бы где и думать про жизнь, где и вспоминать, но то ли жизни еще не накопилось, то ли одна мысль была, про уток, да пальбы по птице ожидание, ничего в голове не шевелилось, ни о чем думать не хотелось, скользило все над головой, кружилось, как те табуны крякшей над заливыми лугами — жди, когда сядут.

И вот дождался! Сели!

Отец у Лешки был из ссыльных спецпереселенцев, большой, угрюмый мужик, из хлебороба переквалифицировавшийся в рыбака. Как и многие спецпереселенцы, потерявшие место свое на земле, детей, жен, борясь со своей губительной отсталостью, неистребимой тягой к земле, ко крестьянскому двору, к труду, имеющему смысл, в конце концов он устремился к оседлой жизни здесь, на Оби, начав ее с приобретения хозяйки, высватав жену простым и древним способом: поставил в Казым-Мысе ведро вина и увез с собой совсем еще плоскую телом девчонку полухантыйского-полурусского роду-племени. Сначала они жили в Шурышкарах, в рыбокооповском бараке. Затем долго, в одиночку, отец рубил избу на отшибе от поселка, возле илистого сора, потом баню рубил — в общественной бане не хотел мыться из-за креста, который он никогда не снимал. за что порицался передовой общественностью. Срубив избу, баню, стайку и загородив подворье жердями, отец на этом посчитал свои хозяйственные обязанности исполненными. С рыболовецкой бригадой он месяцами пропадавал на Оби. Возвращался еще более угрюмый, съеденный ко-

марами, в коросте на лице от гнуса; зимой на подледном промысле знобился, нос и щеки в черных бляхах. Если зимой вернется, вывалит среди избы из мешка мерзло стучащих муксунов; если летом — просунув пальцы в трубой вытянутый рыбий рот, прет через плечо магерого осетра и с хрястом бросает его тоже среди избы. У осетра хлопаются жабры, шевелятся вьюнами обвислые щупы-усы, смотрит он мутнеющим, пьяным взором укоризненно: что, дескать, с вами сделаешь? попался — ешьте, на то я и рыба. Влезши за пазуху под олубенелую телогрейку, отец нашаривал там грязную тряпицу с завязанным в ней комом бумажных денег и бросал узел на стол. И все это молчком, ни на кого не глядя, одно слово — кулак, мироед, чуждый идеям пролетариата, как говорили в школе и на собраниях в сельсовете.

В доме сразу становилось тяжело, опасливо. Лешка, чернявый волосом, с природной смуглостью, с беззаботным характером — от матери, — потихоньку-полегоньку смывался из дому и появлялся уж в тот момент, когда надо идти с отцом в баню. Матери, Антонине, достались от северного климата слабые легкие, она не выдерживала жаркой бани.

Хотя отец не жаловался на хвори и вообще ни на что не жаловался, ни о чем ни с женой, ни с сыном не говорил, в бане, однако, не скрывал боли, лалял неизвестно кого и за что, гнул его ноги, бугрил, уродовал кости вечный спутник северных рыбаков — ревматизм. Поначалу он растирал ноги горячим жидколистым веником, бросал на каменку пробный ковш воды, сидел, ждал, когда расщипится, будто боец, сосредоточивался перед атакой, готовился к схватке, затем хлопал ковша три-четыре подряд на охающую, взрывами вскипающую каменку и, заорав: «А-а-а в кожу мать!» — бросался ныром на полок и начинал истязать себя двумя вениками до того, что терял всякий контроль над собой, улюлюкал, завывал, охал, крикал, выражался при этом столь громко и виртуозно, что черный потолок бани вот-вот должен был обрушиться на осквернителя слова, веры, материнской чести. От чернословья, от робости, его охватившей, да чтоб совсем не задохнуться, Лешка приотворял дверь, высовывал наружу голову, ловил мокрыми губами сладкий воздух. Но с полка раздавался приказующий рык, и Лешка со всех ног бросался к кадушке с водой, слепо тыкая в нее, на ощупь попадал в воду, сдавал на каменку, думая, что, наверно, конца этому действию никогда не будет.

Но постепенно могучая стихия сдавала, отец сникал на полке, два-три раза пускал храп, от которого в керосиновой лампе гнуло огонек, затем, по-детски всхлипнув, ощупью спускался с полка на нижнюю ступеньку, разводил в шайке воду. Костлявый, с клешнястыми руками, как бы в надетых на них кожаных рукавицах, облепленный листом, пахнувший березой и дымом, отец натирал Лешку вехтем, старался делать это полегче, но все равно больно драл кожу чугунными мозолями, словно царапал ногтями оголившиеся кости, проходя по ребрам что по стиральной доске.

— Ты че такой худой-то? — осоловело-отмякло гудел он. — Ты ешь, парень! Ешь, крепче будешь. — И обработав мальчишку, окатив мягкой водой, спокойно, но грустным уже голосом добавлял: — Ра-сейскому мужику надо быть крепким. Ево такая сила гнет, што сла-бому не устоять.

Однажды отец не вернулся домой в урочное время. Его ждали до зимы. С севера, с Обской губы, возвратились рыбацкие катера с лихтерами, принесли весть: была буря, утонула целая бригада рыбаков и вместе с нею бригадир Павел Шестаков. Отца в широкой воде так и не нашли — замыло его и связчиков-рыбаков вязким обским илом, иссосали его шустрые обские налимы иль выбросило на один из бесчисленных островов, и там расклевали его птицы. Что унес в своей скрытной душе отец — вызов, бунт, непокорность или

так никому и не высказанную доброту? Но Лешка помнил редкую ласку отца и слова его о том, чтоб больше ел и крепче был, тоже помнил, ныне вот и осознать их глубокий смысл начал — припекло. Да чтоб он хоть еще одну осечку сделал!..

Лешка подрастал, шастал по тайге за ягодой, кедровыми шишками, лежал день-деньской на мосточках, лоя проволочной петелькой шурагаев-вертешек, чтобы тут же их бросить собакам, ждущим подачек от своих мучителей и союзников. Мать поступила работать в рыбкооп. Дом теперь стоял на Лешке — не до игрушек стало. Меж делами Лешка вдруг обнаружил, что мать помолодела, вроде бы даже и похорошела. Неужто радовалась гибели отца и тому, что гнет кончился? От такой мысли морочно на душе Лешки становилось — это ж предательство, может, и того хуже...

В дом зачастил приемщик рыбы, известный по всей Нижней Оби шалопаи с прозвищем Герка — горный бедняк, получивший свое знатное прозвище за то, что однажды на спор будто бы выпил он десять бутылок настойки «Горный дубняк» — и не помер.

«Из дому уйду!» — пригрозил Лешка матери.

Но на нее уже ничего не действовало. Она ошалела — девчонкой отдали ее замуж, не погуляла она, не помилдовалась, почти пропустила, извела понапрасну молодость и вот наверстывала упущенное, в двадцать семь лет брала от жизни ей жизнь и природой положенное.

Зимой Герка — горный бедняк работал экспедитором в рыбкоопе, на засольно-копильной фабричке, по совместительству преподавал военное дело в школе. Кроме того ухорез этот, погубитель женского рода, писал стихи на чередующиеся праздничные темы, к патриотическим датам, про любовные дела и чувства тоже не забывал. Его стихи печатали в районной газете, и они потрясли сердца шурышкарцев, школьники-старшеклассники, учительницы, которые помоложе, заучивали их наизусть. «Я у знамени стою и присягу охраняю» — патриотическое стихотворение это было поставлено на сцене в виде спектакля-монтажа, с барабанным боем, с ревом горна и развевающимся над головами пионеров красным знаменем. Стихотворение «Мне видишься ты темными ночами зарницей яркою на алом небосводе» шурышкарцы пели на мотив «Здравствуй, мать, прими привет от сына». Сверх всего этого Герка — горный бедняк участвовал в художественной самодеятельности в качестве конферансье и солиста. Дивились шурышкарцы на разностороннее развитие человека — по одной земле ходит, в одной столовке ест, даже деревянный туалет, накренившийся над Обью, один и тот же посещает, но вот поди ж ты! Угостить вином, пригреть в избе, да и просто пообщаться с Геркой — горным бедняком всяк шурышкарец почитал за большую честь. По нынешним временам у такого молодца-вундеркинда поклонниц было бы не меньше, чем у восточного богдыхана, так что и работать бы он в конце концов вовсе бросил, только бы наслаждался жизнью. Однако до войны бестолковой люди, что ли, были, малоизворотливы, совестливы, все пытались жить не песнями, а своим полезным трудом, иные не без успеха. Что касается душевных дел и привязанностей, тут лишь сама душа имела решающее значение. Сама она, страдальца, направляла чувства в надлежащую сторону.

Конечно, у Герки — горного бедняка поклонницы водились, большей частью дамочки из культурной среды либо приезжие на лето студентки, но на веки вечные и полностью суждено было ему заполнить сердце Лешкиной матери Антонины Стоило шурышкарской зимней ночью появиться Герке — горному бедняку на поэзиях освещенной, заснеженной улице с баяном на груди и почти по-заграничному загадочно в нос выдать сценически отточенным тенорком:

Х-хэх, у меня е-есть сэ-эрдце,  
 Ха-а у сэ-эрдца пе-эс-ня-а-а,  
 Ха у пе-эс-ни та-ай-на-а-а...  
 Х-хочешь, отгада-ай... —

как мать теряла всякий рассудок, бегала из угла в угол, вороша содержимое кладовки и сундука, не зная, во что бы ей нарядиться, чтоб выглядеть всех красивей. В конце концов горный этот бедняк прочно обосновался в крепко рубленной избе за Шурышкарами, которые, впрочем, бурно разрастаясь, почти уже достигли окраинного дома, сделали загиб от берега Оби улицею вдоль сора и вместе с сором уходящей в клюквенное болото.

Герка — горный бедняк принес с собою в ящике из-под консервов пару модных штиблет, запутанные рыбацкие снасти, флакон с духами, несколько патефонных пластинок, под мышкой мандолину. Баян был клубный, его выдавали музыкантам под расписку на время. В доме сделалось шумно, музыкально. Антонина, почти не имеющая слуха, летала по избе, подпевая Герке, беспечно-удалая стала она, всем все прощала и в самом деле помолодела, сняв с себя этот вечный хантыйский платок, ровно бы век копченный над огнем и сделавшийся неопределенного цвета. А глаза с искрой, с бесом, пляшущим в зрачках, скулы продолговатые обнажились, губы бруснично заалели, под ситцевым платвишком, топыря его спереди и сзади, обозначилось небольшое, но ладное тело.

Явившись домой, Лешка часто заставал такую картину — сидят Герка — горный бедняк с матерью обнявшись, веселенькие, от людей отъединенные, всем на свете довольные и во всю-то головушку ревут: «И в двух сердцах открылась эта тайна, и мы влюбились крепко, не шутя...»

В избе было три комнаты, разделенных дощатыми перегородками. Одна из них сама собой отошла Лешке. Перейдя из дневной в вечернюю школу, пристроившийся учеником в узел связи, с выпрыснувшими по щекам пупырышками и крылатыми усиками под носом, прыщеватый, злой Лешка верочался в смятой постели, слыша, как, задушенная совершенно невероятными силами, мать грозила своему кавалеру, иль невенчанному мужу.

— Я тебя и себя запласну! Разделочным ножом.

— Эй, молодые,— стучал грубо и громко в заборку Лешка,— дайте покой людям!..

Утром мать, строча по сторонам раскосыми хантыйскими глазами, из ореховых перекрасившимися в задымленные, ладилась разговариваться с Лешкой, подсовывала ему послаще еду, а Герка — горный бедняк, вертясь перед зеркалом с бритвой, как ни в чем не бывало кричал из передней:

— Эй, сынуля! Подкинь папироску. Я свои искурил.

Весной молодые ушли по Оби на рыбоприемочном плашкоуте, Герка — горный бедняк приемщиком, мать резальщицей, разделочницей рыбы. И стали они на весь сезон где-то на Оби, притулив свое суденышко к подмытому, комарами опетому берегу, возле летнего стойбища хантов. С тех пор летами Лешка хозяйничал в доме самодин, пристрастился читать книжки, полюбил связистское дело и начал потихоньку от родителей отвыкать. Родители же, предоставленные сами себе в маленькой беленькой каюте с кирпичной печуркой и занавесочками на окнах, кушали хорошую рыбку, икру, песенки на всю Обь орали и под песни сотворили сестер, за один сезон одну — Зойку, за второй сезон вторую — Веру. Сотворили было и третью, но очень трудно было уже и с этими двумя девчонками, не считая Лешку, и та, третья сестра, не увидав света, уплыла в верхний мир, объяснили Лешке родители.

Девочек, Зою и Веру, беспечные родители сбыви-таки в Казым-Мыс к деду и бабке, и они явились под крышу родного дома уже

«поставленные на ноги». Белобрысые — в папу, черноглазенькие — в мать, чего-то лепечущие, игровитые, до удивления дружные существа эти вызывали в Лешке какие-то неведомые, должно быть, родственные чувства. Девочки тоже любили Лешку, но больше всего на свете любили они добродушных, лохматых северных псов. Отец Антонины держал в Казым-Мысе свору псов — для охоты и для упрямки. Девчушки, привыкшие к своим собакам, лезли к любому псу с обниманиями. Овчарка начальника райотдела милиции чуть не загрызла до смерти Зою, попортила ей лицо. Лешка и сейчас помнит, да что помнит — вживе ощущает, как, прижавши ко груди, носит он по избе существо с забинтованным лицом, из ссохшихся бинтов с упреком и страданием спрашивают его, пронзают насквозь детские опухшие глаза: «За что? Что это такое? Это такая жизнь?» С того вот несчастья, от того взгляда пробудилась в Лешке жалость к сестрам, да и они, нуждающиеся в его помощи и защите, хоть и малые, тоже чего-то понимали, тянулись к нему и друг к другу. Изгрызенная собакой девочка вскочит ночью, закричит... другая девочка уж тут как тут, приложит ладошку ко лбу болезной и сидит, сидит у кровати, безропотно ей прислуживая. Родители ж ничего, дрыхнут. Встанет заспанная мать, посмотрит на малышку и, зевая, скажет: «Ниче-о-о, отойдет».

Махнул Лешка рукой на родителей — худая на них надежда, собой заняты. Папаша сделал одно-единственное важное дело — сразил озверелую овчарку из винтовки школьного военного кружка и посулился сделать то же с самим хозяином, если он сей момент не покинет Шурышкары. Начальник милиции не покинул Шурышкары, но и в суд, как сулился, не подал за незаконное применение огнестрельного оружия. Два боевых человека, два важных чина распили где-то литруху-другую — и дело завершилось миром. А в остальном Герка — горный бедняк не испытывал никаких тревог и неудобств, также и семейных оков на себе не ощущал. Антонина устала терзаться ревностями, бегать за мужем по поселку. Лицо ее снова погасло, сделалось похожим на деревянную маску, какие встречались в лесу на северных становищах, снова курила, когда папиросы, когда и трубку снова завесила лицо пологом дымно-коричневого платка, старалась быть ближе к дочкам, но те ее долго дичились, льнули к Лешке.

На войну Герка — горный бедняк ушел не сразу, как военрука его задержали на время, на сборы, на фронт он угодил уже в зимнюю кампанию, под Москву, где получил орден Красного Знамени. Прислал карточку, на которой стоял он, облокотившись на деревянную тумбочку, в казацкой кубанке, с орденом, полученным на фронте, и со значком БГТО, завоеванным еще в Шурышкарах. В петлице его прилепился ярким светлячком кубарик. Очень любил Герка — горный бедняк разные железки, знаки, значки. Глаза героя глядели ясно, прямо и приветливо. Мать измусолила всю карточку, уверяя девочек, но больше всего себя, что такой человек, отец, стало быть, ихний, такой красавец никогда и нигде не пропадет, а как вернется домой, так всех любить будет после окопных страданий и невзгод, что и сказать невозможно.

«Папа наш! Папа наш!» — вперебой с мамкой целуя карточку, умилялись девчушки и норовили утащить от матери ту карточку под свою подушку. Полагая, что война, как и сулили большие люди, скоро и победно кончится, мать бросила курить, чтоб посвежеть к приезду знатного супруга. Ведь сам герой в редких своих, зато стихами писанных письмах заверял коротко, но твердо: «Бьем врага без всякой пощады!»

Уразумев, что не все еще его уму доступно на этом путаном свете, Лешка, перешедший на пушной промысел в тайге, написал первое письмо Герке — горному бедняку, шутовское, непринужденное письмо. И получил не менее шутовский ответ, пошла переписка, не очень

бурная, скорее товарищеская, с уклоном на юмор. Только в одном письме Герка — горный бедняк перешел со стихов на прозу: «Мать не бросай и не обижай. Она и от меня обид много поимела. Она у нас совершенно чудесный человек, но понял я это лишь в пучине жестокой огненной битвы... Надеюсь, что и Зою с Верой ты никогда не оставишь».

И заняло у Лешки в груди, и только теперь, после этого письма, понял он, что война идет нешуточная, когда она кончится — одному богу известно, и вернется ли с войны Герка — горный бедняк, родитель их непутевый, никто не знает.

Школьницы Зоя и Вера писали крупными тараканьими буквами на тетрадных четвертушках: «Дорогой наш братик! Мы живем хорошо. Учимся хорошо. Койра ошенилась. Беянка отелилась. Кот-бродяга имаает пташек. Мама на работе. Дома все хорошо. В Шурышкарах стоит холодная зима. Мы возим на санках воду с Оби. А какая погода у вас? Целуем крепко-крепко, твои сестры — Зоя и Вера, да еще мама велела целовать!»

Господи, что бы он только не сделал, чтобы повидать сестренку и мать! Кажется, как прижал бы к груди и не отпускал бы, воды бы им полную бочку навозил. Какие они еще работники? Совсем вроде бы по сроку, по дням-то и месяцам, недавно из дома, но кажется — век прошел. Кажется все прожитое и пережитое в далеких милых Шурышкарах таким дивным, таким обворожительным сном. Ему почудилось даже, что последнее письмо имело запах, ощущимо пахло детским теплым дыханием, слабым молочным духом веяло, и Лешка, отвернувшись, тайно поцеловал письмо, два раза поцеловал там, где писано было — «Зоя и Вера», поцеловавши, почувствовал мокро на глазах и тайно же поругал себя: «Ну вот, раскис! Чего и особенного-то, в самом-то деле? Все служат. У всех семьи дома остались, матери, сестры, может, и братья есть. Кабы не расхвораться совсем, не ослабнуть. Отец, тот, настоящий, свой, чего говорил? Какой завет давал?»

Мать прислала в наспех кем-то сколоченном ящике мороженных сигов, туесок с икрой, табачку и орехов мешочек. Письма же никакого, даже записки не было — что, если сестренки заболели? Корью? Кашлем? «Не дай бог поносом?» — встревожился Лешка.

Лежа на жестких нарах с нюющим животом, пытался представить он себе родные Шурышкары, широкую Обь, объятую белой тишиной, пересыпающейся искрами. Больших морозов еще нет, неглубоки еще снега, еще бывает красная заря вечерами, проступает в небе тяжелой глыбой из жуткой, запредельной отдаленности голокаменный Северный Урал. Но к середине декабря не станет зари, неба над головой, все займет собой морозная ночь, только сполохи на небе будут напоминать, что есть верхотура над землею, не укатился шарик в сумрачный, безгласный угол, который дышит недвижным холодом из мироздания. Огоньки в окнах шурышкарцев едва светят сквозь мерзлые окна, и на те огоньки движутся на яр, тащат-везут две маленькие фигурки лагуху с водой, привязанную к салазкам.

Видел как-то Лешка в хрестоматии на картинке детей, везущих кадушку с водой, лица бледные, испытые, сил нет, лишь собачонке, бегущей вослед возу, весело. Под картинкой подпись: «Так было в проклятом прошлом». Какую же подпись ставить под картинкой, если нарисовать Зою и Веру, взбирающихся на гору, на голос динамика, надышавшегося холодом, обмерзшего изнутри, железным ртом шебаршащим о наших грядущих победах на войне и о героическом гряде в тылу.

В разжиженной сполохами темноте только динамик да треск дерева и слышно, только они и подтверждают, что в студеном морозе есть дома, живут там люди, говорит радио, — корова Беянка ждет

воды на пойло, кот-бандит молока, собака Койра, прикрыв животом щенят, припавших к сосцам, больно их перебирающих, ждет остатков еды со стола.

Среди шурышкарских парней считалось хорошей затеей сходить на кладбище, посидеть на одной из могил, выкурить трубку табака, в завершение еще всадить в бугорок нож.

Если учесть, что на кладбище этом, притулившемся к истоку сора, среди болотного сосняка, затянутого голубикой, багульником и морошкой, однажды всю ночь ходил светящийся «шкелет» и каждый раз, как заляжет ночь в округе, среди крестов начинается что-то ухатъ, завывать, красный зрак мерещится, пронзая тьму, то станет ясно — на шурышкарское кладбище сходить решался не всякий.

Лешка сходил, нож воткнул. Правда, не с первой попытки сходил, зато спугнул среди могил шлявшуюся с железной плоской, полной раскаленных углей, местную колдунью-хантыйку Соломенчиху. В зубах у нее трубка, седые волосы выпущены на оленью комлапку. «У-ух! — стала она пугать Лешку, тыча в нос ему светящейся плоской. — У-у-ух! Комытай-топтай-болтай!» — и закрутилась на одном месте, затрясла лохмотьями, соря искрами с плоски...

Соломенчиха бесшумной тенью вползла в казарму первого батальона, взялась на нары первой роты, села — ноги колесом. Лешка потянул руку к трубке. Она шлепнула его по руке: «Неззя, — заскрежетала зубами, — беркулезница я». Сплюнула, высморкалась в подол юбки. Кости Соломенчихи брякали, будто кибасья сетей. Лешка вспомнил — Соломенчиха-то давно померла, сюда, в расположение первой роты, на нары, пробрался только «шкелет», но трубка у нее еще та, с медным ободком, которую положили с колдуньей вместе в могильный сруб. Еще ей туда положили три папухи листового табака, пачку денег, чтобы Соломенчиха могла сходить в сельпо, когда ей захочется опохмелиться, в изголовье, где было прорублено окошечко — ханты в могильном срубе делают окошечки, чтоб видно было охотников, идущих с добычей, слышался бы лай собак, — поставили стакан водки. К березкам, невысоко, но густо поднявшимся над кладбищем хантов, прислонили старые нарты, повесили медный чайник, бутылку с дегтем, чтобы Соломенчиха могла намазаться, когда начнет подниматься мошка, от комаров же спасения нет и на том свете.

Ребята пробрались на кладбище хантов. Водка в стакане была почти выпита. Соломенчиха в коричневом платье, в истлевом платке, сквозь который проткнулись седые космы, лежала спокойно, трубку крепко держала на груди в почерневших пальцах.

«Ты зачем пришла сюда? — спросил Лешка Соломенчиху. — Здесь военная казарма. Нечего тебе здесь делать». Соломенчиха вынула трубку из беззубого рта, сплюнула, сильным от табака голосом сказала: «Ха! Мне ничего не страшно. Я — колдунья. Это тебе страшно. Ты — живой!..» Она потянула из гаснущей трубки — одуряюще сладко запахло табаком. «Деляги впритырку курят на нижних нарах», — отметил Лешка, и ему тоже неистребимо захотелось курить. «Ну дай ты мне, Соломенчиха, хоть разок потянуть. Никакого туберкулезу я не боюсь. Тут вон и похлаще болезнь пристала!» — не дает старуха потянуть. Он попытался вырвать трубку из зубов старухи, начал бороться со скелетом, оторвал с трубкой костлявую голову. Но тут Соломенчиха изловчилась, трубку выдернула из зубов своей головы, спрятала руку за спину. «Че делаешь, сатана? Отдай час же башку мою! Мне говорить нечем...» Взяла Соломенчиха голову, приставила куда надо, смежила глаза, начала раскачиваться, петь заунывно-госкливым голосом северной пурги. Из воя, хлопанья и порывов ветра складывались внятные звуки: «Ох, Олексей, Олексей! Зачем ты украл звезду с могилы Корнея-комиссара? Ты дразнил меня вместе с шурышкарскими парнишками, напущал собак, они меня драли. Я ста-



рая, хворая, червяк точит мою середку...». «Я больше не буду,— принялся каяться перед горькой старухой Лешка, поднялись у него слезы, закупорили горло, дышать нечем. — Звезду я не сламывал. На меня свалили. Скажи, кто взял звезду дяди Корнея?» — «Сторож с причалу. Он враг народа был, долго звезду ломал. Искры летели, огонь сыпался. Припадки бить его начали. Корней-то все ходил за ним: „Отдай мою звезду! Отдай! Не тебе, а мне партия на могилу звезду прикрепил... Без звезды могила потерялась. Все кладбище со звездами и крестами потерялось. Темно в Шурышкарах. Электричество не работает. Карасин берегут. На детях малых воду возят!..».

Вернулся с войны безногий брат покойного Лешкиного отца, который прежде работал шкипером на дебаркадере. Это мать в письме сообщает. Она приняла его в дом. Он жил в Лешкиной комнате, сапожничать выучился, пьяный в бане запарился, по обмыленным доскам скатился с полка на каменку, ожегся, умирая, кричал: «Пусть звезду мне на могилу выстрогают...»

— Доходяги! Хворыя! Симулянты! Весь честной народ, подъем на ужин!..

«О-оо, матушки! — очнулся Лешка.— Такой хороший сон прервали, обалдуи!»

Первой военной зимой Лешка с бригадой охотников-промысловиков ушел в тайгу добывать дикое мясо и пушнину. К пушнине утратился интерес, она упала в цене, однако ее все же принимали, сказывали — для Америки, там все еще наряжаются в дорогие меха.

Бригада уехала в глубь материка, поселилась в заброшенном станке возле речки Ох-Лох. Промысловики поставили сети и на другой день едва их вывели из-под льда — так много попало рыбы. Использовали рыбу на кроху в ловушках, иначе говоря — на приманку зверей.

Удача сопутствовала бригаде. Пока снег был неглубок, промысловики свалили два десятка оленей, пару сохатых, медведя в берлоге застрелили. В загороди, в петли, поставленные в лесу, дико лезла птица — куропатка, глухарь, в пасти — песец, лиса, горностаи. Зверь ровно чуял войну, жил беспокойно, много бродил в эту зиму по тайге. Охотники же были на войне, никто тайгу не тревожил.

В январе бригада снарядила олений оргиш на приемный пункт. Нарты были тяжело нагружены мясом, шкурами, рыбкой едовой — чира, пелядки, сига тоже взяли мужики «на закуску». Сдав мясо и пушнину, давно не видевшие людей промысловики, еще не хватившие военной голодухи, загуляли по древнему обычаю — широко, разудало. В ту первую военную зиму водилась еще водка в бутылках по здешним городкам и селениям, нужды еще большей ни в чем не было — северный завоз, сделанный весной, до начала войны был, как и в прежние годы, без раскладок, ограничений, однако карточки на хлеб появились и здесь.

На приемный пункт заготпушнины мужики отправили Лешку. Молодого еще, костью жидкого, они не неволили его тяжелой работой и пока ворочали, таскали на горбу мясные туши, парень из сум и мешков выкладывал пушнину на жиром сверкающий прилавок с облупившейся краской.

Красивая, но отчего-то унылая деваха в беличьей шапке, в сером свитере, кутающаяся еще и в пуховую шаль, безучастно смотрела, как он перед ней потряхивал богатствами, такими плавучими, воздушными, не считая беличьих связок, приемщица ставила цифры на бумагу, кивком указывала, куда, в какой угол швырять это руку радующее добро.

Лешке сделалось обидно: знала бы, ведала эта краля, сколько труда и пота надо употребить, чтобы отыскать, добыть и обиходить шкурки, которые обратятся золотом, на то золото оружие купят, про-

дуктов, снарядов, амуниции. Но хотя он и сердился, на душе было все равно празднично оттого, что вышел из тайги на люди, что сдает пушнину — результат труда целой бригады, что электричество горит в бревенчатом лабазе, еще пронырливыми тобольским купцами построеном.

— Тебя хоть как зовут-то?

— Томой.

— А меня Лешкой.

Девушка зевнула, потянулась, под мышками на свитере обнаружилась у нее дырка, в дырки видно голенькое тело в пупырышках, со скатавшимися на них волосиками.

— У меня в пушном техникуме друг был,— хлопая ладошкой по зубастому рту с вялыми, резиново растянувшимися губами, сообщила девушка и, подышав на руки, стала выписывать квитанцию.— Тоже Лешей звали.

— Ты бы хоть одежду-то зашила.

— Что?

— Свитру б зашила, говорю. Обленилась тут и мышей не ловишь.

— А-а, свитр? Я на фронт хочу! — вдруг сердито заявила приемщица и громко хлопнула штемпелем по квитанции.— Что мне свитр? Что мне это заведение? В медсестры хочу! Раненых с поля боя...

— В кино не хочешь?

Сразу оплывая, успокаиваясь, девушка снова зазвала.

— Десятый раз «Трактористов» смотреть? Да я уж и лешу Крюкова и белоглазую Ладынину возненавидела! А прежде обожала...— Она пристально и, как ему показалось, оценивающе — так пушнину бы глядела! — всмотрелась в него.— Знаешь что, работник-охотник! Приходи-ка ты ко мне в гости. Чайку попьем, разговоры поразговариваем. Ты мне свитру... зашьешь, а? — Она подмигнула ему, дурашливо засмеявшись при этом.

Жила приемщица здесь же, в теплой половине лабаза, где прорублено два окна, одно на восход, другое на полдень. Окна обросли непроницаемо-толстым ледяным панцирем. Теплушка была чисто побелена, пол выскоблен, на алеющей плите шипела сковородка, подпрыгивала крышка на чайнике, с подоконника в подвешенные бутылки текла натаявшая вода.

Тома в ситцевом коротком платишке, в оленьих унтах, расшитых голубыми и вишневыми полосками да стеклянным бисером, хлопотала в своем жилье. Настороженного, напряженно-скованного гостя Тома встретила приветливо:

— Ну, раздевайся, охотничек-работничек, чего стоишь? В ногах правды нет. Пить будем и гулять будем, а смерть придет — отдыхать будем! — притопнула Тома красивым унтом.

«Она тоже стесняется»,— догадался Лешка, но бывала Тома на людях больше, все же в городе училась, друга, говорит, имела, постарше все ж его, шурышкарского паревана.

Накрепко закрючив дверь на железный кованый крюк, Тома достала из-под занавески настенного шкафчика бутылку спирта с наклейкой, попросила Лешку распечатать напиток и развести. Лешка быстро сделал то и другое, опасливо подсел к столу, довольно богато заставленному: здесь были овощные консервы, копченый омуль и стерлядка, вяленая обская селедочка, жареная картошка с мясом, брусника и морошка моченая. «На фронт захотела! — усмехнулся Лешка. — Кто тебя кормить там эдак станет?!..»

Они чокнулись, и, задержав свой стакан возле его стакана, волюющая чернобровая Тома вновь ему подмигнула:

— За все хорошее, охотничек-работничек! — Выплеснув в рот спирт, как бы вдохнув его в себя, Тома охотно пояснила: — В пуш-

ном техникуме к таежным испытаниям готовилась.— И опять ему подморгнула.

Она играла с ним, ровно бы заманивала его в потаенное местечко. Еще не попав туда въяве, но зная, чего там его ждет, Лешка уже трудно дышал, терялся, оттого и утратил словоохотливость, мысли его куда-то ускользали, не задерживаясь на месте.

В Шурышкарах не считалось предосудительным давать детям вино, натаскивать их в этом деле уже году на десятом, так что к шестнадцати-семнадцати годам шурышкарский пареван умел уже все: ходить на лодке, управляться с сетями и на сенокосе, промышлять в тайге, пить водку, любить и бить бабу. Оттого и жил шурышкарский мужик на белом свете недолго, но уж зато наполненно, в большом удовольствии.

Лешку как-то миновала всеобщая шурышкарская зараза. Ну не совсем миновала, покойный отец приневоливал его, заставлял отведавать горючки, хвалил за храбрость, называл настоящим мужиком, но отец бывал дома два-три раза в год. Герка — горный бедняк, слава богу, не обращал на пасынка внимания, он сам выпивал все, что можно было выпить, оттого-то Лешка к вину по-настоящему не обвык. Приняв у Тома враз полстакана спирту, он поплыл по волнам в гибкое, шатучее пространство, тошнотным теплом его обволакивающее.

— Ты ешь, ешь, — слышалось издали сквозь навязчиво зудящую препону.

Вместо того чтобы есть, Лешка, притопнув, воскликнул:

— Я петь хочу! Плясать хочу!

— Мапочка моя! — послышалось снова издали.— Да с чего плясать-то?

— Мы будем петь и смеяться, как дети!.. — звонким фальцетом затянул Лешка и, намерясь снова притопнуть ногой, повалился со скамейки.

— Э-э, охотник-работник! Да ты еще совсем сеголеточек! — помогая подняться кавалеру, качала головой Тома. — А ну поди сюда, поди, маленький! Поди, хорошенький! Поди, черноглазенький!

Она подвела гостя к кровати, села на постель, положила его голову на колени и, перебирая жесткие хантыйские волосы, шарясь в них, покачивала гостя, наговаривала певуче-нежное: «На горе во лесу хуторочек стоит, как во том хуторочке красна девица спит...»

Лешке было хорошо, душа его в те минуты жила такой покойной жизнью, так была переполнена своим уютом, домашностью, что он, никакого усилия над собой не делая, протянул руку и погладил по волосам певунью, показалось ему, коснулся беличьего меха, теплого, хвоей пахнущего.

И все, что произошло у них потом, было так же хорошо, естественно, никакого чувства омерзения Лешка не испытал, проснувшись рядом с Томой в чистой постели, под одеялом, на которое сверху был брошен еще толстый олений сокуй.

Тома спала, приоткрыв розовые губы, дышала ровно, на шее запутались ее пышные волосы. Почувствовав его взгляд, она дрогнула губами, открыла глаза, полежала, подышала. «Полежи, охотник-работник, понежься», — похлопав по одеялу, сказала она, скользнула из-под одеяла, передернулась от холода, сунула босые ноги в унты, набросила на рубашку сокуй, прихватила его возле горла и стала растапливать плитку.

Он украдкой, в один глаз следил за ней, не мог еще поверить, что с ним свершилось то, о чем много болтают мужики, чем тревожится во сне и бредит наяву всякий здоровый подросток. Свершилось так вот просто. По-новому, радостно живет его душа, облегчено, успокоено тело. Чувством торжественной победы пронизана каждая клеточка, каждая кровинка в нем. И все это дала ему неизвестно за что вон та женщина, то создание, обернутое в оленьи шкуры, кото-

рое, растопив печь, сидит на кукорках, смотрит в огонь и думает о чем-то своем, сощурился, в общем-то, совсем не волоокие, скорее печальные и усталые глаза.

Надо было что-то сделать, куда-то увести девушку от глухой задумчивости, прихватившей ее у печки, отвлечь, приласкать. Лешка ступил босыми ногами на холодный пол, подкрался и схватил Тому сзади за теплую мягкую шею. Сняв его руки с шеи, она поместила их под сокуем на груди.

— Пусть согреются, — прошептала.

Было благоговейно тихо, даже таинственно. Лешка начал постигать в ту минуту высокий смысл естественной жизни — весь он, этот смысл, состоит в ожидании таких вот встреч, есть в ней, в жизни, неизбежно-вечное, и все это может сотворить только женщина. Счастье, добро — все, все на свете в ее жертвенности, в ее разумности, приветной нежности.

— Спасибо тебе! — едва слышно прошептал он, коснувшись губами маленького уха Тома.

Еще два дня и две ночи пировали промысловики, еще двое суток юта и счастья было у Лешки. Распрощались они с Тamarой так же, как и встретились, без лишних слов, без вздохов и обещаний. Она проводила его до зимника, сбегаящего на Обь. Он отодвинул прорезь сокуя с лица, улыбнулся ей, помахал рукой — белая пыль закружилась следом за нартами, навсегда запорошив девушку, которая подарила ему лучшие в его жизни дни.

Он пробовал ей писать отсюда, из запасного полка, она отозвалась. Но в письмах Тома была скучна, жеманна, складно-вымученна, совсем, совсем не такая, как на самом деле. Первоначально, пока не дошли парни до ручки, рассказывали они, у кого и как было в первый раз, некоторые успели жениться, но все, и женатики, и холостяки-удальцы, и вольные кавалеры, почему-то говорили о первой близости с женщиной как о поганом грехе, со срамной, непременно употребляя какое-нибудь скотско-грубое сравнение.

Большинству парней рассказывать было не о чем, не случилось у них первого раза, у многих уже и не случится.

У Лешки хватило ума и северного характера, склонного к потаенности, не оскорбить словом того, что летучим облачком коснулось его жизни, отлетело в тот уголок памяти, где должны храниться у человека личные ценности. Ничего плотского, телесного Лешка уже не помнил. Тело, оно, как и составная его часть — брюхо, добра не помнит, однако в памяти, в уголке том дальнем тайлоса сделавшееся частью его воспоминание, и суждено ему было сохраниться навсегда. Но для того, чтобы до конца это осознать, понадобится нахлебаться досыта грязи, испытать гнетущий груз одиночества, походить под смертью, чтоб после наверняка уж себе сказать: у мужчины бывает только одна женщина, потом все остальные, и от того, какая она будет, первая, зависит вся последующая мужичья судьба, наполненность души его, свойства характера, отношение к миру, к другим людям, и прежде всего к другим женщинам, среди которых есть мать, подарившая ему жизнь, и женщина, давшая познать чувство бесконечности жизни, тайное, сладостное наслаждение ею.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Как ни береглись в ротах, как ни наказывали разгильдяев, как ни убеждали людей проникнуться ответственностью времени — ничего не помогало, дисциплина в полку падала и падала. Множилось количество больных гемералопией и еще больше тех, кто симулировал болезнь. Люди устали от казарменного скопища, подвальной крысиной жизни и бесправия, даже песня «Священная война» больше не

бодрила духа, не леденила кровь и пелась, как и все песни, поющие по принуждению, уныло, зауспокойно, слов в ней уже не разобрать, лишь завывания «а-а-а-а» и «о-о-ой» разносились по окрестным лесам и по военному городку.

Дожили до крайнего ЧП: из второй роты ушли куда-то братья-близнецы Снегиревы. На поверке перед отбоем еще были, но утром в казарме их не оказалось. Командир второй роты лейтенант Шапошников пришел за советом к Шпатору и Щусю. Те подумали и сказали: пока никому не заявлять о пропаже, может, покалят где братья, нажрут, напляются и опять же глухой ночью явятся в роту.

— Ну я им! — грозился Шапошников.

На второй день, уже после обеда, Шапошников вынужден был доложить об исчезновении братьев Снегиревых полковнику Азатьяну.

— Ах ты господи! Нам только этого не хватало! — загоревал командир полка. — Ищите, пожалуйста, хорошо ищите.

Братьев Снегиревых, объявленных дезертирами, искали на вокзалах, в поездах, на пристанях, в общежитиях, в родное село сделали запрос — нигде нету братьев, скрылись, спрятались, злодеи.

На четвертый день после объявления розыска братья сами объявились в казарме первого батальона с полнущими сидорами. Давай угощать сослуживцев калачами, ломая их на части, вынули кружки мороженого молока, растапливали его в котелках, луковицы со дна мешков выбирали. «Ешьте, ешьте! — по-детски радостно, беспечно кричали братья Снегиревы. — Мамка много надавала, всех велела угостить. Кого, говорит, мне кормить-то, одна-одинешенька здесь бобылю».

— Вы где болтались? — увидев братьев, обессиленный, все ночи почти не спавший, серый лицом, как и его шинель, без всякого уже гнева спросил у братьев Снегиревых командир второй роты.

— А дома! — почти ликующими голосами сообщили братья Снегиревы. — Че такого? Мы ж пришли... Сходили... И вот... пришли... А че, вам попало из-за нас?

— Но в сельсовет вашего села был сделан запрос.

— А-а, был, был, — все ликуя, сообщили братья. — Председатель сельсовета Перемогин тук-тук-тук деревяшкой на крыльце, мамка лопоть нашу спрятала, обутки убрала, нас на полати загнала, старьем закинула, сверху луковыми связками, решетьем да гумажьем забросала.

— Чем-чем? — бесцветно спросил Шапошников.

— Ну гумажьем! Ну решетьем! Ну это так у нас называется всякое рванье, клубки с тряпицами, веретешки с нитками, прялки, куделя... «Пропали парни, — вздохнул Шапошников, — совсем пропали...»

— Потеха! Председатель Перемогин спрашивает у мамки: «Где твои ребята?» «Служат где-то, бою учатся, скоро уж на позиции имя...» «Ага, на позиции, — согласился председатель сельсовета Перемогин. — Вот только на какие?» Мы еле держимся на полатах, чтобы не прыснуть.

В особом отделе у Скорика братья Снегиревы были не так уж веселы, уже встревоженно, серьезно рассказывали и не вперебой, а по очереди о своем путешествии в родное село, но вскоре один из братьев умолк.

— Корова отелилась, мамка пишет: «Были бы вот дома, молочком бы с новотелья напоила, а так, что живу, плачу по отце, другой месяц нет от него вестей, да об вас, горемышных, всю-то ноченьку, бывает, напролет глаз не сомкну...» Мы с Серегой посоветовались, это его Серегой зовут в честь тяткиного деда, — ткнул пальцем один брат в другого. — Он младше меня на двадцать пять минут и меня, как старшего, слушается, почитает. Да, а меня Еремеем зовут — в честь мамкиного деда. Именины у меня по святцам совсем недавно, в ноябре были, у Сереге еще не скоро, в марте будут. До дому всего шестьдесят верст, до Прошихи-то. И решили: туда-сюда за сутки обернемся, за-

то молока напьемся. Ну, губахта будет нам... или наряд — стершим. Мамка увидела нас, запричитала, не отпускает. День сюда, день туда, говорит, че такого?..

— Вы откуда святцы-то знаете?

— А все мамка. Она у нас веровающая снова стала. Война, говорит, така, что на одного Бога надежда.

— А вы-то как?

— Ну мы че? — Еремей помолчал, носом пошвыркал и схитрил: — Когда мамка заставит — крестимся, а так-то мы неверовающие, совецкие учащие. Бога нет, царя не надо, мы на кочке проживем! Хх-хы!

«О господи, — схватился за голову Скорик и смотрел на братьев не моргая, ушибленно, а они, полагая, что он думает о чем-то важном, не мешали. — О господи!» — повторил про себя Скорик и подал братьям два листка бумаги и ручку.

— Пишите! — выдохнул Скорик. — Вот вам бумага, вот вам ручка, вот чернила, по очереди пишите. И бог вам в помощь! — Отвел глаза, отвернулся к окну от присадисто-крепких рыжеватых братьев, различия у которых при пристальном взгляде все же имелись: старший был погуще цветом, и черты лица у него немножко крупнее, выразительней, на кончике правого уха махонькой сережкой висела бородавочка. Шрамов еще штук на три было больше у старшего: лоб рассечен — падал с коня или с качели, порезался головой о стекло, катаясь по траве, губа рожком — в драке или в игре досталось.

Пока братья писали по очереди и старший, покончив свое дело, вполголоса диктовал младшему, говоря: «Че тут особенного? Вот бес-толковый! Пиши: «Мамка, Леокадия Саввишна, прислала письмо с сообщением, отелилась корова...» — Скорик глядел в окно, соображая, как защитить братьев, этих беды своей не понимающих детей, как добиться, чтобы суд над ними был здесь, в расположении двадцать первого полка. Здесь ближе, в полку-то, здесь легче, здесь можно надеяться на авось. Может, полковник Азатын со своим авторитетом? Может, чудо какое случится? И понимал Скорик, что бред это, бессмысленность: что здесь, в полку, что в военном округе в Новосибирске — исход будет один и тот же, заранее predetermined грозным приказом Сталина. И не только братья — отец пострадает на фронте, коли жив еще, мать как пособница и подстрекательница пострадает непременно, дело для нее кончится тюрьмой или ссылкой в нарымские места, а то и еще дальше.

Серега сосредоточенно, напряженно работал, прикусив кончик языка, добросовестно под диктовку Еремей излагая свое злодеяние. За окном шла обыденная полковая жизнь, ходили строем и без строя солдаты, окуржавелые, неестественно мохнатые кони на подсанках везли обледенелый лес с реки, следом, держа ослабленно вожжи, шли, курили, сморкались солдаты в полушубках, велось строение новых казарм, на одном срубе ставили стропила, по-домашнему распоясанный крупный солдат с усами пошатал стропилину, наклонившись, что-то подколотил топором. Из кухни на помойку дежурные пара за парой выносили грязные бачки, выливали помой на темно-серую островерхую гору. Мутное, по-весеннему бурное мокро катилось вниз, подшибая птиц, чего-то клюющих в месиве; грязным потоком тащило капустные листья, переворачивало ржавую бочку без дна, трепало тряпье, рванный ботинок, стекло блестело, жечь. Над помойкой на сосняке грузно висели старые вороны, чистили клювы и лапы о сучья. Молодые же все подлетали, подскакивали, чего-то выхватывали из потока. Пестрые сороки и нарядные сойки тут же безбоязненно вертелись, отпархивая от вороны, тоже чего-то излавливали и, шустро отпрянув с добычей в сосняк, клевали с бою взятое.

Двое обношенных, на бродяг больше похожих, но не на строевых солдат вели под руки третьего по направлению к санчасти. Капитан Дубельт, скользя хромовыми сапогами по утоптанной, стекольно-

гладкой дорожке, спешил куда-то, посторонился, пропуская солдат, покачал головой и заскользил дальше, придерживая одной рукой все еще не обмененные очки, другой рукой взмахивая в воздухе, чтоб не впасть.

— Все, товарищ старший лейтенант. Написали мы. — Скорик вздрогнул. Еремей, аккуратно сложив две бумажки, тянул их через стол, угодливо, через силу улыбался. — Уработались! Аж спотели! — И все улыбался Еремей, все искал глазами глаза Скорика. — Непривышные мы к бумажной работе, нам вилы, лопаты да коня бы.

— Хорошо. Посидите. — Скорик пробежал по бумаге, с ошибками, неуверенным, школьным почерком исписанной, потянулся было к ручке, чтоб исправить совсем уж явные ошибки, и тут же отдернул руку: там, в высоких, строгих инстанциях, поймут, что писали малограмотные, несмышлениши еще, люди, не понимающие ни грозности времени, ни своего положения в нем, вчерашние школьники писали, деревенские люди, газет не читающие, никаких приказов не знающие. Может, проникнутся... — Распишитесь вот здесь, — ткнул пальцем старший лейтенант в бумагу ниже куцега, на четвертушке бумаги уместившегося текста.

Братья старательно расписались, сидели, праздно положив крупные жилистые руки, так не совпадающие с доверчивыми, простодушными лицами, подернутыми цыплячьим пушком. Скорик убрал бумагу в конверт, заклеил его, написал адрес военного округа, номер отдела, куда надлежало отправить этот конверт вместе с братьями. Они сидели, все так же чинно держа руки на коленях. Скорик вдруг бросил конверт, схватил через стол братьев Снегиревых, стиснул руками их головы, тыкался в их лица своим лицом.

— Что же вы наделали, Снегири?.. Ах, братья, братья! Ах, Снегири, Снегири!.. Ах...

Их приговорили к расстрелу. Через неделю, в воскресенье, чтобы не отрывать красноармейцев от занятий, не тратить зря полезное, боевое время, из Новосибирска письменно приказали выкопать могилу на густо населенном, сплошь свежими деревянными пирамидами заполненном кладбище, выделить вооруженное отделение для исполнения приговора, выстроить на показательный расстрел весь двадцать первый полк.

«Это уж слишком!» — зароптали в полку. Командир полка Геворк Азатян добился, чтобы могилу выкопали за кладбищем, на опушке леса, на расстрел вели только первый батальон — четыреста человек вполне достаточно для такого высокоидейного воспитательного мероприятия — и присылали бы особую команду из округа: мой-де служивые еще и по фанерным целям не научились стрелять, а тут надо в людей.

Братьев Снегиревых привезли в полк вечером и определили в помещение гауптвахты. Служивые из первой и второй рот, обуянные чувством братства и виноватости, пытались проникнуть к арестантам, погугарить с ними, развеять их тягостное настроение, чего съестного сунуть — табакком и выпивкой братья Снегиревы еще не баловались. Но охрана приехала исчужа, в новое одетая, орет, свирепо затворами винтовок клацает. Бойцы двадцать первого полка к этой поре обрели уже большой опыт пронырливости и непослушания. Пока великий мастер всевозможных обдувалок Леха Буддаков ругался с охранниками, заговаривал им зубы, ребята с другой стороны землянки выдавили рукавицей стекло, закатили в окно пяток вареных картошин, забросили завернутый в бумаге кусочек сала да и поговорили маленько с братьями: мол, спите спокойно, дурачат вас, никакого расстрела не будет, пострадают, помучают, а как же иначе-то? И пошлют в штрафную роту, как Зеленцова...

Скорик стоял чуть поодаль, среди командиров батальона и пред-

ставителей штаба полка. Сам батальон, построенный буквой «П» подле мерзлой учебной щели, строя не держал, разбивался на стайки, поплясывая, покуривая. Видно было, что ни командиры, ни батальон не прониклись чувством беды, потому и могилу наряд не выкопал, прошакалил, у костра прогрелся, слегка оцарапав стены щели, сдал ее в пользование все в той же уверенности, что братьев Снегиревых поддержат возле щели, холостыми пальнут да и отправят на фронт. Зачем же и за что убивать людей, да таких еще зеленых? От них может польза быть на войне и дома, в крестьянстве.

Был тут один человек, который твердо знал, что братьев пустят в расход, — это помкомвзвода Владимир Яшкин, но и чином и ростом он так мал, что ни Скорик, ни другие командиры не обращали на него внимания и тем более не догадывались ни о чем его спросить. Яшкин и топтался-то поодаль, в стороне, и одно-единственное чувство владело им: все равно не миновать братьям Снегиревым кары, не в том месте они находятся, не в то время живут, когда царь-батюшка миловал приговоренных к смерти государственных преступников уже на помосте, с петлями, надетыми на шею. А раз так, то скорее бы все и кончалось, шибко холодно на дворе, да и неможется что-то, знобит с вечера, не расхвораться бы. В этой большой могиле, беспечно именуемой Чертовой ямой, запросто пропадешь.

Яшкин повидал кое-что пострашнее, чем расстрел каких-то сопливых мальчишек. Под Вязьмой или под Юхновом — где упомнишь? — свалка по всему фронту шла, видел он выдвинувшуюся за неширокую, но глубокую пойменную речку танковую часть, которой надлежало обеспечить организованный отход и переправу через водную преграду отступающих частей, дать им возможность закрепиться на водном рубеже. Яшкин да и все отступающие войска очень обрадовались броневой силе, поверили, что наконец-то дадут настоящий бой фашисту, остановят его хотя бы на время, а то так с самого прибытия на фронт мечутся да прячутся, бегают по земле, стреляют куда-то вслепую. Танки, занимая позиции за речкой ночью, все сплошь завязли в пойме, и утром, когда налетела стая самолетов и начала прицельно бить и жечь беспомощные машины, командир полка или бригады со штабниками и придворной хеврой бросили своих людей вместе с гибнущими машинами, удрали за речку. Танки те заскребены были, собраны по фронту, большинство машин чинены-перечинены, со свежими сизыми швами сварки, с царапинами и выбоинами на броне, с хлябающими гусеницами, которые, буксуя в болотной жиже и в торфе, посваливались, две машины оставались и после ремонта с заклиненными башнями. Танкисты, через силу бодрясь, заверяли пехоту: зато мол, боекомплект полный, танк может быть использован как вкопанное в землю бронированное орудие.

Но с ними, с танкистами и с танками ихними, никто не хотел сражаться, их били, жгли с неба. Когда черным дымом застелило чахло заросшую пойму и в горящих машинах начал рваться этот самый полный боекомплект, вдоль речки понесло не только сажу и дым, но и крики заживо сгорающих людей. Часть уцелевших экипажей вместе с пехотой бросились через осеннюю речку вплавь. Многие утонули, а тех, что добрались до берега, разгневавшийся командир полка или бригады, одетый в новый черный комбинезон, расстреливал лично из пистолета, зло сверкая глазами, брызгая слюной. Пьяный до полу-смерти, он кричал: «Изменники! Суки! Трусые!» — и палил, палил, едва успевая менять обоймы, которые ему подсовывали холуи, тоже готовые праведно презирать и стрелять отступающих.

И вообще за речкой обнаружилось: тех, кто жаждал воевать не с фашистом-врагом, а со своими собратьями по фронту, гораздо больше, чем на противоположном берегу боеспособных людей.

Под покровом густого кислого дыма от горящего торфа и машин разбродно отступившим частям удалось закрепиться за речкой. Воло-



дя Яшкин из окопчика уже, выкопанного до колен, видел, как примчался к речке косячок легковых машин, как из одной машины почти на ходу выскочил коренастый человек в кожаном реглане, с прискоком, что-то крича, махая рукой, побежал к берегу речки, расстегивая кобурку. Он застрелил пьяного командира танкистов тут же, на месте. И с ходу же над речкой, на яру, чтобы видно всем было, сбили, скидали в строй остальных командиров в распоясанных гимнастерках с пятнами от с мясом выданных орденов и значков отличников боевой и политической подготовки. Этим расстреляли автоматчики из охраны командира, одетого в реглан. Успевшие попрятаться в пехотные щели танкисты, увидев, какая расправа чинится над предавшими их командирами, без понуканий оказались на другом берегу речки, чинили машины и под покровом ночи увели за водный рубеж, вкопали в берег три танка. Кажется, на сутки удалось возле речки обопнуть, приостановить противника, но потом, как обычно, оказалось, что их уже обошли, окружили и надо с этих гарью зятянутых, горелым мясом пропахших, свежими холмами могил помеченных заречных полей сниматься, военные позиции оставлять.

Знатоки сказывали, что командир танковой бригады, оказалось, все-таки бригады, так храбро воевавший со своими бойцами, был пристрелен командующим армией, который метался по фронту, пытаясь организовать оборону, заштопать многочисленные прорехи во всюду продырявленном фронте, уже на подступах к Москве имея приказание подчинять своей армии без руля и без ветрил отступающие части, и тут уж не щадил никто никого и ничего.

Повалявшись в госпиталях, пошивавшись на всевозможных пересылках, распределителях, послужив почти полгода в двадцать первом полку, Яшкин отчетливо понимал, что порядок в этой армии и дальше будет наводиться теми же испытанными способами, как и летом сорок первого года на фронте, иначе просто в этой армии не умеют, не способны, и что значат какие-то парнишки Снегиревы? Таких Снегиревых унесет военной бурей в бездну целые тучи, как пыль и прах во время смерча уносит в небеса.

Яшкин высморкался, потуже затянул пояс на просторной шинели и заприплясывал, застучал обувью вместе с бойцами первой роты, те, подгакивая друг друга, ворковали, сморкались, кашляли, даже и всхототнули. Есть еще, значит, у солдатиков бодрость в теле, прыть в душе, могут еще смеяться, тем тяжелее, тем страшнее им будет...

У Скорика поплясывали губы. Он беспрестанно тер потеющие руки, забыв перчатки в кармане, не чувствуя холода, и все время почему-то спадывала шапка с головы его, веселя командиров.

Стоял морозец градусов за двадцать. Солнечно было и ясно в миру, с сосен струилась белая пыль, вспыхивая искристо в воздухе. Радужно светящиеся нити с неба тянулись над лесами и в поле, вились над дорогой, соединялись в клубок и катились по зеркально сверкающей полознице.

— Лева, надень перчатки, — услышал Скорик голос младшего лейтенанта Щуся. — И спусти уши у шапки, ум отморозишь.

— Да, да, спасибо, Алексей. Что же они там? Холодно ж бойцам.

— Привычные. — Щусь понизил голос. — Лева, неужели этих пацанов расстреляют? Или опять комедия?..

— Не знаю, Алексей, не знаю. Случались чудеса во все времена...

И снова ожидание, толкотня, но уверенность в том, что все это томление может окончиться, как желалось бы сердцу, отчего-то слабела с каждой минутой. Тут еще воронье налетело из городка с помоек, шайкой закружилось над полянами, над учебным плацем, каркает, орет. Пойми вот, отчего веселится черная птица, возможно, и бесится, накликает беду.

— Едут, едут! — посыщались голоса.

Построение качнулось, зашевелилось, начало сбиваться в кучу, смешивая и вовсе нестрогий военный порядок, угодливо освобождая саням дорогу, люди тянули головы, переспрашивали тех, кто повыше, кто спереду, ближе к дороге: как?

— Батальон! Поротно стоять! — крикнул командир первого батальона Внуков, одетый в полушубок, обутий в валенки.

Подъехало три подводы. На передней, в кошевке командира полка, прикрытый полостью, сидел очкастый майор в длинной шубе. Очки у него от дыхания подернулись изморозью, он пытался глядеть сверху очков, и заметно было — ничего не видит, часто слепо моргает.

За кошевкой подкатили розвальни хозвзвода, спиной к головке сани на коленях стояли, плотно прижавшись друг к другу, братья Снегиревы, сверху прикинутые конской попоной, обутые в ботинки на босу ногу. Между штанами и раструбами незашнурованных ботинок виднелись грязные посиневшие щиколотки. Против братьев, тоже на коленях, стояли два бойца, держа на сгибах рук новые карабины не со съемными, а с отвернутыми на ствол штыками. На третьей подводе ехали еще три бойца с карабинами, во главе с лейтенантом, легко и ладно одетым в ватные брюки, в новые серые валенки, бушлат на нем был плотно подпоясан, сбоку, чуть оттянув ремень, висела кобура, из нее пугающе поблескивала истертая ручка многожды в употреблении бывавшего пистолета.

На ходу легко, как бы даже по-ухарски спрыгнув с подводы, лейтенант привычно, умело начал распорядиться. Для начала заглянул в земляную щель, поморщился, но тут же махнул рукой, сойдет и так, тренированно избегая взглядов командиров и сбитого в подобие строя батальона, лейтенант не обращал вроде бы никакого внимания ни на военный люд, ни на осужденных, указывал, кому куда идти, кому где стоять, кому что делать.

Минут через пять по велению лейтенанта все было слажено как полагается, братья Снегиревы стояли спиной к щели-могиле, на мерзло состыкшихся песчаных и глиняных комках. Песок пепельно рассыпался под ногами, братьям то и дело приходилось переступать, отыскивать ботинками более твердую опору. Лейтенант указал:

— Стоять! Спокойно стоять!

Слева и справа от братьев встали сопровождавшие их бойцы, все так же держа наизготовку на сгибах локтей карабины, строго и неприлично глядя перед собой. Затворы карабинов стояли на предохранителях, значит, в патронник заслан патрон, попробуй бежать — стрельнут.

За могилой, приставив карабины к ноге, отдаленно маячили хмурые приезжие стрелки.

Лейтенант осмотрелся, еще раз буркнул: «Стоять как положено!» — махнув рукой возле уха, доложил майору о готовности.

Майор выпростался из-под меховой полости, по-стариковски долго и неловко взбирался на дощаной облучок, взобравшись, начал тщательно протирать белым платочком очки, совал дужки очков под шапку, не попадая за уши, пальцем дослал их к переносице, обвел внимательным взглядом напряженно замерший строй. Пока он производил все эти действия личного характера, лейтенант отодвинулся в сторону, закурил папиросу, сразу сделался незаметным, как будто его и вовсе здесь не было, — давно работает мужик при какой-то карательной команде, приучен к строгому обиходу и дисциплине.

Батальон, правда, и не обращал на лейтенанта внимания, все, от вконец застывшего Петьки Мусикова и до командира батальона Внукова, не отрываясь смотрели на осужденных, готовые в любое мгновение помочь им, дать рукавицы, шапку, закурить ли, но никто не делал и не мог сделать к ним ни малейшего шагжа, и от этого было совсем неловко, совсем страшно. Ведь вот же, рядом же, совсем близ-

ко обреченно стоящие парнишки, наши, российские парнишки, братья не только по классу, но и по Богу завету, — так почему же они так недостижимо далеко, почему нельзя, невозможно им помочь? Да скажи бы сейчас, что все это наваждение, все это понарошке, весь батальон заорал бы, рассыпался бы по снежному полю, не глядя на мороз разулся, разделся бы, обул, одел, на руках унес бы этих бедных ребят в казарму и уж никогда бы, никогда никто бы...

Братья Снегиревы выглядели худо, лица у них даже и на висках ввалились, обнажив жестянки лбов, глаза у братьев увело вглубь, пригасило их голубое свечение, оба они сделались большеносы и большеухи, были они какого-то неуловимого цвета, тлевого, что ли, такого цвета и в природе нет, он не смывается, этот цвет, он стирается смертью. Готовя братьев к казни иль борясь со вшивостью, их еще раз остригли, уж не под ноль, а по-за ноль, обозначив на голове шишки, раздвоенные макушки, пологие завалы на темечках, белые скобочки шрамов, давних, детских, приобретенных в играх и драках. Вперед всего замечались эти непокрытые головы, на которые бусило снежной пылью, и пыль не то чтобы таяла, она куда-то тут же исчезала, кожей впитывалась, что ли. Совсем замерзли, совсем околели братья Снегиревы, уже простуженные в тюрьме иль в дороге. У Сереги текло из носу, он его натер докрасна. Не смея послушаться старшего команды, лейтенанта, стараясь ему изо всех сил угодить, надеясь, что послушание непременно им зачтется, осужденные стояли как полагается, не утирая даже руками носов, лишь украдкой подбирали языком натекающие на верхнюю губу светленькие, детские-резвые сопельки да часто шмыгали засаженными носами, не давая особо этим сопелькам разгуляться.

Осмотревшись, шире расставив ноги, чтоб не упасть, отстранив далеко от очков бумагу, майор начал зачитывать приговор. Тут уж Серега с Еремеем и носами швыркать перестали, чтоб не мешать майору при исполнении важного дела ничего не пропустить. Текст приговора был невелик, но вместителен, по нему выходило, что на сегодняшний день страшнее, чем дезертиры Снегиревы, опозорившие всю советскую Красную Армию, подорвавшие мощь самого могучего в мире советского государства, надругавшиеся над честью советского бойца, нет на свете.

— Однако ж, — буркнул командир батальона.

«Хана ребятам, хана», — окончательно порешил Яшкин. «Умело составлена бумага, ничего не скажешь, так бы умело еще воевать научиться», — морщился Скорик.

— Они че? — толкнул его в бок Щусь. — Они в самом деле расписут ребят?..

— Тихо ты... Подождем.

Чудовищные прегрешения и преступления этих двух совсем оконечивших парнишек самих их так ошеломили обвинительными словами, до того ударили, что у них перестало течь из носов, да еще каким-то, последним, видать, внутренним жаром опажнуло так, что на лбах у обоих заблестел пот, но, несмотря ни на что, они и батальон ждали: вот скоро, вот сейчас свершится то, чего они ждут. Сейчас, сейчас...

В ботинках стиснуло босые ноги, пальцы сделались бесчувственно стеклянными, братья же твердили себе, убеждали себя: «Потом отойдем, потом...»

Батальон, не переступая, не шевелясь, во все глаза глядел, всем слухом сосредоточился — вот скоро, сейчас вот пожилой, в общем-то, старенький уже, такой симпатичный майор еще раз протрет очки, водрузит их, покашляет, помурыжит народ и со вздохом облегчения: «...но движимая идеями гуманизма, учитывая малолетство преступников и примерное их поведение в мирное время, наша самая гуманная партия, руководимая и ведомая отцом и учителем к полной победе...»

Володя Яшкин, нареченный патриотическими родителями в честь бессмертного вождя, ничего уже не ждал и хотел одного: чтобы все-таки как можно скорее все кончилось. Кажется, и Скорик ничего не ждал, но пытался обмануть себя, да и все, пожалуй, кроме самих осужденных и зеленых красноармейцев вроде Коли Рындина, ожиданиям своим уже не верили, но очень хотели верить.

Майор и в самом деле протер очки, всадил их глубже на переносицу и тем же сохлым от мороза голосом дочитал:

— «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет немедленно приведен в исполнение».

Все равно никто не шевелился и после этих слов, все равно все еще чего-то ждали, но майор никаких более слов не произносил, он неторопливо заложил листок бумаги в красную тощую папочку, ту же и ту же затягивал на ней тесемки, как бы тоже потерявшись без дела или поражаясь тому, что дело так скоро закончилось. Одну тесемку он оборвал, поморщился, искал, куда ее девать, сунул в карман.

— Вот я говорил, я говорил! — вдруг закричал пронзительно Серега, повернувшись к брату Еремею. — Зачем ты меня обманывал? Зачем?!

Еремей слепо щупал пляшущей рукой в пространстве, братья уткнулись друг в друга, заплакали, брякаясь головами. Распоясанные гимнастерки, мешковато без ремней висящие штаны тряслись на них и спадали ниже, ниже, серебряная изморозь все оседала на них и все еще гасла на головах.

— Да что ты? Что ты? — хлопал по спине, поглаживал брата Еремей. — Оне холостыми, как в кинe... попугают... — Он искал глазами своих командиров, товарищей по службе, ловил их взгляд, требуя подтверждения своим надеждам: «Правда, товарищи, а?.. Братцы, правда?..» Но Еремей видел на всех лицах растерянность или отчуждение — относит его и брата, относит от этого берега, и ни весла, ни шеста, ни потеси нет, чтоб грестись к людной земле, и никто, никто руки не протягивает. «Да что ж это такое? Мы же все свои, мы же наши, мы же...»

«Неужели он и в самом деле не понимает? Неужели все еще верит?..» — смятенно думал не один Скорик, и Щусь думал, и бедный комроты Шапошников, совсем растерзанный своей виной перед смертниками, многие в батальоне так думали, по суетливости Еремея, по совершенно отчаянному, кричащему взгляду разумея: понимает старшой, все понимает — умный мужик, от умного мужика рожденный, он не давал брату Сереге совсем отчаяться, упасть на мерзлую землю в унижительной и бесполезной мольбе. Брат облегчал последние минуты брата — ах, какой мозговитый, какой разворотливый боец получился бы из Еремея, может, выжил бы и на войне, детей толковых нарожал...

Между тем трое стрелков обошли могилу, встали перед братьями, двое охранников подсоединились к ним, все делалось привычно, точно, без слов.

«Пятеро на двух безоружных огольцов!» — качал головой Володя Яшкин, и недоумевал Щусь, ходивший в штыковую на врага. Помкомвзвода видел под Вязьмой ополченцев, с палками, ломami, кирками и лопатами брошенных на врага добывать оружие, их из пулеметов секли, гусеницами давили. А тут такая бесстрашная сила на двух мальчишек!..

— Во как богато живем! Во как храбро воюем! — будто услышав Яшкина... отчетливо и громко сказал командир первого батальона Внуков. — Че вы мешкаете? Мясничайте, коли взялись...

— Приготовиться! — ничего не слыша и никого не видя, выполняющая свою работу, скомандовал пришлый, всем здесь чуждый, ненави-

димый лейтенант. Вынув пистолет из кобуры, он взвел его, поднял вверх.

— Дя-аденьки-ы-ы! Дя-аденьки-ы! — раздался вопль Сереги, и всех качнуло в сторону этого вопля. Кто-то даже переступил, готовый броситься на крик. Шапошников, не сознавая того, сделал даже шаг к обреченным братьям, точнее полшага, пробных еще, несмелых. Лейтенант-эксекUTOR, услышав или заметив это движение наметанным глазом, резко скомандовал: «Пли!»

И было до этого еще мгновение, было еще краткое время надеяться, обманывать себя, была еще вера в чудо, в пришествие кого-то и чего-то, способного избавить братьев от смерти, а красноармейцев и их командиров от все тяжелее наваливающегося чувства вины и понимания, что это навсегда, это уже непоправимо, но как взметнулася вверх рука с плотно припаявшимся к спуску крепким пальцем, закаменело в груди людей всякое чувство, всякое время остановилось, пространство опустело. «Все!» — стукнулось тупой твердью в грудь, рассыпаясь на какие-то тошнотные пузырьки, покатилося в сердце, засадило его той удушливой слизью, которая не пропускала не только дыхание, но даже и ощущение боли. Только непродыхаемое мокро сперлось, запечаталось в груди.

И был еще краткий миг, когда в строю батальона и по-за строем увидели, как Еремей решительно заступил своего брата, приняв в грудь почти всю разящую силу залпа. Его швырнуло спиной поперек мерзлой щели, он выгнулся всем телом, нацарапал в горсть земли и тут же, сломившись в пояснице, сверкнув оголившимся впалым животом, вяло стек вниз головою в глубь щели. Брат его Сергей еще был жив, хватался руками за мерзлые комки, царапал их, плывя вместе со стылым песком вниз, шевелил ртом, из которого толчками выбуривала кровь, все еще пытаясь до кого-то докричаться. Но его неумолимо сносило в земную бездну, он ногами, с одной из которых свалился ботинок, коснулся тела брата, оперся о него, взял себя, чтоб выбиться наверх, к солнцу, все так же ярко сияющему, золотую пыльцу изморози сыплющему. Но глаза его, на вскрике выдавившиеся из орбит, начало затягивать пленкой, рот свело зевотой, руки унялись, и только пальцы никак не могли успокоиться, все чего-то щупали, все кого-то искали...

Лейтенант решительно шагнул к щели, столкнул Серегу с бровки вниз. Убитый скомканно упал на старшего брата, прильнул к нему. Лейтенант два раза выстрелил в щель, спустил затвор пистолета и начал вкладывать его в кобуру.

— Отдел-ление-э! — властно крикнул он стрелкам, направляясь к саням.

Заметив ботинок, спавший с Сереги, вернулся, соннул его в могилу.

— Мерзавец! — четко прозвучало вослед ему, но лейтенант на это никак не отреагировал.

Кружилось над поляной и орало воронье, спугнутое залпом, спешно улетающее в глубь сосняка. Отделился от роты и как-то бочком, мелким шажком семенил к лесу помкомвзвода Яшкин. «А ты куда? — хотел остановить его Щусь. — Кто взвод поведет? — И увидел, как следом за Яшкиным к лесу, скользя на ходу, придерживая шапку, спешил Лева Скорик. — И этот смывается! — раздражился Щусь. — Выполнил боевую задачу, доклад пошел писать о блестяще проделанной работе...»

— Убийцы!

Костлявый, ободранный, с помороженными щеками человек, отчетливо схожий ростом, статью да, наверное, и голосом с незабвенным заступником за всех бедных и обиженных, всевечным рыцарем Дон Кихотом. Вместо таза на голове его был островерхий буденновский шлем с едва багровеющей звездой на лбу, наглухо застегнутый на

подбородке, толсто обмерзший мокротой, копыя вот не было и Санчо Пансы не было.

— Убийцы!

Вздвев руки к небу с голыми, красными, куриной кожей покрывшимися запысьями, сотрясался и сотрясал воздух нелепый человек в нелепой одежде. Батальон, не дожидаясь команды, рассыпался, разбежались ребята от свежей могилы. Их рвало. Коля Рындин, такой же большой и нелепый, как Васконян, рокотал между наплывами рвоты, шлепая грязным слюнявым ртом:

— Бога!.. Бога!.. Он покарат! Покарат!.. В геенну!.. Прокляты и убиты... Прокляты и убиты! Все, все-э...

— Убийцы!

— Кончай блажить! — крикнул на Васконяна Щусь. — Шагом марш в казарму!

Васконян послушался, запереставлял ноги в сторону леса. Но все так же сотрясал руками над головой и все так же поросычьи-зарезанно вопил: «Убийцы!»

«Все, с катушек, видно, съехал один мой боец!» — не успел это подумать младший лейтенант, как услышал плач казахов, сбившихся вокруг Талгата.

— Малчик, сапсем малчик убили... — уткнувшись в грудь своего старшего, тряслись казашата. — Мы картошкам воровали...

Талгат глядел в небо, задирал голову выше, чтобы не видно было лица, он не вытирал слез, он ожесточенно бил себя по оскаленному рту, перекатывая звуки:

— О Алла! О Алла! О Алла!

Ребята-красноармейцы, и казахи и русские, совсем оробели, глядя на Талгата, потерянно жались друг к дружке.

— Товарищи командиры, что это? Что за спектакль? Наведите порядок! Прикажите закопать расстрелянных, уводите людей в расположение.

— Мы уж как-нибудь без ваших советов тут обойдемся, — подал голос командир первого батальона Внуков.

— Я вынужден буду... — отвердел лицом майор.

— Жене своей не забудьте доложить, как тут детей расстреливали...

— Шапошников! Прикажите закапывать! Лопаты-то хоть не забыли?

От батальона отделилась команда, человек семь с лопатами, и торопливо, словно избывая вину, желая выслужиться перед братьями Снегиревыми, начала грести на них мерзлые комки, песок со снегом.

— Чего не уезжаете-то? — все не глядя на майора, буркнул комбат. — Закопаем. Не вылезут...

— Ну знаете, — развел руками майор и начал устраиваться в кошевке, — у всякого своя работа. Мой долг...

— Харитоненко! — чувствуя, что комбат заводится (красноармейцы уши наострили, и до беды недалеко), перебил разгорающуюся полемику представитель из штаба полка, так как Азатыян сказался большим. — Давай! Давай! — скомандовал он коновозчику и, чтобы потрафить настроению людей или от собственной дерзости, добавил: — Да не растряси ценный кадр!

Майор сделал вид, что ничего более не слышит, уткнул лицо в шинель, зарылся носом в шарф, соединил плотнее ноги под полостью, коротко вздохнул: «Эх народ, народ, ничего-то не хочет ни понимать, ни ценить!..» — и попробовал думать дальше про жизнь, про судьбу свою, про ответственную, но неблагодарную работу, однако скоро задремал, согрешившись в удобной покачивающейся кошевке, под цоканье копыт лошадей, под музыкально звучащие полозья кошевки о братьях Снегиревых, о только что проделанной работе он сразу же забыл.

Командир двадцать первого стрелкового полка Геворк Азатьян своей властью отменил на понедельник все занятия и работы.

В казармах было сумрачно, прело и еще более уныло. Нехорошей тишиной объята казарма: никто не шастал по расположению, не орала дежурные, не маячил старшина, не показывались из землянок командиры. Дымилась лишь кухня трубою, да и то истомленно, изморно дымилась.

В землянке лейтенанта Шапошникова, ожидавшего суда и разжалования, молча пили горькую и не хмелели командиры первого батальона. К ним подсоединились обитатели соседних землянок. Ночью уже глухой, напившийся до бесчувствия Щусь рвался к штабу полка и кричал:

— Ах армяшка! Ах отец родной! Стравил ребятишек! Стравил! И под койку!.. Я те, блядина, глаз выблю!..

Никуда его не пустили.

В своей комнате, украшенной портретами Ленина и Сталина, одиноко пил старший лейтенант Скорик. Он знал, что командиры полка где-то пьют, горюют, ему хотелось к ним, да как пойдешь-то, ведь морду набьют, чего доброго, и пристрелят.

Бойцам-красноармейцам пить было негде, не на что и нечего. Горежали всяк поодиночке, завалившись на нары, закрывшись шинелью. Лишь старообрядцы объединились. Нарисовали карандашом на бумажке крест и лик богоматери — на него и молились за оружейной пирамидой. Коля Рындин чего-то божественное бубнил, несколько парней, стоя на коленях, все за ним повторяли. Ребята, свесившиеся с нар, боязно слушали, никто не смеялся, не галился над божьими людьми.

Старшина Шпатор подошел к молящимся, шепотом попросил их перейти в помещение дежурки. Старообрядцы послушно отлепили бумажку от пирамиды, перешли в дежурку и всю ночь простояли на коленях, замаливая человеческие грехи.

«Боже духов и всякие плоти, смерть поправший и диавол упразднивший, и живот миру твоему даровавший, Сам Господи упокой души усопших раб Твоих, Еремея и Сергея, в месте светлом, в месте злчном, в месте покойном отнюдуже, от боже болезни, печаль и воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими делом, или словом, или промышленiem, яко Благий человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет, а не согрешит. Ты бо един кроме греха, правда Твоя, правда вовеки, и слово Твое истинно. Яко Ты еси воскресение, и живот, и покой усопших раб Твоих, Еремея и Сергея, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим отцом и пресвятым, благим и животворящим Твоим духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Помяни, Господи, новопреставленных рабов Божих Еремея и Сергея и подари им царствие небесное».

Уважая веру и страдание за убиенных, даже Петька Мусиков не нагличал в этот день. Иные красноармейцы потихоньку незаметно крестились. И старшина Шпатор, забывший все мирские буйства, все окаянство жизни, пробовал молиться, хотел воскресить в себе божеское, крестясь в своей каптерке. Получалось это у него неуклюже, да вроде бы и опасно.

— Че ты, Аким Агафонович? — спросил из-за печки Володя Яшкин.

— Ничего. Про все вот забыл. Пытаюсь покреститься, ан не вспомню ни креста, ни молитвы. А ты?

— А я и не умел. У меня родители комсомольцы-добровольцы, атеисты-активисты.

— Где они?

— Да х... их знает. Все по стране мотались, по стройкам. Все лозунги орала, песенки попевали. А я у бабушки рос — тоже каторжника и матершинница. Лупила меня, когда и поленом.

— Да-а, живем!

— Ты не переживай, Аким Агафонович. И не молись. Нету бога. Илья не слышит он нас. Отвернулся. — Яшкин притих за печкой, ровно бы для себя начал рассказывать про фронт, про отступление и в заключение молвил: — Был бы бог, разве допустил бы такое?

Выползши из-за печки, Яшкин подбросил дров в железку и, забывшись, стоял на коленях перед дверцей. Какие видения, какие воспоминания томили и мучали его душу?

«Хоть бы никто не пришел. Мельникова бы черти не принесли», — вздохнул Шпатор и пошарил щепотью сложенными пальцами по груди. И только подумал он так, дверь в каптерку распахнулась и, хлопываясь, ударила в зад вошедшего комиссара, неусыпно трудящегося на ниве воспитания и поддержания боевого духа в подразделениях двадцать первого стрелкового полка. «Накликал, кликал окаянство», — загоревал старшина Шпатор.

— Что у вас здесь творится? — щупая зад, зашипел капитан.

— Солдаты об убиенных молятся. Верующие которые.

— И вы... И вы... позволили?

— А на веру позволения не спрашивают... даже у старшины. Дело это богово.

— Н-ну знаете! Н-ну знаете!

— Ничего я не знаю, не дано. Пусть молятся. Не мешайте им.

— Я немедленно прекращу это безобразие.

— И сделаешь еще одну глупость. Десяток солдат молятся. Батальон их слышит. Вас вот не слышат. Спят на политзанятиях. А тут вон молитвы какие долгие помнят, оттого помнят, что к добру, к милости молитвы зывают, а у вас — борьба... Вечная борьба. С кем, с чем борьба-то?

Капитан Мельников начал оплывать, на нем, как на взъерошенном петухе, стали оседать и укладываться перья.

— Но в нашей армии нельзя, недопустимо!

— Кто вам это сказал? Где это записано? — подал голос из-за печки Володя Яшкин. Он сидел там как за бровкой окопа в засаде, трофейным складничком перевертывал на печке пластики картошки.

— Они что, и на фронте будут молиться? — будто не слыша Яшкина, пошел в наступление комиссар.

— Если успеют, — валяя горячую картошку во рту, не унимался Володя Яшкин, — непременно взмолятся. Там раненые боженьку да маменьку кличут. Но не политрука. И мертвенькие сплошь с крестиками лежат. Перед сражением в партию запишутся, в сраженье крестик надевают...

— Интересно, где это они их берут? — усмехнулся капитан Мельников.

— Научились в котелках из пуль отливать, из консервных банок вырезать. Коли уж русский солдат умел суп из топора варить...

— То-то воюют с богом и крестом так здорово, аж до Волги.

— Еще и с непобедимым знаменем красным, со звездой и...

— Неприятностей-то не боитесь? — все строжась, предостерег Мельников, не желая больше слушать этих двоих из ума выживших тыловигов. Заменить бы их надо, а некем. Совсем редко в полку появляются люди из кадровой армии — полегли, видно, да в плен угондили.

— Чего их бояться? На передовой, товарищ капитан, одни только неприятности и происходят. — Яшкин поскоблил ножом по печке и снес в рот рыжую картофельную скорлупу, захрустел ею.

— Я не про те неприятности.

— А-а, вон вы на что намекиваете. — Яшкин приподнял кончиком ножа задымившийся пластик картошки. — Есть, есть. И там. На каждого воюющего по два-три воспитателя, так у нас вежливо стучачей называют. В атаку идти некому. Все воспитывают, бдят, судят и как можно дальше от окопов это полезное дело производят.



— Как вы можете? Бывший фронтовик!

— Потому и могу, что уже ничего не страшно после того, что там повидал. Да и под пули опять мне же, потому как вояки вроде вас уже выпрямили линию фронта, дальше некуда выпрямлять.

— Яшкин, прекрати, — зыкнул старшина Шпатор и обратился к Мельникову: — Идите, товарищ капитан. Ступайте любить Родину и народ в своем кабинете. Здесь вы сегодня не к месту... Идите, идите. Мы вас не видели, вы нас не слышали. С богом, с богом!..

«Ему бы на фронт, к людям, пообтесался бы, щей окопных похлебать, землю помесить да покопать. Сколько же он голов позамутит, сколько слов попусту изведет», — думали старшина Шпатор и старший сержант Яшкин. И маялись они душевно, не себя, не ребят в казарме жалеючи, а капитана Мельникова, который столько еще пусто-порожней работы сделает, веря, может, и не веря в слово свое, в передовое учение, зовущее в борьбу, в сражение, считая это слово важнее любого сражения.

В дежурке все рокотал, все жаловался голос Коли Рындина, и единым вздохом, нараспев повторяли и повторяли за ним складные молитвы единоверцы:

— Боже милостивый! Боже правый! Научи нас страдать, надеяться и прощать врагам нашим...

«Да-а, эти, пожалуй, устоят. При всех невзгодах и напастях устоят», — подумал старшина Шпатор и плотно закрыл глаза. Володя Яшкин, напившись из бутылки лекарственного настоя, все ждал, когда пройдет нытьё в боку и скулеж в сердце — разбередил его, разбередил этот тупой, глупый иль очень ловкий и хитрый обормот, спасающийся в тылу посредством передового идейного слова.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Землянку Щуся снова посетил Скорик. Поздоровался, разделся, подошел к столу, выставил из портфеля две бутылки водки, булку хлеба, достал селедки, завернутые в пергамент, и половину вареной рыбы.

— Вот,— сказал он, оглядывая стол.— Не люблю оставаться должником. Нож, газету, вилки давай.

— Газеты и вилки нету. Нож на,— откликнулся Щусь, наблюдая за гостем отстраненно и встревоженно.

— Садись, Алексей, садись. Я на весь вечер затесался. И прогнать ты меня не посмеешь, бо имею новости. Важнецкие. Терпи и жди.— Скорик налил в кружку водки, посидел и спросил вдруг: — Ты креститься умеешь? Не разучился?

— Если поднатужиться... У меня тетка была...

— Из монашек,— подхватил гость,— давай креститься вместе.— Скорик сложил в щепоть пальцы и медленно, ученически аккуратно приложил пальцы ко лбу, к животу, плечам. Щусь, смущаясь и кривя недоуменно губы, сделал то же самое.— Царство небесное невинным душам братьям Снегиревым, не успевшим пожить на этом свете, твоей тетушке, отцу и матери. Царство небесное.

Как бы не обращая более внимания на озадаченного хозяина землянки, Скорик трудно выпил водку, всю, до капли, сделал громкий выдох, посидел с закрытыми глазами, подняв лицо к потолку.

— Ах ты, разахты! — встряхнулся он и отщипнул вареной рыбы. Пожевал без всякой охоты.— А помогли нам несчастные Снегири, помогли! И тебе и мне.

— Как?.. Чего городишь?

— Все, Алексей Донатович, все! Мой рапорт удовлетворен, в округ вызывают, замена движется, более качественная. Особняк как особняк, а что я? Сын гнилого интеллигента, пауков любившего... Н-на

фронт, на фронт. В любом качестве. А ты, дважды однополчанин мой, судя по всему, со своей ротой...

— Быть не может! А Геворк? Азатьян?

— Про него не знаю. Но командир первого батальона, первой и второй рот, как не оправдавший доверия...

— Какого доверия? Ты че?

— Родной партии, родного народа.

— А, оправдаем еще, оправдаем.

— Знаю я, знаю все, даже про тетку твою.

— Этого хотя бы не трогай. Но раз все знаешь, жива она или нет?

— Вот этого как раз не знаю, но думаю, не жива. Из тех краев не возвращаются.

— Но она — святая.

— Места-то окаянные. Ну, если тебе так хочется думать, думай, что жива. Я ж думаю про маму... — Скорик потер обеими руками лоб, словно омыл его. — Ладно, на минор не сворачивай, не за тем я пришел. Налей-ка вина хмельного. Разговор будет долгий...

Поздней ночью, обнявшись, шли они по расположению двадцать первого полка, на окрик часовых и патрулей в два горла откликались:

— Свои! Че те вылезло?!

Они уже ничего не боялись.

Прощаясь возле штабного дома, Щусь долго тряс руку Скорика, растроганно бормотал:

— Ну, спасибо, Лева! Вот спасибо! Вот ребята-то... Вот обрадуются. А им нужно, нужно перед фронтом подкрепиться, в себя прийти. Вот спасибо, вот...

Скорик сообщил «тайну»: сразу после Нового года в Советской Армии введут погоны и реабилитируют народных и царских времен полководцев. Первый же батальон по распоряжению свыше будет брошен на хлебоуборку и останется в совхозах и колхозах до отправления на фронт. Там, на этих небывалых работах — на зимнем обмолоте хлеба, — уже находится вторая, проштрафившаяся рота. В управлении военного округа боятся, что представители действующих армий не примут истощенных, полубольных бойцов из резерва, а это трибунал, стенка — Верховный же сказал на торжественном собрании в Кремле: «У нас еще никогда не было такого надежного и крепкого тыла» — и не потерпит, чтобы его слова не оправдались, вот и нашелся выход из положения.

Щусь благодарил Скорика, тряс его руку. Тот добродушно отталкивал младшего лейтенанта:

— Да я-то при чем? Порадело руководство, самое мудрое, самое находчивое, самое любимое, самое, самое... Да ну тебя, Алексей! Не туда лезешь целоваться! Дуй-ка лучше в заветную землянку. Удачи тебе! И до встречи там где-нибудь, на войне...

Дивное диво! Уборка хлеба среди зимы. Воистину все перевернулось в этом мире. Не зря, не зря переворот был, не зря Господь отвернулся и от этих землю русскую населяющих людей, от земли этой, неизвестно почему и перед кем провинившейся. А виновата-то она лишь в долготерпении. От стыда и гнева за чад, ее населяющих, от измывательства над нею, от раздоров свар, братоубийства пора бы ей брыкнуться, как заезженной лошади, сбросить седока с трудовой, седлами потертой, надсаженной спины.

Она и сейчас ровная, пространственно-тихая, в чем-то виноватая, девственно-чистая, после спертого, гнилого духа казармы сахарно-сладким воздухом наполненная, сияла из края из края белыми снегами, переливалась искрами, и веяло от нее покоем, отстраненностью от мирской суеты, от всех бед, стенаний и горя. Губами чмокали казахи: «Степ! Наш степ! Шыстый-шыстый!» Ребята черпали снег грязными

рукавицами, пробовали его на язык, когда подана была команда на остановку, вдруг наступило замешательство, не могли они запаковать белый снег, возле казармы могли, но здесь... Нашли наконец рытвину, выбитую трактором, отлили в нее да и загребли валенками желтые пятна.

3 января 1943 года солдатам двадцать первого полка после торжественного митинга на плацу выдали погоны и велели пришивать их к тлевым гимнастеркам, пропотелым, грязным шинелям, сукно которых не протыкалось, ломались об него иголки. Никто почему-то не удивлялся, никто не говорил, что вот-де кляли царских белопогонников, внушали к ним отвращение, ненависть, а ныне налепляли на плечи этакую проклятую пакость.

Никакие слова, беседы, наставления комиссарского сословия на этих ребят уже не действовали. И реабилитация Суворова, Кутузова, Ушакова и Нахимова не вдохновляла их. Ладно хоть не к голому телу, не к коже велено было пришивать погоны. Мрачно шутили: теплее, мол, с погонами-то будет, если на выкатку леса иль на заготовку дров пошлют — не так сильно давить плечо будет, какая-никакая подкладка.

Иглой орудовали неумело, многие — неохотно. Старый вояка старшина Шпатор всем сноровисто помогал, потом утомился, из себя вышел, орать принялся:

— Где вы росли, папаш? Чему вас учили, папаш? Ты у меня еще одну иголку сломай, так до окончания жизни будешь меня поминать, папаш!

Все осталось позади: и казарма, и старшина вместе с нею, и до осатанения обрыдлый полк с его порядками, рожам и муштрой, визгуна Яшкина в окружной госпиталь лечиться направили. Все, все уже за холмами. Ехали поездом до станции Искитим. Спали, угревшись, ничего и никого не видели. Куда едут, зачем едут, никто никому не объяснял, все та же военная тайна, все тот же секрет, люто охраняемый целой армией дармоедов, хитро, как им кажется, укрывающихся от окопов войны.

Но вышли в поле, Щусь передал по «цепи»: направляются на хлебаготовки в совхоз имени товарища Ворошилова, можно не торопиться, курить, не придерживать строя и вообще забыть про казарму, вечером во втором отделении совхоза ждет всех сюрприз...

Щусь видел, Щусь чувствовал, как отходит на воле, млеет душой его войско. Только Петька Мусиков, засунувший руки в рукава шинеленки, рукавицы у него куда-то делись, да равнодушный к природе Васконян волоклись вдаль от народа. Петька частил ногами, Васконян, втянув голову в ворот шинели, наклоняясь, будто в молитве, тащился, далеко отстав от товарищей, приободрившихся, оживленно переговаривающихся, отхаркивающих, выбивших из себя казарменную грязь и сажу от жировых светильников, выветривая стадную вонь.

Внезапно впереди сверкнуло и разлилось без волн, без морщин, без какого-либо даже самого малого движения и дыхания желтое беззвучное море. Скорбное молчание сковало это студеное затяжелевшее пространство. Сжалось у всех сердце, замедлился шаг — боже, боже, что это такое? Неужто хлебное поле, неужто со школы оплakanная несжатая полоса въяве? Смолкли, онемели, остановились. Шелестит немое поле, никаких звуков живых, никакого живого духа, одно шелестение, один предсмертный немощный выдох сломавшихся соломинок, по которым струится снежная пыль.

От толпы отделилась долговязая, неуклюжая фигура, глубоко проваливаясь в снегу наметенном меж смешанных сломанных стеблей, громко кашляя, забрел Коля Рындин в это мертвым сном наполненное море.

— Господи! Хлеб! — Коля Рындин хватал пальцами, мял вывет-

ренные колоски, сдавливал их ладонями, пытаясь найти в них хоть зернышко, но море было не только беззвучно, оно было пустое, без зерен, без жизни, оно отшумело, отволновалось, перезрело и осыпалось — всему свой срок и время всякому делу под небесами, время не только собирать и разбрасывать камни, но и время сеять и собирать зерна!

Коля Рындин взлаивал, углубляясь и углубляясь в спутанную гущу пустых желтых хлебов, быть может, впервые ощутив до самого края, до самой глубины всю гибельность того, что зовется войной. Перестоялые, перемерзлые стебли хлебов хрустели под его тяжелыми ботинками, крошились останки колосьев в его могучих, грубых руках — ни зернышка, ни следочка, все брошено, все устало от ненужности, бездолья, покинутости своей.

— Да что же это делается? Хлеба не убраны! Господи! Да как же так? Зачем тогда все? Зачем?

— Война, — раздалось с дороги.

Роту, двигавшуюся в совхоз, догнал в кошевке пожилой человек, который тут же представился директором совхоза Тебенковым Иваном Ивановичем. Из-за поворота, скрипя санями, подбежали, громко фыркая, еще две лошади, впряженные в дровни, набитые соломой.

— Этих двух ко мне в кошевку, — показал на Петьку Мусикова и Васконяна директор. — Кто подмерз в ботиночках, в лопотине этой аховой — в дровни. Остальным — шире шаг. В столовой суп и каша — пицца наша, в деревне бани топятся... Девки окна носами выдавили — кавалеров выглядывают. Да кавалеры-то... Ох-хо-хо-о-о-о. А тот, — махнул он в поле, по которому все брел, все искал зерно Коля Рындин, — крестьянин, видать? Э-эй! Товарищ боец! Идите суда! Иди! Поехали, милай! Поехали! Хлеб не воскресишь. Слезьми нашу землю не омоешь. Больно широка.

Иван Иванович увез Колю Рындина, Васконяна и Петьку Мусикова. С десятков ослабевших и подмерзших бойцов расселись в дровни. Две молчаливых, еще молодых бабы, укутанных в шерстяные шали с таким расчетом, чтоб из-под них было видно нарядные платки и любопытные глаза, решили было поиграть с пассажирами, одна надела бойцу плечом, боец снопом свалился из саней в снег. Вздывая его, отряхивая, устраивая в сани, бабенка жалостно всхлипнула:

— Вот и моего Гришаньку эдак же ухайдакали где-нибудь...

Хотя прошли ребята до второго отделения совхоза имени товарища Ворошилова двадцать три километра, надышались свежего морозного воздуху до головокружения, все же хватило еще духу перед деревней Осипово строй изладить, песню взатануть, пусть и на пределе сил. Не надо было и команду пять раз подавать, до надсады в горле призывать грянуть покрепче, лишь показались дома отделения совхоза, огрузшие в крутые, к вечеру посиневшие курганы снега, над которыми ровно и тихо струились дымки, небо достающие, тоже синее, лишь крикнул младший лейтенант Щусь: «Бабенко!» — как тут же зазвенело: «Чайка смело пролетела над седой волной» — и хрястнула дорога под ногами воспрянувших бойцов, и загромыхали стоптанные солдатские ботинки, взвизгнула придавленной зверушкой железно укутанная полозница, и в самом деле расплющили носы обоюшки местные девчонки, за которыми бледно гляделись сивые бороды дедов и белые платочки бабок.

Ну-ка, чайка, отвечай-ка,  
Друг ты или нет?  
Ты возьми-ка, отнеси-ка  
Милому прив-ве-эт!

Ошарашивал, сотрясал усопшую в снегах деревню Осипово армейский строй, обещая ей взбудораженные, развеселые дни и всяческое жизнепробуждение.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вблизи степь не выглядела так сказочно красиво, как с первого, мимоходного пригляда. Да, там, возле мглистого березового колка, где из белой мякоти выпутывалось заспанное солнце, золотело, пробужденно отливало, сверкало под солнцем, волнами перекатывалось бесконечное желтое поле. Но возле покинуто стоящих комбайнов, завязившихся в снегу, в смятой кошенине, все было в лишайных проплешинах, все прибито, разворошено, от всего веяло тленом, и комбайны походили на допотопных животных, которые брели, брели по сниклым хлебным волнам, но нет нигде берегов, нет на земле никакой пристани, никуда им не добрести, и остановились они, удрученно опустив хоботы.

Хлебное поле, недокошенное, недоубранное, долго сопротивлялось ветру и холоду, ждало своего сеятеля и пахаря до снегов. Ветер делался все пронзительней, все злее, безжалостно трепал он нескошен-ные стебли с поникшими колосьями, и заваяло занозистой остью в воздухе, серой пылью покрыло пашенное пространство, заструилось из колосьев зерно на стылую землю. Однажды налетел вихрь с дождем, со снегом, доделал гибельную работу, опустошил хлебные колосья, покрыл подножья стеблей мокрым снегом, захоронил под ними плотно слипшееся зерно, растрепал, пригнул, спутал меж собой облегченные стебли. Соломинки, что посуше, хрупко сломались, что погибче, полегли возле дороги вразнохлест, каждая сломанная трубочка стебля, налитая дождем, держала в узеньком отверстии застывшую каплю, и словно бы тлели день и ночь поминальные свечи над усопшим хлебным полем, уже отплакавшим слезами зерен. Бисерные, негасимые огонечки, сольясь вместе, сияли тихим, божьим светом из края в край, и совсем почти не слышный стеклянный шелест, невнятный звон землеумирания звучал над полем прощальным молитвенным стоном.

О, поле, поле, хлебное поле, самое дивное творение человеческих рук! Тысячи, может быть, миллионы лет прошло, прежде чем нашла себе щелку на берегу моря-океана, комочек остывшей лавы меж скал и пронзила его корешком живая травинка на планете, все еще с высот сорящей пеплом, охваченной огнем и дымом на грозно опаленных вершинах.

И еще много, много лет и зим минуло, покуда вырастила травинка в пазушке стебелька махонькое зернышко, а из него возникло невиданное творение природы: хлебный. рисовый. майсовый колосок или кукурузный початок. Будут еще и еще произрастать под солнцем плоды земные, и кусты бобов, и клубни картофеля, и кисточки проса, и хлебное дерево, и всякие другие чудеса. Но колосок, сам по себе являющий такую красоту, такое совершенство природы, матери-земле удалось сотворить только раз. Извергнувшись огнем и смерчем, приуготавливаясь к жизни, природа должна была сотворить чудо, и она сотворила его, выполнив предназначение судьбы, веление Бога, для жизни на земле. Будет еще и пламень, ее изжигающий, и лед, ее сковывающий, и смерч, ее разметающий. Но снова и снова воскресало на ней не смытое морской волной, диким камнем не раздавленное, холодом не умертвленное зернышко. Цеплялось корешком за сушу, исторгалось оно долгожданным колоском, чтобы кормить тех, кто возникнет на земле и прозреет для жизни. Она, пшеница, была невзрачная и звалась полбой.

Много раз пройдет по кругу своему Земля, много раз повернется боком к живительному солнцу, покуда с четверенек восставшее существо под названием человек, размножаясь и расселяясь по земле в поисках хлеба насущного, наткнется на тот колосок, выделит его из многочисленных уже трав и растений, разотрет клыками и почувствует в малом зернышке такое могущество, которое способно вскор-

мить не только род человеческий, но и скот, и птиц, и малых зверушек. Однажды, зажав в когтистой темной горсти зернышко земного злака, человек попытается понять его назначение. Глядя на осypающиеся пылинки трав, на кружащиеся в воздухе крылатые семена, на прорастающее новой травой, новым колосом с наливающимися в нем зернами растение, человек поковыряет сучком землю, высыплет из горсти в черную ранку дикий злак.

И восстанет перед двуногим существом маленькое поле колосьев. И с того околышка-пашни начнет совершаться по планете под названием Земля победное шествие пшеничного, просяного, ржаного, рисового семечка и многих-многих растений, не дошедших до нас из утренних времен Земли. Организуясь в хлебное поле, прорастающее зернами ржи, овса, ячменя, риса, кукурузы, гречки, неряшливо-хламная, где болотистая, где огнем оплавленная планета начнет приобретать обжитой, домашний вид, росточком прикрепит человека к земле, а каждый год спелыми хлебами шумящая пашня наградит его непобедимой любовью к хлебному полю, ко всякому земному растению, ко всякой живой душе. Пробудит в нем потребность перенять из природы звуки, превратить их в музыку, зачерпнуть краски земные и небесные и перенести на доску, на камень, вы ткать узоры на холсте — так создавалась душа человеческая.

Творя хлебное поле, человек сотворил самого себя.

Век за веком, склонившись над землей, хлебороб вел свою борозду, думал свою думу о земле, о Боге, тем временем воспрянул на земле стыда не знающий дармод, рядясь в рыцарские доспехи, в религиозные сутаны, в мундиры гвардейцев, в шеломы конфедератов, в кожаные куртки комиссаров, прикрываясь то крестом, то дьявольским знаком, дармод ловчился отнять у крестьянина главное его достояние — хлеб. Какую наглость, какое бесстыдство надо иметь, чтобы отрывать крестьянина от плуга, плевать в руку, дающую хлеб. Крестьянам сказать бы: «Хочешь хлеба — иди и сей», да замутился их разум, осатанели и они, уйдя вослед за галифастыми пьяными комиссарами от земли в расхристанные банды, к веселой, шепутой жизни, присоединились ко всеобщему равноправному хору бездельников, орущих о мировом пролетарском равенстве и счастье.

Выродок из выродков, вылупившийся из семьи чужеродных шляпников и цареубийц, до второго распятия Бога и детоубийства дошедший, будучи наказан Господом за тяжкие грехи бесплодием, мстя за это всему миру, принес бесплодие самой рожалой земле русской, погасил смиренность в сознании самого добродушного народа, оставив за собой тучи болтливых лодырей, не понимающих, что такое труд, что за ценность каждая человеческая жизнь, что за бесценное создание хлебное поле.

Какой же излом, какое уродство, какие извращения, какие чудовищные изменения произошли в человеческом сознании, когда пахарь и сеятель начал терять уважение к хлебному полю, перестал ему молиться, почитать его, дошел до того, что начал предавать его огню, той самой силе, которая до него не раз уже разрывала и испепеляла земную плоть.

Начавши завоевательный поход, степняки-кочевники, дикие и полудикие племена, пускали вперед себя пал, двигались, укрытые дымными тучами, вослед ревущему, все пожирающему огню.

И все современные походы, все современные революции, затеянные провозглашателями передовых идей, начаты с того же, с чего начинали войны полудикие косматые орды, — с огня, уничтожающего труд человеческий. На Руси великой всякого рода борцы за правду и свободу, унижая историю и разум человеческий, называли это дело с издевкой — пустить петуха. Революция и революционеры загли русскую землю со всех сторон, и до сих пор она горит с запада на восток, и нет силы у ослабевшего народа погасить тот дикий огонь,

вот снова катится огненным валом по русской земле, по русским полям, бушует по всей Европе, перехлестываясь аж за океан, дикое пламя войны.

Тот, кто не бывал в огне, не бежал от огня, пожирающего хлеб, настоящего страха не знал.

Над полем выгорает воздух, удушливым смрадом исходит чадящий хлеб. Зерно накаляется, могучая плоть струит сине-сизый дым, прежде чем взорваться и затмить огнем и смрадом все вокруг. Рвет кашлем грудь пораженного ужасом человека, слезятся его глаза, останавливается удушенное дыхание — то силы небесные карают чадо божье за самый тяжкий грех: предание огню и гибели хлеба насущного.

Выронив или выбросив из горсти колосок, взрастивший его, крестьянин потерял связь с пашней и утратил смысл своего существования. Перестал уважать и всякий другой труд, отбросил себя на миллионы лет назад, обрек на очередное умирание, на многомиллионлетнее забвение. Как мать, убившая свое дитя, не смеет называть себя матерью, так человек, убивший хлеб, значит, и жизнь на земле, не смеет называть себя человеком...

Осиповское хлебное поле, разоренное, убитое, — как оно похоже сейчас на смутой охваченную отчизну свою, захиревшую от революционных бурь, от преобразований, от братоубийства, от холостого разума самоуверенных вождей, так и не вырастивших ни идейного, ни хлебного зерна, потому как на крови, на слезах ничего не растет — хлебу нужны незапятнанные руки, любовно ухоженная земля, чистый снег, чистый дождь, чистая божья молитва, даже слеза чистая.

Хлебное поле едино в своем бедствии и величии, оно земной бороздой соединено со всеми полями Земли, и воспрянет, воспрянет, засияет хлебное поле на западе и на востоке, и в искитимской стороне, на сибирском приволье воспрянет. Земле-страдалице не привыкать закрывать зелеными и деревьями гари, раны, воронки — война временна, поле вечно. и во вражьем стане, на чужой стороне оно отпразднует весну нежными всходами хлебов, после огня и разрухи озарится земля солнечным светом спелого поля, зазвучит музыкой зрелого колоса, зазвенит золотым зерном. И пока есть хлебное поле, пока зреют на нем колосья — жив человек и да воскреснет человеческая душа, распаханная Богом для посевов добра, для созревания зерен созидательного разума.

И осиповское поле воскреснет. Сеятель, вернувшись к нему из огня войны, воспрянет для труда и проклянет тех, кто хотел приручить его с помощью оружия да словесного блуда отнимать хлеб у ближнего брата своего. И когда нажует жнища по имени Анна или Валерия в тряпочку мякиша из свежемолотого хлеба, сунет его в розовый зев дитя, и, надавив его ребристым нёбышком, ребенок почувствует хлебную сладость, и пронзит его тело живительным соком, и каждая кровинка наполнится могущественной силой жизневоскресения — тогда вот только кончится война.

Комбайны были откопаны из снега, под ними горел огонь, и в где-то отысканных комбинезонах на брошенных старых телогрейках под комбайнами лежали, подвинчивали гайки, стучали по болтам, натягивали шкивы и широкие ремни Васька Шевелев и Костя Уваров. С детства лепившиеся рядом с отцами на тракторных и комбайновых сиденьях, в школьные еще годы обучившиеся нелегкому машинному делу, привыкшие чинить и вдохновлять на непосильный труд аховую колхозную технику, парни вдыхали жизнь в остывшие железные груди машин, и, кроме них, никто не верил, что этакое может сотвориться, что поседелье от пыли и снега, унылые машины могут согреться и начать работать.

Комбайны должны были использоваться как молотилки: две скирды скошенного хлеба, задавленные толстым слоем снега, уже раскопали и растеребили веселые вояки с не менее веселыми девчатами.

Прямо от деревни Осипово по ту и другую сторону слабо прикатанного зимника аж до горизонта белели две широкие полосы. Сплошь они были в бугорках, и если б не белехонький, нежностью исходящий снег, поле было бы похоже на сухое болото, покрытое снежными кочками, но вместо кочек под снегом таились копны скошенного хлеба. Примерзшие к земле сысподу, слезавшиеся, они трудно давались вилам, и, пока подъехало начальство в поле — Иван Иванович Тебенков, Валерия Мефодьевна Галустева и Щусь Алексей Донатович, — охваченные трудовым энтузиазмом бойцы переломали большую часть черенков вил и лопат, жгли возле скирды костер из обломков сельскохозяйственного инструмента и соломы, грелись, заигрывали с девчатами.

— Ах вы, так вашу мать! — захолоп себя рукавицами Иван Иванович Тебенков. — Из таежных мест, видать. Руби, не береги! Да здесь дерево-то на вес золота...

В это время хакнул густым дымом комбайн, хлопнул винтовочным выстрелом патрубков, содрогнулся всем неуклюжим телом полевой истребительницы, чихая, охая, всасывая воздух, набирая чадного дыхания, согреваясь изнутри, как бы не совсем веря себе, пробно зарокотал, зашумел самоваром комбайн, шлепая еще сырым, к железу прилипающим ремнем, важно называемым трансмиссией. Костя Уваров прибавил газу, маховик закружился резвее, громоздкая машина закачалась утицей, окуталась осенней, пахотной пылью и мякиной, легкая хлебная ость запорхала над комбайном, откуда-то из недр его, из самой утробы, высыпались на снег горсть-другая стилой, на залежалое золото похожей пшеницы.

Народ, затаив дыхание, все еще не верящий в жизненные возможности остылой машины, опустил выдохом грудь, загалдел возбужденно, кто-то пробовал на зуб зерно, механики паклей чего-то подтирали в машине, гладили ее черными руками, подлаживали, подвинчивали, подстраивали, и не было сейчас на поле людей важнее и главнее их.

— Ах ты, ах ты! — забегал, засеменял вокруг машины Тебенков Иван Иванович. — Живой! Живой! — И, шупая, гладил комбайн, не веря еще, что заработал орел степной, хотя и кашлял от пыли и застоя непрочищенным нутром, давился остью, захлебывался дымом, но рокотал уже ровнее.

Иван Иванович Тебенков пробовал перекричать гром машины, команды подавал, указующим перстом тыкал туда-сюда. Вася Шевелев и Костя Уваров — работяги-молодцы, механики-удальцы — лишь снисходительно улыбались, оголяя белые зубы на чумазых лицах: они без начальника знали, что надо делать, куда чего лить, где чего подмаслить и как действовать дальше. Переведя машину на медленный ход, чтобы не рвались мерзлые ремни трансмиссии, они спустились на землю, сказали Ивану Ивановичу: «С тебя поллитра, товарищ начальник!» «Будет, будет, — радостно откликнулся директор, — и поллитра и закуска. Как же без разгонной-то дело начинать?» Понимали даже те, кто вином не баловался: механики должны требовать то, что другим заказано, на то они и механики — отдельно и высоко существующий народ, рано для взрослой жизни созревший, к ним и девки смелее льнут. Где остальным до них!

«Ах, если бы мне в совхоз пару таких орлов, — тараторил и в то же время грустно думал Иван Иванович. — Что я с бабьем-то?» Но чтобы просто так, без напоминаний о власти от народа не уйти, на всякий случай погрозил механикам пальцем:

— У меня не балуй!

— Лан, лан, не пыли, начальник! Дак про поллитру-то не забудь! Щусь подозвал к себе Шестакова, Рындина, умеющих запрягать



лошадь, велел вернуться в Осипово, брать подводы и ехать в дальний лес за черенками для вил и лопат.

— Это вам не подошвы отрывать у казенных ботинок. Здесь симулянтов не будет. Я даже вояке Мусикову работу по душе найду! — спокойно высказался он.

Мусиков в тот же день был определен на зерновые склады — провевать зерно. Но пока зерна не было, он лежал на горячей русской печи, надеясь, что все время такая лафа и будет ему, про него, может, забудут. Хорошо бы и всю войну на печке пролежать — сходил в столовку, поел и обратно на печь, ну уж если совсем невмочь, до ветру еще сбегал, и вся тут тебе война и работа.

Из деревни потянулись быки с телегами и березовыми волокушами. Пару медленных, на ходу спящих быков вел Васконян. Взяв веревочный повод под мышку, он плелся впереди тягловой силы, засунув руки с рукавицами в карманы, и время от времени дергал плечом, понукая быков:

— Н-ну, несчастные животные! Идите! Иви я вас удагю.

Подрмывая на ходу, Васконян не видел, как, взявшись за животы, хохочут ребята, девчата, Иван Иванович, Валерия Мефодьевна, а командир войска устыженно хмурился. Мимо поля, мимо комбайнов, мимо всего народа проследовал Васконян с быками. Его окликнули — далеко ли? уж не на врага ли походом двинулся?

— Вот именно! — состывшимися губами ответил Васконян и, свернув в поле, бросил быков, подлез к огню, весь в нем растопорщился, распластался над пламенем, будто северный шаман. Огонь был соломенный, дикий, вспыхивал и тут же гас, шевелил темные былки в прогорелом снегу. Васконян опалил в огне свои черные, сросшиеся на переносице брови, на нем затлела шинель, с криками свалили его в снег, гасили загоревшиеся полы шинели, рукава. Даже шлем со звездю вояка умудрился подпалить. Хорошо хоть нашлись валенки по нему. Коле Рындиному валенок по размеру не сыскалось, выдали вояке из клубного уголка обороны противоиприятные мокроступы. Привычный к кожаным ичигам, Коля Рындин надел диковинные бахилы поверх ботинок, обмоток, умело подвязал и чувствовал себя куда с добром, и вообще старообрядец, попав в сельскую местность, разом воспрянул духом и до такого дошел уровня бодрости, что даже пихнул плечом девчонок, те кучей свалились в снег.

— У-у, дубина стоеросовая! — ругались девчонки.

Коля поднимал девчат из снега по одной, галантно их отряхивал и каждой напоследок отвешивал по заду громкий шлепок. Девчонки взлягивали, ойкали, но с этих пор выделили воина, прониклись к нему своими чувствами.

К вечеру Коля Рындин с Лешкой Шестаковым привезли воз черенков. В совсем уж заглохшем, снегом захороненном сельце Прошихе честно заработали они себе обед и полную аптечную бутылку самогонки. Лешка Шестаков проявил пролетарскую смекалку, подвез бабенкам соломы с поля и дровишек из лесу. Коля Рындин смотрел на своего разворотливого, мозговитого связчика с уважением — так в деревне на десятника смотрят. — но выпивать не стал, зато, прежде чем сесть за стол, размашисто перекрестился двумя перстами на какого-то сумрачного угодника с копьем. То копье напоминало макет винтовки из родимой бердской казармы, и ребятам грустно подумалось об оставшихся там сотоварищах — казахах Алексе Булдакове, того вместе с начальником «хана» Яшкиным отправили в новосибирский госпиталь: Яшкина лечиться взаправду, ну а Леху придуривать.

За столом парни еще раз переспросили название села — Прошиха, и, затихнув в себе, поинтересовались: не отсюда ли родом братья Снегиревы? Им ответили, что в Прошихе Снегиревых половина насе-

ления, что касаясь братьев Снегиревых, близнецов, то семья эта разом вся загинула, изба Леокадии Саввишны была заколочена, нынче ж ее расколотили, заселили туда эвакуированных.

Ребята тяжело затихли, пряча виновато глаза, поели и после обеда уже в лесу спросили у дедка, их провожавшего:

— А куда же саму Снегиреву-то?

— А увезли. На подводке. Че-то сынки ее натворили. Покатила беда — открывай ворота, уж после отбытия хозяйки похоронка на хозяина пришла. Сама-то Леокадия Саввишна, слышно, в тюрьме умом тронулась.

Вроде бы по волосу и голосу старенький, но еще крепенький, ловко управляющийся с подводой житель деревни Прошиха, назначенный бабами в помощь солдатикам, сообщив все эти новости, для многих в селе уже сделавшиеся привычными, раскурил трубку, надев рукавицы и хлопая вожжами по бокам лошаденки, горестно вздохнул:

— Вот так вот. Была расейская хрестьянская семья, от веку трудовая, и не стало ее. Без дыму сгорела.

Местность свою прошихинскую помощник знал хорошо, завел сани в смешанный лес, где было густо елового подлеска. Коля Рындин выбрал и срубил себе черенок с оглобля толщиной. Лешка Шестаков с дедом быстро навалили, обрубали елушек — потому что береза на морозе хрустка, пояснил дед, — и, пока кони, топтавшие снежный целик, отдыхали над охалкой сена, служивые успели еще и у костерка посидеть, картошек напекли, мерзлой рябиной полакомились. Продолжая наставления — на то он и дед, чтобы малых наставлять, да не на кого, видать знание было обратить, — заключил:

— В печи жарче березы нету дров. На черенок, на шест, на оцеп для зыбки руби молодую елку — гибкая лесина и вечная. Желательно на всякое изделие, на избу, на баню, робята, всякое дерево валить в декабре, коды в дереве сок замрет, вся сила в ем для борьбы с морозом соберется под корой.

На обратном пути, когда топтали дорогу, прямо из-под ног, взрываясь белыми ворохами снега, вылетали косачи. Затрещит, захлопается птица в одном месте, застреляло вокруг: которые птицы мчатся дуром сквозь лес, которые щелкают о мерзлые ветки крыльями, которые тут же и усядутся на березы, головой дергают оконтуженно, тарашатся на людей.

— Эк обсяли лес-то! Эк выставились! Ровно ведают, что охотников нету. А вы че, робятишки, приуныли-то? Че носы повесили?

— Да так...

Тихим миром веяло от леса, от работы в лесу; от дедовых поучений на жизнь, на знание жизни, а в сердце томливо, виной сердце угнетено, видно, на все оставшиеся дни та вина за убиенных братьев Снегиревых, мать их и отца, за всех невинно погубленных людей.

Коле и Лешке, раз они черенки привезли, велено было и насаживать их на вилы и лопаты. Провозились до глухого вечера. Тут уж сноровка была за Колей Рындиным, ловко он орудовал топором, рубанком. но и Лешка лишним в деле не был, тоже в свои года кой-какую работу испытывал, и связчик одобрителен к нему был, словоохотливо рассказывал про деревню Верхний Кужебар, про бабушку Секлетьню и вообще про все, что было ему памятно и казалось достойно воспоминаний. Поздним вечером ввалились в барачную комнату, где Васконян читал книгу, все продолжая байкать сморенного, на маму характером вовсе не похожего ребенка в качалке. Хозяйка квартиры, повариха Анька, побрасывала кастрюли, пнула кошку, бросила дрова на пол с артиллерийским громом.

Колю Рындина Анька усмотрела вчера вечером, когда он по своей воле остался замывать котел, они хорошо повечеровали. Анька поре-

шила заменить квартиранта, но днем это дело провернуть не успела из-за большой занятости, от этого сердилась.

Анька и Валерия Мефодьевна жили через стенку, на двоих содержали одну няньку, войной поврежденную девчонку из эвакуированных, за еду, угол и обноски. Наголодавшаяся, что курица дергающая шеей от военного испуга, девчонка такой должности и сытому столу была рада, но боялась разговаривать с людьми, старалась никому ничем не мешать, на глаза хозяйке не попадаться.

Увидев Колю Рындина и Лешку, Анька оживилась, захолопотала, забегала, защебетала:

— Ах, работники! Ах, ударники! Намерзлись, сердечные. Счас... счас... — И в совершенный пришла восторг, когда со словами: «Вот, заработали!» — Лешка выставил тяжелую, на крупнокалиберный снаряд похожую бутылку. — Вот парни трудятся, промышляют, — застрожилась Анька, глядя в сторону Васконяна, впившегося в книжку. — А некоторым курорт.

Васконян швыркал огромным носом с давно обмороженным и уже не зажигающим кончиком, на слова хозяйки никак не реагировал, будто и не слыша их.

— Людям некогда книжечки читать. — И вздохнула как о человеке конченом или божьем: — Он, видать, и в военном окопе читать способен. А че, в политотдел угодит, дак...

— Я не ужогу в повитотдев, — на минуту оторвавшись от книжки, перестав качать ребенка, заявил Васконян. — Я свишком честен два повитотдева. — И как ни в чем не бывало продолжал свою работу — качал ребенка, снова впившись в книжку, на обложке которой виднелись слова «Былое и думы».

— Тошно мне, тошнехонько, че говорит-то? Че говорит?

— Ашот, иди за стол. Потом со мной к старикам Завьяловым по-топаешь. Мы там с Хохлаком квартируем, изба теплая, старики мировые. А тут, как мой отчим говорит, альянц. — Лешка развел руками, усмехаясь.

Коля смутился, опустил голову, чего-то пробовал бубнить оправдательное. Анька, видя такое состояние бойца, готовое перейти в раскаяние, прикрикнула:

— Лан, лан те альянц! У нас в Осипове это дело по-другому называется.

Лешка налил самогона в четыре посуды. На «не пью» Васконяна и на «не могу» Коли Рындина, твердея смуглыми северными скулами, отстраненно молвил:

— Мы ведь в Прошиху попали, Ашот. Погибла семья Снегиревых. Выкорчевали благодетели еще одно русское гнездо. Под корень.

Васконян подошел к столу, сделал глоток, утерся рукавом и вернулся к кровати, поник с зажмуренными глазами над ребенком. Коля Рындин, отвернувшись, истово перекрестился на мерзлое окно, прошептал какое-то молебство, разобралось лишь «и милосердия двери отверзи», но и этого достало, чтобы Аньке оробеть.

— Че дальше-то будет? Когда эта война клятая кончится? — по-пробовала она запричитать.

— Когда чевовечество измогдует себя, устанет от гога, нахвებაется кгови... — не открывая глаз, раскачиваясь в лад люльке, непривычно зло и громко произнес Васконян и внезапно в пустоту, во мрак изрек страшкое: — Смют ви когда-нибудь дочиста свезы всего чевовечества кговь со всего чевовечества? Вот что узнать мне хочется.

Парни испуганно открыли рты, Анька, видя, что весь план ее нарушается, встряхнулась первая:

— Ой, ребятушки, уже поздно. Скоро Гринька проснется. Спокойной вам ночи. Бежите, бежите, я самогонку спрячу...

Коля Рындин, оробев от возникшей ситуации, начал искать рукавицы.

— Да, ребята, я, это... стало быть... утресь на работу...

— Я разбужу,— решительно снимая с Коли шапку, заявил верный связчик его Лешка Шестаков.

— Все ж таки неловко как-то,— вытащившись в коридор, оправдывался Коля Рындин, видя, как непривычно напряглась хозяйка.

— Я тебе, помнишь, говорил, что неловко? — посуловел Лешка.— Говорил?

Коля Рындин напрягся памятью:

— Ковды?

— Ковды, ковды! Когда бабушка твоя Секлетинья в невестах ходила. Завтра напомним че да ковды.— И, круто повернув Колю Рындина, Лешка поддал ему коленкой в зад, провожая по направлению Анькиной комнаты, да так ловко поддал, что Коля свалился на руки хозяйки, и та подморгнула Лешке благодарно.

«Знает только ночь глубокая-а-а, ка-ак поладили они, р-расступи-ы-ысь ты, рожь высокая, та-айну свя-то сохра-ани-ы-ы-ы»,— пел теперь на всю деревню Осипово народ, потому как Анька-повариха уби-стрила ход, нарядная, бегала к ребенку из кухни и от ребенка в кухню, громко на все село хохотала, но главное достижение было в том, что качество блюд улучшилось, кормежка доведена была до такой калории, что даже самые застенчивые парни на девок начали поглядывать тенденциозно.

— Спасибо тебе, Коля, дорогой, порадел! — вставая из-за столов, накрытых чистыми клеенками, кланялись Коле Рындину сыто порывающиеся работники.

— Да мне-то за што? — недоумевал Коля Рындин, но, разгадав тонкий намек, самодовольно реготал: — У-у, фулюганы!

На работе мало-помалу все определилось и выстроилось. Парни выковыривали копейки из-под снега, свозили их к комбайну, машина, захлебываясь, визжа, пробуксовывая ремнем, дребезжа и содрогаясь всем железом, почти замолкая от смерзшихся хлебных пластов или бодро попукивая, пускала синие кольца дыма, пожирала навильники сухого, из середины копны валимого, мало осыпавшегося хлеба, неутомимо бросала и бросала мятую, на морозе крошащуюся солому за спину себе, под ноги отгребальщиков с вилами. Шустрые служивые волокни солому на вилах и в беремя к огню и почти всю сжигали, грея себя и девчонок, сплошь почти уже распределившихся на работе по зову сердца.

Коля Рындин, волохавший за полвзвода, изладил себе противень из ржавого железа, отжег его и на том противне жарил пшеницу, щедро угощал «товаришшэв». Закинувшись назад, пригоршней сыпал он в рот горячее зерно, хрустел так, что иногда молотильщики-комбайнеры озирались на машину — уж не искрошились ли железные шестеренки. Подкормившись на совхозном и Анькином харче, жуя горячую пшеницу, Коля Рындин, притопывая, орал частушки:

Все татары, все татары, а я русской человек.

Всем по паре, всем по паре, а мне парочки-то нет!..

Коля Рындин прокатывался насчет Васконяна, который так и не обзавелся дамой сердца, так и маялся с двумя волами, которые, волоча кучу копен, вдруг останавливались, глубоко о чем-то задумавшись. Васконян дергал повод, требовал движения. Стронувшись наконец с места по своей воле и охоте, быки роняли своего поводыря в снег низко опушенными головами, протаскивали по нему охвостье березовой волокуши.

— Да они ж его изувечат, насмерть затопчут! — ахнул Иван Иванович Тебенков.— Нарядите человека на другую работу.

Щусь отрялил быков с Васконяном, помощником ему бывалого лесоруба Лешку Шестакова, в березовый лесок, щеточкой выступающий

за желтым полем в ясную погоду, по дрова. Всю солому труженики полей сжигают, на совхоз же, кроме всех бед, надвигается бескормица, весной солома понадобится как спасительница скота, да и с топливом в деревне, особенно в семьях эвакуированных, плохо, в бараках люди мерзли и бедствовали, везде нужда, везде нужна помощь, а рабочих рук на селе все меньше и меньше.

Тем временем подошла пора веять намолоченный хлеб, и утром, приворотив воз березника к конторе, где его пилили на дрова распоясанные вояки, Васконян и Лешка определились в совхозный амбар, там на веялке работал редкостного усердия труженик Петька Мусиков да четыре женщины — две молодые, но уже смертельно усталые детные вдовы и две егостистые, недавно окончившие школу сибирские девки. Эти, не глядя на военную беду, по зову природы и возраста все норовили потолкаться, поиграть, в уголках пошущукаться, не было игры у них заманчивей, как, сваливши служивого на ворох хлеба, насыпать ему в штаны холодного зерна.

— Да что вы, девочки, мивые! — взмолился Васконян, без того весь околевший, мерзлые сопли на рукавицу размазавший, выгребая через ширинку пшеницу из штанов.

Петька Мусиков матерился, кусался, отбиваясь от неистовых сибиричек.

Игруньи от него и от Васконяна отступились. Неперспективные. Лешке ж доставалось. Он едва справлялся с двумя матерееющими халдами, как их называли бабенки-вдовы, наставляя Лешку им самим насыпать пшеницы под резинку трусов, что он в конце концов и сделал. Визг поднялся, беготня по риге. Бабы, поддавая жару, кричали поощрительное. Весело сделалось, даже Васконян сморщил рот в улыбке.

На этот трудовой шум явилась Валерия Мефодьевна.

— Весело у вас тут, — сказала и увела с собой одну бабенку.

— Вот, доигрался! — сверкая глазами, укорили Лешку девки-предательницы.

Тем временем в поле нарастал трудовой напор.

— Десять копен на брата, — определил упрям командир, — и как сделаете норму, хоть до обеда, хоть до ночи прокопаетесь, — так и домой, в тепло.

Никакой еще хитрой тактики в молодых беспечных головах не велось, навалятся дружно, пошел, пошел молотить, чтоб побыстрее домой, под крышу, затем в клуб. Девки тоже ударно трудятся, пластаются, сгребая снег с копен, тоже в клуб поскорее охота.

Коля Рындин обходился без волокуш — наворочает на свои вилы две копны (три не выдерживали навильники), взвалит на загривок и, двигаясь под этим возом к комбайну, орет что-то героическое, ведет себя, словно отчаянный таежный ушкуйник, весь осыпанный крошевом грязной соломы, землей, снегом. Отряхнется у костра труженик, всыплет горстицей в рот поджаренной пшеницы, наденет рукавицы — и снова за дело.

«Мне ведь такого работника в совхоз», — снова и снова вздыхал Иван Иванович Тебеньков, наблюдая, как играючи управляет с тяжелой ношей могучий чалдон, да и все труженики из красного войска сплошь управлялись с нормой до обеда, еще и в свежей, холодной соломе успевали с девчатами поваляться, потискать их, повеселить. Всем на все хватало сил. Шагая по селу Осипово с вилами через плечо, молодые, хваткие работники и песню совместно деранут, да не строевую обрыдлую песню, а свою, деревенскую, не по понуждению старшины, по доброй воле и охоте споют.

«Рано пташечка запела, кабы кошечка не съела!» — съязвила однажды Анька-повариха. Волохая на кухне с темна до темна да неутомно ночью с Колей Рындиным трудясь, она до того уставала, что ноги у нее дрожали и подсекались. И накаркала, накаркала ведь, не-

чистая сила, усек полководец свою промашку и, вспомнив еще в Тобольске слышанную поговорку: «Это не служба, а службишка. Служба будет впереди», молвил войску: «Э-э, орлы! Пользуетесь моей хозяйственной безграмотностью. Шалай-валяй норму делаете!..» — да и добавил сперва по две, потом по пять копен на брата. Норму осиливали уже тяжелее. Вечером возвращались домой без песен, длинно растянувшись по сумеречной пустынной дороге.

В риге на веянье зерна начали работать две машины. Работы пришло. Лешка уже не мог отпускать Васконяна домой «на часок» — погреться. Тот, схватившись за ручки веялки, мотался, мотался — не понять было: он ли машину крутит, она ли его. И девчонкам уже не до игр сделалось.

Высушенное зерно ссыпали в мешки, буртовали их возле стен. Тут уж подставляли спину Лешка и молодая, но заезженная жизнью вдова — девок под мешки не поставишь, Мусиков-трудяга падал под мешком. Девчонки сердешные вкалывали, отгребая навеянное зерно от веялок, стаскивая его на носилках вверх в сушильное отделение, рассыпая по полатам. У Лешки руки отламывало, кости на спине, в плечах саднило, думал: придет домой, сунется на лежак за печку и не пошевелится. Но полежав после ужина на топчане, он разламывался, иссилывался, спешил в клуб и, к удивлению своему, заставал там своих юных веяльщиц — они из другой деревни родом, но вместе росли, в школе сидели за одной партой, привыкли все делить пополам и ныне ревниво следили друг за дружкой, натамцевавшись, неразъемной парой волоклись домой, ведя Лешку, будто больного, под ручки. С обеих сторон подцепившись, в теплой серединке держа его, девки незаметно то слева то справа прижимались к нему. Потоптавшись возле ворот, одна из подруг наконец роняла: «Ну, я пошла» — и стояла, стояла, переминаясь с ноги на ногу, тогда и вторая со вздохом объявляла: «И я пошла» — и раскатом во двор. Из-за ворот раздавался приглушенный смех, стучала дверь в сенках, скрежетал в петлях железный засов, затем отодвигалась занавеска на окне, сквозь мутное стекло Лешке видно — машут ему вослед, если бы виднее было, так кавалер разглядел бы: ему еще и язык показывают, толстущий, бабий.

У одной юной труженицы по имени Дора в Осипове жила тетка, и на прорыв с центральной усадьбы девки у нее и квартировали. Тетка не держала квартиранток строго. Она и сама в молодости удалой считалась, повольничала, набегалась с парнями вдосталь, потому и понимание жизни имела, потребности молодого сердца ведала.

— Че парня на улке морозите? Созовите домой, да не одного, а двух, чтоб по-человечески было. Может статься, Бог послал вам первых и последних кавалеров...

«Все! Пускай сами с собой танцуют и сами себя провожают! Зачем мне дрыгать на холоду? — негодовал Лешка Шестаков.— Нашли громоотвод!..»

Отступили морозы. Пригрело не пригрело, но метели тут как тут из-за дальних перелесков на рысях вынеслись, зашумели, закружили снег, засвистели в проводах, загудели в трубах.

У Завьяловых в одну из метельных ночей благополучно отелилась корова. Как положено суеверным чалдонам, хозяева потаились два дня, после чего хозяйка размягшим голосом пропела:

— Н-ну, робягушки! Лехкое у вас сердце, глаз неурочлив. Телочку Бог дал! И раз вы квартировали у нас при ее явлении, быть вам и крестными.

— Как это?

— А именем телочку нареките.

Дед Завьялов тут как тут с поллитровкой, с законной по случаю благополучного исхода в хозяйстве, хозяйкой выданной, — дело-то от-

ветственное, как его без градуса обмозгуешь? И приговорка у хозяина к разу и к месту готова: «За Богом молитва, за царем служба не пропадет».

Имя телке придумал Васконян, да такое, что уж красивей и выдумать невозможно,— Снежана. Впрочем, хозяин с хозяйкой имя то распрекрасное тут же переиначили в Снежицу, потому как во дворе мело-порошило, снегом в окно бросало, сугробы на дворе намело, да и привычней крестьянскому языку и двору этакое подлаженное корове прозвище-имя.

Несмотря на метель и ветер, к Завьяловым, черпая катанками снег, следовали и следовали из клуба посыльные — нужен был Григорий Хохлак, без него остановилась культурная жизнь. Пилит, правда, на басах Мартемьянова, которая за два года учебы в областном культпросветучилище успела занять двух мужиков, сделала от них два аборта, но больше никакой другой культуре и искусству не научилась.

— Неча, неча,— махали на посыльных руками Завьяловы.— Пущай хоть раз робята выпянутся, вон уж поосунулись от работы на ветру да от ваших танцев-шманцев.

Было явление двух юных веяльщиц. Лешка на них ноль внимания. Надо Хохлака, зовите Хохлака, вожжаться же с вами попусту — дураков поищите в другом месте.

— Ладно уж, жалко уж! — заныли от порога девчонки.— А еще солда-аты, народа защитники! И ты, дед, хорош и ты, баба! Завладе-ли-иы-ы-ы...

Васконян, человек, культуре обученный, смущенно пригласил напарник по веялке раздеваться, составить компанию.

— Че нам ваша компания? Мы другу соберем!

Но ничего у плакальщиц не выревелось, не собрали они компанию на этот раз, поздно хватились, и шибко метельно было. Назавтра в клубе ничего не происходило из-за отсутствия дров — убрдно, метельно, подводы к лесу не пробились. Мартемьянова куда-то уехала или спряталась, заперев баян под замок.

День в томлении и скуке прошел. Опустив глаза, девчонки-веяльщицы, виноватые во всем, Шура и Дора, вежливо, даже церемонно пригласили Лешку с друзьями посидеть у тетки Марьи, попить чаю, поскольку клуб снова не топлен. Вызнав про компанию и про чай, сердитая оттого, что ее не позвали, Мартемьянова самоглавнейший предмет местного искусства — баян — унесла домой и заперла в ящик.

Ходили посыльные на квартиру главной начальницы, Валерии Мефодьевны, жаловались на руководителя культуры.

— Она, эта министерша, бездельница эта, добьется у меня! — взвилась начальница и вопросительно поглядела на еще более высокую власть.

Щусь решительно, как командир орудия перед выстрелом, махнул рукой:

— Ломайте замок на сундуке. Гуляйте. Но не до утра. Метель утихнет, наверстывать будем упущенное.

— Будем, будем! — сулились военные весело и стремглав бросились на штурм сундука Мартемьяновой.

Но Дора и Шура до штурма дело не допустили, они под ручку привели в дом завклубом и баян, завернутый в половичок, принесли, на колени его Грише Хохлаку поставили со словами: «Вот, владей! Все!..»

Хоть и набилось народу к тетке Марье полный дом, Шура и Дора стойко держались «своих»: Шура танцевала и сидела только с Лешкой, Дора, не зная, с какого боку подступиться к музыканту, подносила выпить и закусить, накоротке обнадеживающе мяла грудь о его плечо, ласково тербя за ухо, поскольку волосы на голове воина еще не отросли.

Хохлак так играл, как никогда в жизни еще не играл. Дорина тетка и хозяйка избы Марья, до глубины души пронзенная страстной и зовущей музыкой, напелась, наревелась, но, понимая ситуацию, вовремя удалилась ночевать к куме, чтоб не стеснять собою молодежь.

— Ну, девки, хозяйкуйте тут, распорядитесь, я с ног валюсь,— пропела тетка Марья, промазывая ногой мимо валенка, и, снаряжаясь, наказывала: — Карасин долго не жгите, карасин ноне кусатца. А уха-жер, он что охотник, нюхом должен дичь чують, в потемках ее имать беспромахно.

Во сколько часов, как разошлись гости — неизвестно, потому что Шура наладилась утягивать Лешку в боковушку, где они обитали с Дорой, обнимала его там, целовала неумело, но так яростно, что кавалер почувствовал на губах соленое, догадался — кровь, и, поверженный напором женской страсти, оторопело слизывал ее. Шура нежно сцеловывала кровь с Лешкиных губ, захмелело, сонно воркуя: «Милый солдатик. Раненый мой солдатик», — и тянула его на довольно пышную, совсем не по-квартирантски заправленную кровать, уверяя, что никто не зайдет, что Дора — подруга верная, все соображает, все как надо сделает. Задушенный поцелуями Лешка спрашивал: что же ты так-то, зачем же за нос человека водить? Да еще и насмеяться?

— А как же? Сразу и в дамки? Пусть и война, пусть и томленье. Но надо честь девчоночью блюсти...

— Ну и блюди. Я домой пойду! — ворохнулся Лешка.

Шура попрिдержала кавалера, мечтательно глядя вдаль, попророчествовала и вздохнула.

— Мы будем вместе, будем. Только не сейчас.— И вдруг вскрикнула.— Ты хоть обними меня, скажи хоть: жди, мол, Шура, жди после победы...

Лешка сжался в себе, примолк: он слишком много знал на Крайнем Севере, в родных Шурышкарах обманутых и покинутых не только женщин, но и детей. В памяти навсегда вклеилась привычная шурышкарская картина — в мужицкое одетая, мужиковато шагающая, курящая, пьющая баба, ведущая дом и хозяйство, в доме у нее выводок детей недоглаженных, растущих что в поле трава, куда-то потом навсегда исчезающих, словно в бездонный человеческий омут занырявающих. Он выпростал руку из-под головы подруги, погладил ее по раскосмаченным волосам. Она выловила его руку во тьме, прижалась к ней губами.

— Вот и хорошо! Вот и хорошо!.. Спи теперь, спи. Скоро утро. Скоро нам на работу.

Лешка лежал неподвижно. За окном все еще шумело, шуршало, что-то подрагивало на крыше или во дворе. Шура разом ослабела, напряженное тело ее распустилось, по-детски протяжно, со всхлипом вздохнув, она опала в сон. Лешка незаметно для себя отдалился от нее и от всего на свете, перестал слышать ветер за окном и тоже с протяжным вздохом, которого не почувствовал, усталый, измотанный, заснул с тяжестью в растревоженном теле, с шумом в хмельной голове, успев еще подумать о Тамаре, как с той было хорошо, просто — э-эх!..

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Унялась, залегла в снегах степная просторная метель. Лишь слабеющие порывы ветра, занявшись за околицей села, завихрят, завертят ворох снега, донесут белую полоску до деревушки и расстелют ее на низком плетне огородов, рассыпят по сугробам белую сечку, а коли прорвется вихорек по совсем уж заметенной дороге в улицу деревушки, завертятся на ней, поскачет белым петушком, вскрикнет, взвизгнет и присядет на жердочку иль на доски крылечка, сронит горстку пера в палисадник — не ко времени прилетел, но в самую пору отгостился.



Лениво поднималось, раскачивалось, валяло в степь трудовое войско с лопатами, вилами на плечах. За служивыми, по свежетоптаной тропке покорным выводком тащились, попрыгивали подчембаренные, как в Сибири говорят, стало быть, в длинные штаны под юбками сряженные, девчата. До бровей закутанные, все слова, всю, учено говоря, энергию истратившие за время простоя, они не разговаривали меж собой, лишь зевали протяжно, даже не вскрикивали, если в дреме оступались со следа, проложенного тоже изнуренным войском, с досадой пурхались в снегу. Предстояло им разламываться в труде, преодолевая оплетающую тело усталость.

Комбайн захоронило в снежном кургане, копешки совсем завяло, замело, где, как искать их — неизвестно. Коля Рындин развел костер, нажарил пшеницы, похрустел, погрелся, подтянул пояс на шинели и пошел ворочать копны. За ним потянулась в поле вся армия. Девчонки, обсевшие костерок, неохотно, с трудом отлипали от огонька и, настигнув Колю Рындина, тыкали в его несокрушимую спину, в загривок, считая, что если б он не вылезал со своим трудовым примером, не высовывался поперед всех, так и сидели бы, подремывали люди у костерка.

Механики отогревали и заводили двигатель комбайна, возчики широко обложили машину охапками соломы, в которой негусто темнели, где и светились желтенько сплюснутые колоски.

Щусь тащился верхом на коне по убродному снегу и видел, что войско его не спит, не простаивает, барахтаясь в сугробах, в наметах, расковыривает, таскает и возит навильники хлеба к комбайну. Он слез с лошади и, ведя ее за повод, думал о том, что надо просить у директора совхоза Тебенькова трактор и перетаскивать комбайн дальше в поля — сделалось далеко доставлять копны на обмолот. Второй комбайн как ни старались собрать и завести — не получилось: не было запчастей в совхозе. Но главное: забрали из совхоза на войну самого нужного человека — кузнеца, и тогда смекалистые механики начали разбирать второй комбайн на запчасти: снимали с него шкивы, ремни, отвинчивали гайки, вынимали шестеренки, словом, подзаряжали, подлаживали машину, чтобы не рассыпалась она вовсе, и думали не только механики, не только директор и начальница Валерия Мефодьевна, но и весь еще не совсем разучившийся шевелить мозгами трудовой народ: что же будет тут весной? на чем пахать? на чем и что сеять? Ведь уже сейчас, чтобы держать вживе хоть один комбайн, на него, кроме деловых механиков, отряжают порой целую бригаду ремонтников.

Бойцы-молодцы, такие жалкие, вредные, заторможенные умом в казарме, на плацу, здесь, на сельском поле, распоряжений не ждали, команд тем более, пинков и подзатыльников не выхлопывали, и ладно, и хорошо, что Яшкин не попал на хлебоуборку. Визгу от него много, толку мало. Но откуда, где взять совхозу такую бригаду потом, ведь подметают по России последних боеспособных мужиков, а враг на Волге, а конца войне не видать.

Необъяснимая тоска томила младшего лейтенанта Щуся, тревога доставала сердце. Во время метели он просмотрел газеты, послушал радио: Сталинград изнемогал, но держался; на других фронтах кое-где остановили и даже чуть попятнили немца. Но отдали-то, но провоевали такие просторы.

«На фронт скоро, вот в чем дело», — решил Щусь, и когда случилось быть вместе с Валерией Мефодьевной, а случилось это не час-то — занятой она человек, — смотрел на нее пристальным, тревожным взглядом. Немало знал он женщин, похороводился с ними, но эта вот, с продолговатыми скулами, с отнесенными от переносицы спокойными глазами, всегда ясными, всегда со вниманием распахнутыми навстречу другому взгляду, женщина с крепко сидящей на совсем не крепкой шее головой, увенчанной забранными с висков и от затылка

густыми волосами, которые держал со лба роговой ободок, на затылке гребенка и множество заколок, заняла в его сердце и сознании вроде бы отдельное место. Он долго не мог найти объяснения влечению своему, и вдруг как удар! — тетушка! Вечная его мать, веноч с названием — женщина, она, она предстала ему во плоти и лице здесь, в сибирском глухом краю. Вечная по тетушке-матери тоска, любовь и нежность, ни с чем не соизмеримые, должны же были найти где-то свое воплощение, свой образ, свой источник, всеутоляющий жажду любви.

Именно отсюда, из Осипова, он написал в Тобольск письмо и попросил художника Обдёрнова, ученика Доната Аркадьевича, схоронившего своего учителя, доглядевшего одинокую старость Татьяны Илларионовны, по праву занявшего дом Щусевых со всем имуществом и картинами, прислать копию с фотографии своей тетушки, выкорвав себя за черствость, попутно попросил фотографию своих родителей, повелел распорядиться имуществом по своему усмотрению, сам он, Щусь, уже представлял, что такое нынешняя война, при вбитой в него военной добросовестности выжить на ней не надеялся. Если б не офицерский, не мужской кураж, какая буря чувств обрушилась бы на нечаянно и негаданно встреченную в Осипове женщину. Но умение владеть собой, стойкость походного сердцеда, ответственность, наконец, за свои поступки, но главное — пример родителей, Доната Аркадьевича, Татьяны Илларионовны, пример святого отношения мужчины к женщине, верный до гроба их союз должен же был когда-то и где-то отозваться. А тут что же? Завтра покличут в полк, снарядят на фронт. Зачем рассиропливаться? Зачем втягивать женщину, которой и без того тоже живется сложно и трудно, в какие-то многообязывающие отношения, обманывать надеждами...

Валерия Мефодьевна перед сном неторопливо вынимала из волос гребешок, заколки, складывала на столик перед зеркалом все эти принадлежности и, тряхнув головой, сбрасывала на спину волну волос. Почувствовав облегчение от этой вольности, какое-то время сидела перед зеркалом, не видя в нем себя и не веря наступившему покою. На Щуся накатывала такая волна чувств, что он, не выдержав, обнимал ее сзади, целовал в шею и, чувствуя нежное тепло тонкой кожи, казалось, сейчас вот утонет, умрет в ней. Валерия Мефодьевна, очнувшись, прижималась подбородком к его рукам и какое-то время не двигалась, не открывала глаз. Наконец, коснувшись губами его руки, шептала: «Пора! Отдыхать пора» — и еще какое-то время сидела не шевелясь, не произнося слов.

Щусь с каждым днем все острее чувствовал смущение оттого, что в первый раз обошелся с ней по-военному просто и грубо, толкнул на кровать, разнял руки, придавил...

«Ну что, укротитель, ладно тебе?» — спросила она затем в темноте. Не зная, что ответить, он припал губами к ее губам, обращая всю свою растроганность в мужскую грубую страсть.

Щусь побывал у Валерии дома, на центральной усадьбе. Дом этот был не только крепко и просторно рублен, но и обихожен заботливо, обшит в елочку кедровой дощечкой, наличники и ставни крашены, ворота с точеной рамой. На верху крыши излажен боевой петух с хвостом-флюгером. В самой избе обиход на полпути к городскому: прихожая, куть по обиходу деревенские, зато горница с коврами над кроватями, со шкафом, с круглым столом посередине, патефон на угловике, радио на стене, зеркало, флакончики. В ребячьей, как вскоре уяснил гость — в комнате Валерии, есть полка с книгами, и стол отдельный, и тумбочка у кровати со светильником — все-все городское.

Старший брат Валерии, сестра и мать держались к гостю почти-тельно и сдержанно, сразу же разгадав нехитрую ситуацию, возник-

шую меж женщиной и мужчиной, не уяснив, впрочем, до конца, почему он, форсистый, ладненский офицерик, так быстро оказался при ней, при Валерии,— всякого-то якова она и не приблизит и в дом родной не привезет, хоть и нету с прошлой осени вестей от мужа, однако же это не значит, что можно уже и другого заводить, по родне напоказ возить. Подождать бы вестей с фронта, потерпеть, пострадать...

Брат Валерии затеял стол и разговор. Мать с удовольствием отметила, что гость на вино не жаден, хотя и управляется с водкой лихо. Но вот ест как-то без интереса, не выбирая, чего повкуснее. Спросила младшего лейтенанта, чего это он такой. Валерия, скосив глазки, ждала, что скажет Щусь, чуть заметная усмешка шевельнула пушок на ее губе.

— А я, Домна Михайловна, ничего не понимаю в еде. К военной столовке смолоду привык.— И тише добавил, уводя глаза: — Да к бродячей жизни.

— Знамо, военная жизнь — ненадежная жизнь,— сказала мать, твердо глядя на дочь и как бы говоря это для нее отдельно, однако ж и гость чтобы разумел глубокий смысл ею сказанного.

Брат Валерии, рассеивая возникшую неловкость, спросил насчет ордена, где, мол, и как заработан. Когда узнал, что еще на Хасане, предложил выпить за это дело. Разговор ушел в сторону, заколесил по окрестностям военных полей, по крутым горам жизни, а Домна Михайловна все более тревожилась, поглядывая на дочь да на гостя. «Ой, царица небесная, кажется, у них сурьезные дела-то! Ой, че будет? Война кругом...»

После обеда Валерия Мефодьевна засобиралась по делам в контору, спутнику своему предложила на выбор три удовольствия: поспать на печи, почитать — отец был большой книгочей, когда попадал в город, непременно покупал книги, Щусь уже отметил: в доме этом обитал сельский интеллигент, знавший городской обиход, устройство городское и не желавший отставать от передовой культуры,— либо посмотреть альбом с фотографиями.

Гость листал альбом и видел, что Валерия была с детства в семье выделена: красивая, уже в подростках независимая, на карточках смотрелась она как-то на отшибе, вроде бы городская особь, случайно затесавшаяся в деревенский круг. Щусь не без улыбки предположил, что Валерия была в школе отличницей.

— Круглой, круглой. С первого по десятый класс. Медалистка она у нас! — подтвердила Домна Михайловна и, словно удивляясь самой себе, подсев к гостю, заглянула в альбом, в который давно не было поры заглянуть, продолжала:— Шестеро их у нас. Трое парней и девок три. Два парня на войне, во флоте. Дочка середня по мобилизации на военном летчицком заводе в Новосибирске. Все оне люди как люди. Учились кто как, помогали по дому и двору, в лес бродили, дрались, фулюганничали, погуливали, по огорошкам лазили, из речки летом не вылезали, ни один, кроме нее, десятилетку не вытянул. А она, милый ты мой, и шпарит, и шпарит, и погонять ее никто в учебе-то не погонял. Накинет мою старую шаленку на плечи, сядет за стол за отцовский в горнице, не позови поест, так и засохнет над книжкой. Да это еще чего-о!— Домна Михайловна, существо все же деревенское больше, хотя хозяин, поди-ко, изо всех сил тянул ее на городской обиход, суеверно перекрестилась на окно — сам икон в доме не держал.— Она и в житье-то блаженная была. Надо идти на улицу, ко мне в куть: «Мама, разрешите мне сходить поиграть...» Меня аж оторопь возьмет: Го-осподи, откуль че? Что за порча на ребенка напущена? К родителям на «вы». В городе, в техникуме-то, из общежития не выходила, все книжечки, все книжечки... На практике в поле перед самой войной познакомилась с одним, да тот тоже ее стеснялся, тоже с нею на «вы». Отец уж перед отъездом на войну, лезервист он, уговорил уважить его, чтоб союз семейный у

дочери завелся, мол, на душе спокойней будет. Все дети при месте, и ты, мое самое дорогое дитя, тоже устроена.

Домна Михайловна вздохнула, побросала мелкие крестики на грудь, тут же испуганно убрала руку.

— Сам-от запрещал молиться. Все партия, все партия... Вот те и партия! Где она? Где он? Ты уж не обессудь меня, молюсь потихонечку нонче за всех за вас, и за него, безбожника, тоже. Скажу те по секрету — он меня за отсталость чуть не бросил с детьми. Городску атеистку подцепил, и если бы не Валерия... Ох-хо-хо-о-о-о, грехи наши тяжкие!.. Ну вот, слушай дальше... Уважала наша барыня отца, пожила сколько-то с мужем в Новосибирске. Того призвали в первую же неделю войны. Она домой в тягости. Худая, зеленая, глазишши светятся попреком: «Ну што, довольны теперь?» Боже мой, боже мой! Што за человек?! Токо-токо родила, ребенка под бок и в другу деревню, на самостоятельный хлеб. Будто в родной избе места нету, будто бабушке внученька не в радость. Сама мается и ребенка мает... «Тепло ли в комнатенке-то? Молоко-то хоть есть?» — «Тепло, тепло, Домна Михайловна, и молоко приносят, и нянька — девочка славная». Нянька! — всхлинула Домна Михайловна.— Чужой человек... Я бы и съездила другой раз, Иван Иванович в подводе не откажет, да боюсь. Все мы ее чтим, но боимся. А вы-то как? Временно это у вас?

— Война, Домна Михайловна.

— Во-ойна-а-а,— подхватила Домна Михайловна.— И как она вас к себе подпустила? Вот в чем мое недоуменье.

«Как? Как? Обыкновенно.— Щусь смотрел на семейную, может, и свадебную фотографию. Нездешнего, не деревенского вида деваха, неброско, но ладно одетая, с косой, кинутой на грудь. К девахе приник, прилепился совершенно смиренный, блеклый парень с пролетарской осанкой, большеносый, широколицый, аккуратно причесанный перед съемкой, в галстук, явно его задушившем.— А вот так! И вам, и ему, да и мне, пожалуй, Валерия за что-то выдает...»

— Клопов-то хоть нету?

— Что вы сказали, Домна Михайловна?

— Клопов-то, говорю, в бараке хоть нету? А то съедят ребенчишка... Сам-от в каждом письме только об ней да о внучке спрашивает, будто других детей и внуков у него нету.

— Клопов нет...

— Ну-ну,— не поверила Домна Михайловна и, поджав губы, спросила еще: — Вы с ночевой или как?

— Это уж как Валерия Мефодьевна решит.

— Во-во, и ты туда же: «Как Валерия Мефодьевна решит». Всю жись этак, все в доме по ней равняйся, по ее будь. Ей бы мужиком родиться — в генералы б вышла, дак того фашиста в его огороде, как Ворошилов сулился, и доконала бы...

Валерия вернулась домой поздно. Приторочила лошадь к воротам, бросила ей охалку сена, дома, не раздеваясь, налила в кружку молока, отрезала ломоть хлеба и, приспустив шаль с чуть сбившихся волос, подседа в кути к столу.

— Куда это на ночь глядя? — насторожилась Домна Михайловна.— Ночуйте.— И, отвернувшись, тише добавила: — Я в горнице постелю, никто не помешает, с рассветом разбужу.

— Дела, мама, дела. Завтра с утра хлеб сдавать. Намолотили зерна солдатки.

— Да и сдавай, кто мешает? Девоч, говорят, у тя полно отделение, солдатки намолотят, детский сад в Осипове понадобится...

— Хорошо бы,— устало улыбнулась Валерия Мефодьевна и сомлело потянулась.— Везде закрываются детсады да ясли — детей нет, а я бы с радостью открыла.

— А волки! — не сдавалась мать. — Говорят, дороги кишат ими. Ниче не боятся. Война. Мужиков нету. Подводы и коновозчиков дерут...

— Да мало ли чего у вас тут говорят. У нас вот поют! — И словно страхивая с себя что-то, повела плечами, подмигнула младшему лейтенанту.

«А-а, без-эс баба-а-а, затейница, а-а, ведьма сибирская!» — восхитился Щусь и сейчас только понял, что не знает ее, несколько не постиг, и постигать, наверно, времени уже не хватит, да и зачем?

— Тебе че! Тебе хоть волки, хоть медведи, — собирая кошелку, ворчала Домна Михайловна. — У тя, Лексей Донатович, наган-то есть? А то ведь нашей пролетарье всех стран соединяйся никто не страшен...

— Есть, есть, Домна Михайловна. Простите, если что не так.

— Заезжайте ковды, хоть один, хоть с ей, — хмурясь, вежливо пригласила хозяйка и ткнулась в щеку дочери губами. — Ребенка-то хоть побереги, ребенка-то пожалей. Отец вон в каждом письме о тебе и о ем... Напиши хоть ему ответ, если недосуг матери вниманье уделить... Занята... — мимоходом, но значительно ввернула она и уперлась глазами в младшего лейтенанта.

— Напишу, напишу как-нибудь... — отстранилась Валерия от матери и, кинув на ходу: «До свиданья!» — вышла из дому.

Ехали молча, не торопясь. Валерия сидела, откинувшись в угол кошевки, закрыв глаза, плотно запахнувшись, повязанная по груди шалью — кормящая мать, бережется. Щусь, не опуская вожжей, валенком прикопал ее ноги в солому. Она покачала головой — спасибо.

В степи было тихо и лунно. Лишь вешки, обозначающие дорогу, да телеграфные столбы, бросая от себя длинные тени, оживляли белую равнину, загадочно мерцающую искрами, переливающуюся скользким лунным светом. Полоски переломанного бурьяна раскосмаченно помаргивали в лунном свете, в приветствии упрямо клонились к дороге татарники, лебеда, чертополох — все еще пытались сорить где-то упрятым ветром не выбитым семечком из дребезжащих коробочек; густо ветвилась полынь в степных неглубоких ложбинках, доверху забитых снегом, похожих под луной на переполненные, через края льющисся речки. В ложбинках вязли сани, трещал сухой бурьян под полозьями, конь утопал по брюхо в снегу, заметно напрягался, но, вытащив кошевку из наметов, фыркал освобожденно и, отряхнувшись, без понуканий переходил на легкий бег. Тень дуги, оглобель, коняги, даже пара, клубящегося из его ноздрей, скользила рядом, мотала хвостом, шевелила ушами — такая славная, такая милая картина, совершенно успокаивающая сердце, уносящая память не только за кромку этих снежных полей, но еще дальше, в какое-то убаюканное ночью и временем пространство, где не только о войне, но даже о какой-либо тревоге помина нет.

И если бы не эти всхолмленные поля, не эти «несжатые нивы», уходящие в ночную лунную бесконечность, в неверным светом рдеющие дали, которые там и сям коротким, робким росчерком ученического карандаша означали березовые перелески, краса и радость лесостепных земель, — все воспринималось бы, как в древней сказке с хорошим, мирным концом.

Мертвые хлеба в который раз унизило, придавило метельными снегами, но они, израненные, убитые, все равно клочковато выпрастывались, горбато вздымались из рыхлых сугробов, трясли пустыми колосьями, мотали измочаленными чубами. Темной тучкой наплывала погибшая полоса на холме, выдутая до земли, тенями ходила под луной, все еще чем-то пылилась, позванивала, шуршала — сердцу становилось тесно в груди при виде этих вот сиротских полей, словно не похороненный, брошенный покойник неприкаянно маялся без кре-

ста, без домовины и тревожил собою не только ночную степь, но и лунное студеное небо. От них, от этих заброшенных, запустелых полей, отлученно гляделись и редкие перелески, и остатние низко осевшие скирды, и приземистые, безголосые домики степных деревень, продышавших в сугробах норочки, из которых светилось, теплом дышало одинокое оконце.

Хотелось встряхнуться, заорать или заплакать, исхлестать лошадь, такую бодрую, такую безразличную ко всему, такую... «Эк тебя, Алексей Донатович, рассолодило! Баба рядом, степь кругом, метель унялась, война далеко — такая ли идиллия...»

И только он так подумал, от перелеска, проступившего впереди, донесло голос заблудшего пьяного человека и тут же подхватом поскребло уши одинокое рыдание. «Да это ж волки! Накаркала, наклика Домна Михайловна...»

— У тебя наган-то заряжен ли? — не открывая глаз, насмешливо спросила Валерия.

— Он у меня завсегда, товарищ генерал, взведен.

— Если б тем наганом волков бить — все зверье повывелось бы.

— А другого у меня нет.

— Зачем старую женщину обманываешь? — Валерия открыла забеленные морозом, пушистые ресницы и скосила на него глазищи, в лунном свете куржаком обрамленные, совсем они были по солдатской уемистой ложке.

Лошадь встревожилась, запрядала ушами. Щусь крепче намотал на руку вожжи.

— Не бойсь,— пошевелилась Валерия и потуже затянула шаль на груди,— они постоянно тут поют, но на людей не нападают, на подводы тем паче,— овчарен и деревенских собачонок хватает. Чистят их умные звери, чувят людскую беду, плодятся. Дедок из Прошихи, тот, что помог солдатам черенки для вил заготовить — мой крестный,— он сказывал, прошлым летом все выводки были полны. Волки — звери настолько приспособленные, что могут регулировать рождаемость в зависимости от урожая, падежа скота, засухи, недорода...

— Ты что, всерьез?

— Всерьез, всерьез. Я все делаю всерьез, товарищ командир. И говорю всерьез. Хлеба наши спозаброшенные, спозабытые — людям бедствие, птицам, мышам — раздолье, зверю — прибыток: плодятся, множатся, поют, токуют. Знаешь,— помолчав, продолжала уже без насмешки Валерия Мефодьевна,— волчица если в недородный год опечатку сделает, родит лишнего волчонка, — самого хилого начинает от сосцов отгонять, морду от него воротит, семейка в угол лежбища неудобное дитя загоняет, волчонок хвостом виляет, морды братьям облизывает, к маме ластится, та зубы ему навстречу и... однажды бросается весь выводок, рвет и съедает лишнего щенка, брата своего.

— Это тебе тоже крестный?

— Он. И он же сказал, что у вас в полку братьев Снегиревых со свету свели. Хуже волков, господи прости!.. Дай мне вожжи. Под ногами в соломе берданка заряженная, вытащи — на всякий случай. Через лесок поедем.

Щусь пошевелил ногами в соломе, нащупал валенком оружие, это был карабин. Младший лейтенант обдул его, передернул затвор — на колени ему выпал патрон с острой пулей. «Да-а, с этой бабой не соскучишься!» — покосился он на спутницу, загоняя патрон в патронник и ставя затвор на предохранитель.

— Какая тебе бердана? Это ж карабин. Старый, правда, но боевой.

— А мне что?

— Так ведь узнают, привлекут. Где взяла-то?

— Не узнают. Не привлекут. Из клуба он, вместо учебной винтовки. Учебный военный кружок у нас. Как вы, героически сокращая

линию фронта, до Искитимских степей дойдете, мы, бабы, обороняться начнем от фашиста, станем по очереди палить из этого единственного на три деревни оружия.— Она пошевелила вожжами, сказала внятно: — Давай! Серко, поддавай ходу, конюшня скоро, там тебе кушать дадут и волки не задерут... — Щусю после долгого молчания бросила: — Надеюсь, хоть ты-то в Снегиры не стрелял?..

— Не стрелял...— эхом откликнулся он и, повременив, добавил:— Да не легче от этого.— И еще помолчав, покрутил головой.— Что в народе, то в природе — едят друг дружку все.

Лесок, занесенный по поясу, пробуровленный в середине подводами, миновали благополучно, оглянулись как по команде — вдоль облачно клубящихся по опушке кустов, заваленных сугробами, будто насеяно густой топанины. После метели отмякло в лесочке, по опушке, по каждой былочке, по каждой ветке пересыпались синеватые слюдяные блики. Щусю вспомнилось несжатое поле в скорбном свечении, шелестящее, вздыхающее даже, когда в гущу смятой соломы оседал снег. От дороги полого уходила в лес полоса — волоком вывозил кто-то лес или сено на волокушах. На волоке черные кляксы и рваные полосы: «Кровь»,— догадался Щусь. Белый поток испарало на всплеске, накрошило кучты с деревьев, где-то близко, совсем рядом таятся, спят в снегу волки отжировавшие. Щусь собрался выстрелить в утихший под луной нарядно-белый лесок, чтобы пугнуть зверье. Валерия остановила его, положила на карабин рукавицу, отороченную на запястье собачьим мехом.

— Не надо. Настреляешься еще. Так тихо.

Она почмокала губами, поговорила с Серком, еще раз заверила его насчет сытой конюшни и полной безопасности. Щусь понял, что ей привычно ездить по степи, разговаривать с лошастью как с самым близким другом, он снова впал в умиление от ночной тишины, от мирных сельских картин и как бы нечаянно прислонился боком к рядом сидящей женщине. Она пристально взглянула на него и вдруг обхватила его руками.

— А ты знаешь, что Донат с латинского переводится как подаренный, а Алексей — это, кажется, господин. Донат подарил мне тебя или господь?

Он нашел губами ее пушистые глаза и бережно прикоснулся сначала к одному, потом к другому глазу, куржак, собранный с ее ресниц, был солоноватый. Щусь начал догадываться, что дни, прожитые им в Осипове, женщина эта — надолго. Все, вроде бы так мимоходом и понарошке начатое, оборачивается в серьезное дело. И тут же вспомнил: «А я все делаю серьезно».

«Чего это я? А-а, чует сердце, чует, скоро уезжать. И все, что было сегодня, делается воспоминанием. Скоро, скоро...»

— А Валерия как будет? — шепнул он под шаль в ухо.— Подаренная или встреченная?

— Подцепленная будет,— сказала спутница внятно и отстранилась от него, заправляя шаль под полушубок, на грудь.

В завозне, увешанной под крышей, по слегам и укосинам ласточкиными и осинными гнездами, по края набитыми белым снегом, будто чашки, наполненные молоком, шла привычная, размеренная работа: провеивалось, сушилось, затаривалось в мешки зерно. Из конторы совхоза приказано было довести и подготовить к сдаче все остатки хлеба.

До обеда на совхозных складах обреталась Валерия Мефодьевна, негромко, но со значением и знанием дела распоряжалась погрузкой зерна да бросала взгляд на Васконяна, уныло вращающего ручку вельяки, вроде бы собираясь ему что-то сказать. Завязанный по шлему старой шалюшкой, в наглухо застегнутой шинели с поднятым воротником, перепоясанный ремнем, но скорее перехваченный скрученной

подругой по плоской фигуре, воин этот напоминал пленного невольника, обреченного на изнурительный труд. Старик Завьялов отвалил Васконяну меховую безрукавку. Настасья Ефимовна зашила изодранную шинель, выданы были постояльцу подшитые валенки с кожаными запяточниками, отчего-то простроченные ненасмоленной, белой драгвой. И все равно Васконян стыл изнутри, угнетен был и подавлен холодом, одиночеством, заброшенностью.

Давно уже девчонки перестали его задирать, заигрывать с ним, сыпать ему в штаны холодную, что свинцовая картечь, пшеницу, но ребята, наряженные на сегодняшний день работать на склады, насыпать зерно в мешки, сносить их в угол, скучать девкам не давали, мяли их на ворохах хлеба, залазили в сугревные места рукой. Девчонки перевозбужденно и ошалело взвизгивали, лишь Шурочка не принимала участия в заманчиво-азартных играх, издали поглядывала на Лешку, поставленного за старшего на складах, о чем-то спрашивала глазами его так настойчиво, что парень кивнул ей. Шура, вспыхнув, отвернулась. «Э-э, да тут никак роман налаживается,— отметила Валерия Мефодьевна,— успеет ли действие развернуться?» — и увидела в распахнутых воротах мангазины, словно на белом экране, женщину, одетую в новый полушубок, в новые, не растоптанные еще валенки, в солдатскую шапку, из-под которой выбивались крупные завитки черных волос. Она не отрываясь смотрела на уныло раскачивающуюся вместе с колесом нелепую фигуру Васконяна, на узкую и плоскую спину его, на которой даже под шинелью угадывались россыпь углстых костей, остродвигающиеся лопатки. Валерия Мефодьевна заторопилась вниз по лестнице, чтоб успеть предупредить о чем-то Васконяна, но в это время женщина, стоявшая в проеме ворот, чуть слышно позвала:

— Ашо-от! Ашотик!

Васконян раз-другой еще крутнул ручку колеса веялки и медленно отступил от агрегата. Разогнанное колесо веялки продолжало вертеться само собой, машина, ослабевая зудящим нутром, продолжала выбрасывать из утробы своей через решетчатое жерло пыль, мякину, пустые зерна, а в другое отверстие на чисто подметенный пол струилась еще желтая полоска зерна. Но утихла веялка, струйка уже не шла, лишь прыскало на исходе россыпи зерна. Васконян все еще не двигался с места, смотрел на женщину, стоящую в светлом проеме ворот. Но вот он начал суетливо прибираться, вытер рукавицей губы, стер, смахнул с носа пыль, мятую ость, попытался повернуть съехавшую набок пряжку ремня на шинели и вдруг, нелепо воздев руки, спотыкаясь, ринулся от веялки к воротам:

— М-ма-а-а-ма-а-а!

Васконян едва не уронил женщину, сбил с нее шапку на заснеженный въезд в завозню, что-то еще неладное, нескладное, суетливое сделал, пока женщина не привлекла его к себе, не принялась его со стоном целовать.

Со второго, сушильного этажа, легши на пол, свесивши головы в широкие люки, гладели ребята. Угадав в Валерии Мефодьевне начальницу, женщина, не выпуская трясущегося от нервного припадка сына, все повторяющего: «Мама! Мама! Мама! — подала ей руку, представила:

— Васконян. Генриэтта. Его мать,— и, виновато улыбнувшись, показала на не отлипающего от нее, повисшего на шее сына.— Разрешите нам...

— Конечно, конечно. Мы тут управимся. Ты где живешь, Ашот?

— Что? Живу?.. А-а, это недавно, совсем недавно.

Так, прильнув друг к другу, в обнимку дошли сын и мать до кошевки, которую Васконян сразу узнал — подвода полковника Азатьяна и девки, глядевшие в открытые отдушины, от которых полосами настелилась на снег серая пыль, притихли, проникаясь



большим почтением к матери сотоварища, да и к нему самому: в головах служивых шевельнулась тень раскаянья — обижали вот человека, насмеялись над ним, тычки ему в спину давали, а он вот в полковничьей кошевке к Завьяловым поехал.

Старики Завьяловы сразу определили: гостья к ним пожаловала важная, — засуетились, замельтешили, как и всегда все деревенские люди мельтешили перед городскими гостями. Но мать Васконяна не знала этого, засмушалась, заизвинялась, скоро, однако, поняла, что не от униженности это, а от почтения «к имя», к городским, значит, да еще и нации неизвестной. Была тут же затоплена баня, гостья состирнула амуницию сына, чем приблизила к себе и расположила хозяйку. Самого бойца после бани переодели в деревенское белье — рубашку, штаны Максимушки, который вместе с братом ссадился у Завьяловых на пути в ссылку все из той же достопамятной Прошихи, где разорена была и отправлена на поселение родная сестра Настасья Ефимовны.

Высылаемые крестьяне ехали на станцию Искитим через Осипово, здесь кормили лошадей. Ссылные горемыки расплзлись по родственникам — обогреться, повидаться, поплакать, и, чувствуя, что из каторжанских лесов Нарыма им уже не вернуться, старшая «богатая» сестра попросила бедную младшую сестру взять из большого выводка двух младших парнишек, спасти их. Спасли, оберегли, полюбили, на фронт проводили. Товарищи комиссары из военкоматов, из энкавдэшных, партийных и других военных контор как-то сразу запомнили, что это есть дети «смертельной контры», гребли всех подряд, бросали в огонь войны, будто солому навильниками, отодвигаясь от горячего на такое расстояние, чтоб самих не пекло.

Пока непривычно чистый, прибранный постоялец беседовал в горнице с матерью, Завьяловы собрали на стол. Корней Измодемович только венцом серым мелькал, опускаясь то в подполье, то в погреб. Настасья Ефимовна тоже вся исхлопоталась.

— Гляди-ко, гляди-ко! — шепотом позвала она «самово» на кухню, выкладывая из нового солдатского вещмешка продукты, привезенные матерью Васконяна. — Колбаса, консерва, сахар, нездешна красна рыба, белый хлеб, поллитровка.

Выставив все это богатство на приступок кухонного шкафчика, Настасья Ефимовна взыскующе глядела на мужа, будто уличая его в чем-то. Как, старый? Живут люди! Не тужат? Корней Измодемович лишь коснулся глазом продуктового изобилия. Его истомленный взор выделял главным образом отпотелую бутылку с сургучом на маковке, он даже почувствовал судорогу в горле, ощутил томление в животе и во всем теле.

— И не облизывайся, и не мечтай! — дала ему отлуп хозяйка. — Пока робяты с работы не придут, не выставлю.

— Дак я че? Я без робят и сам... — И, выходя из кухни, покрутив головой, хозяин внятно молвил, угождая жене: — Век так! Кому война, кому х...евина одна.

— Да не матерись ты, — очурала его хозяйка, — еще услышат.

— Пушпай слушают!

В горнице, в уединении шел напряженный разговор между матерью и сыном. Ашот долго не писал родителям. Мать и отец забеспокоились. Очень он напугал их историей с офицерским училищем, госпиталем и всем, что с ним происходило в военной круговерти. Вот она и решила ехать в часть, познакомилась с командиром полка, узнала, что войско на хлебозаготовках, и как вообразила свое чадо среди зимних сельских нив, так ей совсем не по себе сделалось.

— Полковник был очень любезен, дал своего рысака и ямщика, продуктами снабдил...

Ашот, захватив ладонью бледный высокий лоб, будто жар сам у себя слушал, внимал матери не перебивая.

— Ямщик Харитоненко знакомых солдат встретил, в совхозную столовую с ними ушел.. Хотя и мимоходом видела я ваши казармы, да как представила тебя в этом царстве...

— Тебе никогда не представит до конца сие цагство, как бы ты ни напягава свое богатое воображение.

Мать отняла его ладонь ото лба, погладила сухие пальцы и прижалась щекой к смуглой руке сына.

— Мальчик мой! В полку идет подготовка маршевых рот. Вас вот-вот отправят на фронт.

— Чем скогей, тем вучше.

Она ловила его взгляд, хотела что-то уяснить для себя.

— Полковник Азатыян дал мне понять: армяне, разбросанные по всему свету, потому и живы, что умеют помогать друг другу...

Ашот отгёрнулся, угасло глядел в белое окно, на замершие в росте, усмиренные зимние цветы на подоконнике.

— Какой я агмянин? Дед мой в агмянском севе годився, отец — в Твеги, ты и я госви и живи уже в Кавинине. Да есви бы и быв я тижды агмянином, не восповзозався бы такой возможностью. Я в этой яме прозгев, товагищей, способных газдевить посведнюю кошкку хвеба, пгиобгев...

— Но они бьют тебя, смеются над тобой.

— Пусть бьют, пусть смеются. У идеалистов-фивософов в умных книжках сказано: смеясь, чевовечество гасстается со своим прошвым. С позогным прошвым, добаввю я от себя ценную, своевгеменную мысьвь.

— Да-да, не просто смеясь. Непременно смеясь жизнерадостно. Слова, лозунги, заповеди, нами придуманные для того, чтобы им не следовать: «Коммунист с котелком в кухне — последний, в бой — первый...» Ты думаешь, на фронте не так?

— Нет, не думаю. Я стагаюсь бовьше смотгеть, свушать. Может быть... Может быть, я хоть один газ успею выстгевить по вагу, хоть чуть-чуть гаспвачусь за свадкий хвеб моего детства. — Ашот еще сильнее побледнел, глядя в глаза матери, устало и вроде бы машинально произнес: — Узок их круг, стгашно давеки они от нагода... Это про нас, мама, про нас. Неужеви стовько кгови, стовько свез провито двя того, чтобы создавась новая, подвая агистократия, под названием советская?

— Полуобразованная, часто совсем безграмотная, но свою шкуру ценящая больше римских патрициев,— подхватила мать, комкая платочек в горсти.— Ох, как много я увидела и узнала за дни войны. Бедствия обнажили не только наши доблести, но и подлости.— Мать помяла платочек, пощелкала пальцами.— Все так, все так, но...

— Нет, мама, нет. Я еду с гебятами на фонт, я не могу иначе. Уже не могу.

— Я понимаю... я понимаю.

— Что деваает сейчас папа?

— Редактирует какую-то шахтерскую «Кочегарку». А я? Я теперь при обкоме и снова на букву «ке» — был Калининский, теперь Кемеровский, в отделе агитации и пропаганды,— мать усмехнулась, развела руками,— я умею только агитировать, пропагандировать — на это ведь ни ума, ни сердца не надо.

— Всякому свое,— подхватил Ашот.— Женщинам и детям в забой вместо мужиков, комиссагам — пгизывать их к тгудовым подвигам.— Он пристально и неприязненно поглядел на свою еще моложавую мать, привыкшую к белым накрахмаленным блузкам, к черной юбке, и, заметив, как она нервно перебирает воротничок этой самой блузки, протянул руку, погладил ее по жестким черным завиткам.— Пгости, пожауйста. Давай пгекгатим этот газвогов. Ни вы с папой, ни я уже

не сможем жить отделив от той жизни, котагая нам выпава.— Ашот прислушался.— Гебята с габоты пгишви, в гогницу ни они, ни хозяева не сунутся — пойдем к ним.

Он приобнял мать, вывел ее в прихожую и, виновато улыбаясь, сказал Грише Хохлаку и Лешке Шестакову:

— Вот моя мама. Добравась в такую давь...

В столовку работников не отпустили. Ужинали все вместе.

— Неча, неча казенной кашей брюхо надсажать. Угощайтесь, чем бог послал.

Мать Васконяна ела опрятно, поглядывая на парней, на хозяев, сама и первую рюмку подняла:

— За добрых людей!

Ашот расхрабился, выпил до дна, закашлялся, забрызгался.

— Ну, Ашотик, ну, воин! — с потерянной, извинительной улыбкой вытирала она платочком губы сына, и ребята подумали, что и в детстве мать так же вот обихаживала сына на людях, стесняясь и любя. Им-то ни губы, ни попу никто не вытирал, своими силами обходились.

— Простите, пожавуста! — вытирая слезы с глаз, повинился Васконян.

— Непривышний, — пояснил матери Корней Измоденович и авторитетно обнадежил: — Однако на позициях всему научится, холод и нужда заставят.

— Хорошо бы.

— Изнежен он у вас, вот ему и трудней середь людей, да ишшо в тако время.

— Да, да, конечно.

— Бывали хуже вгемена... — вмешался в разговор Васконян. — Ничего, Когней Измоденович, ничего, как вы говогите: бог не выдаст, свинья не съест... Я уже самогонку пгобовав — и удачно. Вон гебята подтведят.

— Ашо-от!

— И не один я такой и пегезтакий, в пегеплет попал, — будто не слыша мать, громко уже говорил Васконян, моментом захмелевший, и вдруг грянул: — «Мм-ы вгага встгечаем пгосто, биви, бьем и будем бить!»

Мать Васконяна махнула рукой:

— Тоже мне Лемешев!..

Все с облегчением засмеялись, попробовали подхватить песню. Васконян решительно потянулся ко второй рюмке.

— Ашо-от!

— Мама, не мешай! Гечь буду говогить! — В рубашечке с отличными полосками, с промытым до бледности лицом, на котором чернели каторжные брови, ночным блеском отливали глаза, утопив в бездонной глубине своей свет лампы, Васконян смотрелся только поднявшимся с больничной койки человеком. — За мою маму и за ваших матегей, Леша, Ггигогий! Мама, это замечательные гебята! С ними на фгонте... — Он трудно высосал рюмку до половины и, сам себе удивляясь, воскликнул: — Не идет! Но ты, мама, не обижайся... А как, мама, Ггигогий иггает на баяне, как иггает!.. Вы вот меня на фогтепьяно насивьно тащиви. Ггиша учився тайком. Ггише в пионегы невьзя. Вгаг! Кому — вгаг, кому? Тетка-убогщица, вечегней погой тайком его во Двогец пионегов. В пионегы ему невьзя. Баян советский довегить ему невьзя, винтовку пожавуста. Комиссагы — моводцы — все ему вгедное его пгоисхождение пгостиви... Ггиша, Ггиша, дай я тебя, бгат, поцевую.

Васконян сдавил костлявыми руками шею смущенно улыбающегося Хохлака, обмусолил ему ухо и щеку. Настасья Ефимовна начала промокать глаза платком. Мать Ашота, уставившись в стол, постуки-

вала пальцами о скатерть, ребята, от неловкости снисходительно улыбаясь, переглядывались.

— Ничего, ребята, ничего. Мы фашисту-блядине все одно кишки выпустим! Потом и тута разберемся,— погрозив кулаком в потолок, звонким голосом возвестил Корней Измодемович.

Вскоре Хохлак с Лешкой подхватили совсем сомлевшего Васконяна, отволокли его в горницу, сами же торопливо снарядились в клуб, где, знали они, призывно мерцало пятнышко лампы. В протоптанную под окном избы Завьяловых щелку уж не раз вежливо стучали, вытребывая музыканта.

— Порешат стекла, порешат! — Настасья Ефимовна, понарошке сердясь, повысила голос.— Халды! Бесстыдницы! Сами, сами к парням так и лезут. Мы раньше...

— Обходили, обегали парней! По степу не гуляли с имя, на полях да на вечерках не тискались,— подхватил Корней Измодемович.— Война, Тася, война. Молодым последняя радость. Ступайте, ступайте, ребяташки. Солдат идет селом, глядит орлом! Мы тут ишло посидим. Гражданочка уложит своего вояку спать, мы дале поведем с ей беседу про политику и про всякую другую хреновину.

Мать Васконяна уезжала наутре, спать не ложилась. Она сидела возле спящего сына, тяжело, со свистом и писком дышащего простуженной грудью, стирала проступающий на лбу его, высоком и чистом, пот — Завьяловы подтопили в избе и в горнице, дров не жалея,— смотрела на сморщенное у рта, гиблым пухом обросшее костлявое лицо, неслышно плакала. Ей не принадлежащим, может, еще от зверей-самок доставшимся чутьем или инстинктом мать угадывала — видит она свое дитя в последний раз....

В предупреденный час Харитоненко вежливо постучал в окно кончиком деревянной рукоятки кнута. Все повскакивали в избе, даже парни, совсем недавно домой вернувшиеся, проснулись, лишь Ашот спал безмятежно-младенческим сном, мать припала ухом к его груди, послушала сердце, коротко ткнулась губами в высокий лоб и вышла быстро из избы, отворачивая лицо, на ходу надевая рукавицы.

— Спасибо! Спасибо! — уже открыв дверь, обернулась, сверкнула слепыми от слез глазами в сторону Лешки и Гриши, которым постелено было на полу. Парни сидели в ворохе шуб,дох, со сна ничего не соображали.— Ребята, миленькие, поберегите его там, поберегите!

Войско, перемешанное с гражданским людом, неровной цепью вело наступление на чуть всхолмленную снежную целину, оставляя после себя густую топанину, соломенный сор и воронки, точно как от взрывов мин на том месте, где таилась под снегом, но была выковырена и увезена хлебная копешка. Позади цепей, как бы поддерживая пехоту, стоял наподобие танка комбайн и целился пустым железным дулом хлебоприемника в пространство. За «танком» пылило, чуть дымясь, ворохами валилось тут же рассыпающееся соломенное месиво. Мирная картина привычного уже труда под привычным зимним небом, бугристым на горизонте от недвижно лежащих, снегом набитых облаков, в любую минуту готовых двинуться по высоким просторам, заполнить собою небо, вывалить весь белый груз на зимнюю землю, да и понестись налегке вдаль, в вечное странствие, во всегда им открытые дали.

У костра, горящего среди поля, сидел на ведре, опрокинутом вверх дном, полководец, курил, жмурился, морщился, отворачивался от шатучего жара и дыма, думая обо всем сразу и о братьях Снегиревых тоже, так некстати помянутых Валерией Мефодьевной...

Два противоречивых чувства боролись в нем — одно: прикинуть еще две-три копешки на брата, уж больно наловчились солдатики управляться с копнами, больно уж наступательную стратегию тонко

продумали: впереди авангардом идут девки с лопатами, разгребают снег на копешках, да и тут их мудрые воины научили не пыхтеть, не скрести лопатой поверху, но разрубать на три-четыре пласта плотно слежавшийся снег, разъять пласты, разбросать их на стороны — и вся недолга. Маковка смирной копнушки светится младенческим темечком или как плешь деда Завьялова, прелью пышет, слабеньким теплом курится, движения, шороху, употребления, обмолоту жаждет.

Следом движется войско, составленное из крепких забойщиков с вилами. Шестеро вил всаживаются по черенок в хрустящую копешку, под самый под теплый соломенный подол забраться бойцы норовят, поддеть ее, опрокинуть, будто бабу, ну и... плюнули, дунули, хо-хо! — и вот лежит кверху бледной задницей копешка-матрешка, зернышки из нее на снег высыпаются, ость пылится, обнажившиеся, на свету ослепшие, тучами расплотившиеся, мечутся ожиревшие мыши. Допревать бы по весне под жарким солнцем, среди снежных луж копнам, затем гореть, освобождая землю для плуга, бороны и сеялок. Однако назначение пусть и у занесенных снегом копешек было совсем другое: сколько ни есть колосьев под снегом — сохранить, зернышками людей, скот и птичек питать.

Следом за ударниками-молодцами с волокушами наступает Коля Рындин, сам себе конь, он в чембарах, в химических скороходах, с оглоблей на плече вышагивает, наевшись досыта столовской пищи, наверхосытку полный противень до хруста за жаренной пшеницы срубавший, по-конски грохает на всю округу, вилами поддевает копны, точно олады вилкой в масленицу за столом у баушки Секлетиньи, прет на горбу целый воз к сыто урчащему комбайну, да еще и песню орет, совсем не стихирную, не божецкую: «Распустила Анька косы, а за нею все матросы». Зазноба его, Анька, обучила Колю Рындина песне вольной. Услышь баушка Секлетинья такую срамотищу, теми же вилами по хребту внучека отходила бы и епитимью велела б на него наложить, и бил бы добрый молодец лбом об пол, замаливал грехи. Армия, конечно, не сахар, но в ней то хорошо, что от утеснений веры полная свобода, да и «товаришшэв» много, как поется в одной кужебарской песне.

Дополнительный отряд трудящихся у комбайна копошится, словно боевой расчет возле орудия, вилами копны растеребливает, рыхлит солому, граблями к подавальщикам подгребает, те на полок вороха подают. Мчится солома под гремящий барабан в пасть молотилке. Оно, конечно, сухие бы снопы туда, в молотильный-то зев, да кто снопы нынче вяжет? Сжать, в снопы хлебушек связать — времени и сил у народа не хватало. Вон она, желтая, поникшая нива, до самого горизонта, до лесов самых сиротски плачет, сердце рвет и все ниже и ниже клонится, бумажно шуршит пустой колос — ветру и снегу добыча.

«Нет, придется набросить копешку-другую на брата, придется, каждая горсть зерна — спасение. Вон в Ленинграде голод, да какой! Провоевали половину страны! Гитлер, гад, нарочно, видать, под урожай войска двинул, не дал хлеб убрать», — думает, но не успевает довершить думу полководец. По дороге галопом скачет серый конь, из-под копыт его сыплется ледяное крошево. Не из Осипова скачет конь, от центральной усадьбы совхоза скачет.

«Отра-або-ота-ались!» — падает сердце у полководца.

Видит он, как во поле, на белых пространствах замирает наступление по мере приближения всадника, как охнул и заныл на холостом ходу все пожирающий, душной гарью дышащий комбайн.

«Отрабо-о-отались!» — повторяется в пригложшем звуке машины.

Как быстро! Васконятова, мельком видевшаяся с Азатьяном, говорила, что ведется подготовка к отправке маршевых рот. Иван Иванович Тебеньков, по делам бывший в полку, наметанным хозяйским взглядом тоже кое-что предположное отметил, но все думалось: сбо-

ры да соборы, может, недельку-другую еще потрутся красноармейцы в совхозе, поокрепнут, погуляют. Ну да чему быть, того не миновать. Уже и войско с поля разбродно потянулось вслед за вестником-всадником к костру, к полевому штабу, уже и комбайн, хокнув, замолк, но еще какое-то время крутилось в нем, чуть забывая, маховое колесо да слышнее сделалось, как чиненые-перечиненые ремни шлепаются и шлепаются, ударяясь швами о маховик.

Комбайнер Вася Шевелев, вытирая руки ветошью, дает распоряжения помощнику Косте Уварову: собрать инструменты, снять ремни, слить горячее обратно в бочку, воду — наземь. А в ушах все слышен звук работающей машины, все еще он по зимним полям разносится, тревожит глухостью объятое пространство.

Собралось войско в кучу, обступило костер, ждет, когда командир роты прочтет записку из совхоза и даст руководящее распоряжение насчет дальнейшего существования.

«Алексей Донатович! Дорогой мой! — писал Иван Иванович Тебеньков остро заточенным карандашом.— Пришла в совхоз телеграмма, и звонок был — немедленно возвращаться вам в расположение полка. Домой, значит. Сегодня же и отправляться, чтобы вечером пригородным поездом уехать в Бердск. Я подъеду на станцию Искитим. Скажи Валерии Мефодьевне, чтоб хорошо накормили бойцов и в дорогу сухим пайком снабдили. Ну да она сама женщина с умом, сообразит. Ах ты, господи! Как подумаешь, куда вы отправляетесь и с кем мы остаемся.... Ну да ничего не поделаешь.

До встречи, дорогой мой! Ив. И. Тебеньков».

Щусь свернул записку, глядя в затухающий огонь. Бойцы выжидательно и напряженно молчали. Девчонки, отступившие на второй план и как бы сразу отделившиеся от своих соартельщиков, в растерянности и испуге таращили глаза.

— Все, товарищи! — хлопнув себя по коленям, поднялся с сиденья своего Щусь.— Кончилась страда. Все! Всем быстро в деревню, в столовую на обед и...— Он подумал, прикинул что-то.— И-и двадцать минут на сборы, на расставанья. Ночью надлежит нам быть в полку. Все.

С полей по снежной дороге тащились в Осипово, будто невольники, разбродной унылой толпою, за ними — сами, без поводырей, опустив головы, мели пустыми волокушами снег лошади и быки. В просторном безгласном поле сиротским серым дымком сочился догоравший костерок в вытаявшей до земли, плотно вокруг обтопанной воронке да бугром чернел заваленный со всех сторон соломой угрюмый, умолкший комбайн.

Было краткое, но душу рвущее расставание с деревушкой Осипово. За две недели сделалось оно таким родным, таким необходимым, с такой привычной уже работой, пусть нележкой, пусть на холоду, на ветру, в пыли, в мякине, в ости, да где он, труд-то и хлеб, легким бывает? Может, пряники легкие, а хлеб...

Как ни отнекивались, как ни отказывались Хохлак, Шестаков и Васконян, старики Завьяловы все-таки снарядили их в дорогу, набили съестным продуктом холщовый мешок. Настасья Ефимовна поплакала, Корней Измоденович на нее покрикивал, покашливал, кряхтел, пытался шутить.

— Конь копытом бьет, удила грызет — ох-хо-хо! Ничего, робятушки, ничего. Главное дело, держитесь друг дружки да здоровье берегите, коли воин занеможет, всяк его переможет, говаривали в старину, друг дружки держитесь, еще раз говорю...

Особо трогательно прощались старики с Васконяном. После приезда его матери они уяснили, что он не пролетарского полета птица, из «грамотеев» он, к которым веки вечные была и пока не извелась почтительность в русской деревне. Но после того как Валерия Мефодьев-

на приблизила к себе Васконяна, поручила ему писать всякого рода бумаги, в основном квитанции, уважением этим прониклась вся деревня. Васконян сперва путался в деловых бумагах, цифирь у него не сходилась, но Завьяловы-то этого не знали. Да если б им и сказали о том, не поверили б — такой лютый книгочей в бумагах каких-то конторских осиповских может дать промашку? Че-пу-ха!

Сыспотиха подъехали они к постояльцу с просьбой написать командире части, в которой воевал с флота на сушу ссаженный и тут же запропавший старший приемш, да и самому приемшшу написать с намеком, что-де война войной, но родителей не следует забывать и хоть две строчки, хоть поклон...

На сколько хватило бумаги, на столько Васконян и размахнулся, была бы длинная бумага — длиньше бы написал. Вроде бы и диктовку-то рассеянно слушал, но так проемисто, так складно, так жалостно все прописал, что Настасья Ефимовна пускала слезу при слушании письма, за сердце держалась. Вот что делает грамота! — сраженно удивлялись старики, вот до чего может дойти умная голова, ведь даже то, чего старики не умели сказать, лишь подумали, и то обозначилось на бумаге, все вравностуц, все с ходом мыслей наравне, с ладом деревенским, неспешным, всем во всем понятным. «Это-то вот наше-то, деревенское-то, как постиг грамотей за шпытанные дни?» — поражались старики. Улучив минутку, Настасья Ефимовна незаметной отмашкой позвала Хохлака и Шестакова в куть, шепотом наказала беречь такого редкостного человека, в обиду его не давать, на позициях остерегать от огня и пуля. Ребята дружно сулились остерегать. Корней Измоденович выразил свое напутствие более открыто и прямо, чем это свойственно бабам:

— Тебе, Ашот, прямой путь в писаря. Служба, конечно, тожа не подаршна, а все-ш-ки не всяка пуля твоя. Вы, робятки, Лешка, Гриша, коли он по интеллигентной учености поскромничает, подскажите кому надо, в лазарете или ишшо где, любу, дескать, бумагу в ладном виде и содержанияи может составить человек, хоть на нашем, хоть на заморском языке.

Васконян от такого внимания оконфузился и на пути к конторе, отворачиваясь от резкого навечернего хиуса, молвил:

— Гебятя! Надеюсь, вы всегез не пгняви стагика. Я едва ввадею немецким, ну и немножко читаю по-фганцузски...

— Ты?! Так че же ты молчишь-то? Че волов за веревку тягал? Тебя бы в штаб, переводчиком, либо в отдел какой... секретный...

— Да вадно вам! Чуть всякую бовгаете.

Разом обернулись, возле низеньких ворот рядышком стояли и смотрели вослед им старики Завьяловы.

— Такой нагод, такой нагод! За такой нагод и уметь не сташно...

— Умереть, умереть... Не ляпал бы языком своим, да еще к ночи!

Войско выстроилось возле конторы. Все почти красноармейцы с мешками, поставленными возле ног. А приехали-то с голыми руками. Вот будет работа в казарме! Вот повеселится зимогоры! Вот пошерудят котомочки доходяги — промысловики.

Завязывая на ходу шаль, на крыльцо конторы вышла Валерия Мефодьевна, в накинутой на плечи телогрейке, под которой белела кофточка, бутристо округленная набрякшими грудями.

— Ну, ребята! Ну, дорогие работники! Спасибо! Еще бы дней десяток вам тут побыть, но и на том, что сделали, спасибо! — Валерия Мефодьевна обвела строй из глуби печально освещенными глазами, скользнула взглядом по девочтам, сиротливой кучкой сбившимся в отдалении. — Останетесь живы, приезжайте! Крестьянская работа не кончится до тех пор, пока есть земля. Она и войны не признает. Как мой папа говаривал: «Рать кормится, мир жнет». А девочки наши будут ждать вас... Ну, с богом!

— Вещи на подводу! — скомандовал Щусь и, когда снова сколотился строй, звонко, отчетливо, стосковавшись, видать, по привычным командам, почти как песню вывел: — Нн-на пр-рыв-во! Ш-го-ом... З-за-певай!

Где подлый враг не проползет,  
Там пролетит стальная рота.  
Где танк железный не пройдет,  
Промчится грозная пехота!

Умный парень, талантливый парень Гриша Хохлак понимал, какая тут песня к месту — боевая, грозная, надежду в мирное население, веру в несокрушимость родного войска вселяющая.

Украина золотая, Белоруссия родная...

Рывнула рота единой грудью, кто-то и подсвистнул, Коля Рындин рокоту подбавил. Только вот Анька, семенящая за строем, петлю ему мешала, толкалась, обнимала при всем честном народе, губами шлепала куда попало. Девушки не висли на войске, стеснялись, частью на почтительном расстоянии тащились за строем, частью уж у конторы в кучу сбились да так и остались закаменелые. Ребятишки малые спешили по обочинам, вязли, барахтались в сугробах — большенькие-то в школе, на центральной усадьбе, а этим, сеголеткам, возбуждение, шум, праздник. Высыпавшие за ворота, прижавшие к окнам расплюснутые носы, осиповские жители, крестьяне, утирая слезы, все же отрицательно влияли на песню. За околицей она начала разлаживаться, пока не развалилась на отдельные голоса, а там и вовсе угасла.

Полководец, назначив старшим над войском комбайнера Васю Шевелева, наказав не сбавлять темп движения, вернулся в деревушку, сказав, что нагонит роту на подводе.

Тут уж воля вольная! Разломился солдатский строй, разбрелся. Шли кто как, кто с кем, побоевитее и посмелее которые войны, среди них технический спец и командир над машинами Вася Шевелев, — в обнимку с зазнобами. До комбайна дошли, замедлили шаг, остановившись начали, поглядывая на кучи соломы. Вася Шевелев, угадав здоровые намерения, повелительно крикнул: «Отставить!»

Тоже еще один начальник выискался. Все так и норовят покомандовать, так и лезут в руководящий состав. Скоро совсем некому воевать и работать будет, совсем рядовых не останется.

Как ни отдаляй, но пришла, приспела пора прощаться среди широкой степи. Шурочка приникла к Лешке, Дорочка — ко Грише, все уединились парами. Анька, в замок взявши шею Коли Рындина, повисла на нем, плакала и за щеку воина кусала. Он увертывался, пытался успокоить свою зазнобу, но она была безутешна.

— Так и не стали мы мужем и женой, — сонно утопив в раскрытые Лешкиной шинели лицо, Шурочка сдерживала слезы. — Все некогда... Может, к лучшему? Я буду тебя ждать. Ты адрес мой не забыл? Да как его забудешь? Одно Осипово на свете! Пиши, ладно? И не обижайся на меня. В разлуке чувства проверяются... Крепчают. Я глупая, глупая... Ты не слышишь меня? Вот она какая, разлука-то...

Девушки остались среди белого широкого поля, на белой, едва накатанной дороге. Красноармейцы спотыкались, оглядывались, махали нечаянным подружкам, махали и они вослед, по пророчеству тетки Марьи, первым, кто знает, возможно, и последним в жизни ухажерам. Бежала следом, голосила на всю степь Анька. Коля Рындин отставал, прижимал ее к груди, гладил по спине, отпускал, но через какое-то время Анька, неистовая женщина, снова припускалась вдогон, волоча цветастый полушалок по снегу.

В виновато стихшей степи тоже умолкшие, поникшие, разбито убрехали все дальше и дальше молодые бойцы. Неубранная мертвая полоса поглотила наконец нечаянных, негаданных тружеников своих,



прикрыла их нищими лохмотьями. Воронье, кормившееся зерном под комбайном и вокруг машины, клубясь и каркая, катилось поверху вслед спугнувшему его войску. Что было в том крике: сожаление, радость, торжество? — пойми у воронья. Горластая стая начала рассеиваться, отваливать в сторону березовых колков, только канюк, возникший из неубранных хлебов, забравшись высоко, все валился и валился косо на разброднодвигающееся воинство, и почти до станции Искитим сопровождала ребят зловеющая птица.

Пронзенный стрелой старообрядческого суеверия, потрясенный разлукой с первой в жизни женщиной, Коля Рындин голосил про себя: «Не к добру так визгливо вскрикивает пташка, ох не к добру!.. Пушшай безвредная, мышью питающаяся пташка — все одно не к добру, ох не к добру...» Правясь на почти уже унявшийся огненный закат, под которым и над которым властно, по-хозяйски уверенно занимала земную и небесную ширь тяжелой мутью налитая темнота, понуро бредущие парни думали и плакали всяк о своем. Недоброе, ввечеру леденеющее небо еще и напоминало о том, что они, кто они, куда и зачем двигаются. И каждый заключал, что та мраком налитая, огнем запекшаяся по окоему даль — и есть войной объятая, фронтовая сторона.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

По возвращении была суматоха.

Не успели вернуться в казарму, сразу баня, совсем не та баня, которой уже замучили в полку служивых. По-настоящему натопленная, с настоящими машинками для стрижки, мыла вдосталь, вода нагретая. Все хламье с себя снимали, оставили в рубленом предбаннике, было велено лишь бумажки да носовые платки взять в руки. Когда ребята вышли из мойки до синевы остриженные, грязь с себя смывшие, распаренные, их заставили мчаться с захваченным в горсть грешешком по коридору и в конце его завернуть в пристройку. Там опытный командир старшина Шпатор и двое помощников, пофамильно выкликнув, бросали к ногам маршевика узел, обвязанный новым солдатским ремнем.

А в узле-то! Батюшки-светы, чего только нету! Полушубочек желтый с белым отворотом, к нему брючным ремнем пристегнуты новые валенки, две пары портянок, гимнастерка, брюки-галифе, две пары белья, шапка, уже со звездой, и не жестяной, настоящей, эмаливой, подшлемник и даже пара носовых платков с пометкой в углу — аленьким цветочком.

Бойцы не вдруг и узнали друг друга, переодевшись и выйдя на улицу. Первый раз за дни и месяцы службы видели они себя на человек похожими, чувствовали себя людьми. Ну и, конечно же, начали поталкивать друг дружку, пошучивать, мечту высказывать насчет того, чтобы сняться бы на карточку в таком боевом виде да домой бы фотку послать и, само собой, в Осипово бы, и вообще сейчас в таком наряде да в осиповский клуб завалиться — что было бы, что было!

Казарма вонючая, темная, почти уже сгнившая, могилой отдающая подавила праздничное настроение красноармейцев. Позалезали на нары бойцы, спрятались в углы, письма пишут под плашками. Возле трех ламп, где-то раздобытых Шпатором, столпотворение. Корячились, корячились орлы, пришивая погоны, подшивая подворотнички и на одной лампе разбили стекло. Старшина ор поднял, кого-то обругал, кого-то взащей из казармы выгурил, кому-то вгрячах наряд вне очереди отвалил.

Все последние дни он был в хлопотах, почти не спал, получая, пересчитывая, охраняя ценное имущество. С карандашом, нацеленным на книгу накладных или раскладных, готовился чего-то вычерк-

нуть, что-то вписать, носился по казарме как борзой, не ругатель по природе своей, разок-другой матюгнулся, чем шибко позабавил ребят. А тут еще помощник не является, Яшкин-то Володя-то,— понравилось ему, па маш, на казенной госпитальной койке прохладжаться, на сибирских игровитых девочек-медичек заглядываться. Ну он ему даст! Он ему рецепт пропишет, до скончания века не забудет...

Старшина Шпатор шумел, бегал, но и доволен был ротой — подкормились орлы в совхозе, здоровым воздухом и волей подышали, переоделись в новую амуницию, и куда тебе с добром ребята, хоть на парад их выставляй. За все время переобмундирований не пропало ни одной вещи — сами бойцы взялись охранять имущество, строгость и сознательность проявили, попытки пэфэсовцев-прохиндеев обсчитать старшину на складах, обмишулить на комплект-другой обмундирования успеха не имели, потому как Шпатор есть Шпатор. Не напрасно он две войны и тюрьму обломал, набрался ума-разума, сквозь землю зрит, бойца своего, как родного дитя, бережет и любит. Еще хорошо и то, что Булдакова в роте нет, припадочный этот плут непременно стибрил бы что-нибудь из вещей и на самогонку променял.

Однако хоть и любил и лелеял своих бойцов старшина Шпатор, гонял и муштровал он их, крушил руганью, как самых злостных недругов, жизнь его заевших. Кто-то чего-то потерял, кто-то криво погон пришил, опять урон в иголках — ломают и ломают их плохоручкие неумехи, на верхнем ярусе визгливо лаялся Петка Мусиков, его привычно лупили, на этот раз новым валенком. Дневальный из грамотеев газету где-то раздобыл, перекрывая шум, громко читает: «Сыны казахского и русского народов Сеитов Дюсекей и его командир Сахаров Борис здесь, в окопах, готовятся навсегда покончить с фашизмом и просят Джамбула-акына прислать им песню в подмогу. Джамбул немедленно откликнулся...»

— Да тише вы, бляди! — крикнул кто-то с верхних нар.

— Уйметесь сегодня или нет? — грозно спросил дневальный.

— Казахский акын не слушаешь? Джамбул не уважаешь? — подал голос кто-то из казахов.

— Давай! Дуй!

Казах Сеитов Дюсекей  
И русский Сахаров Борис,  
Ваш клич достиг моих ушей,  
Он тучей над врагом навис.  
Залегши в снежной тишине,  
Готовя извергам разгром,  
Вы обращаетесь ко мне  
С коротким пламенным письмом.  
Вы заявляете: «Сведем  
С фашистом счеты мы сполна».  
Вы пишете: «Мы песен ждем,  
Джамбул поможет нам».  
Я время лет откину прочь,  
Чтоб спеть о празднике весны.  
Есть песню спеть! Есть вам помочь,  
Народов доблестных сыны!

— Астара! — воскликнул казах на верхних нарах. — Джамбул наш ба-а-алшой пылавец, иво Сталин любит.

Казарма из конца в конец загудела, будто в ней снова окно в живой, звучащий мир открылось, — говорили кто о чем. А Васконян, читавший Данте в лучших переводах, Верхарна и Бодлера — без перевода, знавший Пушкина, Тютчева, Лермонтова, тихой, юношеской почтительностью проникшийся к Баратынскому, смотрел на ребят с любопытством: неужели они восприняли все это словесное варевое всерьез? — и уяснил наконец: да, всерьез. Они здесь и жизнь свою в казарме, будущую судьбу свою и родины своей — все, все, пусть неосознанно, воспринимали всерьез.

Отужинали маршевики, на нары, воняющие в этот вечер особенно удушливо, взгромоздились, лежат, думу думают, мечтают кто о чем. Слабаки засыпать начали, но в это время под прелыми сводами казармы, в недрах этого наспех вырытого и слепленного под людей подвала негромко и внятно раздалось:

Ревела буря, дождь шумел...

Казарма, приглушенно, ровно гудевшая предсонным, постепенно замирающим гулом, смолкла, вовсе унялась. Врасплох захваченная казарма не сразу, не вдруг, как бы пробно, как бы для себя поддержала серебряно-звонкий голос Бабенко:

Во мраке молнии блистали...

Вот тогда-то, в последний вечер перед отправкой на фронт, во второй раз услышал Лешка Шестаков песню в постылой, совсем прокисшей от смрадного испарения казарме первого стрелкового батальона... Ротного певца подбодрил его друг Гриша Хохлак. Сразу радостно, сразу высоко взнялся, взлетел голос из второй роты. И вот уж весь батальон, пока еще пробно, подхватил песню, ротный запевавала второй роты соединил свой голос с запевавалой первой роты. Все бережнее, все аккуратнее ровняли под них голоса бойцы, всяк свой голос встраивал, будто ниточку в узор вплетал, всяк старался не загубить песенный строй, и Лешка норовил приладиться к соседу, сосед к другому соседу, и вся изматеренная, оплеванная, Богом и людьми проклятая казарма во всю грудь, во всю мощь четырьмя сотнями голосов сотрясала подвал:

И непрерывно гром греме-э-эл,  
И ве-этры в дебря-ах бушева-а-али-и-и-ы...

Старшина Шпатор, спустивши босые ноги с топчана, сидел, полоткрыв рот, ошарашенно слушал мощно гремевшую многоголосую армию, слушал свою роту, свой первый батальон и ничего не мог понять — он не видал такого батальона, такого праведного, душу разрывающего восторга и гнева. Нет, он знал, все знал, он угадывал сокрытое в этих юных ребятах могущество, понимал — этот подлый казарменный быт, повседневно унижающий и даже убивающий того, кто послабей, размельчил людей, поднял наверх самое отвратительное, зверское, блудное, мелочное, и боялся, что там говорить, боялся: душу-то живую не убили ль? не погасило ли в ней быдловое существование свет добра, справедливости, достоинства, уважения к ближнему своему, к тому, что было, есть в человеке от матери, от отца, от дома родного, от родины, России, наконец, заложено, передано, наследством завещано?

В прежних служивых, ушедших на фронт в маршевых ротах, Шпатор не имел оснований сомневаться, то в большинстве своем были люди с устоявшейся жизнью и характером, среди них попадались, конечно, и отребье, и бродяги, и ворье, и симулянты, и ветрогоны, но костяк роты, как остров среди реки, всегда был надежной пристанью, крепкой площадью, вокруг которой плещись, волнуясь, суется, пузырись — все она тверда, все устойчива, все неразмытна.

Но эти вот восемнадцатилетние ребяташки-то с неустоявшейся жизнью и судьбой, иные и характером-то еще не сформировавшиеся, они-то, они-то как же будут бедовать в самом-то начале сознательной жизни, как устоят, как вынесут испытания во фронтовой обстановке, коя не всем взрослым, стойким и крепким людям по плечу? Порой отчаяние охватывало старого вояку, познавшего не только самое войну, но и все прелести, сопутствующие ей, не раз, не два хватался он за голову: «Погибнут! Все как один погибнут, сгорят в том неразборчивом, всепожирающем огне войны, не оста-

вив за собой ни следочка в жизни, ни памяти никакой, потому как и жизни-то у них не было».

Но вот каждый голосишко норовит пристроиться к другому, поддержать его, подпереть, силы всему хору прибавить, и ощущал сердцем, чуял кожей своей старшина Шпатор: каждый его боец, как и он сам, в восторженном ознобе сейчас, холодок у каждого течет под рубаху, проникает внутрь, покальвает сердце, и ощущает каждый в себе неизвестную силу, полнящуюся другой силой, которая, слиясь с силой товарищей своих, не просто отдельная сила, но такая великая мощь, такая сокрушительная громада, перед которой всякий враг, всякое нашествие, всякие беды, всякие испытания — ничто!

В эти минуты старшина Шпатор твердо поверил: его ребята, юные эти шпанята, заламают врага и живы будут, все-все живы.

— Вот, значит... песня, памаш... как поют, памаш! — отерпшими губами шевелил он.

Когда песня отделилась от этой темной гнилой дыры, не давши казарме задуть ее, но скорее замерла в груди солдатской, высвобожденно дышащей, старшина Шпатор услышал странные звуки за печкой. Это, уже, видать, в потемках, вернулся Володя Яшкин и тоже слышал песню. С головой укрывшись куцей шинеленкой, помкомвзвода плакал. Маленькое худое тело его дергалось, шинель помахивала рукавом. Сердце старшины сжалось, заныло — недавний фронтовик Яшкин зря может ругаться, визжать, шуметь, но плакать зря не станет. Яшкин лучше Шпатора знал, что ждет тех певцов на войне, в окопах. А может, лекарства так подействовали на помкомвзвода, думал старшина Шпатор и какое-то время сидел еще, вслушиваясь в унимающуюся жизнь казармы.

Там, в казарме, на верхних нарах, кутаясь в теплый мех нового полушубка, костлявым пальцем утирая глаза, человек, совершенно не умеющий петь и все же соединившийся в песне со всеми товарищами, расслабленно вздохнул: «Дант Дантом, Бодлер Бодлером, но жизнь такова, что ныне ей нужнее Джамбул...» — и, всхлипнув, уснул столь покойно и глубоко, что едва ли спал так дома, на барских пуховиках.

Генерал Лахонин, представитель Воронежского фронта, тот самый, что повстречался когда-то бредущим с лесовытаски красноармейцам, и его давний соратник, школьный еще друг — майор Зарубин, только что выписавшийся из госпиталя и поступивший в распоряжение Сибирского военного округа, вместе с представительной комиссией принимали маршевые роты во вновь формирующуюся Сибирскую дивизию, в том числе и роты, подготовленные в двадцать первом стрелковом полку.

На первый взгляд войско выглядело совсем недурно. В новом обмундировании, туго за пояса, браво заправленные, в новых шапках-ушанках с ярко горящими на лбу звездочками, боец к бойцу, нога к ноге, пара к паре — в две шеренги стоят. Лишь несколько орясин по два метра ростом нарушали строй и портили ранжир. Но хоть на этот раз учли обстоятельство: подбирали обмундирование по красноармейским книжкам, где все размеры, группа крови и даже иммунологические и социологические данные, пусть в кратком изложении, значились. Верзилам шили одежду по заказам, а то ведь карикатуры — не солдаты.

Все вроде бы нормально, поворачивай роты направо и шагом арш грузиться в эшелоны. Но въедливый педант майор Зарубин, уже набедовавший на фронте, хотел досконально знать, кто, в каком качестве, в каком виде, в каком состоянии едет не щи хлебать, но воевать, и воевать не с тем вероломством своим и трусостью своей смущенным, запуганным, даже шороха куста боящимся врагом, какового изображают в родном кино и на газетных карикатурах, а €

врагом, хорошо обученным, воевать умеющим не только храбро, но и расчетливо, не дуrom, не прихотью одной, не только самоуверенным нахрапом пропоровшим половину советской страны, с боями в сражениях, порой невиданно кровопролитных, достигшим и упершимся в Волгу, забуксовавшим на берегу ее, в Сталинграде. Надо было противостоять организованной, крепкой военной силе такой же или еще лучше и крепче организованной, боеспособной силой.

Просмотрев в медчасти санитарные карты боевого состава, как попало, наспех заполненные, майор Зарубин заключил, что в полном здравии народу в полку достаточно много, но хватает и таких людей, что переболели или болеют дизентерией, бронхитом, их мучает кашель, малокровие и эта самая гемералопия — куриная слепота, из редкой смешной болезни превратившаяся в массовую эпидемию, порожденную наплевательским отношением к «человеческому материалу», как привычно и бездумно именовали тыловые деятели рядовых воинов в разного рода военных отчетах, донесениях и во всевозможных бумагах, которых, чем дальше шла война, чем хуже становились дела на фронте и в тылу, тем больше и больше плодилось. Канцелярия, от веку на Руси защищавшаяся от войны видимостью бурной деятельности, рожала потоки бумаг, море пустопорожных слов.

Двадцать первый полк расположен недалеко от городов, почти на берегу реки, в сосновом лесу, годном хоть на сырое, да топливо, на всяческие, столь необходимые человеку нужды. Полковник Азатьян со своими помощниками извлек из выгодного стратегического расположения своего полка все, что можно извлечь, насадил нервы военным чинам в штабе округа, себя изодрал в клочья, но все же поголовного мора, сокрушительного разгула болезней не допустил, а эта его инициатива самим себе заработать хлеб на зимней уборке, подкрепить на сельской работе здоровье ребят, дать им дохнуть перед отправкой на фронт хоть маленько волей и чистым воздухом родины просто неоценима.

Если командиры полков, батальонов, рот в прифронтовой полосе получат время и возможность подзаняться бойцами из вновь прибывших соединений и пополнений, в условиях, приближенных к боевым, научат стрелять, не жалея патронов и мин, поутюжат их танками, погоняют, из пареньков этих, пытающихся браво выглядеть, и на деле получатся brave воины. Но, к сожалению, там, под Сталинградом, Воронежем, на центральном направлении, свежие части прямо с колес гонят в бой, давно гонят, бросают и бросают в бушующую ненасытную утробу войны этот самый «человеческий материал», чтобы хоть день, хоть два продержаться в Сталинграде, провисеть на клочке волжского берега, а в Воронеже — не отдать больницу, стоящую на отшибе, потому как пока есть они — клочок берега и больница, можно докладывать Верховному Главнокомандующему и сообщать народу, что города эти не сданы, а Главнокомандующий будет делать вид, что верит этому, и уверять насаженный народ его помощники будут: мол, стоят, уперлись доблестные войска, борются с выдыхающимся врагом, с его превосходящими силами. Под Великими Луками вон начали наступление в честь дня рождения великого вождя и полководца. По фронтовым сусекам замеченные, с жиденькой огневой поддержкой и оснащенностью, выполняя патриотический священный долг, доказывая нежную любовь к вождю и учителю, войска залезли в болота и не знают теперь, как из них выбраться, несут огромные потери. «Бьют нас, бьют, учат нас, учат немцы воевать и никак не могут научить», — досадливо морщился генерал Лахонин, встретив своего друга и беседуя с ним наедине за чашкой чая.

Майор Зарубин и генерал Лахонин настояли на том, чтобы самых слабых, ослепленных гемералопией, пораженных переходчивыми бо-

лезнями бойцов оставили в полку, подлечили и тогда уж отправляли бы вдогонку дивизии с пополнением на фронт. Воронежскому фронту, скрытно готовящемуся к наступлению, нужны были резервы, крепкие, хорошо подготовленные. Деятелям же двадцать первого полка не хотелось иметь брака в работе, получить втык от командования, а сбить всех вояк подчистую, да и двадцать пятый год с остатками двадцать четвертого, с подметенными по лесам и весям резервистами и разным бедовым народом, укрытым от войны где хитрыми чинами, где тюрьмами, уже катил в эшелонах, на подводах, в машинах по направлению к Новосибирску и Бердску. Скоро-скоро — открывай ворота. Начинай все сначала.

Мудрые руководители заскребали остатки мужичков по Руси, переложив их непосильные обязанности, надсадную работу на женщин, стариков и детей. Войне еще и конца не видно, но российская деревня почти опустела, в надорванном государстве разом все пошатнулось, захудало, многие казармы в полку были уже непригодны даже для содержания скотины. Санчасть ютится все в том же обветшалом, тесном помещении, хорошо хоть столовая есть, рядок новых, на жилье похожих за счет самообслуживания казарм срублено, разросся конный парк, есть на чем вывозить строевой лес, поставлять солому, дрова, фураж, продукты, амуницию. Много чего требуется людям, пусть они всего лишь служивые, пусть ко всему привычные и притерпевшиеся люди.

После большой ругани в штабе, горячего спора с Азатьяном в полку осталось около двухсот бывших призывников, из них половина неизлечимо больных будет комиссована и отослана домой — помирать.

Легко отделался двадцать первый стрелковый полк.

Генералу Лахонину доводилось бывать в Гороховецких лагерях в Горьковской области, в Бершедских лагерях под Пермью, в Чебаркуле за Челябинском — везде дела обстояли из рук вон плохо, везде был провал, наплевательское, если не преступное отношение к людям. Но то, что он увидел в Тоцких лагерях в Оренбуржье, даже его, человека, видавшего виды, повергло в ужас.

Тоцкие лагеря располагались в пустынной степи. Весь строительный материал здесь состоял из ивняка и кустов, растущих по берегам реки, и дерна. Из ветвей сплетались маты, были они потолком, полом, стенами, нарами, а травяным дерном крылись верха землянок вместо крыши. Сушеные прутья и степной бурьян употреблялись на топливо, на палки, заменявшие учебное оружие, на указки, которыми политруки во время политбеседы водили по картам, показывая «героически» оставленные наши города и земли, на костыли, на опорные трости для доходяг — на все, на все шли приречные ивняки, в смятении все дальше и дальше отступающие от зачумленного военного городка.

Ивовые маты кишели клопами и вшами. Во многих землянках пересохшие маты изломались, остро, будто ножи, протыкали тело, солдатики, обрушив их, спали в песке, в пыли, не раздеваясь. В нескольких казармах рухнули потолки, сколько там задавило солдат — никто так и не потрудился учесть, уж если наши потери из-за удручающей статистики скрывались на фронте, то в тылу и вовсе бог велел ловчить и мухлевать.

Песчаные пыльные бури, голод, холод, преступное равнодушие командования лагерей, сплошь пьющего, отчаявшегося, привело к тому, что уже через месяц после призыва в Тоцких лагерях вспыхнули эпидемии дизентерии, массовой гемералопии, этой проклятой болезни бедственного времени и людских скопищ, подкрался и туберкулез. Случалось, что мертвые красноармейцы неделями лежали забытые в полуобвалившихся землянках и на них получали пайку живые люди. Чтобы не копать могилы, здесь, в землянках, и зарывали

своих товарищей сослуживцы, вытащив на топливо раскрошенные маты. В Тоцких лагерях шла бойкая торговля связочками сухого ивняка, горсточками ломаных палочек. Плата — довесок хлеба, ложка каши, щепотка сахара, огрызок жмыха, спичечный коробок махорки.

Много, много пятен, язвочек от потайных костерков вдоль полувысохшей реки, под осыпистыми ярами, издырявленными ласточками-береговушками. По костеркам и остаткам пиршества возле них можно было угадать, что люди дошли до самой страшной крайности: как-то умудрялись некоторые уходить из лагеря, хотя тут все время и всех занимали трудом и видимостью его, в степях и оврагах раскапывали могильники павшего скота, обрезали с него мясо. И уж самый жуткий слух — будто бы у одного из покойников оказались отрезаны ягоды, будто бы их испекли на потаенных костерках...

Никто из проверяющих чинов не решался доложить наверх о гибельном состоянии Тоцких и Котлубановских лагерей, настоять на их закрытии ввиду полной непригодности места под военный городок и даже для тюремных лагерей не подходящего. Все чины, большие и малые, накрепко запомнили слова товарища Сталина о том, что «у нас еще никогда не было такого крепкого тыла». И все тоцкие резервисты, способные стоять в строю, держать оружие, были отправлены на фронт — раз они не умерли в таких условиях, значит, еще годились умирать в окопах.

«Не-эт, здесь хлопцы ничего, с этими еще повоюем», — взбодряя себя, думал майор Зарубин, сразу же после госпиталя выхлопотавший себе направление на фронт с резервными подразделениями.

В сформированные части срочно отправлялось оружие, боезапас, письменным приказом под ответственность командиров частей указывалось вести занятия по химической обороне, стрельбе, даже в пути следования и в эшелонах изучение транспортной и боевой техники не должно было прекращаться.

«Сожгли безоружное ополчение под Москвой, сгубили боеспособные армии под Воронежем и в Сталинграде, с колес, необстрелянных, плохо обученных людей бросая в бой, теперь вот спохватились, уразумели, нельзя так дальше воевать. России может не хватить на многолетнее истребление, всеобщий убой, и она, родимая, не бездонный колодець!» — толковал генералу Лахонину майор Зарубин. Генерал радовался, что отыскал старого друга, въедливого, непреклонного в своих действиях и решениях командира, которых так не хватало в армии, полегли они на западных окраинах страны во время боев и отступления в сорок первом году, да и поныне, уже во глубине России, армия истекает кровью.

Со своими ротами на позиции отсылалось все командование первого батальона, себя скомпрометировавшее в тылу нападением солдат на командира, дезертирством братьев Снегиревых, дезорганизацией суда над Зеленцовым, воровством, разгильдяйством и многими-многими другими позорными деяниями, недопустимыми в передовых рядах эрাকা. В штабе военного округа не могли позволить, чтобы командиры непобедимой Советской Армии, допустившие такие промахи, продолжали заниматься подготовкой кадров для героически сражавшегося фронта, тем более в таком достоянном полку, как двадцать первый, не раз отмеченном благодарностями местного и главного командования. Где гарантия, что впредь эти командиры не допустят упущений в ответственной работе? Не-эт, пусть уж лучше будут там, где им хочется быть. С богом! Здесь вон орлы в очередь стоят, в затылок друг другу горячо дышат, глазами «сиятельство» пожирают, готовые проявлять денно и ночью всяческое усердие и послушание и отличиться, чтобы только не в пекло, не на этот всех и вся пожирающий фронт. Выжить, любым способом выжить, уцелеть, продлить свои достоянные дни. И шныряли по тылам, докла-

дали, обманывали, доносили, предавали служивых бесовски ловкие ярыжки с лицом и ухватками дворовых холуев, всегда готовых быть и придворным, и палачом, и лизоблюдом, и хамом.

Скорик уже уехал. Пшенного тоже куда-то девали, и хорошо сделали — ребята из первой роты собирались «потолковать» с ним на прощание, а если такие основательные парни, как Костя Уваров и Вася Шевелев, потолкуют да им поможет псих Булдаков — лекарств в санчасти не хватит лечить товарища Пшенного...

Не только командиры проштрафившихся рот, но и участвовавшие в боях, минометная рота, взвод пэтээрщиков, полурота пулеметчиков с новыми «максимами», со своим конным обозом из двадцати подвод тоже уходили на фронт. Все добро сколочено, смолочено, выхлопотано, вырвано из глотки, завезено, выстроено не без участия и энергии командира полка. Командование округа было довольно его деятельностью, и хотя полковник Азатьян целился уйти со своим полком на фронт, настаивал, ругался, рапорты писал — все его просьбы остались без удовлетворения.

Крестьянину на базар снарядиться — и то мороки сколько, хлопот, забот, а тут ведь не на базар, не к теще на блины снаряжались люди — на войну. Ребята, помогавшие грузить и сопровождать грузы на станции Бердск и Новосибирск, поражались, как много всего надо боевому соединению, начиная с топлива, с досок, с гвоздей для сколачивания нар в вагонах и кончая оружием, боеприпасами, лошадами, провиантом, приборами для разведки и наблюдений. Говорили, что это лишь малая часть добра и оружия, что довооружение произойдет уже в прифронтовой полосе, в армии, в которую вольется Сибирская стрелковая дивизия. И все это добро стоило денег, труда, ведь только чтобы сутки пропитать один лишь двадцать первый полк, десять его тысяч человек, — не одному району, не одной фабрике надо сутки, может, и неделю работать. А ведь еще и обувь, и одеть, и обогреть, и вооружить надо, да и дармоедов содержать надо, в армии, дармоедов-то, столько, что на колхозных счетах и не сосчитаешь. Какое же это разорительное дело — война, начинали понимать молодые парни и рассуждать на эту тему пробовали.

Меж тем майор Зарубин метался между Новосибирском и Бердском, чтобы все предусмотреть, предвидеть, лишний раз перепроверить. Повидавший в прах разбитые, на все стороны разогнанные войска, побросавшие добро свое, лошадей и повозки, оружие, людей, он знал дорогую цену военному имуществу, с надсадой изготовлявшемуся мирным народом военным людям, разоренной стране нужные еще будут и добро и люди, ох как нужны. Хватит уж сорить людьми, хватит сорок первого года, когда лучшие бойцы погибали, не увидав врага, не побывав даже в окопах, под бомбежками в эшелонах, на марше; не дойдя до передовой, целые соединения оказывались в котле, в окружении, все их обучение военной науке, вся их жизнь полуголодная, многотрудная, часто чудом сохранившаяся в такой надломленно живущей стране, — все-все это шло насмарку. Напряжная гибель, бесполезная жизнь — ах, как горько это знать.

И дай Бог, чтобы там, под Сталинградом, полк этот, вливающийся в свежую дивизию, закрепился, повоевал, закалился в боях, принес бы ту пользу фронту и облегчение стране, ради которой, напрягая все силы, изнемогая, работает народ, ради чего, наконец, эти ребята перенесли все лишения, вытерпели гнилые казармы, подлый быт учебного подразделения. Эти вот самые ребята, строго подобравшиеся в напряженном строю, разом посерьезневшие.

Полковнику Азатьяну было предоставлено слово. Он легко взбежал по трем ступенькам на крохотную праздничную трибуну, красная на которой не подновлялась с 7 ноября, облупилась от морозов, обвел плотно стоящих поротно бойцов, слившихся в сплошные кремовые полосы — полушубки цвели, воротники, загнутые рукава и



шапки с белой оторочкой смотрелись ранними сибирскими подснежниками с чудным названием сон-трава, которыми скоро, совсем скоро засияют берега Оби, оживится просторный бердский сосняк, но эти парни уже не увидят вешнего цветения.

— Товарищи! — негромко произнес командир полка и замолк, сдвинул перила трибуны руками в черных перчатках. — Это какое же сердце надо иметь, чтобы все время отправлять и отправлять вас туда. Вы же... вы же все мне дети! Мои дети! Ах, господа, лучше бы мне с вами, может бы, я пригодился вам, кому помог, кого уберег... Какие вы все еще молодые!.. И какие красивые!.. А война все идет, все идет! Мы пытались делать для вас добро. С добром в сердце отправляйтесь на фронт и вы. Выполняйте честно свой долг! Бейте врага! За матерей, за сестер, за Родину, за Сталина и... за меня маленько! — Полковник Азатыян слабо улыбнулся, строй чуть шевельнуло. — За меня, за всех нас! Мы вам желаем жизни, скорого возвращения домой с победой! Ура, товарищи!

Негромкое и недружное «ура» последовало в ответ — не привыкли в двадцать первом полку кричать «ура», да и учиться незачем было, на фронте его тоже не кричат — в кино только, в военном, героическом, кричат и дурачат врагов, крушат их весело и забавно, порой даже поварским черпаком.

Крикнув «мирно!», полковник Азатыян сбежал с трибуны и, перейдя на размеренный торжественный шаг, приблизился к генералу Лахонину, красиво вскинул руку к караулевой папаше.

— Товарищ генерал-лейтенант! Маршевые роты двадцать первого стрелкового полка готовы следовать по назначению!

Генерал Лахонин принял рапорт, пожал руку полковнику, они встали в ряд — генерал, полковник и майор.

— Товарищи командиры и красноармейцы! Благодарю за службу! — подобрившись, внятно и четко сказал генерал Лахонин.

В ответ выдано было: «Служим-совску-су-зу!»

— Вольно! После десятиминутного перерыва всем снова в строй.

Бойцы толкались, смеялись чему-то, все возбужденно радовались, охотно табаком, у кого он велся, делились, в полку его так ни разу и не выдали, кто незнаком, знакомились, ведь теперь они все родня друг другу — фронтовики. Все надеялись, что попадут в одно место, в одну часть, и твердо верили — там-то пропасть не дадут! Никакого зла, остервенения, никаких придирок друг к другу, словно бы все прошло чистилище, одновременно и от скверны душевной избавились, однако дальней какой-то частью ума и притихшего сердца чувствовали: идут они все-таки в окопы, на смерть, — изо всех сил пытались представить, как оно будет, и не могли, конечно, представить, да и Бог с ними, с окопами, пока вот волнительно все, дружно, торжественно, как бы и празднично даже, оттого ребята веселы, компанейски спаяны. Бесшабашность их посетила: да мы, да там, да так дадим! Не надсаженные окопной жизнью, не битые, чистые пока, здоровые, настоящих житейских бурь и страданий не испытывавшие, да и сердца не надсадившие, сердце за них надсаживали, страдание и смерть принимали родители, силясь в голодные годы, при разгуле бесовства, в царстве юродивого деспота — выкормить, поднять и сохранить их для служения земле родной, для битвы, которая им предстояла.

Среди шума, сбора, собора, смеха, шуток так и позывало к кому-то прислониться, выговориться, выплакаться, может, на что-то и пожаловаться.

Русские люди, как обнажено и незлопамятно ваше сердце! Можно рукой потрогать его под полушубком, услышать ладонью его тревожный стук, его доверчивое тепло почувствовать. А тут еще старшина Шпатор со своим прощанием! Обходя строй первой роты, он обнимал каждого красноармейца, повторяя:

— Простите меня, дети, простите!.. Чем прогневал... чем обидел... Не уносите с собою зла...— Дошел до командира роты, утерся большим серым платком, полюбовался Щусем и развел руками.— Ну вот что тут сделаешь, памаш? Будто родился в военной форме! Ну, Алексей Донатович, родной мой, себя береги, ребяток береги. С Богом!

Они обнялись, старшина троекратно расцеловался с ротным. Яшкина Володю, своего постояльца по каптерке, тоже обнял, похлопал рукой по спине и тут же замельтешил, заплясал вокруг роты:

— Всё взяли? Никто ничего не забыл? Если кто чего забыл, весть дайте, я здесь остаюсь. Дальше маяться с вашим братом...

Старшина Шпатор дошел с ротой до учебного поля, с подбегом попадая в ритм, пытался чеканить шаг, но скоро выдохся, на краю соснового бора отстал, напалком рукавицы вытирая мокрые усы.

Полк, растянувшийся версты на две, головной колонной достал дальний конец дороги, повернул к станции, и вместе с другими ротами первая родная рота-мучительница первой вступила в дымчатый лес, растворилась в морозной мари.

Старшина Шпатор, опустив голову, разбито побрел в опустевшую казарму, в свою казенную, обрыдлую до смерти дощатую каптерку.

В военном городке Новосибирска, за речкой Каменкой, в старых, дореволюционных еще царских казармах сводились маршевые роты стрелковой дивизии. У людей, повывлазивших из подвальных казарм и землянок, появилась возможность убедиться в том, что «прогнивший строй» умел тем не менее строить на века. Кирпичные казармы с толстыми стенами, да еще и с вензельками карнизными, сухие, теплые, просторные, со множеством служебных комнат, в том числе с умывальными и туалетными местами внутри помещения.

Здесь, в казармах, перед отправкой на фронт разрешено было служивым после занятий повстречаться с родственниками и подружками, у кого они имелись. Сюда же, за речку Каменку, продвинулся небольшой подвижный базарчик с мешками табака, семечек, с картофельными лепешками и варенцом в банках. Вместе с базаром явились говорливые шустрые фотографы, способные не только быстро заснять на карточку хоть одного, хоть группу бойцов, но уже через сутки вручить им сырые, зато очень хорошие фотографии, на которых каждый человек выглядел хоть немножко красивей и бравей, чем был на самом деле.

Эта-то вот особенность искусства больше всего радовала военных люд, ребята уже знали, у какого фотографа получают карточки красивше, к нему и очереди выстраивались. Молодые нарядные бойцы еще не ведали, что многим из них и суждено будет остаться в родном доме в самодельной рамочке, в альбоме ухажерки иль невесты единственной той предфронтальной фотографией. Забыв живой образ сына, брата иль жениха, его и вспоминать будут по карточке, называя красавцем ненаглядным.

В каптерках казарм, в красном уголке, в служебном помещении комбатов, командиров рот, пригорюнясь, сидели усталые женщины с красными от ветров и морозов лицами, приспустив шалюшки, смотрели, как дитя, стриженое, худое, бледное, шибко с осени повзрослевшее, ест домашнюю стряпню, что-то привычное наказывали, говорили то, что век и два века назад говорили уходившим на битву людям: беречь себя, не забывать отца-мать, чаще писать с фронта,— крестя украдкой служивого, вознося молчаливую молитву Богу, вновь в сердце вернувшемуся, о спасении и о бережении дитя родного.

Ребята, непривычно томясь и смущаясь, выслушивали наказания старших, кивали, соглашались, не зная еще, что сердце отца-матери уже угадало вечную разлуку, не понимали, отчего родители плачут, хмурились и даже осаживали родителей, когда замечали, что те кре-

стятся и их крестят. Облегченно себя чувствовали, когда родители наконец уходили с нудного свидания. Глянув в затемненный угол, где при царе стояли царские иконы над лампадой и где вместо богов ныне значились и лепились вожди мирового пролетариата, женщины взваливали на плечи пустые холщовые мешки, в которых гремели кринки, бидоны или банки из-под молока, редко-редко стеклянная поллитровка — на фронт уходило поколение, не пораженное еще российской пагубой, не успевшее научиться пьянству. Ах, как потом, на фронте, в крайнюю минуту иль сгорая на госпитальной койке, жалеть будет сибирский парень о том, что не обласкал мать, не прижался к ее груди в последние минуты, не сказал те самые нежные, самые важные слова, которые должен был сказать, да еще и креститься запрещал.

Подружки-девушки стеснялись на людях, которые еще и побаивались заходить в старые, пусть и не зловещие, но все же казенные помещения. Парочки лепились по скамейкам вокруг казарм, сидели, обнявшись, прижавшись друг к другу, вроде бы никого и ничего вокруг не замечая. Иные парочки пробовали уединиться, спрятались по углам, отыскивали всевозможные ухоронки, за деревьями, за поленницами — да где же на все-то войско наберешься укромных мест?

Много-много лет спустя молодой русский поэт, угадывая состояние своих давних сверстников, будто впадет в ранние солдатские могилы, в несуществующие надгробья литые слова:

Мы с тобой не играли в любовь,  
Мы не знали такого искусства.  
Просто мы за поленницей дров  
Целовались от странного чувства.

В первую роту, спаянно и родственно державшуюся после сельхозработ в селе Осипове, нагрянула Валерия Мефодьевна. Она обхватывала нарядных бойцов обветренными руками, пыталась целовать тех, кого узнавала, — такая серьезная, такая видная женщина, и вот...

Валерия Мефодьевна привезла красноармейцам не только пламенные поцелуи и приветы от осиповских зазноб, но и поклоны от хозяев, в избах которых квартировали служивые, да и не одни только пустые поклоны. Из холщового мешка, набитого под завязку, она принялась извлекать узелки, торбочки, кошечки со всякой разной продукцией. Бойцы что дети сбились вокруг, ждут, нетерпеливо приплясывая, радуются, получив подарочек, отбегают в уединение — читать записки. Начальница — баба битая, еще и драматичности добавила в это массовое действие:

— А где это у нас тут Коля-Николай, по фамилии Рындин? Где этот сердцеед-негодник, под корень подрубивший нашу замечательную повариху? — будто не видя до краски смущенного молодца, вопрошала хитрющая женщина.

Коля Рындин вынужден был подать голос из толпы: «Тута я, тута. Чего надо-то?»

Бойцы-товарищи, упиравшись, словно в тяжелый воз с соломой, толкали сердцееда в спину, подвигали ближе к гостю. Потомив немножко человека, гостя выдала сердцееду белый мешочек, завязанный розовой ленточкой, в петельку которой вдет записка, на записке крупными буквами обозначено: «Любимому моему Количке». Коля Рындин аж зашатался, принимая стафет: «Ну, к чему это? У самой робенок...»

Но его уже никто не слушал, и он удалился читать записку да придумывать ответ, поскольку Валерия Мефодьевна сказала, что без ответов не уедет, да никто ее домой без ответов и не пустит.

Посылка Васконяну, Хохлаку и Шестакову от стариков Завьяловых. В посылке письмецо, писанное Корнеем Измоденовичем при

участии Настасьи Ефимовны. «Государь ты наш Ашот, как по батюшке — не запомнили. Дорогие вы наши Леша и Гриша! Посылаем мы вам подарочек, а также пожелания всем вам доброго здоровьяца...» Оно и небольшое было, письмецо-то, но обстоятельное, трогательное, в конце письма сообщалось, что Дора и Шура вернулись домой, на центральную усадьбу, но все равно и от них следуют приветы.

К троем этим красноармейцам на свидание никто не приезжал, у всех троих капиталов не велось, и посылка стариков Завьяловых, их доброе письмо заменили ребятам домашние приветы и посылки. Они делились гостинцами с теми, к кому вовсе никто не приезжал, никто ничего не присылал. В других ротах ахали и удивлялись, завидовали товарищам своим, сподобившимся так отличиться и такое внимание завоевать у мирного населения, потрудившись на сельхозработах! Петька Мусиков, шнырявший по базарчику, снова объелся, снова почту гонял. Леха Булдаков на базаре отыскал банду картежников, объегоривал доверчивых простаков-чалдонов.

Понимая ситуацию — не за тем ехал человек в такую даль, чтобы всех перецеловать,— дневальные бросились отыскивать ротного и нашли его в помещении для командиров. Он, рожа наодеколоненная, гордыню проявил, характер показал — на восторженное сообщение отреагировал холодно:

— Чего раздухарились-то? Как навидаетесь с дорогой начальницей, сюда ее проводите.

Валерия Мефодьевна тоже не вдруг-то поспешила к командиру в уединение, пока не обласкала всех своих парнишек, пока не обскакала о делах совхозных, в особенности подробно о тоскующих зазнобах, с места не сдвинулась.

— Ну и панику ты на сибирское войско навела! — поднимаясь навстречу гостье, рассмеялся Щусь.

— Я вот всех девчат из Осипова обозом сюда доставлю. Такая ли еще паника будет! — Валерия Мефодьевна обняла Щуся, отступила на шаг, оглядела с ног до головы. — Ты вот один не сохнешь. Совсем бравый кавалер сделался в новой-то амуниции. Есть хочешь?

— Хочу.

— А выпить?

— Как всегда.

— А-а...

— Ну, это само собой разумеется!

— Хулиган!

— Командование так не считает.

— А что оно, командование, в людях понимает? Да еще в таких самоуверенных, как ты?

«Ночевать останется», — шелестел шепот в первой роте. «Ага, ночевать! — осаживал служивых Коля Рындин. — А коня куда? Я вот сходил, супонь и чересседельник распустил, из кошевки сена коню бросил...» «До коня ли тут, ковды сердце в ключья?!» — «Все одно коня кормить и поить надобно...» — «Вот и напои, помоги родному командиру. Он родину потом спасет!..»

Однако дружба дружбой, но служба — службой. Поздним вечером Валерия Мефодьевна тихо-мирно убралась из казармы, прикрывая шалью растерзанные губы, и, к удивлению своему, обнаружила совхозную лошадь обихоженной, напоенной и бдящего возле лошади солдата в кошевке под сеном нашла.

— А-а, это ты, Коля?

— Я, я, Валерия Мефодьевна. Щщас запрягу. На всякий случай при коне был. Тут ведь народ-то хват на хвате, ой-е-ей, оторвы! Токо моргни — ни хомута, ни шлеи, ни седелки — на подметки утартают. после и подметки оторвут.

— Спасибо, Коля. По Аньке-то тоскуешь?

— Да как те сказать? С одной стороны, навреде тоскую, с другой стороны, и нековды. Сборы-сборы, суета, не забыть бы чего думаешь, команду в срок и ладомсполнить норовишь.

— С одной стороны! С другой стороны! Я вот возьму да привезу девчат. Плачут они, дуры, по вас.— Валерия Мефодьевна чуть было не проговорила, что Анька получила похоронку на мужа и теперь плачет по нему, а может, по Коле, может, и по обоим сразу — баба она сердобольная.

— Да как же тут сделаешь? — развел руками Коля Рындин.— Отродясь так было: бабы плачут, мужики скачут! — Обрядив лошадку, вежливо подтыкав под сиденье остатки сеной объеда, Коля Рындин со вздохом добавил: — Насчет девчат, пожалуй что, не успеешь. Робята сказывали — завтра отправка. А солдаты от веку больше царя знают. Ну, спасай тебя Бог!

— Спасет, спасет, если вы спасете, — отстраненно глядя куда-то, вздохнула Валерия Мефодьевна и, тронув вожжи, вроде бы сердито добавила: — Аньку-то не забывай. Верная баба, истинно — русская баба, хоть и нраву бурного.

Полк по боевой тревоге вывели из казарм на рассвете. Пока собирались, пока выстроились, пересчитались, перепроверились, отыскивали засонь и самовольщиков, собрали разгильдяев, среди которых, конечно же, скрывался и Петька Мусиков, и закаленный в борьбе со всякими порядками бес Буддаков. Петька Мусиков успел уже толкнуть вторую пару белья, новые портянки, подшлемник, обожрался картофельными лепешками и скандально доказывал, что все это лоскутье ему в походе не нужно, кушать же охота, потому как заморили его в запасном полку, обожрало его в роте советское командование. Дневальные заволокли Петьку обратно в каменную казарму, надавали пинкарей. Он орал и матерился на весь военный городок. Но вот наконец-то унялся и Петька Мусиков, стоит в строю вроде как вместе со всеми, слушает напутственную речь какого-то важного комиссара, на самом деле дремлет, порывивая, пуская горячий дух в новые валенки.

У оратора рожа по габаритам мало чем отличается от старорезимных казарм, из алого кирпича сложенных. В разъеме комсоставского полубака видны золотистые, празднично сверкающие звезды, в остальном же политический начальник одет во все походное, боевое, хотя ни в каких походах он не бывал и ходить, тем более ездить, не собирался, однако, всем своим видом, полевой амуницией показывал, что сердцем и телом, распирающим форменную одежду, он там, в сражающихся рядах, да что в рядах, он, как на плакатах, — впереди их, с обнаженной саблей в одной руке и со знаменем в другой. И вдохновленные его пламенным словом, идут за ним патриотические массы в кровавый бой и готовы умереть за него, за Родину все до единого.

«Шкура! — очнувшись от сладкой дремоты, икнул Петька Мусиков.— На тебе бы, на курве, бревна возить, а ты языком молотишь...»

И кабы один разгильдяй, кабы только несознательный элемент Петька Мусиков так думал — так думали многие бойцы, однако большинство и думать-то себе не разрешало, полагая, что так оно и должно быть: одним морды в тылу наедать, другим умирать в боевых окопах.

Пока, надсаживаясь, все более багровея от словесных усилий, выбрасывая пар из свежо обритой пасти, кричал оратор про Родину, про партию, про долг, про родного отца всех народов, но в первую голову про героические сражения, кипящие там — указывал он на запад, — с обратной стороны, с востока, выкатилось солнышко и, проморгавшись со сна, начало пялиться на многолюдный военный строй.

Наконец торжественное напутственное слово иссякло. Настроил

бойцов на подвиги политический начальник, заработал еще один орден, прибавку в чине и добавку в жратве.

— Н-нн-на-пр-ря-о! — совсем близко раздался голос командира первой роты.— Ш-ш-ш-шшго-ом!

И в это время неожиданно и звонко ударил впереди оркестр. В строю у всех разом сжалось сердце от старинного, со времен Порт-Артура звучащего по русской земле военного марша. Под него, под этот марш, сперва не вступ ногой, но с каждым шагом все уверенней, все слаженней двинулась первая рота, колыхая над собой пар дыхания, вытягивая за собой колонну. За нею, топающие на месте, как бы разгон набирающие, сдвинулись, приняли движение другие ротные ряды. И когда первая рота уже спустилась к речке Каменке, ступила на старый, тоже при царе излаженный мостик, последняя рота была шаг возле казарм, только еще намереваясь попасть в лад отдаленно звучащему оркестру, готовясь сделать шаг вслед людской колонне.

Солнце, вкатившись горячим колобком на крыши закаменных деревянных домов, выглядывало из-за дымящих труб, приостановило свой ход, как бы заслушалось походной музыкой, но изнутри все же разогревалось, плавилось, струя горячий металл во дворы, палисадники, в безлюдные улицы, плеснуло и войску под ноги горячей лавы. И слился небесный огонь с сиянием медных труб, и такой ли яркий свет полился, что уж за ним не угадывалось и не виделось ничего — только звук оркестра, только грохот шагов, только ахающее дыхание и пар, плавающий над колонной, свидетельствовали о том, что в этом ослепляющем, холодном сиянии двигается рать, не ведающая конца пути своего, догадываясь о предназначении свыше лишь объединенным сознанием: там, там, за этим яростно и отчужденно сияющим солнцем, есть сила столь могущественная, что перед нею все земное слабо и беспомощно, только оркестр да грохающие шаги достигают той высоты, той всеми владеющей и повелевающей силы, от предопределения которой судорожит, сжимает сердце. Может быть, впервые так близко, так осязаемо подступило к парням, идущим в строю, сознание неизбежного конца, может быть, впервые они ощутили прикосновение судьбы, роковой ее неотвратимости. И, значит, что? Значит, рать должна льнуть к другой рати, объединяться с миллионами таких, как он, подвластный судьбе и команде человек. Надо тверже ставить ногу, но слышать могучую поступь за тобой и рядом с тобой идущего народа.

Ы-ыр-р-рыс, рры-ыс, рыс! — шагали ноги в лад ударам барабана, под аханье труб, под ругады легкомысленной флейты, и соединялся со строем крепнущий шаг.

Повсюду просыпались собаки и незлым, ненастойчивым лаем провожали строй. Умные сибирские лайки уже начали привыкать к такого рода беспокойствам.

Техника, кони, кухни, питание были развезены по эшелонам и погружены в ночное время. Маршевые же роты из-за нежелания покоить трудовой люд, но скорее всего все по той же причине строюй военной тайны вели к станции кружным путем, глухими окраинными улицами. Окна домов всюду были еще закрыты ставнями, глухие сибирские ворота со всевозможными резными штучками заложены, снег толсто лежал на крышах, черемухи и рябины в палисадниках обреченно опустили в сугробы ветви. Зоркий глаз северного человека ухватил в одном, в другом месте из-под пластушин снега выступившие по крыше натеки, застывшие в виде мышиноного хвостика иль гребешком, они были еще едва заметные, эти отметины солнца, повернувшего на весну. И не от оркестра, сверкавшего под солнцем начищенной медью, а от этих вот, может, от неисправной горячей трубы накипевших нечаянных сосулук ломалось сердце, чуя пока еще далекое тепло, вешнюю траву, цветы, победу — все-все ворожей в Оси-

дове, и в первую голову главная ворожея тетка Марья, предсказывали победу скорой весной.

Щипнуло в груди при воспоминании об осиповских полях, об осиповских девчонках, о стариках Завьяловых, обо всем хорошем, что происходило в жизни, закипало в горле, слепило глаза. И все же, пусть и сквозь слепящую пленку, Лешка Шестаков заметил впереди на безлюдной улице бабу в клетчатом полушалке, в валенках, насунутых на босую ногу, с коромыслом и ведрами на плечах. Она появилась из ворот крепко рубленного дома, легко одетая, в мужичьем пиджаке, надернутом на ситцевую кофту, добежала до середины дороги, но тут же загнулась, на мгновение обмерла, закрыла вскрикнувший рот ладонью и, круто повернувшись,хватила обратно, со звоном бросила ведра, коромысло во двор, брякнула створкой ворот, хлопала себя, отряхнула подол, ничего, дескать, не было, никаких пустых ведер, спиной прислонясь к доскам ворот, распластавшись на них,— женщина оберегала воинство от лихих напастей. Через минуту Лешка обернулся: выйдя на дорогу, баба размашисто, будто в хлебном поле сея зерно, истово крестила войско вослед — каждую роту, каждый взвод, каждого солдата осеняла крестным знамением русская женщина по обычаю древлян, по заветам отцов, дедов и царя небесного, напутствуя в дальнюю дорогу, на ратные дела, на благополучное завершение битвы своих вечных защитников.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Автор хорошо и давно знает, в какой стране он живет, с каким читателем встретится, какой отклик его ждет, в первую голову от военных людей, поэтому посчитал нужным назвать точное место действия первой книги романа «Прокляты и убиты», номера частей и военного округа, а также фамилии и имена уважаемых и тех не уважаемых людей, какие сохранила память.

На том месте, где готовил кадры на фронт двадцать первый стрелковый полк, ныне плещется рукотворное Обское море и с пляжа Академгородка, где летами вповалку лежат отдыхающие, видно горбину голого, грязного острова. Это как раз то место, где располагались солдатские казармы. Казармы же царских времен, как стояли на бугре, за речкой Каменкой, так и стоят бодреньким строем, красненькие, узорчато выложенные под крышей, на заоконниках и над входами. Ни один уголок не выпал, ни один кирпич не раскрошился, и возникшие меж них строения новых времен, уныло-серые, лоскутные, сразу же неряшливо, старо выглядящие, кажутся случайно сюда забредшими, на скорое вымирание обреченными, как и земля вокруг них, паршой покрытая.

В первые годы после возникновения Академгородка кто-то регулярно разбивал изогнутые наподобие рассерженных кобр с раздутыми шеями фонари академического пляжа. «Господи! — думал я, глядя на остров, на тухлые воды, покрывшие древнюю реку.— Уж не сослуживцы ли мои, не братики ли солдатики из двадцать первого полка выходят ночами из мутных вод, покрывших ранние их известные могилы, и напоминают о себе и о своей доле таким вот странным, лешачьим образом, спасенным от фашизма гражданам родного отечества, забывшим и себя и нас, все святое на этой земле поругавшим».

---

---

## АКВАРЕЛИ



ТАТЬЯНА БАХМИНА



Осень на воске истертых  
Бедных венков и крестов.  
Девочка в городе мертвых,  
Среди синиц и клестов.

Нет, не жена, а игрушка,  
Кукла, красивый зверек,  
Вся в кружевах комнатушка,  
Желтый могильный песок.

Хлеб расклевала синичка,  
Тяжко сиренью дышать —  
Эос, подружка, сестричка,  
В розовом платье лежать.



В старом дачном поселке под соснами, где  
Звал хозяин борзую и гости гуляли,  
И синели. цвели васильки в борозде,  
Разошлись за полвека круги по воде  
И осели стропила в дощатом пенале,  
Где ты мальчиком рос, в рыжих белок стрелял  
Из согнутого вкось деревянного лука.  
Как недели разметил, так годы сверстал,  
Да на станции поезд соловьем засвистал,  
Так что сердце зашлось от его перестука.  
Замелькали столбы. Милый дом мой, прощай!  
Отчего же так тянет назад оглянуться?  
По Казанской дороге в потерянный рай  
Каждый час электричка. Садись, покатай  
Это яблоко да на серебряном блюде.

---



## АЛЕКСАНДР СУББОТИН

\* \* \*

Взыграй же, ветер, на просторе,  
 Подуй, чтоб застонали сосны,  
 Гони в серебряное море  
 Мой сон навязчивый, несносный.  
 И возвратись назад волною,  
 Крикливой чайкой, синей птицей —  
 Кем хочешь, только бы со мною  
 Приветным звуком поделиться...  
 А может, в бездне скрыв былое —  
 Глаза холодные, немые,—  
 Откроешь мне лицо другое  
 И принесешь слова другие.

1951.

## Портрет

Она утопает в сирени,  
 В лиловых и белых цветах,  
 Ажурные, странные тени  
 Играют на смуглых щеках;  
 Скульптурность осанки и позы —  
 Достоинства вечных невест,  
 И падают русые косы  
 На тонкий серебряный крест.

1975.

## Поздние цветы

Когда уже поля щетинит жниво  
 И желтизной подернуты кусты,  
 Встают и расцветают горделиво  
 В увядших травах поздние цветы.

Все переждав: и буйное цветенье  
 Весны, и летний нестерпимый зной,—  
 Вступает в жизнь иное поколение,  
 Отмеченное строгой красотой.

Оно томимо жгучей жаждой света  
 И до небес готово дорасти.  
 Как скоро их, цветы заката лета,  
 Окутают туманы и дожди!

Над ними осень распластает грозы,  
 И жизнь, как радость, будет коротка.  
 Цветы умрут, когда придут морозы,  
 И тихо лягут в землю под снега.

1983.



---

---

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

\*

ВДОГОНКУ...

До свиданья, друг мой, до свиданья...  
В старости мы все впадаем в детство,  
И тогда ничтожные страдания  
Обращаются в большое бегство.

То, что ты предложишь в Орегоне,  
Больше не считается искусством  
Даже на таежном перегоне  
Между Красноярском и Иркутском.

Было и талантливо, и остро —  
Стало за ненадобностью слабо:  
Отошла эпоха бутафорства,  
А за нею — мировая слава.

Кончилось великое везенье,  
Дважды не войдешь в одну удачу...  
До видzenia, брат мой, до видzenia,  
Все равно тебе вдогонку плачу.

1992, август.

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО

\*

## ЧИСТОЕ ПОЛЕ ЛИТЕРАТУРЫ

*Любительские заметки профессионального читателя*

**С**разу хочу объяснить: клочковатость и отрывистость этих заметок не от желания пооригинальничать. Это не поиски «новых приемов в критике» и не мания величия автора, возомнившего себя Розановым или Лидией Гинзбург. Форма эта вынужденная, ибо солидный жанр проблемной статьи предполагает наличие у ее автора некой концепции современных процессов в литературе. У меня такой концепции нет. А чтение текущих статей и рецензий заставляет предположить, что нет ее и у коллег. Сегодня у критики время черновой работы: отбора, описания, комментирования. А для этого форма заметок подходит больше всего.

Парадоксальное и даже как бы конфузное явление: литературно-критический кризис на фоне богатой и разнообразной жизни в литературе. Профессиональные критики занимаются чем угодно — публицистикой, политологией, издательскими делами, преподаванием в наших и не наших университетах, поездками и лекциями, — только не своим ремеслом. Половина толстых журналов вообще «закрывает у себя критику». Специальные издания, скажем, «Литературная газета» или квалифицированнейшее «Литературное обозрение», сократили количество материалов о современной литературе настолько, что возникает вопрос, а почему, собственно, они называются «литературными».

В оправдание говорится и пишется, что настоящей литературы сегодня нет. Что литературный процесс закончился. И только очень и очень немногие из цеха — чуть ли не один Андрей Немзер, — очевидно, из-за неосведомленности относительно приключившегося конца, продолжают регулярно читать новые книги и регулярно писать о нашей современной беллетристике.

Существует такое свидетельство своеобразного географического эгоцентризма англичан, их подсознательной уверенности в том, что жизненный центр планеты располагается, конечно же, на Британских островах, — однажды сообщения в лондонских газетах о необычайно густом тумане над Ла-Маншем и о прекращении в проливе судоходства появились под заголовками: «Материк отрезан», «Европа в блокаде». Чем-то это напоминает мне критику, потерявшую из виду литературу и утверждающую, что, значит, ее нет вообще.

Вполне сочувствую печали критиков, что скорбят по сгнувшей куда-то литературе, но, отвлекшись от их, по-своему логичных и аргументированных, умозаключений, натякаясь на свою дубовую, прямолинейную логику, подкрепленную элементарной арифметикой. Ну например: каждый месяц выходит десятка два литературно-художественных журналов, журналов, в которых сейчас практически нет пустот, все тексты — для чтения, все они адресованы реальному читателю, а не чиновникам из идеологических и цензурных комитетов. И эти двадцать журналов раз в месяц предложат вам, как минимум, три-четыре прозаических произведения, которые действительно интересны и над которыми стоит подумать; да еще несколько стихотворных подборок, понуждающих познакомиться с их авторами поближе: да из рецензионных отделов вы узнаете о выходе двух-трех книг, которые стоило бы прочитать. Но ведь не прочитаем же! Физически невозможно. Только успеваем бегло перелистать новые журналы, что-то просмотреть в них по диагонали, как накатывает волна журналов следующего месяца с новыми именами, новыми текстами, не менее интересными, чем предыдущие.

Вспомните, как лет десять—пятнадцать назад журналы, поднапрягшись, все вместе могли предложить одну достойную чтения вещь не более чем раз в два-три месяца: сегодня читаем (все читаем!) «Старика» Трифонова, потом тоже все — «Дату Туташкиа» Амирэджоби, потом — Айтматова в «Новом мире», потом — Астафьева в «Нашем современнике»... А за этими именами — как будто провал, откровенное ничто. Новые же имена вообще были редкостью, скажем, появление Крупина с «Живой водой» стало событием чуть ли не года на два.

А сегодня? Не литература, а толкучка какая-то! — прут и прут, и все новые и новые, и сразу во всех журналах — не запомнить всех, откуда только берутся? И где же здесь настоящее? Ну понятно, если бы подписано было: Битов, Искандер, Ким,

А эти-то — кто? Гаврилов, Сакур, Палей, Гареев, Пелевин, Ванеева, Пискунов, Москаленко и т. д.

Стало модно кивать на «рыночную» или «коммерческую цензуру». Вот она где — главная угроза для настоящей литературы. Да, рыночные отношения жестоки. Для искусства, может быть, в первую очередь. Но я бы осторожнее пользовался словом «цензура» — слишком уж оно обжитое, слишком удобное, почти как в недавние времена «неблагоприятные погодные условия» для «урожайности в СССР».

Если мы проведем простейший эксперимент — сравним списки новинок, помещаемых в «Книжном обозрении» этого года, с такими же списками конца семидесятых, то выяснится, что для художественной литературы почти ничего и не изменилось. Как пятнадцать лет назад находили мы в каждом из этих списков три-четыре действительно интересных издания, так и сегодня — все те же три-четыре. Изменился, и изменился резко, состав тех книг, что соседствовали в этих списках с полноценной художественной литературой. В семидесятые годы там значились книги идеологически выверенные, как правило, беспомощные в художественном отношении. Сейчас их не издают. Что заполнило освободившиеся позиции? Данте? Гёте? Домбровский? Саша Соколов? Увы! — детективы, мелодрама, фантастика, мистика, кун-фу и карате.

Будем справедливы, вспомним, что первые наши коммерческие издатели гонялись за правом печатать Солженицына, Бродского, Вен. Ерофеева, альманахи новой литературы. И отнюдь не просветительские намерения двигали ими, просто они знали, сколько стоил на черном рынке томик Мандельштама, не говоря уж о тамиздатском Солженицыне. Глупо обвинять издателей в том, что массовый покупатель предпочел Чейза и «Рабыню Изауру».

Мне кажется, что мы пытаемся успокоить себя очередным мифом, мифом о «коммерческой цензуре». Давайте поступим честно — заменим словосочетание «коммерческая цензура» словом ЧИТАТЕЛЬ. Да, да, читатель, представитель той «самой читающей страны», как называлась когда-то фоторубрика в «Литературной газете». Читатель, угоревший от «секретарей обкома», «строговых», и т. д. и захотевший пусть утробного, но понятного ему и близкого: детектива, эротики, мелодрамы. Потребителей же собственно художественной литературы оказалось слишком мало, чтобы обеспечить на рынке лидерство Ахматовой и Германа Гессе. Остается надеяться только на дальнейшее развитие рыночных отношений и обретение ими цивилизованных форм, при которых, как показывает мировой опыт, удовлетворяется весь спектр существующих в обществе потребностей. К сожалению, при нашем сегодняшнем варианте рынка хорошие книги будут пока выходить только благодаря упорству, предпримчивости автора и издателя, так же, как и раньше, когда хорошие книги «пробивались» редакторами-энтузиастами. Внешне ситуация, может быть, и сходная, но только внешне. Ибо развитие рынка в принципе обещает удовлетворение самых разных читательских интересов, а сохранение прежнего идеологического диктата и государственного контроля над литературой и издательскими делами в принципе исключало бы перспективу нормальных, здоровых взаимоотношений литературы с читателем. Разница, согласитесь, существенная.

А уж если успокаивать себя, то лучше это делать с помощью исторических параллелей: в девятнадцатом веке — не самом плохом для русского искусства — тогдашняя современная литература жила главным образом в журналах. Ну а журналы у нас еще выходят, с большим трудом, правда, но что в нашей стране сегодня «выходит» без труда — хлеб? сахар? одежда? машины?

Мне кажется, плодотворнее было бы сосредоточиться на внутренних, а не внешних проблемах литературной жизни. Нашей литературе предстоит серьезнейшее испытание — она остается один на один с читателем, и ее полноценное существование будет зависеть только от него. Захочет читать, а соответственно — покупать, содержать современную литературу — хорошо, не захочет — для литературы настанут трудные времена.

«Русская литература бывшая «нашим всем» — и кафедрой учителя, и святым словом, и пророчеством, и философией, политикой, социологией, — освобождается от всех этих функций в связи с их легализацией в действительности. Она становится... всего лишь литературой. Много это или мало?» — Наталья Иванова («Лепта», 1991, № 6).

Говорить о том, что с появлением свободной прессы, парламента, выборов, реального права на «митинги и шествия», на политические партии и политическую борьбу и т. д. меняется место художественной литературы в жизни нашего общества, меняются ее функции, о том, что прежние функции были для нее отнюдь не обузой, а во многом определяли традиции развития, поэтику русской словесности, и потому процессы, происходящие в ней сегодня, очень сложны и болезненны, — говорить обо всем этом значит повторять общее место. И тем не менее двинуться дальше этого общего места наша критика не может уже года два. То, чему следовало быть отправной точкой в размышлениях о современных литературных явлениях, до сих пор остается итогом этих размышлений.

Почему так? Не в том ли причина, что перемены, отмеченные Натальей Ивановой, в первую очередь коснулись как раз критики?

Именно она приняла на себя первый удар изменяющихся отношений читателя с литературой, — критике приходится перестраиваться на ходу, ибо наработанные ею

за десятилетия методы и навыки принципиально неприменимы к тому, что зовется литературой сегодня.

До последнего времени критика опиралась на достаточно отлаженную систему представлений о литературе — о ее месте в обществе, ее задачах, специфике...

Одним из таких опорных понятий был «литературный процесс». Его составляющими в «современной советской литературе» считались: «деревенская проза», «военная», «городская» (она же — «литература нравственных исканий»), проза «сорокалетних», ну и приходилось еще принимать во внимание официальную магистраль «секретарской литературы» и легион ее подражателей. Схема как-то работала, хотя живое творчество укладывалось в нее плохо. Скажем, кто такой был Борис Можжевель — деревенщик («Живой») или городской сатирик («Полтора квадратных метра»? Кто — Исхандер?

Иерархия ценностей этого «литпроцесса» и посегодня витает над нашей литературой, определяя навыки литературного поведения. Ибо чем еще можно объяснить бессмысленное ожесточение, с которым «борются», например, за влияние в литературе авторы семейно-исторических эпопей, совсем недавно бывшие в фаворе? Для этих авторов литература — это «литпроцесс», традиционно персонафицированный в управленческой структуре СП СССР. Борьба за место в нем всегда понималась как борьба за «свое место в литературе». Сегодня нелепость такой борьбы как борьбы литературной еще и в том, что участникам ее не совсем понятно, с кем и за что надо бороться. «Эпопейщикам» по привычке кажется, что их враги — это «прогрессисты-шестидесятники» или всякая «нечисть», объявившая себя авангардистами и постмодернистами. Однако сегодня новый роман-эпопея Проскурина или Иванова вполне может разойтись тиражами, какие и не снились самому голосистому постмодернисту. И может быть, самым опасным конкурентом для наших «эпиков» становится та бесконечная мексиканская тележвачка, что идет ежевечерне по трем каналам. Вот кто реально претендует на воспитанного ими читателя.

Писателей, сформированных тем «литпроцессом», понять можно. Но как относиться к желанию «новых» быть «главными» в литературе?

«...командующие» первой литературы... сошли на нет Г. Марков, сотоварищи. Скукнеют, чахнут лавры и второй. Айтматов, Быков, Шукшин, Трифонов, Макарян — что теперь эти имена? Проза их теперь не определяет существа литературного процесса. Мгновенно поблекли звезды «форейторов перестройки» (А. Рыбаков, В. Дудинцев, М. Шатров и пр.)... все заманчивое высвечивается некий третий путь. Прозу этого третьего направления кто-то называет «другой», кто-то «альтернативной». Любопытство к ней растет, ибо это направление — путь естественного обновления, путь выживаемости». Кому адресовано это высказывание Зуфара Гареева, одного из самых талантливых представителей «новой» прозы? Читателю? Но читателю не надо очередной табели о рангах. Дайте ему тексты, а он сам решит, как к ним относиться. Издателю? Издателю не так уж важно, что пишет критика; если читатель будет покупать литературу «третьего пути», издатель будет ее издавать, не вдаваясь в вопросы эстетики.

Глупо толкаться локтями в чистом поле. Сегодня действительно другая ситуация. Тратить силы на такие пассажи еще имело смысл лет пять—семь назад. Тогда это была работа — увя, необходимая — по отстаиванию самих прав на существование новой литературы, это было как бы пристраивание к тогдашнему зданию «литпроцесса» дополнительных помещений для новых писателей и выбивание у администрации здания прав на их прописку. И этой работой при первых же признаках появления «другой» литературы занялась критика, уже заготовившая таблички для новых помещений: «задержанная литература», «литература русского зарубежья», «другая литература». Но работа эта кончилась, не успев даже как следует развернуться, ибо прописка «по литпроцессу» отменилась сама собой, а все это стройное, возводимое десятилетиями сооружение как-то разом обветшало, захирела жизнь в его комнатах и коридорах — литература зажила в свободном пространстве, напрямую общаясь с читателем.

«Литпроцесс» в прежнем смысле закончился, и даже, наверно, можно сказать, когда и «на ком». Мне кажется — на появлении в печати произведений Татьяны Толстой и Сергея Каледина. Могу засвидетельствовать: был на читательских конференциях обоих писателей и видел, насколько широким, разнообразным оказался круг заинтересовавшейся ими публики. Но вот через два-три года начала печататься проза, скажем, Марины Палей или Олега Ермакова, по-своему столь же яркая, однако подобного всплеска коллективного интереса уже не последовало. Толстую мы читали и воспринимали как явление еще и общественное, так же, как встречали когда-то новые книги Трифонова или Астафьева. А Палей и Ермаков появились уже в эпоху собственно литературы и как явления «только литературы».

Получается, что действительно литература есть, а литпроцесса нет. Он, разумеется, нигде не делся, просто критика перестала его видеть. Постигание современного литературного процесса требует прежде всего навыков эстетического мышления; навыков, которыми критика наша не обладает — привычный образ литпроцесса всегда лежал в сфере общественно-политической жизни, а не эстетической.

А может быть, трудности общения нынешней критики с современной литературой нужно искать еще и в своеобразной критической «гордыне»? Бедь если все эти годы литература воспринималась как явление в первую очередь общественное, а писатель — как инженер, или пусть врачеватель, человеческих душ; если теоретической опорой текущей критики оставалась все та же «теория отражения», а практической —

все то же святое убеждение, что литература напрямую служит общественной пользе, то критик соответственно всегда выступал в роли представителя заказчика. Он был обязан присматривать за тем, чтобы литература «дотягивалась», «соответствовала» уровню запросов общества и переживаемого им момента. Ну а эстетике отводилось место, так сказать, дизайнера: «это произведение хорошо тем, что оно прогрессивно и к тому же нешаблонно».

И пусть в роли заказчика уже не выступали для критиков «партия и правительство» — к семидесятым годам «ермиловские» и «друзинские» времена кончились, — но сама идея служения литературе обществу оставалась. Пусть «служение» понималось в самом прогрессивном, самом благородном значении — это не меняет сути. Суверенность, принципиальная невозможность прямого переноса в сферу общественной и политической жизни той специфической формы мышления, которая и породила когда-то художественное творчество, игнорировались критиками слишком часто. От литературы ждали пользы и поэтому очень легко путали художественную литературу с прикладной беллетристикой (как случилось, например, сравнительно недавно с талантливыми нашими критиками, всерьез пытавшимися доказать наличие высоких художественных достоинств у «Детей Арбата» и «Белых одежд»).

Сегодняшнее положение вещей дает надежду, что мы дозрели наконец до признания за литературой ее исконной природы, дозрели до того, чтобы счесть естественной такую ситуацию, когда читатели дорастают до своей литературы, а не наоборот. А уж критик тогда выступает не руководящим для писателя лицом, а представителем этих дорастающих до литературы читателей и адресует свои суждения именно им.

Думаю, что со сказанным выше согласятся многие, охотно признавая — на словах — суверенные права литературы. Но вот избавиться от укоренившихся в нас установок на практике гораздо труднее: «Литература перестала приносить радость... читателям... Отчего же так? Вроде уже время, которое считалось необходимым для художественного осмысления переломившейся нашей реальности прошло... Отчего же нет в их произведениях жизни (в обоих смыслах — нет души и нет той реальности, в которой мы ныне существуем)?.. для многих писателей действительность оказалась „чересчур трудна“» (Карен Степанян, «Знамя, 1992, № 9) — вот вроде бы правомерное критическое суждение, предполагающее только согласие или несогласие с заключенной в нем оценкой текущей литературы. Но я бы предложил обратить внимание не столько на эту оценку, сколько на логику самого высказывания. Для критика здесь аксиоматично, что понятие «жизни» в современной литературе обязательно должно соотноситься еще и с изображением переживаемой нами действительности: время для ее осмысления прошло, говорит критик, — а достойного воплощения в литературе она не получила, — сегодняшняя действительность оказалась «чересчур трудна» для писателей, и те не справились с действительными запросами. Но откуда нам дано знать заранее, что есть действительность для художника? Художник может видеть ее совсем не так и не там, как мы того ожидаем. Более того, если действительность одна и та же и для нас, читателей, и для них, писателей, и нашими запросами определяются плоды их творчества, тогда зачем нам вообще нужна литература?..

Итак, сегодня в самом трудном положении, кажется, именно критика: в силу и объективных условий (смена функций), и психологических. Художественная литература демонстрирует гораздо больший запас прочности. Художественное творчество — процесс достаточно консервативный, и прикрепленность к жизни у художника более глубинная и надежная, чем у критика. Я бы сказал, что в отличие от критики, которой предстоит во многом начинать заново, литература продолжает существовать. Из культурного обихода ушла только нормативная, ориентированная на требования прежнего «лит-процесса» литература. (Место ее, видимо, займет литература нового «социального заказа» — литература для развлечения, «рыночная».) Несмотря на попытки нового ранжирования, наступившие времена ничего «не отменили» в наших читательских взаимоотношениях ни с наследием Трифонова, Шукшина, Вампилова, ни с творчеством Искандера, Можая, Кима, Маканина, Битова. Может быть, напротив, приблизили нас к пониманию стержневого в их книгах. Да и не будем забывать, что и Петрушевская, и Евг. Попов, и Пригов, и Карабчиевский, и Вен. Ерофеев, и многие другие писатели, упоминаемые, как «новые», начинали писать, а некоторые — и печататься, не вчера и не позавчера. Даже то, что сегодня кажется эстетической новостью, скажем, проза «писателя слов» Саши Соколова, — отнюдь не новость. Эта литературная традиция была всегда, более того, она была представлена и в подцензурной печати. Но критика ее не замечала. Я не помню ни одного отклика на книги, скажем, Константина Гердова, замеченные и высоко оцененные писателями. Гердов остался писателем для узкого, чуть ли не внутрицехового круга.

Да и мне сейчас было бы трудно подступиться с привычными навыками рецензента к не освоенным критикой пластам литературы.

Юлия Кокоско, «Сад старых стульев», «Чаепитие с фонарщиком» («Лепта», 1992, № 2). Как, каким способом отрекомендовать читателю эти рассказы? Сюжета в привычном значении здесь нет. «Образов героев» — тоже. Намечены лишь контуры ситуации и — достаточно условно — несколько фигур. Из знакомых определенных стилистически этюды. Это как-то намекает на специфику прозы Кокоско, но мало что в ней объяснит.

В первом рассказе — «Сад старых стульев» — очерчена такая ситуация: город-

ская квартира, где живет одинокая женщина, она тайно влюблена в соседа. Вот, пожалуй, и все, что поддается здесь пересказу. Да и эти очертания — зыбкие, размытые. Квартира — она одновременно и сад, а хозяйка — в нем садовница, садовыми ножницами подстригающая свою жизнь: такая сквозная метафора определяет собой остальное. Проза, которая не выпускает в себя. Невозможно увидеть эту женщину, «зажить» рядом с ней. Зато дано почувствовать всю силу пронзительной тоски, всю горечь безнадежной влюбленности.

Читатель здесь наблюдает как бы даже не саму мизансцену, а преломление ее в слове, в метафорическом образе. Мир для автора прежде всего «словесен», он текуч, изменчив, как текуче и изменчиво смысловое и эмоциональное наполнение слов, он и зыбок и извечен одновременно. Здесь даже материализация метафоры (квартира — сад, потолок — небо, «чай из дождевой бочки-кружки...») выглядит как повод выпустить на свободу СЛОВО, и оно почти отрывается от вещей, к которым приложено в обыденной жизни. («Но с тем же успехом я мог рассказать о непроданном сценарии под мышкой у рябины, и о трех созвездиях Персей в заварном чайнике...») В столкновениях слов и образов друг с другом ищется автором то истинное, что крепит слово к понятию, и через это постигается понятие.

Путь, выбранный Юлией Кокоско в прозе, заманчив, но и опасен. Опасность прежде всего — в предельно усложненной метафоричности, когда слово функционирует как бы одновременно в нескольких образных рядах. В «Саду старых стульев» есть более или менее конкретная ситуация: одиночество, любовь, сосед, — помогающая автору как-то соотнести друг с другом образы и символы. В рассказе же «Чаепитие с фонарщиком», где такой уснзимой ситуации нет (общение за чашкой чая нескольких коллег, течение их бесед слишком уж прихотливо), словесно-образный строй становится настолько многозначным, что, в сущности, уже не значит ничего. Слово здесь окончательно отрывается от понятия. Положения не спасает и трезвый самоанализ автора: «...мы все существуем на словах: я, вы, они, и чай, и фонарщик, да только что есть, в сущности, слова? Словом, если нас нет, то наши слова несколько меняют вес, не правда ли?»

Я не собираюсь представлять публикацию рассказов Юлии Кокоско как значительное явление в литературе. По-настоящему значительным — то есть значимым — является прежде всего сам факт вот такого «будничного» появления ее рассказов в отнюдь не авангардном журнале. Это и есть знак новых времен в литературе. Такого рода проза, очень далекая от устоявшейся нормативной поэтики, еще совсем недавно могла прошибить себе выход наружу только своей несомненной безупречностью, абсолютной художественной состоятельностью, когда уже никакой государственный редактор или издатель не имел бы повода сказать: не так уж это хорошо, чтобы... Совершенными рассказы Юлии Кокоско не назовешь. Перед нами, так сказать, рабочий эпизод в литературной биографии даровитого писателя. Но эпизод интересный, многообещающий и, как это водится при нормальном положении вещей, имеющий право на читательское внимание. Всего-то — нормальное положение вещей. Но когда оно у нас было? А вот теперь есть. И это действительно событие.

— Ну и какую же пользу может принести вот такое искусство обществу? — спросит с большим сомнением читатель и будет по-своему прав. Литература эта обращается не к обществу, а к отдельному человеку.

Читатель, воспитанный на догмах нормативной «соцреалистической» поэтики, убежденный в том, что литература должна обязательно «повернуться лицом к жизни», — читатель этот для восстановления нормальных отношений с литературой должен будет осознать, что литературе вовсе не нужно «отражать действительность» и пр., потому что она сама является частью этой жизни, а не комментарием к ней. Я хочу здесь напомнить о наличии в литературе некоего незаменимого содержания, которое не может реализоваться ни в какой иной форме и которое делает литературу как таковую жизнеспособной, а может, и бессмертной. И когда литература у себя дома, когда она занимается тем, чего требует от нее ее природа, она сохранна уже сама по себе. Именно это я имел в виду, говоря о запасе прочности, с которым вошла литература в сегодняшнюю ситуацию, о своеобразном консерватизме подлинного искусства.

В связи с «консерватизмом» и «запасом прочности» сошлюсь на следующий сюжет — о соцартовцах и постмодернистах, привлекающих сегодня всеобщее внимание.

...В двух недавно появившихся номерах альманаха «Стрелец» (очень показательного для современной литературы альманаха) появились новые рассказы Владимира Сорокина. О нем писалось уже много. В статье Зуфара Гареева (тот же альманах «Стрелец») он представлен как одна из самых интересных фигур в новой литературе. Сорокин действительно талантлив. У него редкое чувство стиля, чувство слова. Работу, которую он делает в литературе, именуют «соцартом» — это своеобразное выворачивание наизнанку мертворожденных или бывших когда-то живыми, но омертвевших с течением времени литературных стилей во всем их объеме — от «соцреализма» разных толков до так называемой «молодежной — исповедальной» прозы шестидесятых — семидесятых годов. Сорокин очень чуток к трупным запахам литературных стилей. Излюбленный его прием таков. Вначале идет виртуозная стилизация привычных окаменелостей, как, скажем, в рассказе на производственную тему «Заседание завкома» («Стрелец», 1991, № 3). Здесь есть все, что полагается такому рассказу: рабочий паренек, заблудившийся в жизни, суровые, но справедливые старшие товарищи из профкома, стол с красным сукном, портрет Ленина, «снять с него прогрессивку», сло-

восочетание «я как советский человек», представитель простого народа — уборщица: «И как их, паразитов, земля носит?!» — и даже случайно зашедший участник художественной самодельности — милиционер с виолончельным футляром. Повествование течет плавно, узнаваемо, вгоняя в привычную дрему рядового читателя, с детства слышавшего такие рассказы по радио, и вдруг взрыв: герои начинают выкрикивать что-то бессвязное, дикое, их «ведет и корчит»; сбившись в озверевшую немменяемую стаю, где разом исчезают признаки положительных и отрицательных персонажей, они набрасываются на старушку-уборщицу и, как бы выполняя некий, неведомый читателю, ритуал, зверски умерщвляют ее. После чего, разом придя в себя, деловито расходятся. Абсурдность такого финала мотивируется в рассказе внутренней абсурдностью привлеченного стиля, неестественностью, вернее противоестественностью исходной ситуации. Предполагается, что чисто физиологическое отвращение к происходящему в финале будет переноситься у читателя на весь строй, всю «эстетику» сопреалистического повествования, и — соответственно, — на породившую их идеологию.

Отмечу сразу — имитация чужих стилей обычно продельвается Сорокиным с таким искусством и с таким внутренним ядом, что уже нет особой нужды в этих ударных сюрреалистических концовках. Они начинают выглядеть самодостаточными, бессмысленно «громкими». Само же по себе воспроизведение стилей, выворачивание наружу их нелепости, косности, всей антигуманности идеологий, их породивших, свидетельствует о подлинном артистизме Сорокина. Это, как правило, выше, чем просто пародия. Можно было бы сказать, что это подлинные художественные произведения, если бы одним из признаков художественно полноценного произведения не была способность существовать самостоятельно. Увы, большинство рассказов Сорокина подобным признаком не обладает. Для своего воздействия они предполагают у читателя знание определенного литературного и идеологического контекста. Вне такого контекста умрет большинство рассказов Сорокина, и произойти это может уже с приходом следующего поколения читателей.

Более долговечный материал использовал Владимир Зуев в романе-клипе «Черный ящик» («Знамя», 1992, № 3—4) — литературные стили Розанова, Достоевского, Гоголя, нашей городской и деревенской прозы, Джойса. А главный персонаж романа — писатель — представлен текстами, как бы обыгрывающими игры нынешних постмодернистов и соцартовцев: «Не-е-е, братва, видели бы вы ее ноги! Выше, выше, аж пот прошиб; все выше и выше стремим мы полет наших крыл, и однорукий Серафим Петрович на перекрестке мне явился и эдак ехидно спрашивает: «Откель ты, псе шелудивый? Давненько молодца не видали в наших краях...» И ты? Я — Гойя, я — секвой! Там он лежит, под мертвой луной; оставьте труп на съедение собакам, а людям комиссара Шарипова отвечайте: Рахат-Лукум повелел готовиться к большой свадьбе». В отличие от Сорокина, который строго следует законам выбранного стиля, — если рассказ производственный, то соответственно используется типовая ситуация, типовой герой, Зуев пишет как бы оригинальное сочинение, знакомит нас с персонажами собственной выделки: главный герой — писатель, получающий в финале Нобелевскую премию, а на протяжении романа практически ни разу не явившийся перед читателем, представлен только «постмодернистскими» текстами, зато читатель знакомится с его женой, любовником жены и с доктором, который должен заочно лечить писателя от его увлечения «постмодернизмом». Начало обещает читателю легкое полудетективное сатирическое с элементами плутовского романа повествование. Тема намечена: непризнанный гений-писатель и потревоженное его существованием обывательское окружение. Ружья развешаны, читатель приготовился к их пальбе, но пока, пребывая еще в тишине, с удовольствием следит за остроумным перетеканием — один в другой — знакомых стилей, знакомых литературных интонаций. Однако действие, поманившее вначале, начинает все откровеннее и откровеннее пробукссовывать на месте, а первоначальная система образов, оправдывавшая заряд сатирических интонаций контрастом незаурядного писателя и заурядного окружения, — как-то странно видоизменяется. В текстах будущего нобелевского лауреата появляется нечто способное вызывать у читателя только усмешку, — похоже, что и к самому «писателю» автор относится без должного пиетета. Главным действующим лицом романа остается литература с разнообразием ее стилей. И когда уже ясно, что действие так и не развернется, а тщательное «развешивание ружей» — такая же литературная игра, как и все остальное, автор делает последний ход в этой игре: разрешая все сюжетные сложности; в роли «бога из машины» появляется НЛО и уносит писателя вместе с его закадровой подругой. Это действительно легкое чтение для литературных гурманов, чтение, не предполагающее ничего особенно серьезного, такого, что закладывает в свои взаимоотношения со стилями советской литературы тот же Сорокин; Зуев оказался как бы более демократичным. Он предложил читателю беллетризованный вариант авангардной литературы, исходно адресованной узкому кругу любителей. Зуева прочитают с удовольствием многие; кто — сразу же увлекшись приключениями литературного слова, кто — поддавшись на сюжетную наживку.

Задачу, поставленную перед собой, Зуев выполнил не без изящества. Но вот печаль: не покидает чувство, что несомненно имеющиеся силы растрачены на забавный пустячок. Что талантливый писатель не нашел в этой вещи реальной РАБОТЫ для своего таланта. Его писательские возможности остались как бы не востребованы. Я бы провел здесь аналогию с авангардной живописью. Когда-то Александр Тышлер сказал об абстракционизме так: «Краски — это лесоматериалы. Доски на складе. Из них можно построить дом. В абстрактной живописи они остаются только материалом». Чтение и Сорокина, и Зуева увлекает прежде всего новизной приема и материала. Скорее — ма-



териала. Прием не так уж нов. Журнал уже писал на эту тему («Играем в мэйл-арт», «Новый мир», 1992, № 2). Можно сказать, что в постмодернистские игры с тогдашними стилями русской прозы играл и Пушкин в «Повестях Белкина». А если еще дальше отступить в прошлое, то классический пример — «Дон Кихот» Сервантеса. Но кто сегодня помнит рыцарский роман настолько, чтобы узнавать его в сюжетных ходах и интонациях творения, задуманного как пародия на рыцарские романы? Пародирование оказалось для Сервантеса только отправным пунктом для разрешения собственной художественной задачи.

Самостоятельной, оригинальной струей соцарт и постмодернизм будут казаться до той поры, пока не найдется художник, способный использовать открытый ими материал именно как материал. И тогда претензии соцарта быть новым словом в литературе отпадут сами собой.

На мой взгляд, такой художник и такое произведение уже появились. Это повесть В. Пелевина «Омон Ра» («Знамя», 1992, № 5).

Автор начинает как бы по-сорокински — традиционно построенная фраза, узнаваемая с первых же слов интонация и почти ритуальное, типовое содержание, поразившее эту повествовательную интонацию в нашей литературе: отец «был человек незлой души... хотел он получить участок земли под Москвой и начать выращивать на нем свеклу и огурцы... Маму я помню плохо... Она умерла, когда я был совсем маленьким, и я вырос у тетки...» — обычное детство, пионерский лагерь, мечта о космосе, поступление в летное училище и т. д. Как бы даже чуть вяловатое по складу речи, по неторопливости и обстоятельности начало, хотя при этом автор заставляет несколько насторожиться чуткого читателя, еще не подозревающего о характере чтения, которое ему предстоит. С первых же абзацев в привычном, казалось бы, до мелочей повествовании появляется нечто странное. Так, именем Омон нарек героя отец, чтобы в будущем тот сделал успешную милицейскую карьеру. А имя младшего брата, умершего в детстве, было Овир, и отец прочил его по дипломатической части. Фамилия же братьев Кривомазовы.

Странности накапливаются и начинают уже формировать сюжет: Омон поступает в летное училище имени Алексея Маресьева, где новичкам объявляют, что сделают из них «настоящих людей»; абитуриенты наблюдают выпускные экзамены, на которых выпускники демонстрируют умение танцевать, а наутро после зачисления в училище новички просыпаются привязанными к кроватям, и Омон с ужасом видит у соседа на том месте, где еще вчера были ступни ног, пустоту и проступающие на пододеяльнике пятна крови. Само же Омона, принятого накануне в отряд космонавтов (при КГБ!) с целыми ногами, увозят из училища, и в дороге во время короткой остановки, пять минут «тишины, перемежавшейся только далеким тяжелым стуком», шофер объясняет, «что это бьют короткими очередями несколько пулеметов на стрельбище Пехотного училища имени Александра Матросова». Воображение читателя уже легко дополняет картину.

Мечта героя исполняется, он готовится к полету на Луну. Но только здесь, в отряде космонавтов, он узнает, что ему предстоит. Оказывается, вся наша космическая автоматика приводится в действие мускулами упрянтанных в механизмы людей, полудобровольных камикадзе. Омону предназначено стать «автоматическим устройством» лунохода и, выполнив все, что полагается луноходу, застрелиться. «Внешне луноход напоминал большой бак для белья, поставленный на восемь тяжелых колес, похожих на трамвайные. На его корпусе было много всяких выступов, антенн разной формы, механических рук и прочего — все это не работало и нужно было в основном для телевидения, но впечатление оставляло сильное. По крыше лунохода шли маленькие косые насечки; это было сделано не специально — просто металлический лист, из которого она изготовлялась, предназначался для пола у входа в метро, а там всегда так делают... Внутри было свободное место — примерно как в башне танка, и там стояла чуть переделанная рама от велосипеда «Спорт»...»

Психологическую подготовку курсантов к подвигу осуществляют политруки, выпускники военно-политического училища имени Павла Корчагина. «С нашим экипажем занимался обычно Урчагин. Он «полулежал в кровати... в кителе, до пояса прикрытый одеялом... Бедная обстановка комнаты, планшет для письма с узкими прорезями в накладываемой сверху картонке, неизменный стакан крепкого чая на столе, белая занавеска и фидкус...» — мир, изображаемый Пелевиным, это как бы материализация привычных образов соцреалистической литературы. Но вокруг этих образов нет уже знакомой нам литературной игры или издевки. Автор настраивает на серьезное чтение, насыщенное психологическими и философскими реалиями, и читатель читает всерьез. Прежде всего этого требует образ самого героя-повествователя: в строе мыслей, чувств Омона, в интонациях его рассказа нет литературной условности. Сила воздействия этой повести, при всей ее фантастичности, — от впечатления почти абсолютной реальности происходящего, чего с успехом добивается автор.

Бутафорская ракета, бутафорские ситуации, скажем, охота, устроенная для членов ЦК, где в качестве мишени используются замаскированные под дичь люди, каждый день «искусные жизнью и здоровьем», — все это остается, разумеется, абсурдной инсценировкой, но мученичество героев ради «торжества идеи» — отнюдь не бутафорское.

В последний момент, когда Омон уже потерял во время полета всех друзей, проехал по лунному грунту положенное количество километров, вышел наружу, установил радиобудь и сделал последнее, что от него требуется, — поднес к виску пистолет и нажал на спусковой крючок, пистолет дал осечку. Омон не умер. Он вдруг почувствовал, что вдыхает вполне земной, но какой-то затхлый воздух, что под ногами у него —

рельсы и что это вообще не Луна, а заброшенный тоннель метро. Спасаясь от преследования устроителей этого спектакля, он попадает в некий затемненный зал, в котором перед телекамерами «парит» еще одна космическая ракета, выходят в «космос» специально обученные космонавты.

Имитация космических побед, свидетельствующих о жизненной силе и могуществе коммунистических идей, продолжается. Омону, оказавшемуся случайно посвященным в эту государственную тайну, удается выжить. Однако говорить о счастливом конце трудно. Свобода является ему в образе станции метро «Библиотека им. Ленина», Омон по-прежнему находится на «красной линии» метрополитена, а рядом с ним в вагоне сидит женщина, везущая в сетке макаронные звездочки, курицу и рис — дежурный набор продуктов, преследовавший героя во всех переломных для него моментах жизни и ставший в повести неким знаком фатальной неподвижности, неизменности быта советского человека. Чтение этой повести приучает очень внимательно относиться к таким «медочам».

Мне трудно согласиться с определением «сатирическая», которое уже получила в критике повесть «Омон Ра». Пелевин, повторяю, озбочен вовсе не тем, чтобы изобличить и заклеймить социалистическую идею. И «мучители» героя, заставляющие Омона и его товарищей утверждать эту идею ценой собственной жизни,— образы отнюдь не отрицательные, скорее — трагические. Здесь проблематика не социальная, а метафизическая, не временная, а вечная. Политрук Урчагин накануне полета наставляет Омона: «Запомни, хоть никакой души, конечно, у человека нет, каждая душа — это вселенная. В этом диалектика. И пока есть хоть одна душа, где наше дело живет и побеждает, это дело не погибнет... Достаточно даже одной чистой и честной души, чтобы наша страна вышла на первое место в мире по освоению космоса... чтобы на далекой Луне взвилось красное знамя победившего социализма...» Здесь можно говорить о трагедии людей, убедившихся в невозможности реального воплощения своей идеи и предложивших обществу вместо жизни — ее телевариант, театр теней. А потребность в такой иллюзии строится на несомненной жизненной основе,— это тоска, рожденная действительностью: «...люди, в которых проходила наша жизнь, действительно, были темны и грязны, и сами мы, может быть, были под стать этим норам, но в синем небе над нашими головами, среди реденьких и жидких звезд существовали особые сверкающие точки, искусственные, медленно ползущие среди созвездий, созданные тут, на советской земле, среди блевоты, пустых бутылок и вонючего табачного дыма, построенные из стали, полупроводников и электричества и теперь летящие в космосе. И каждый из нас — даже синеликий алкоголик, жабой затаившийся в сугробе... даже брат Митька и, уж конечно, Митек и я — имели там, в холодной чистой синеве, свое маленькое пространство». Энергию этой мечты, этой потребности подниматься с земли «урчагины» используют как реальный строительный материал для создания своей религии и служения ей. И даже герой романа, ставший подопытным кроликом, жертвой этого служения, не очень их осуждает. В последней схватке с одним из них в заброшенной штольне метро он успевает отдать себе отчет в том, насколько «тошнотворно» ощущение почти полной пустоты в сапогах его преследователя. Это не просто физиологическая реакция, но и нравственная — спасая свою жизнь, Омон убивает не врага, а товарища по несчастью, безногого «настоящего человека».

Первоначально название повести вызывает совершенно определенные ассоциации — злободневно-политические: рядом с милицейским «Омон» приставка Ра может показаться такой же аббревиатурой, чем-нибудь вроде «Российская армия». Но по мере углубления авторской мысли, вернее ее обнажения, имя героя наполняется иным смыслом; сдвиг очень важный для понимания авторского замысла. К финалу «Омон Ра» прочитывается как созвучное имени египетского бога солнца (Амон Ра). Перенос значения ключевого слова повести из ряда остросовременных аллюзий в план вневременной, философский получается у Пелевина естественно, художественная обоснованность его, на мой взгляд, безупречна.

Есть сильнейший искус воспользоваться при рассказе о новинках привычным соотнесением «литературы» с «жизнью». Ну, скажем, так. Наше общество переживает, может быть, самый серьезный после Октябрьской революции исторический поворот в своем социальном и экономическом бытии. Поворот от попыток воплотить утопию «социалистического образа жизни» к жестокой реальности естественных экономических и социальных отношений. Процесс этот чрезвычайно болезненный, сложный, и он требует от литературы осмысления происходящего, воспитания необходимых представлений о норме социального и экономического поведения, требует оказать психологическую поддержку обществу, чтобы оно смогло выжить и сохранить себя в новых условиях. Литература должна осмыслить, что нам помогает двигаться в выбранном обществом направлении и что мешает на этом пути.

И пожалуй-та: литература этим как бы и занимается. Одна из основных ее сегодняшних задач — исследование феномена «советского человека», анализ того, что же собой представляла «социалистическая система». Исполнителями такого социального заказа можно счесть и Сорокина, своими средствами показывающего абсурдность, бесчеловечность и неприспособленность к реальной жизни тех мифологем, которыми порождены литературные стили «соцреалистических» повествований. И Пелевина, выворачивающего наизнанку миф о достижениях социализма.

Или, вот например, Малецкий — автор великолепного рассказа «Потихоньку-помножку...», опубликованного в третьем номере журнала «Согласие». Герой рассказа, современный интеллигент, человек из того слоя мыслящих или хотя бы рефлексирую-

щих по поводу нашего социального бытия людей, которые задолго до перестройки уже «все понимали» и для которых сегодняшний поворот от «социализма» к нормальной здоровой жизни был долгожданным. И вот такой человек впервые попадает в Европу, и, несмотря на свою подготовленность к тому, что ему предстоит увидеть, он потрясен. Причем не тем, что мог предполагать. Герой обнаруживает, кроме всего прочего, что он в гораздо большей степени «советский», чем думал раньше, что та «свободная европейская жизнь», образ которой во многом определял его оппозиционность, отнюдь не так уж близка и не так уж естественна для его душевного строя.

Или, скажем, интереснейший роман Александра Бородыни «Парадный мундир кисти Малевича» («Дружба народов», 1992. № 9). Чем-то этот роман напоминает повесть Пелевина. Фантастический мир советской Москвы в отдаленном будущем, когда уже давно минула эпоха социализма когда человечество достигло и технических и социальных высот; люди расселись на разных планетах в сверхкомфортабельных условиях, более того, они научились воскрешать своих покойников и создавать привычные для них условия существования. Земля, в частности Москва, превращена в этом мире в своеобразный заповедник, где живут люди прежней социалистической закваски, не сумевшие приспособиться к новой жизни. Бородыня создал образ гротескный, почти оруэлловский по сущности «советского» и «тоталитарного». Главный герой — бывший работник ОГПУ — в новой своей жизни занимается прежним ремеслом — сыском, арестами, пытками, расспросами.

Социологическая схема «общественной миссии литературы» позволила бы критику слепить из нескольких новых действительно талантливых произведений образ «литературного процесса на современном этапе». Но тогда мы имели бы дело не с Литературой, а чем-то другим, относящимся к публицистике или социальной педагогике.

А перед нами именно ЛИТЕРАТУРА. И, вникая в тот же роман Бородыни или рассказ Малецкого, внимательный читатель обнаружит, что содержание их отнюдь не исчерпывается социально психологической тематикой. Что Бородыня, смоделировав в своем романе мечту Федорова о воскрешении усопших, пытается разобраться в проблемах метафизических, в том, чем и как крепится человек к своему времени и что в нем сущностное. Той же работой занят и Малецкий.

Для настоящих писателей жизнь социума оказывается все тем же материалом, но отнюдь не основным содержанием их работы. Они пытаются разобраться не в составных сегодняшней ситуации, а в том вечном и коренном, что проявляет эта ситуация в человеке.

Сегодня теряют значение не только привычные способы осмысления текущей литературы, но и некоторые формы организации литературной жизни. Одно из проявлений этого — размывание еще недавно четких «направлений» различных журналов, что особенно заметно на новых, рожденных нынешней общественной и литературной ситуацией изданиях. Очень трудно определить характер, например, журнала «Согласие» с помощью привычной оппозиции «демократический — почвенный». За кого выступает «Согласие»? Да ни за кого. За литературу.

Или вот еще журнал, до последнего времени как бы державшийся в тени, — «Лепта». По всем привычкам нашему читателю признакам — от оформления обложки до наличия в редколлегии некоторых имен — журнал этот должен быть «почвенным», однако «Лепта» представляет своему читателю творчество и Нины Саду, и Марины Палей, и Пьецуха, и стихи Кальпида; более того, в последнем номере появился специальный раздел, посвященный современной рок-культуре. И то, что еще вчера некоторым казалось самой агрессивной формой молодежной субкультуры, подрывающей устои и традиции, оказывается лишенным каких-либо «демонических» черт — обычная литературная работа, в чем-то интересная в чем-то и не очень. Скажем, творчество одного из самых известных, заслуженно известных, сегодня поэтов рок-культуры Алексея Дидурова, представленного поэмой «Кафе на Васильевском», никаких литературных традиций не разрушает.

Всякий рецензент знает чувство неловкости и стыда, когда ему приходится с помощью принятых в литературной журналистике формулировок определять содержание живого художественного произведения. Ведь формулировка, как бы она ни была растяжима, своей неизбежной ограниченностью обрубает все не вписавшиеся в нее смыслы художественного образа. Вот с таким чувством я приступаю к разговору о повести Веч. Казакевича «По ту сторону земли и неба» («Лепта», 1991, № 6).

Говорить об этой вещи трудно, и не потому, что она как-то уж очень сложно написана, напротив, может ввести в заблуждение внешняя простота и незатейливость, с которой течет повествование, грустное и смешное, легкое и при этом очень серьезное. Автор нигде не повышает голоса, ни на чем особенно не настаивает, просто рассказывает — и все.

У повести два эпиграфа, один из поселкового фольклора: «Не хочится ль вам пройтись там, где мельница крутится, где фонтаны шпенделяют, лепестричество горит?», второй — из «византийских легенд»: «...место ровное, славное и страшное». Вот в силовом поле, образованном этими двумя полярно заряженными фразами, и развивается повествование Казакевича. История жизни молодого человека из провинциального городка самая заурядная: родился, учился, получил в детстве смешное прозвище Щавлик да и сам он какой-то нелепый, под стать этому прозвищу, — влюбился, договорился о свидании, но по дороге к месту встречи услышал жалобные крики

козла, провалившегося в яму, полез помогать козлу, а выбраться наверх не смог, не дошел до своего счастья. И пошла его судьба с этого момента кривь и вкось — поступил в институт, начал слегка попивать, тосковал по дому, скучал, конспектируя в читалке труды основоположников из которых больше всего сочувствовал Энгельсу, «догадываясь, что тот втайне обижен: ведь учение назвали марксизмом-ленинизмом, упустив его фамилию». А потом случайно столкнулся с ректором в неподобающем виде («отмечали» окончание сессии) и вылетел из института, вылетел и из другого, вернулся в поселок, увидел свою школьную любовь, тоже вернувшуюся домой, беременной, одинокой, с быстро выцветающими надеждами на яркую красивую жизнь, и согласную на ту, которая есть, — на палатку для сдачи стеклотары, небрежные ласки случайных товароведов и экспедиторов.

Однако Щавлик еще пытается жить по-своему, он чувствует в себе силы на некое гениальное изобретение — «накопитель всемирной энергии, рассеянной вокруг нас». Его мучает «другая жизнь»: «Маленький мальчик уберал из дома, гонялся за огромной стрекозой и садился отдохнуть на пригорок. Вверху шли облака, и небу, наверное, снился сахар. Нескончаемые равнины смотрели на мальчика зелеными глазами. «Куда плывут тучи? О чем думают поля?» — загадывал он и обходился без отгадок, чувствуя, что он сам плывет по синему воздуху, что он сам поднимается травой и уходит за горизонт, что обступившие его шири и выси сладостнее вопросов и ответов». И эта другая жизнь никак не может вписаться в ту, что окружает его: «В конце дороги непременно стоял расхлябанный павильон автостанции. Рядом чугунной кувшинкой чернела одинокая урна. Ржавели жестяные лозунги на двухэтажных блочных домах. То лысый по случаю зимы, то с новой шевелюрой торчал тополь. А за дощатой будкой колода открывалась родная улица... «...в родном поселке, куда он так рвался, оказалось совершенно нечего делать. Абсолютно!» Пьет отец, болеет и умирает мать, все безнадежнее и отчужденнее становится школьная любовь, все безнадежнее и тупее заживает Щавлик, а истории случаются с ним все нелепее и нелепее. Повез в Москву свое открытие — путь этот кончился в милиции, совсем уж решил жениться на случайной подружке — пусть гулящей, но «доброй и веселой», как ее тоже в милицию забрали: половину поселка перезаразала. Не жизнь — а бесконечный провинциальный анекдот, и сам Щавлик, как в анекдоте — посмеиваясь и близко к сердцу не принимая — расходует отпущенное ему время и здоровье. Изобретение свое Щавлик доводит до конца, даже изготавливает опытную установку. Единственное испытание «накопителя всемирной энергии», проведенное им втайне от всех, производит действие, замеченное американским разведывательным спутником и вызывает появление в поселке бывшего сокурсника Щавлика, агента ЦРУ и соответственно, бывшего школьного товарища — работника госбезопасности. «Совсем dostaali», — вздыхает Щавлик, наблюдая «дуэль» двух сотрудников спецслужб. Не теряет Щавлик только своего обаяния, легкости, не теряет, выражаясь высоким слогом, души. И вот тут, уже в финале повести, появляется черт, торгующий душу Щавлика. Черт предрекает гибель всего окружающего от действия изобретенного Щавликом накопителя и в обмен на душу обещает предотвратить всемирную катастрофу. Одновременно Щавлик слышит шаги спускающегося на землю Бога, и с интересом ждет, чем же все это кончится и что он на самом-то деле изобрел.

Очень важен для понимания повести один ее эпизод — глава, где описывается школьный альбом одноклассницы Щавлика, заполненный текстами популярных песен и расхожих афоризмов. Глава эта — своеобразное социопсихологическое исследование интересов и запросов, всей суммы той расхожей мудрости, с которой рвется в жизнь новое поколение. Беспомощности инфантильности, щенячества этих изречений (что-нибудь вроде: «Что пожелать тебе? Не знаю. Ты только начинаешь жизнь. От всей души тебе желаю с хорошим мальчиком дружить...») можно было бы и умилиться, если бы не было так страшно от почти полной обреченности всей будущей жизни молодых людей на вот эту недоразвитость и бессмысленность. Но драматизм ситуации как бы заслонен будничностью, неспособностью жертв осознать происходящее. И так во всем.

В самом деле, отчего пьет Щавлик? Да ни от чего. Вопрос этот может быть задан извне, а в том мире, который изображает Казакевич, гораздо естественнее прозвучал бы другой: «А почему бы ему не пить?» Это такое место. «Не сидел?» — спрашивает у Щавлика случайный собутыльник, только что освободившийся из заключения. «И не собираюсь», — отвечает удивленный Щавлик и слышит в ответ не менее удивленное: «А кто собирается? Я тоже не собирался! А сколько живу, столько по зонам таскаюсь».

Вот еще одно произведение которое можно было бы зачислить по ведомству «исследований советской ментальности», но скорее уже не столько советской, сколько русской. Конечно, признаков советского здесь более чем достаточно: и разрушенный храм, на месте которого бывшая школьная любовь героя принимает у алкашей стеклотару, и ржавеющие лозунги, и сотрудник КГБ, и проч. Но все-таки главное в этой повести — ее прикреплённость к извечной традиции русской литературы, к вечной для нее теме, вечному мотиву — тихого, какого-то противоестественно естественного, будничного угасания жизни, погружения человека в оцепенелое, бессмысленное, полуритуальное существование, когда атрофируется даже инстинкт самосохранения, когда жизнь — один длинный и нелепый провинциальный анекдот. В Москву! В Москву! — заклинали судьбу героини Чехова. Щавлик там уже побывал, по-сидел в читалке под портретами бородатых основоположников, и понял, что нет вы-

какой разницы, столица, провинция ли. Может, где-то и есть другая, настоящая жизнь, но уж тогда, наверно, «по ту сторону земли и неба».

И все-таки почему так? — хочется спросить автора. Социальные условия? Окружающая действительность? А нипочему, усмехнется автор, место такое: «ровное, слабое и страшное». Все — в повести, думайте, читайте.

Такие пространные заметки по всем канонам должны завершаться неким обобщающим резюме. Но я делать этого не стану по причинам, уже изложенным...

А в качестве концовки напомню историю из недавнего прошлого. Когда-то Юрий Трифонов зашел в редакцию одного прогрессивного журнала, чтобы забрать отклоненные там рассказы, и услышал в качестве обоснования отказа: «Темы у вас, знаете ли, какие-то... Вечные».

Да. Вечные. Тем и жива литература.

## ИРИНА СЛЮСАРЕВА

\*

### ВХОЖДЕНИЕ В КРУГ

**И** ли одно время не породило столько анекдотов, как прибрежное. Понятен ли будет черный юмор этих анекдотов лет через десять? Да понятен ли он уже сейчас тем, кто не изучал в школе и институте книг «Малая земля» и «Возрождение», не слышал с детства, что учение Маркса всемерно, потому что верно? Ни секунды не верили мы в эти глупости — режим явно маразмизировал, стремительно терял убедительность, и восторги первых пятилеток было понять труднее, чем бесконечность вселенной, — но, однако, незыблемо ощущалось, что так будет всегда. Всегда будут висеть лозунги неизвестно кого убеждающие в том, что все у нас для блага человека («и чукча знает этого человека», комментировал ситуацию один из тех анекдотов), вовек не разомкнут рук монструозные мухинские рабочий и колхозница.

Прошлое это, прямо по Розанову, слияло в два счета. И осталось в душах возвращенных временем людей. Диссидентами были далеко не все из них. Да влияние диссидентского движения преувеличивать и не стоит — оно, к сожалению, довольно эффективно глушилось уже на уровне крупных провинциальных городов. И, конечно, лишь немногие могли и хотели делать аппаратные карьеры. Большинство, как водится, ждало обычной жизнью.

По-видимому, есть закономерность в том, что проза, осмысливающая именно такой, обычный тип поведения, — Александр Верников, Андрей Воронцов, Леонид Костюков, Александр Мелихов, Виталий Москаленко, Михаил Новиков, Валерий Пискунов, Владимир Яницкий — как-то застряла, зависла на полпути к читателю. Вначале с шумом и блистанием рванулась литература спецхрана, андеграунда, всяческая «чернуха». В этих явлениях, при всей их очевидной разности, одно качество общее: экстремальность — эстетическая, содержательная, наконец, просто способа выхода к аудитории.

Но вот в нашей словесности, где все перевернулось и только начинает укладываться, постепенно обнаруживается некий срединный слой. Всмотреться в него не есть акт только критической инвентаризации. Скорее всего это часть общего вступления в права владения, процесс, чреватый неясными пока потенциальными будущего.

Прежде всего, срединная не значит заурядная — скорее чуждая крайностей. Например, далекая от установок авангарда. Неплохая новость для любителя словесности, изнуренного постмодернистскими, концептуалистскими и прочими текстами. Сами по себе последние не обязательно плохи, напротив, среди них встречаются очень сильные. Прискучило скорее присущее большинству из них стремление к так называемому поиску новых форм, которое сто лет назад занимало и пишущих и читающих (статья Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» датирована 1893 годом). Но еще тогда героиня чеховской пьесы, Нина Заречная, урезонивала Треллева, считавшего, что надо «изображать жизнь не такую, как она есть», простым доводом: «В вашей пьесе мало действия, одна только читка. И в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь».

Вершина русского андеграунда, потрясающе смешная и предельно трагичная поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки», новая по языку, топике, теме, героям, строится на сплошном диалоге с классикой, смеем думать, не случайно.

Формальные открытия авангардов русской прозой усвоены. Само по себе и следование традиции, и ее преодоление сейчас мало что значат. Имеет смысл скорее преодоление инерции «готовых» стилей.

Стилевую ориентацию прозы Михаила Новикова, автора книги «Столичные штучки, или Школа одиночества» (М. «Молодая гвардия». 1990), формулирует автор послесловия к ней, В. Суриков, заметивший, что писатель «пытается остаться свободным от моднейших влияний».

Стремление к самостоятельности воплощается в языке точном и изящном, не закупоренном избыточными метафорами, во владении интонацией, в соблюдении естественной пропорции между «верхом» и «низом», в том, что один предмет имеет ровно

один эпитет. Есть и любовь, и действие, причем развивается оно последовательно и вразумительно. Жизнь как она есть? Вместе с тем признание автора в подверженности литературным влияниям Достоевского и Обэриутов не кажется натяжкой. Сюжеты, хоть и жизнеподобные, строятся примерно так: выпускник средней школы, растерявшись перед собственным настоящим, принимает большую дозу снотворного, падает в реку с мотоцикла, остается цел, обосновывается в маленьком городке и мечтает жениться на иностранке («Танцмейстер»); юноше, живущему у канала, не нравится затейная реставрация шлюза — он проникает в аппаратную, открывает створки, и тридцатиметровая волна затопляет округу, среди прочего поселок строителей («Река воды живой»); молодой москвич знакомится с приезжей из Ростова, которая, покидая его квартиру, в то же утро погибает в автомобильной катастрофе («Центр мишени»), и так далее.

В принципе ничего невозможного, разве что на каждом рассказанном случае лежит легкий налет странности, но постепенно странности множатся, скапливаются и стучатся... ну, не в последовательно абсурдистскую обстановку, поскольку автор имеет про запас правдоподобные мотивировки, но в образ реальности зыбкой, на переходе в мираж. Мир детерминированный, но все равно несущий в себе чуточку странности — ровно столько, чтобы поставить целое под вопрос верней, чем самые отчаянные измышления, — их-то проще признать заведомо ложными.

Топография явно московская, часто даже с конкретной привязкой, например к «всотеке» на Котельнической набережной, но в то же время какая-то несерьезная, где присутствуют микрорайоны Разогреево и Заблудное, Гулливерово и Отвальное. А действующих лиц зовут: Сталин Максимилианович и Лола Либкнехтовна (Лола, заметим, есть сокращенная форма имени Долорес — ну, конечно, сразу вспоминается пламенная Ибаррури).

Люди с густо тоталитарными именами появляются в рассказе «Фидлер». Но прежде всего примечателен в нем сам главный герой, человек-символ, своего рода универсал неучастия: не работает, семьи не имеет, никогда ни о чем, по собственному признанию, не думает, ничего не добивается, ничего не хочет, ни в чем не нуждается. Рассказ даже начинается со сцены разрыва между ним и единственной близкой ему женщиной. Материально Фидлер устроен так, что в заработке не заинтересован, продает наследственный антиквариат, выручки от которого хватит в обрез, зато до конца жизни. Не обременен, стало быть, ни богатством, ни нищетой. Готовит и стирает, конечно, сам. Словом, «замкнут, как неодушевленный предмет, как камень, валуи...». И имеет жизненную установку на отрицание: ведь всякое действие влечет за собой следующее, а отрицание рвет эту цепь в самом начале.

«— Не хочешь ли ты сказать, что ничем не связан? — спрашивает его возлюбленная. — Ведь это же не так.

— Разумеется, нет».

Не нужно, даже не экономно углубляться в основы строения деспотического государства, воспроизводить зажигательные лозунги, вообще конкретику социума — на выходе сразу дается реакция на это общество.

Кстати, Лея задает не один вопрос, а сразу два взаимоисключающих, Фидлер же эту путаницу усугубляет, одновременно отрицает и что ничем не связан, и что это не так. Так ведь и ситуация двойственная. Уйти из жизни духовно, оставаясь в ней физически, не получается, как не получается, с другой стороны, сама жизнь.

Эксперимент поставлен чисто, и показал неполное прилегание действительности к человеку. Примерно то же — у других персонажей, в других рассказах. «Людьми поздней осени» называет таких автор. «Как-то все не могу выбрать себе жизнь», — констатируют они. И действительно, все время находятся в состоянии между браком и разводом, между увлечением и равнодушием, не умея впасть даже в легко достижимые крайности, испепеляя себя или, наоборот, погружаясь в земные удовольствия.

Тут определенности нет ни в чем. Герой, если уж свалился с моста, то так и пребывает зависшим в воздухе: «От вершины дуги до воды метров тридцать. Разбиваются и при падениях с гораздо меньшей высоты. Но бывает и наоборот. Рудаков умел прыгать в воду, кроме того, человек он довольно удачливый» («Подружка Рита»). Автор, оставив бедного Рудакова в таком неестественном положении, уже заговорил на совсем другие темы. А потребуете у него сведений об участии невольного самоубийцы понастойчивее — наверняка откажется: какая, мол, разница. Последний довод, безусловно, излюбленный, самый распространенный среди «фидлерянцев».

В прозе Михаила Новикова, несмотря на ее стиливое излишество, своего рода акварельность, строится жесткий мир: внутри него заведомо бессмысленны любые данности, подлинности нет ни в работе, ни в любви, ни тем более в деньгах. Один персонаж советует другому для обретения цели существования завести собаку или заняться индийской философией. Опять-таки, какая разница, что делать: все равно получится проживание не сущности, а ритуала. Неожиданный вариант ответа на коренной вопрос русской действительности.

Любовь к животным и путь самопознания не совпадают где-то в иной модели существования, там, где есть иерархия ценностей, где ясен надличный смысл.

Где же?

Вот герой, подчиняясь неясному порыву, выходит из троллейбуса и оказывается в незнакомой окраинной местности: «Я знал, что в том, что я стою у бровки, над водосток, и ветер наклонил самые верхние листы лип, но быстро позволил им выпрямиться, есть смысл. «Ну, стой, дождайся ж его!» — приказал я себе».

Вот теперь уже сам автор, замечая в коротком предисловии, что Москва перестала быть практически пригодным для жизни городом, перебивает сам себя — важнее «другое: то именно, что до нынешних времен дожили люди, которые видели и помнят старомосковскую гармонию. Важно, что мы застали их». Смысла, состава этой гармонии не расшифровывает, оставляя своим мечущимся персонажам, похоже, единственный шанс на цельность — упорное нежелание признать действительное разумным.

Рефлексия лишних людей, сумерки несвободы... Это единственная данность и для действующих лиц книги Александра Верникова «Дом на ветру» (Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство, 1991). Но не устройство Системы, не социальные реакции человека рассматриваются в ней. Напротив, предметная, объективная среда здесь сразу же выявляет свою условность. В прозе Михаила Новикова — фантазмагория; мираж, в «Доме на ветру» скорее логика сна, бесплотного и вязкого одновременно, лишнего «дневных» связей, но по-своему последовательного. Расположение пространства и времени. В этой пропадющей реальности герой (всегда, как «люди поздней осени», одиночка) стремится обнаружить что-нибудь постоянное; «отстаивание личной судьбы — вовсе не как результат горячего желания или акт непреклонной воли — а как обязанность, возложенная на него свыше, оказалось его главной заботой».

Едва ли не прежде всего обнаруживается существование смерти. Причем чаще не «путем обычной жизни» (М. Новиков), не вслед за обыденной логикой обстоятельств — допустим, умер кто-то близкий, а в чистом виде, как экзистенциальная данность. Старший сержант Фролов, вернувшийся с афганской войны, как главную ценность, полученную там, несет знание, что он «будет уже не с пустыми руками, он вступит в круг студентов с тем, чего у него во сравнении с ними больше всего — со смертью не достигших двадцатилетия, — чтобы они знали!» Сюжет вещи под названием «Как в игрушечной комнате...» весь построен на игре со смертью: человек ждет ее, даже ищет, и тем самым избегает гибели. Герой рассказа «Пустыня Тартари», анализируя одноименный фильм (собственно, наоборот, рассказ назван по киноленте), замечает в нем важную, основополагающую особенность: в фильме нет женщин. Обитателям крепости заменяет их пустыня, от нее они ждут ответа и плодоношения — «пусть плоды эти будут заряжены смертью». Офицер, которого играет Макс фон Зюдорфф, стреляется не потому, что разуверился, а лишь с целью поддержать страсть в своих товарищах. Она, несомненно, останется безответной, и лишь в этом залог подлинности чувства, потому что «только неизменное, безответное, не делающее отличий ни для кого, может так прочно держать человека».

Завероченность смертью сильна оттого, пожалуй, что последняя обладает несомненной неизменностью, прочностью, она не проходит. Неизменность, впрочем, как бы отслаивается от содержательных сущностей и является ценностью сама по себе. И если в рассказе «Дозорный на границе» солдат бросает вначале невесту, потом жену лишь для того, чтобы вернуться на горную заставу, то именно по той причине, что семья, быт, человеческие отношения изменчивы, а горы — всегда нечто постоянное, существующее вне и независимо.

Кстати, в прозе Верникова действуют чаще всего солдат, студент, ребенок — существа, не создающие быта (ребенок существует в быте, созданном другими), лишённые оболочек изменчивости, оставленные лицом к лицу с голой сутью.

Смерть как бы окончательно подтверждает подлинность, реальность жизни. А для последней характерна другая постоянная — дом. Он существует в двух вариантах. Первый — «дом на ветру», дом-мир, всему и всем открытый, одновременно степь, кладбище, пристань, ночлежка, кафе, лавка, музей, «где ничто не делалось по воле хозяйки». Второй, условно назовем его «дом не выше дерева», сам себе цель и до малейшей мелочи обустроен как раз женщиной. Но оба варианта совпадают по сути, отличаясь лишь в размерах, — значимость же дома неподвижна и постоянна.

Ну, вот. Существуют жизнь, смерть, дом — но что значит констатация этих фактов, очевидность которых вроде бы доказывать не приходится?

Студент (да, опять студент) из рассказа «Не будите спящую собаку, или Где вы, доктор Юнг?» пытается объяснить совершенный им поступок, точнее, преступление, «особым характером нашего времени с его отсутствием событийного пространства и исчезновением событийности как таковой, с его неудержимым и пагубным, дошедшим до предела антропоцентризмом...» — слышите? вот сейчас он выговорит наконец заветную фразу о типических характерах в типических обстоятельствах. Но произносит нечто совсем иное: «...и действительной судьбы». Вот так. Получите, доктор Юнг. Как ни выпаривайте из индивида общее социальное, типическое, психологическое, бессознательное, а под конец уже и коллективное бессознательное, в остатке все равно будет нечто частное — жизнь, дом, смерть, — одним словом, судьба. По представлениям древних греков, ее в индивидуальном порядке изготавливают любому человеку три мойры — Клото, Лахесис и Атропос — и отменить их решения не в компетенции даже всемогущих богов Олимпа.

После чего мы застаем вечно сурового верниковского персонажа за странным занятием: он разглядывает ветку. Смотрит на нее, прикидывает, можно ли по ней выбраться из окна наружу и, не успев еще пройти по коридору двух шагов, слышит страшный треск и удар: с крыши сорвалась, подтаяв, огромная льдина и в падении начисто срезала срубилла только что живую ветку. Тут повествователь испытывает состояние обретенной: «...вдруг — увидел, понял — все!.. Всего уж дождался, все получил... успел — явился как раз вовремя, чтобы заметить жизнь ветки, на мгновение, пусть мысленно, связать с ней свою жизнь, предать эту жизнь на прочность ветки и за-

стать момент ее гибели. За этим только и забрался сюда. Так я думаю и иначе помыслить не могу, не желаю. Так я вижу и понимаю, и только так хочу видеть и понимать».

Не вспоминается ли вам здесь задумчивый новиковский пешеход, любующийся листьями лип и дожидаящийся, когда ему откроется смысла симпатичного пейзажа? И что, собственно, они видят и понимают, глядя на все эти ветки, «полные цветов и листьев»? Полагаю, что им открывается провиденциальная воля, некий надличный смысл, словом, — возможность гармонии человека и мира.

Сейчас к этим двум созерцателям присоединится еще один, Сева Крепкоскул из повести В. Пискунова «Исключительная мера» (Валерий Пискунов. «Голуби в чемодане». Ростов-на-Дону. Ростовское книжное издательство. 1990).

«Сева остановился в переулке. Возле толстого, тяжело уходящего в ночное небо дерева, Сева постучал по стволу ногой. „Это внизу, вначале тяжело, — сказал Сева дереву. — А там, где листья, там легко“».

Дерево представляет собой образ вселенной, но не только. Еще оно подобно человеку и наглядно демонстрирует дуализм людской природы: низ — в земле, крона — в небе. Без корней не прожить, это ясно, но каким образом осуществляется их перерастание в высоту? В качестве ответа на этот вопрос у Севы возникает другая метафора, идея жизненного круга. Главное в круге — центр, необходимый для того, чтобы остальные точки располагались относительно него в нужном, правильном порядке. Если центр имеет жизнь человека, тогда все жизненные обстоятельства, все связи с другими размещаются так, как надо.

Сева выбрал центр неправильно. Уходя от насилия, которым была полна его жизнь, к насилию он и вернулся.

Но речь не об этом, речь о выборе круга существования. Раньше всего приходит мысль о том, что идеальный жизненный круг — это семья, родство и свойство. «И Дима представился себе... каким-то кустистым растением, напитавшимся и вросшим своими симпатиями в громадный, веками наслоившийся людской кряж, в котором он был с в о и м, а потом, как тот дубовый листок, оторвался... Не с в о б о д н ы м он хочет быть, а с в о и м. Потому его и привлекли свободные, что он не представлял свободы без принадлежности какому-то кряжу, укладу, — он смотрел на свободных, как бездомный в освещенное окошко... Ты думаешь, уверенность тебе дают твои личные достоинства? — шипи. Ты бы и не знал, что они достоинства, если бы они не считались таковыми в твоём кряже».

Это звучит тема уже из сборника Александра Мелихова («Провинциал». Ленинград. «Советский писатель», 1986).

В процессе встраивания в чужой круг провинциал Дима из рассказа, по которому названа вся книжка, испытывает постоянные толчки жизни, уколы самолюбия, словом, истинный мильон терзаний от всяких пустяков. Борьба невеликого масштаба, а изматывает всерьез. В незнакомом мире любая мелочь мучительна: неумение пользоваться таксофоном или компостером, боязнь показаться от неуверенности либо скванным мещанином, либо развязным хамом. Стыдно даже открыто взглянуть на схему метро, ища нужный маршрут, — взгляд сразу выдает чужака. Препятствия на каждом шагу, допекают неизвестные детали не своего быта: «...вам же сказали — на «семерке» доедете до «Щорса». А что такое «семерка» — автобус или трамвай, и что значит «Щорса» — улица или сквер... А в какую сторону ехать на «семерке», если даже это трамвай? Пытаешься прочесть на табличке на трамвайном боку, там указаны начало и конец маршрута, и читаешь: РКЗ — ОМЛТУ».

У Димы есть свой, изначальный круг, данный от рождения. Но нужен — чужой, хотя как ни старайся преодолеть его отчужденность, нет гарантии того, что чаемое вхождение состоится. Очевидно, в том, из которого он так хочет уйти, недостает чего-то важного, очень существенного — может быть, тоже неправильный центр?

У Валерия Пискунова и Александра Мелихова несхожие стилистики. Пискунов работает в резко субъективной манере, которую не назовешь иначе как поэтической — настолько неожиданно его видение предметов, ассоциативные ходы. Что удивительно, у такого способа изображения оказываются неожиданно сильные аналитические возможности. Именно так удается поймать, зацепить единичность отзвука человеческой души на внешние явления.

У Мелихова — точность психологического письма, оптика резкой наводки на предмет, своеобразная интонация — умной, жесткой и одновременно понимающей усмешки.

Но «смещение» они диагностируют сходно.

«Сева и его дружки не могли подняться над окружившим их миром... и поэтому ближайшей целью было насилие» — это Пискунов.

Мелиховский Дима стремится к такой жизни, «где нет красных лиц, некрасивых поз, интонаций, движений, гримас, где женщины не задирают ног, залезая в поезд, — или хотя бы не делают этого с такой охотой... Там страдающая женщина не станет сидеть в неприбранной комнате... даже в горе — вернее, в горе тем более — она не сядет, навалившись на стол так, что лифчик врежется в подмышки или свесит нечесаную голову между растопыренными коленями... Небось у нее не распухнет нос от рыданий. И не потому, что она и в горе продолжает беспокоиться о том, чтобы выгладеть очаровательной, — просто это такой мир. В нем сохранение достоинства не требует усилий — оно срослось с людьми».

Вот он, отсутствующий или смещенный центр — свободное достоинство личности.

Напрасно, однако, считает провинциал Дима, что правильность «круга» в полной



мере обеспечивается средой или местом проживания. Разница в уровне общения — да, есть. И только.

«Столичные штучки» не самогонку пьют на досуге, как деревенская Димина родня, а смотрят фильмы Дзурлини или читают Блаватскую. Дима, непрерывно повышающий свой культурный уровень, умеющий сразить случайного собеседника репликой о Мондриане, с собственными родителями не стал бы вести беседы об абстрактной живописи или древнерусской архитектуре. С этими — подобные разговоры были бы интересны. Да «провинциалу» небось и не по зубам так тонко интерпретировать «Пустыню Тартари», как удаётся это верниковскому герою.

Но в «Доме на ветру» проходят школу одиночества. Не компенсируется ли эта недостача у персонажа «низового», «массового», сроду не задумывавшегося о самоосуществлении, тем, что вместо персоналистских радостей у него есть «кряж», приобщённость к укладу, пусть косному, зато прочному, слежавшемуся во времени? Вопрос восходит к моменту встречи Пьера Безухова и Платона Каратаева.

Часть «деревенской» литературы решала его скорее в положительном смысле — для того, чтобы увидеть это, достаточно перечитать «Кануны». Но уже у Шукшина опорная для Василия Белова идея изначального лада «роевого» существования вызывала сомнение: «...что, был в этом и в их жизни какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили... Или — не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали».

Маргинальный меликовский провинциал пробивается к культуре, олицетворяемой для него большим городом. Из провинции Виталия Москаленко почти никто куда-то не уезжает. Разве что попытается закончить, например, пединститут, с тем чтобы вернуться преподавать в школе — идти по стопам отца, настоящего русского интеллигента, нести в массы просвещение («Сапончик»). Или реализует природные художественские наклонности вдали, в ансамбле песни и пляски областного масштаба и время от времени ностальгически задаётся вопросом, «почему костерки теперь на берегу той Медведицы кажутся дорожке всего на свете...» («Базар-вокзал»).

Все равно получается, что создается какая-никакая культура где-то далеко в столицах и в массы привносится извне: воспроизводства изнутри отчего-то не возникает.

Книга В. Москаленко программно называется «Райцентр» (М. «Советский писатель». 1988) — это сборник рассказов, объединенных единством места — оно-то в заголовке и обозначено. Райцентр устроен просто — зеленый и пыльный городок прорезан длинной улицей под названием Народная, по соседству крупный цементный завод. Вот и вся топография. Таков и есть этот несомненный центр всей обширной окружающей местности, маленькая полноправная модель бескрайней российской провинции.

Оставшиеся здесь живут просто — работают да детей рожают. Те, кому этого мало, ищут занятий по интересам. Ну, конечно, не Антониони, не хатха-йога, в райцентре возможности посромнее: любительский спектакль в клубе, пришкольный технический кружок. Все сомнительного какого-то уровня. Конечно, Гена-танцор из сибирского ансамбля песни и пляски тоже, может быть, не Вацлав Нижинский, но все-таки профессионал. Райцентровский же народный театр, будни которого не без яду и какой-то печали изображены в рассказе «Банкетик среди стада», откровенно удручает.

Впрочем, в «Диком пляже» видим еще и другое — помидоры, яйца, сало, разложенные на газетке. Водка. Жара. Скука. От жары, водки и скуки все равно, что с тридцатиметровой высоты в обмелевшую реку будут заставлять прыгать человека.

Сюжет почти как в «Постороннем» Камю, но на самом деле все непохоже: там автоматизм обездушенного цивилизацией человека, здесь — неизбывная российская дурь и дикость.

«Дикий пляж» был экранизирован и не так давно прошел по телевидению. Показалось, что фильм значительно жиже литературного источника: авторы погнались за «чернухой-клубничкой», выдумали неправдоподобное групповое изнасилование. В книге все проще, будничнее и оттого сильнее — правдивее. Собравшиеся у воды люди никакие не звери, не подонки — нормальные парни. Володя — лучший из них, не только потому, что хорош собой. Он симпатичный, мужественный, защищает и подкармливает слабоумного Фило; а то, что он же и велит юродивому прыгать в воду, так это просто чтобы развлечься. Возможная гибель старика почти всех в компании пугает исключительно ввиду уголовной ответственности. А если б знать точно, что не притянут, не посадят — пусть прыгает. Пусть убийство совершается.

Оно и произойдет. В другой, тоже не столичной местности муж убивает свою жену (Владимир Яницкий. Рассказы. «Волга», 1989, № 10). Все случается абсолютно просто, естественно. Убийца, Гришин, всю жизнь работал в леспромхозе, имел супругу и четырех детей, дом, баню, огород. Выпивал, но всегда со спутницей жизни, она же могла «поддать и одна и с кем-нибудь еще». Однажды по пути с работы домой Гришин встретил мастера из соседнего цеха, тот посоветовал забрать подругу сердца. На указанном месте Гришин и увидел ее, «совершенно голую, мужика верхом на ней и людей рядом...».

«...Гришин бил ее — никого почти не осталось, бил и бил. Она валялась, он бил ногами, обутыми в сапоги, по коленям, по грязным, измазанным отправлениями бедрам, бил, как приходилось ударить, в грудь, в пах, в ненавистное место, но больше по бокам, по почкам: так лучше попадал».

Избитая женщина умерла в больнице. От ее смерти муж не ощутил ни боли, ни вины, ни удовлетворения и, попав в места заключения, жалеет только о том, что неаль-

зя поменять режим с усиленного на строгий. «На усиленном теперь он таскает на стройке носилки с кирпичами, построят цех, начнет работать в цехе слесарем, а это ему совсем не нравится, никогда этим не занимался и не собирался заниматься, если бы не срок, не неволя. А вот на строгом для Гришина, как на свободе — в лесу на валке с бензопилой в руках, — в лесу работают только строгачи, усиленные — на заводе, и жизнь бы его, счастливая вполне, только лишь холостая, могла продолжиться».

В каком-то смысле Яницкий, ужесточая, доводит до предела тот диссонанс, который в спокойном существовании «райцентра» только намечался.

Голос глагольное письмо, минимум эпитетов. Автор не оценивает и не комментирует, он только повествователь, почти документалист. Работает как будто один ритм — но зато какой: нервный, гибкий, высокого класса точности. Художественное воздействие при этом достигает поразительной силы: сцена избения гвоздем каким-то заседает в сознании и побуждает, требует понять, найти точную оценку.

М. Липовецкий, причисляя Владимира Яницкого к представителям «жесткого» рассказа, считает, что анализ массового сознания приводит писателя к эстетическому оправданию описываемого (имеется в виду статья «Кромешный мир», вошедшая в состав книги критика «Свободы черная работа». Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство, 1991).

Позволю себе не согласиться. То, как выглядит здесь представительница прекрасного пола — «баба валялась опрокинутым из кастрюли вывалившимся тестом, голая, с руками и ногами, выброшенными в разные стороны... безобразная скотина», измазанная собственными нечистотами — симптом грозный. У Мелихова женщина — опустившаяся неряха, махнувшая на себя рукой от заезженности бытом. Но, оставив всякое попечение о себе, она служит семье, стало быть, отстаивает некую величную ценность. В прозе же Яницкого она не знает не то что долга, а уж самых последних нравственных заповедей. Избитая, изуродованная, являющаяся несомненно страдательной стороной, она в то же время отталкивающе безобразна, и источник этого безобразия внутри нее самой. Явный, если хотите, эстетический тоже, признак аномальности существования, рождающего т а к о е.

В этих вот пределах шла и идет наша обычная жизнь, описываемая срединной литературой.

Одни хотят наглухо закрыться, спрятаться от социума; другие, наоборот, только и мечтают о вращении в жизнь, правда, чужую. Всяк не на своем месте. А тот, кто счастья не ищет, уж не потому ли так спокоен, что даже не подозревает: другая жизнь не просто есть — обязана быть.

Неожиданно получается, что пределы описываемого широки, вовлекают в поле зрения целые социальные слои.

Происходит это, рискуем предположить, по той причине, что авторы, о которых идет речь, не стремятся быть в неприменной оппозиции к идеологическим или художественным данностям недавнего прошлого. Не гонясь за публицистической остротой, не пытаясь доказать, что так жить нельзя — нынче кто ж этого не понимает? — они заняты исконным делом литературы, «диалектикой души». Не ставя перед собой задачи противостоять традиционной словесности, оказываются несхожими по голосам и стилям: артистическая точность Новикова ничем не напоминает зыбкого, разветвленного, дряхлеющего синтаксиса Верникова; парадоксально свежее видение Пискунова резко отличается от снайперски скупой интонации Яницкого.

Они хотят быть собой и делать свое.

По замечанию А. Гинзбург, парадокс литературы заключается в том, что, говоря о личном, она тем самым становится общезначимой. Похоже, здесь у прозы — не будем говорить: у этой, выразимся осторожнее — такого типа, в отличие от анекдотов брежневской поры, есть шанс на выживание.

Простой констатации того факта, что у нас появилось несколько интересных и разных писателей, как будто бы достаточно.

Но напоследок еще одно. Срединная проза, чураясь внеположного искусству резонерства, избегает, в отличие от простодушной «чернухи», и крайностей отказа от художественного преобразования действительности. Может быть, такая сбалансированность удается оттого, что эту литературу питает скрытая уверенность в возможности иного существования — с иерархией ценностей, с надличным смыслом. Словом, в том, что есть и может быть построен круг с правильным центром.

Его строение, думается, исчерпывающе определено словами замечательного русского писателя Михаила Кузмина:

«Твердая вера, неизменный обряд, стройность быта и посреди этого живое земное дело — вот осязаемый идеал жизни и счастья».

Литература и искусство

УЖАС И УЮТ

Согласие. Литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1992, № 3.

Разумеется, разбор именно этой журнальной книжки «Согласия» обусловлен помещенными в ней конкретными произведениями, в частности повестью Ю. Малецкого «Потихоньку-понемножку...» и романом А. Просекина «Выродок». Но не только. Журнал достоин специального разговора. Попробуем совместить то и другое. Это возможно, во-первых, потому, что мартовская книжка «Согласия» очень цельна и картина мира, намечаемая у Малецкого и Просекина, подкреплена в ней другими авторами, при всей кажущейся пестроте подбора. Во-вторых, эта картина мира (может быть, все же картина души) создается в «Согласии» на протяжении всей жизни журнала, короткой, но явно отмеченной присутствием остронаправленного вкуса и подчеркнутой избирательности. В-третьих, картина души — часть общей картины нашей жизни: душа здесь ведет мучительный диалог с миром. Стало быть, все три моих довода, в сущности, означают одно: надо прочесть авторов в контексте и журнальной книжки и журнала как целого. Задача, не лишенная пикантности в ситуации, когда сыплются и контексты и журналы.

Самое выразительное — тираж, обозначенный в выходных данных, 5 тысяч. Толстый ежемесячный журнал со всеми традиционными разделами: с поэзией и прозой, причем не только русской, но и зарубежной, с критикой и публицистикой, и даже с приложением «Прочтите детям», — и 5 тысяч. Слово это какая-нибудь редкость, для узкого круга, для своих, посвященных.

Не решился я с самого начала отрецензировать для примера лишь один, последний номер «Согласия» — проверил бы и по другим номерам. И убедился бы — в том же самом. Хотя цифры на других номерах — «доотпускные». То есть до отпуска цен. Поначалу было 50 тысяч. Потом, по удешевлению стоимости бумаги и прочего, вдешевело усох и тираж. Но это ведь всех коснулось. Общий паралич. А все-таки: что за предприятие — 50 тысяч толстого журнала в России! В обстановке, когда паралич культуры прогрессирует.

Словом, Вацлав Михальский, употребивший средства фонда «Милосердие» на учреждение нового толстого журнала в ситуации, когда и старые-то оказались на грани банкротства, причем литературные пифии прочат скорую гибель самому этому типично русскому роду издательской

деятельности — толстому журналу, — Михальский поступил, конечно, как типичный русский идеалист. Я могу назвать, кажется, только «Лепту» — еще один новый журнал, созданный недавно посреди распада традиционной литературной прессы. Посмотрим, как эти смельчаки выживут. «Согласие» держится второй год.

Концепция журнала, обозначенная «сверху» (с обложки) названием лозунгово бесспорным и ясным, «снизу» (то есть от материала) подкрепляется тяжелым и рискованным выбором. Отобрать лучшее, качественное, высокой литературной пробы — и противопоставить черному, серому, желтому, да хоть розовому и голубому, если брать весь поток современной рыночной «пеструхи». Выстроить «павильон культуры» посреди базара словесности, валом валящей в рынок. «Помните, в «какатопии» Дж. Оруэлла герои любуются крошечным домиком внутри стеклянного шарика, мечтая оказаться там?» — напоминает Алла Марченко, постоянный комментатор, зам главного редактора и, как я понимаю, главный литературный рулевой «Согласия». Домик в шарике. Крутом — хаос, шарики заходят за ролики, а тут — взять и выстроить. Сделать вещь. Отформовать, сформировать, сформулировать. А крутом — бесформие. Дать ясную краску, четкую линию, совершенный объем. А крутом — смесь и путанина, дрызг и дрызг, серое равнодействие.

Юрий Малецкий, описывающий чувства «подсоветского человека, впервые спущенного с цепи», то есть попавшего за границу, говорит, что потрясает этого человека на Западе — прежде всего «промытость, отчетливость каждой вещи, каждого здания, лужайки или пространственной пустоты». Сама четкость: «Вид стен, крыш, асфальта, неба, чьи цвета существуют в чистой реальности». Чему это противостоит? Тому чумазовато-сизому, что пропихивает дворы, подъезды, небеса, леса, и поля, и реки — всю страну — от Кушки до Камчатки, от Бреста до Батуми и вяжет ее в то сложно-мутное псевдоединство, которое художники зовут фузой и которое представляет собой живописно-пластический эквивалент Советского Союза. Союза нет — фуза осталась.

Повесть Ю. Малецкого «Потихоньку-понемножку...» — одна из двух современных русских повестей номера, своеобразный пу-

тевой дневник нашего первовыездного (выехал — и крутится как ошпаренный: потрагивать валюту, не продешевить, всем привезти, все успеть, закон обойти и чтоб на обратной таможне не обобрали...). Контакт нашего шныряющего «безбилетника» с зарубежными «топосами» символизирован фамилией героя — Рамзайцев. Здесь же видна и манера литературная: быстрая, игривая, полная юмора, то есть горечи, вывернутой в смех.

По обязанности рецензента перечислю и других авторов.

Еще одна русская повесть в третьей книжке «Согласия» (сказано «роман», но по жанру все-таки скорее повесть) — «Выходок» Александра Просекина. Про диссидента из сибирского университета. Герой — исключенный, сосланный, изведенный властями. Написано так же щегольски, но совершенно в другом духе: с паузами, недоговоренностями, с мелодическими кодами. Малецкий как бы бьет четку, а в результате — похоронный марш. Просекин наоборот: заводит похоронный марш (герой умирает в начале повествования, остальное — ретроспекция), а воскрещается — яростная борьба за свое достоинство, судорожные попытки сопротивления, бунташная отчаянная четка.

Отметил бы сибирский окрас. Томск, Сибирь. Кроветворная глубь державы.

Далее в номере две вещи исторические. Воспоминания князя Сергея Щербатова «Художник в ушедшей России» (Серов, Врубель — поразительные подробности). И — повесть Бориса Горзева «Бобрищев-Пушкин 1-й»: тонкостилизованный, с отзвуком «безумства» этюд о том, имеет ли право заговорщик запереться на следствии, если те, кому давал он слово чести, сами раскололись. Диссидентский аспект возникающих отсюда аллюзий (мостик от декабристов к «выродку»), надеюсь, ясен, а саму головоломку Горзев решает так: «Чистой совести довольно, чтоб умереть; но жить нельзя без достоинства».

Не отвлекаясь на анализ этой хитрой формулы, пройду до конца по оглавлению номера. В зарубежном отделе «Согласия» — знаменитый Клайв Стейплс Льюис, чей роман «Мерзейшая мощь» лет десять назад ходил по рукам в неизданном переводе Натальи Трауберг; теперь эта вещь публикуется с кратким комментарием Аллы Марченко.

Два поэтических «куска», оба питерские. Подборка Михаила Яснова (весьма крепкая) и старая, двадцатилетней давности (и весьма некрепкая) поэма Евгения Рейна «Возвращение» — о его приезде в Москву из отдаленных мест в конце 50-х годов, вещь диссидентская, вольная, с полетом и размахом, однако технически несколько разболтанная, что для такого мастера, как Рейн, странно.

Но в данном случае меня интересуют не игры поэтов, а общий тон «Согласия». Собственно, если к поэтическим переживаниям добавить «философскую передовицу» Сергея Никитина «О любви к мудрости», то состав эмоций будет продемонстрирован вполне. Никитин воронежец. Еще раз отмечу географический диапазон журнала:

Россия из конца в конец. И минимум московского. И ничего митингового, истощно демократического или истощно патриотического, базарно-рыночного, книжноразвального, зазывного, вульгарного, будь то озверевший от потерь и убытков вчерашний литературный истэблшмент или озверевший от предвкусений, вырвавшийся на волю вчерашний андеграунд. В конце концов и то и другое — фуза. Свалка.

А тут — строят дом. Игрушечный домик с ясными линиями. Ясные линии и чистые краски посреди фузы. Крошечный кораблик посреди бузы. Куда же нам плыть? — держится за Пушкина М. Яснов. «Куда же мне идти, скажи на милость? Загажен берег, лес сожжен дотла, и до изнанки море замутилось, и кверху брюхом рыба поплыла...» Разлетается скопленное, сбереженное. «И птица Рильке взмыла в небо, и птица Брехт пропала в тучах, и опустилась на плечо мне седая птица Пастернак...» «О, Пастернак! Вы помните вот это...» — подхватывает Евг. Рейн, переводя через ночное Садовое кольцо прелестную полузнакомую спутницу, и от проехавшего мимо них по-сольского «мерседеса» веет «бензином и духами, ночной Европой, музыкой, простором... соединявшим Рим и Византию, Нью-Йорк, Варшаву, Лондон и Москву...» — культурные символы разлетаются в ночи, «всемирное сознание» утекает сквозь щели, шестидесятники аukaются во тьме... а от Кушки до Камчатки, от Бреста до Батуми — серая мгла.

Все, что строилось, ложно, все, что планировалось, — иллюзорно. Официальная философия — обман. Настоящие философы «не кучкуются, не тусуются, не торчат, как гвозди в стуле», — это С. Никитин воюет с марксизмом (он его называет «мраксизм»). Марксизм — «гвозди из людей», материальная профанация, торжество зверя. А мы — тихие, мы — неслышные, мы — тайные любомудры. Нам не надо, чтобы читатель, прочтя нас, попер на митинг или счел нашего героя образцом для подражания. Прочтет — и ладно.

«И что же? И все. „И вздохнет украдкой“».

Нам — хватит. Нам что надо (развивает свою мысль С. Никитин)? «Высший принцип человека не свобода, а рабство: добровольный отказ от свободы там, где ты можешь стать несвободным для другого...»

Не пугайтесь! С. Никитин вовсе не защищает рабство в привычном смысле слова. Просто он немного перемешивает общепринятые термины. Привычно говоря: свобода есть добровольное самоограничение, отказ от безмерной воли... Но С. Никитину, кажется, вообще нравится смешивать слова и краски: «Вот вам русское нефитство: мы не просто трава на чужих могилах, мы — трава на добротном заасфальтированном кладбище, где написано: „Здесь танцуют“».

Я не спрашиваю, как это трава растет на заасфальтированном месте, я не спрашиваю, как это ф р а н ц у з с к а я надпись приклеивается к русскому нефитству; я не хочу придирааться, потому что импульсто мне в высшей степени понятен. Освободить душу от морока, от грязно-сизого иллюзиона, и вот тут, прямо посреди хао-

са, хамства, бесовского пляса и звериного остервенения,— строить.

Что строить?

Маленькое. Независимое. Человеческое. Существование. Со вздоха. Со вздоха укладкой. Скромным тиражом. Тихо. Упрямое.

«...делать необходимое, обустривать и тщательно упорядочивать жизнь».

Это уже Малецкий. То есть Рамзайцев. Прикидывающий европейские стандарты к нашей ргунтой душе.

Что мешают строить?

Сейчас увидим.

На Западе уровень жизни, место в иерархии ценностей, достойные условия существования — все это измеряется в конечном счете ежедневным выкладыванием на работе. Надо крутиться.

А у нас жизнь измеряется... «единицами прочитанных книг, толковых или бестолково-приятных бесед, прогулок по лесу или ночному городу...» — жизнь меряется мерой внутреннего наполнения, и незачем спешить, ни к чему крутиться.

Наш соотечественник, привычно халящий родную систему, которая, раскинувшись «от Чопа до Урала» и далее до Владивостока, не дает ему развернуться, вдруг признается себе, что он носит эту систему в собственной натуре. И даже не систему, а то состояние, которое порождает систему, кроит ее по мерке души. Ужас в том, что человек, рвущийся на Запад, в какой-то момент убеждается, что он не в состоянии перенять западный образ жизни. Вернее, он хотел бы перенять «достойный человека уровень чистоты, благожелательности и достатка», однако сохранить привычную иерархию ценностей и круг ориентиров. То есть продолжать вести «бестолково-приятные беседы».

Потрясение состоит не только и даже не столько в том, что это практически невозможно: жить так, как там, а работать так, как тут; эту-то арифметику мы хоть и неохотно, но постигаем: достаточно снунуться за помощью в любой западный фонд. Потрясает метафизическая неразрешимость нашей ситуации: необходимость честно сказать себе, что наша невыразимая духовность в девяти случаях из десяти есть просто прикрытые нашей «общей ориентации» (как лукаво формулирует Рамзайцев), а проще сказать — нашего «вольнхудожничества и дуракавалания». А где та одна десятая, которая оправдывает все? А не угадаешь: фуза!

И еще ничего, когда в этом сознается себе инженер из повести Малецкого, ловкий технар, вся-то радость которого — провезти через границу купленный там компьютер. Тут и решается скоро: провез — и все.

Куда страшнее, когда должен себе в этом сознаться другой отпрыск российского вольнолюбия, чья коность тоже пришлаась на опьяняющие «идеалистические шестидесятые» (а горькое похмелье наступило двадцатью годами позже), — просекинский «выродок». Это вам не Рамзайцев, тут имя и фамилия замешены на историческом величии: Олег Баженов.

Светило филфака в одном из славнейших сибирских университетов, издатель рукописного журнала, студенческий Сахаров

томского масштаба, основатель «Вольного философского семинара молодой сибирской интеллигенции», прикрытого в 1967 году.

Надо отдать должное А. Просекину: он передал очарование молодой сибирской интеллигенции. Ее отчаянную непримиримость. И еще — сравнительно со столичной, московской либеральной публикой, поджегшей сердца сибиряков, — ее «таежное» упрямство, ее потаенную двужильность.

Сибирский диссидент Баженов не хилый книгоеч, чешущий языком и в лучшем случае способный на беседы «во время прогулок по лесу», нет, это человек бывалый, практичный, хваткий — человек с топором в руках, и топором этим он не только зашибает на шабашках хорошие деньги, но в случае опасности может защитить и шалого негодяя, желающего поучить кулаками «интеллигенцию». Так что идеализм прикрыт здесь сибирской силой. И это обстоятельство (именно то, что молодой вольнодумец, ненавидящий «власть идиотов», все время что-то строит, лихо поигрывая топором, и прежде всего строить дом) вполне в духе позитивной программы журнала «Согласие»: посреди всеобщего бездомья и безумия — пусть маленький, пусть крошечный, пусть игрушечный, «посреди стеклянного шарика», но — свой.

Но что же так фатально рушит эту маленькую крепость? В духе диссидентства, взращенного «идеалистическими шестидесятью», Олег Баженов думает: «Система». Система его выпшибает из университета. Система запрещает ему читать книги, Система устраивает ему допросы устами одноклассника, скурвившегося и подавшего ся на работу в КГБ.

С Системой он и борется.

Но тут из-под Системы вылезает нечто, не сообразное ни с какими понятиями о «системах», — «пустое место». Фатальное запустение земли обнаруживается в самых «нижних», самых глубинных горизонтах. Система-то сама по себе крепка (так думает Олег, да и «Сашка считает примерно так же»). Она крепка, а враг внутренний слишком слаб, запуган и истеричен (это в устах Олега самокритика, да и Сашка того же мнения). Все, однако, трещит по швам не от борьбы в кабинетах или на площадях, а от тихого исхода людей с земли. Олег понимает (да и Сашка тоже), что вольнодумцы из «философского семинара» давно «не видели деревни». А там — «запустение с вырождением». И все предрешено. «Никакой трон не выдержит голоду, пусть на нем хоть Петр Великий сидит...» Тем более что сидит на троне либерал, пишущий стихи, а в местном обкоме — такой же либерал, тайно выгораживающий диссидентов.

Так с кем же вы боретесь? И чего вам ждать, когда почва ползет под ногами? Этот «низовой» ужас погуще того, что набагает из уютных кабинетов. Голодухой пахнет брошенная, опустевшая земля. Где люди, бросившие ее? В городах — ждут очереди на «жилплощадь». В пьяных шарашках — маргросят по случаю. В судах — сажают друг друга, ссылают, спихивают обратно на землю в наказание. Есть от чего прийти в отчаяние.

Просекинскому «выродку», идейному диссиденту, предстоит куда более горькое прозрение, чем жоку по фамилии Рамзайцев. Но прозрение неизбежно. Ибо вовсе не власть, не КГБ и не скурвившиеся сотрудники органов наносят Олегу Баженову самые страшные удары, те-то как раз рады бы спустить дело на тормозах. А срывается его жизнь в штопор — от доноса, который подает на его жену тихая, работающая лаборантка, мать двоих детей, считающая, что по справедливости квартира нужнее ей, а не этим сомнительным в нравственном и идейном отношении умникам.

Что делает с «умниками» Система? Исклочает из комсомола, из университета, наконец. Но не ссылает же! А ссылка-то как у Просекина возникает? А из «феномена идиотизма». Из того, что в цепочке Системы оказываются «две роковые женщины». Одна — следователь, она «на всякий случай довела дело до суда». Другая — судья, «и это оказалось куда печальнее».

Хочется уточнить: и обе — детные? и обе — несчастные, десятилетиями ожидающие очереди на жилье? и обе — из глубинки? и обе, лямку свою вытягивая, ненавидят умников с их «толковыми или бестолково-приятными беседами»?

Боюсь, что это не Система. Это органика. Тут не объяснишься. Объясниться можно с одноклассником, надевшим погоны майора госбезопасности. Но как объясниться с упившимся матросом, который, матерясь, идет давить умников, потому что их развелось слишком много?

Олег и не объясняется. Он молча ждет, сжимая «маленький плотницкий топорик». Он ждет удара не от «власти». Он ждет удара — отовсюду: из воздуха, из пустоты, из неразличимой фузы. И потому постоянно готов «к пинку, к внезапному избиению»... «Вечный страх за ребенка, которого может сбить самосвал с пьяным шофером или который вдруг заболит лейкозом; страх за жену, которую, вполне возможно, вечером изнасилают в ближайшем сквере; страх за отца, у которого вдруг станет плохо с сердцем, а «скорая» придет слишком поздно...»

И этот серый мрак, эта вяло текущая невменяемость жизни — обратная сторона «вольногохудожничества» и «дуракавалания», без которого нет нашего интеллигента.

Он строит дом — дом стоит пустой.

Он женится — жена уходит.

Он умирает в сорок лет — от рака, болезни разочарования. «Вдруг заболел». Перед смертью подумал: я — навоз, мы все — навоз, почва для какого-то грядущего взлета, как в темные века, где-то до Возрождения.

«„Темные века“, — думал Димбл; как легко было прежде и читать это, и писать. Теперь сама Тьма лежала перед ними. В страшной лошине их поджидало давно ушедшее столетье...»

Нет, недаром из номера в номер печатает «Согласие» философскую прозу Клайва Стейплса Льюиса. Зря опасается Алла Марченко, что у этой прозы слишком сильный «британский акцент». У нее акцент не британский, а постимперский. Вот он, философский пейзаж, посреди которого здесь пытаются спастись в стеклянном шарике:

«Вдруг вся Британия, которую он так хорошо знал как ученый, живьем встала перед ним. Он увидел маленькие города, на которых лежал отсвет Рима — Камальдунум, Карлсон, Глестонбери; церковка, одна-две виллы, кучка домов, насыпь, а за ней, почти до самых ворот — мокрые, густые леса, усталые листьями, которые падали на эту землю еще до того, как Британия стала островом. Волки, прилежные бобры, огромные болота и глаза в чаще — глаза тех, кто жил здесь не только до Рима, но и до самой Британии, древних, несчастных, обездоленных существ, превратившихся в эльфов, чудищ, лесовиков позднейшего предания. Но еще хуже, чем леса, были места без леса — маленькие вотчины забытых королей; общины и сообщества друидов; стены, замешенные на младенческой крови. Этот век, вырванный из своей эпохи и ставший потому стократ ужасней, двигался им навстречу и через несколько минут должен был их поглотить».

Вот в этом лесу, в этом безлесье, на этой свалке атрибутов, знаков и символов империи, сквозь которые проросла трава, — надо строить. Строить дома, чтобы в них женщины растили детей. Те самые женщины, которые с неизбежностью решат, что им крыша над головой нужнее, чем этим «умникам».

Ужас охватывает душу от сопряжения всех этих концов и начал. От того, в какой реальности должен угнездиться уют.

А другой реальности нет. Инстинкт жизни — вот единственное, что в конце концов может справиться с абсурдом.

Ибо, как вслед за «одной замечательной поэтессой» замечает Алла Марченко, комментируя Льюиса, в настоящем романе (читай: в настоящей культуре) обязательно должны быть две вещи: ужас и уют.

Плата за «согласие» и залог его.

Л. АННИНСКИЙ.



## «ЗЫБКИЙ ВОЗДУХ ПОВЕСТВОВАНИЯ»

Марк Харитонов. Линии судьбы, или Сундучок Милашевича. Роман. «Дружба народов», 1992, № 1, 2.

Те, кто прочитал недавно изданную книгу повестей Марка Харитонова «День в феврале»<sup>1</sup> (М. 1989), не могли не оценить дар автора — соединяя разнородные предметы и образы, находить черты сказки и мифа в обыденном, приоткрывать тайну повседневной жизни.

«Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» — первый роман Марка Харитонова, написанный, впрочем, довольно давно, в начале 80-х годов. Его сюжетная канва — история провинциального литературоведа Антона Лизавина, собирающего сведения о забытом земляке — писателе 10—20-х годов Симеоне Милашевиче. Лизавин нашел в запаснике провинциального архива сундучок со странными, не до конца и не сразу понимаемыми записями-набросками Милашевича на конфетных обертках. Однако событийный ряд в романе Марка Харитонова отнесен на второй план; точнее всего о «Линиях судьбы...» сказано в его тексте: «...пересказ тут мало что даст... существов всегда не сюжет... а тот самый «укол смещенного чувства», который заставляет разбирать по-латыни заборную надпись, над собой же при этом поспеиваясь, существов сухой полумрак за спинами сидящих, свет керосиновой лампы, игра всполошенных теней, причудливых мыслей — зыбкий воздух повествования».

Судьбы Милашевича и Лизавина переключаются друг с другом («жизнь складывается на пересечениях» — запись Милашевича на конфетной обертке). Жизнь Симеона Кондратьича и ситуации его прозы как бы отражены в судьбе его исследователя, а отчасти и других людей нашего времени (не случаен постоянно возникающий и у Милашевича и у самого Марка Харитонова образ зеркала). «Вот кто-то пишет вашу жизнь, водит скверным пером по бумаге, мы стекаем с чернильного кончика, складываемся из букв. Вот сейчас, когда говорим. Или когда читаем... Но дело в том, что не только мы от него зависим, мы ему тоже зачем-то нужны. Нас творят наши творения. Он, который сейчас сочиняет нас — или думает, что сочиняет, — может, сам в этот миг начинает подзревать, будто его жизнь тоже пишется кем-то. Кто-то невидимый смотрит на него с ожиданием, надеждой, мольбой. Если б вы, Антон Андреевич, знали, как все бы друг от друга зависим. Я реален. Если реальные вы, можете ли вы этим проникнуться?» — обращается к Лизавину давно умерший Милашевич в разговоре, то ли пригрезившемся Антону, то ли происходящем в каком-то сверхреальном пространстве.

В этих переключках-пересечениях обнаруживается — порой трагическая, но счастливая — сопричастность другому. И все же жизнь Лизавина не повторение судьбы Милашевича, а сближение словесности и

реальности может рождать и страшные последствия.

В основе философии Милашевича и отчасти поэтики «Линий судьбы...» лежит представление о неслучайной, произвольной связи знака (образа, мысли, текста) и вещи — семена слов и понятий как бы скрыты в предметах. Символические образы этой произвольной связи между словом, мыслью и вещью рассеяны по всему роману Марка Харитонова. Милашевичу даже кажется, что мысли и чувства, посланные от одного человека другому, материальны: они подобны радиоволнам. В таком мире невозможны антиномии, жесткие противопоставления категорий: понятия свободно перетекают в свою противоположность. Так, «страх и торжество смешаны, как в первом соитии, когда у мужчин и женщин оживает надежда дополнить свое существо до целого».

Но взаимоприятие, слияние слов и реалий может не только проявлять глубокий смысл природного и человеческого существования, но и затуманивать его. Ведь неоднозначны, «обоюдоостры» и сами слова и их сплетения — они могут вводить в искушение, обманывать и обманываться.

В первые пореволюционные годы причудливо соединились церковные и советские праздники, на архаические мифы наложились новейшие идеи о преобразовании материи. Для писателя даже «добыча керосина и дров обрела значительность... торжественность библейскую».

Не поддался ли Милашевич — хоть отчасти — искушению принять вместе с открывающимся метафизическим смыслом быта и «воздух» революции, отрешаясь от ее крови, остаться недоговоренным, неясным. Но он не смог избежать соблазна перенести литературу в реальность в пределах своей маленькой личной судьбы: во имя трогательной семейной идиллии — соединения с оставившей его женой, ушедшей к революционеру, обозначенному у Милашевича под именем Агасфер. Кажется, революционный переворот в родном Нечайске важен для него как залог возвращения жены. Надеясь на семейный уют, Милашевич вмешивается в судьбу ее сына, «херувимской красоты» мальчика, «отнимаемая» его у фабриканта (и тайного социалиста) Ангела Ганшина, питавшего к подростку эротическую слабость. Но яркая красота невинного личика оказывается маской... После смерти Ганшина херувимчик с гнилыми от сахара зубами станет «губернским уполномоченным по борьбе», тов. Карлом, погубившим собственную мать. Красота — лица, предания, идеи — не раз обернется у Марка Харитонова страшной личиной.

«Может, имя загадочным, неизвестным пока науке путем производит воздействие на сам телесный состав и даже на извержения телесные», — записывает на одном из конфетных фантиков Симеон Милашевич. Однако оказывается, что имя, интимное родство которого с вещью и чело-

<sup>1</sup> О ней см.: Г. Померанц, «Человек без маски на маскараде истории» («Новый мир», 1989, № 5). — Прим. ред

веком ощущал Милашевич, порой выражает суть его носителя, но наоборот: земной ад, а не рай являет жизнь жены писателя, бывшей революционерки, носившей имя Александры Парадизовой.

Рядом с образом у Марка Харитоновича можно встретить и его антиобраз: ангелоподобные дети на картинах Босого Леталя — и будущий «тов. Карл»; случайный знакомый Лизавина, но душевно самый близкий ему человек, правозащитник Максим Сиверс — и другие диссиденты, болтуны и сколасты, встреченные Лизавиным на квартире Максима после его ареста. И наконец, взаимодействие образов самого Милашевича, вегетарианца, — и доцента (и, кажется, литконсультанта ГБ) Никольского, «вульгарного ницшеанца», также не вкушающего мяса, а может, лишь выдающего себя за вегетарианца.

Фигурами Милашевича, Сиверса, Лизавина и Никольского как бы обозначено философское пространство романа Марка Харитоновича. Заветное стремление писателя Милашевича — примирение абстрагирующей, отвлеченной мысли и плотной, осязаемой жизни в переживании и образе («Задушевная российская убежденность, что литература — это все-таки не просто так; слово, что ни говори, способно влиять на жизнь, менять ее и перестраивать, пусть даже оно и не записано, а только произнесено»). На страницах «Линий судьбы...» этот мотив возникает сначала в старом апокрифе, который читает Симеон Кондратьич: в нем утверждалось, что разделение слова, идеи и переживания возникло вследствие грехопадения человека и мыслительные старания лишь обостряют страдания и боль. Потом это суждение — как опешеленный повтор — вновь всплывает в речи Никольского. Никольский, впрочем, персонаж «малоинтересный», малосимпатичный, как малоинтересно и ложно его истолкование воззрений Милашевича в дуге «философии сверхчеловечества».

Для Милашевича истина не над и вне жизни, а в ней самой и не окрашена в один черный цвет. В чем-то его цельный, «нераздробленный» взгляд на мир подобен детскому, хотя на самом деле он все же отрефлектирован (мыслью) и обременен горестным опытом.

Философию Милашевича глубоко чувствует и как бы оспаривает Максим Сиверс, пронзительно, в буквальном смысле слова физически ощущающий чужую ложь или боль: тут его душат приступы кашля. В дневнике, оставленном для Лизавина, Максим пишет о невыносимости трагической экзистенциальной истины жизни для большинства людей, — сам Сиверс готов принять боль до конца. Сиверс не отрицает правды «обыкновенного человека» Милашевича, он и Милашевич видят одну и ту же реальность, но из двух разных пространств.

Кстати, образ неевклидова пространства — излюбленный у Симеона Кондратьича (а «вслед за ним» и Марка Харитоновича) и символизирует не чисто рационалистическое, не схоластическое, многомерное восприятие мира: «Наш плоский ум и взгляд — лишь упрощенный осколок полноценной бо-

жественной кривизны». Идеи Сиверса и Милашевича (точнее, это не идеи, а персонализированные мироощущения) не отрицают — хотя сами Сиверс и Милашевич очень непохожи, — а дополняют друг друга по принципу контрапункта, и ни одна из них не признана в романе «правильной» или «ложной». Словесная плоть «Линий судьбы...» строится не на прямых логических связях, а на ассоциациях. В известном смысле (правда, не вполне в бахтинском, предпологающем спор идей) это полифонический текст.

Разные «силовые линии» романа сходятся к фигуре Антона Лизавина. Слабый, стalkerивающийся с подлостью и хамством (его изгоняют с кафедры, лишают квартиры), узнающий правду о страшных последних годах Милашевича и его семьи, теряющий друга (Сиверс кончает с собой в заключении), Антон Лизавин может быть, все-таки находит то, чего мучительно желал и не обрел Симеон Милашевич: семейное счастье. Но это пока только гадательное, а не реальное счастье. Может быть, именно освобождаясь от уподоблений своей жизни судьбе Милашевича, Антон «дописывает» счастливый финал, не удавшийся Симеону Кондратьичу.

Поэтическая философия Марка Харитоновича переключается с построениями культурологов и литературоведов: ощущима близость замысла «Линий судьбы...» к «полифонии» М. М. Бахтина, его идеи «романного многоголосья». И — более отдаленно — связи с семиотическими дискуссиями об условности и непроизвольности знака и имени. Это не случайно: ведь для 60-х — начала 80-х годов и Бахтин и структуралистские споры были частью мироощущения интеллигенции. (Правда, в отличие от постмодернистских построений следы и переключки со структуралистскими теориями у Марка Харитоновича остаются в глубине, в подтексте.)

Проследивается и литературное окружение «Линий судьбы...». Это, конечно, Андрей Платонов: «неевклидовский» взгляд на мир, образы революционеров-мечтателей из народа (Иона Сысоев и Босой Летарь), даже отдельные выражения («вещество жизни», напоминающее «вещество существования» у Платонова). Платоновский пласт становится частью смыслового ореола, окружающего героев Марка Харитоновича, характеристикой пореволюционных лет. Взаимные пересечения литературы и жизни, поэтика «текста в тексте» напомнит о Владимире Набокове. Но у Марка Харитоновича нет набоковского эстетства, торжества словесного текста над реальностью. При несомненных чертах «цитатности» роман «Линий судьбы...» остается оригинальным произведением, влияния не затемяют своеобразия авторского стиля, полного неожиданных сопоставлений и тонких наблюдений. И достоинства его и недостатки сугубо харитоновские. «Линии судьбы, или Сундук Милашевича» — в строгом смысле, наверное, все-таки не роман, а скорее философская поэма в прозе и, отчасти, исповедальный дневник «от третьего лица»; в таком тексте вовсе не обязательна четкая сюжетность. Но все-таки линии Милашевича и Лизавина иногда теряются в анфи-



ладе боковых эпизодов, а переключки биографий могут показаться несколько навязчивыми, скорее формальными, чем смысловыми. Милашевич и Лизавин вопреки намерению автора порой сливаются в одном лице, и грань между ними все же слишком неотчетлива, а сам Симеон Кондратьич как бы склеен из двух половинок (мог ли, например, спокойный, духовно трезвый писатель-философ поддаться обаянию лубочной красоты херувимчика, будущего тов. Карла, или ждать семейного счастья, напоминающего идеалическую концовку романа?). Детали подчас заслоняют целое, и недоговоренность грозит обернуться непрописанностью.

«Линии судьбы...» как бы вбирают в себя прежде написанные Марком Харитоновым повести: города Нечайск и несколько эпизодических персонажей нам уже встречались в повести «Проход Меньшутин», ряд фрагментов дословно совпадает с отрывками из «Этюда о масках» и «Двух Иванов», а сам Антон Лизавин появляется впервые в своеобразном послесловии под названием «Музей в Нечайске», завершающем книгу «День в феврале». Можно предположить,

что форма повести была бы более соответствующей дару Марка Харитонина и замыслу «Линий судьбы...». Но только предположить. «Линии судьбы...» нельзя «переписать» или «сократить», «переделать в повесть». Авторский замысел в данном случае мог воплотиться только в таком несколько аморфном и размытом, лишенном жесткого структурного каркаса повествовании, в котором соучаствуют Марк Харитонов, его персонажи и читатели «Линий судьбы...».

«...мы — это и Лизавин, и мы с вами, слышащиеся иногда до отождествления; тут, наверно, пора объяснить и, может, попросить извинения у тех, кто чувствует иначе,— но ведь это и есть сотворчество, к которому бывает причастен всякий читающий в иные, родственные любви, мгновения», — говорится в романе. Тексту Марка Харитонина нужен такой сопричастный читатель, готовый прочесть его не как рассказ о другом, а как о себе самом и как бы дописать, закончить его.

«Еще немного, еще чуть-чуть, и сойдется, сбудется, разрешится...»

Андрей РАНЧИН.



### Политика и наука

## ПОДЛИННЫЕ И МНИМЫЕ СЕКРЕТЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

Лев Тимофеев. Зачем приходил Горбачев. О теневых влияниях в большой политике. Антон Козлов. Метаноррупция. Уголовные истоки партии большевиков. М. Независимое издательство ПИК. 1992. 143 стр.

**Н**аши недавно возникшие кооперативные и частные издательства весьма поднаторели, присваивая своим изданиям названия столько же завлекательные, сколько не соответствующие тому содержанию, которому эти издания посвящены, которое ими рекламируется.

Вот читаю «Секреты прессы при Горбачеве и Ельцине» — ну как не купить и не прочесть такую книгу редактору журнала — грех же? Однако никаких секретов в этой весьма солидных размеров книге нет, только всем давно известные и порядочно примелькавшиеся рассуждения, да еще выдержки из различных массовых изданий, которые, очевидно, и есть «секреты». Или — такая вот «сенсация»: «Новый мир», оказывается, давно-давно закрыт. Туда ему и дорога!

Ну, а например, такой вопрос, по-видимому, тоже секретный: а что сделали «толстые» журналы в последние годы? А ничего-то они не сделали, кроме того, что перепечатали те или иные работы тех или иных авторов, которых до тех пор печатать запрещалось.

Но разве это не было делом крайне необходимым — которого давным-давно ждала и жаждала наша общественность, когда «Новый мир» напечатал «Доктора Живаго», внося в текст 652 авторских поправки. Это что же — тоже не столько дело, сколько безделье?

А вот «Новый мир» напечатал в десятках номеров произведения Солженицына (отчасти опять-таки с уточненным текстом),

что же — и этого автора не надо было печатать? А, может быть, стоило бы связаться с редакцией, да и узнать, как в действительности проходил Солженицын в печать, кому и во что это обходилось не только в редакции, но и в других сферах? Это, так сказать, гражданская цензура.

Но ведь мы «пробивали» и другие цензуры, причем не только перепечаткой, а совершенно оригинальными произведениями: цензуру «атомную», публикуя статьи Алеся Адамовича «„Честное слово, больше не взорвется“...» и инженера Гр. Медведева «Чернобыльская тетрадь»; в этом деле нам помог А. Д. Сахаров, и сегодня спасибо ему! (книга признана в США лучшей книгой года);

военную — повестью «Стройбат» Сергея Каледина;

тюремную — «Одлян, или Воздух свободы» Леонида Габышева.

О наших взаимоотношениях с цензурой «экологической» и говорить не приходится. Пять цензур пробил «Новый мир». А сколько автор «секретов»? Ему это и ни к чему — он идет уже проторенной дорогой.

Но я бы и не заговорил о «Секретах...» без секретов, если бы не другой, очень интересный случай: выход в свет книги известного диссидента Льва Тимофеева в независимом издательстве ПИК. Ко многим диссидентам я отношусь не только с большим уважением, но и с удивлением: как это они во времена застоя, еще раньше, поняли нашу истинную обстановку, не только поняли, но и восстали против нее?

Тут нужны были особые качества личности. Это вам не те демократы, которые лет семь назад, того меньше, считали «слово партии» непреложным законом и руководством к действию. С такими я могу соглашаться, но насчет искреннего уважения — увольте.

Книга Л. Тимофеева называется «Зачем приходил Горбачев». Скажу сразу: это тоже реклама. И когда нас оповещают о том, что в книгу включены свидетельские показания бывшего мэра Москвы, бывшего министра иностранных дел, бывшего генерала КГБ, вдовы академика Сахарова — это все она же, реклама, хотя и правдоподобная, не такая, как «секреты прессы». Да в наше время, пожалуй, и нельзя обойтись без рекламы, но читатель-то должен различать, что есть что. И мы на этих «свидетельских показаниях» останавливаться не будем. Бог с ними, они тоже давно известны, если и не в этих текстах, так в других, идентичных.

Но вот что меня действительно поразило в книге Л. Тимофеева, так это заключительная ее часть, своеобразное послесловие — о метакоррупции и уголовном генолизе партии большевиков, автор — Антон Козлов, наш соотечественник, публицист, ныне проживающий на Западе.

Не смогу обойтись без выдержек (может быть, даже излишне пространных) из этой работы, чтобы показать ее поистине высокий уровень, ее смелость и концептуальность.

«В России нет сегодня социальной основы для демократии» — это выдержка из текста самого Л. Тимофеева, в этом русле и ведет разговор А. Козлов, например: «...в бывшем СССР практически все может быть „черным рынком“».

«Главная работа Ленина... «Что делать?». Здесь предопределяется все, что впоследствии произошло в России от октябрьского переворота до «узбекского дела» и августовского путча».

«Ленин выступал сторонником заговора... Ленинская партия суть система заговора».

«Смерть превратилась в банальность, перестав быть выражением сверхъестественной воли или трагедией, смерть превратилась в феномен утилитарный и социальный»

«По Ленину же „решительно никакого принципиального противоречия между советским (т. е. социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц НЕТ“»

Отсюда, из этих ленинских утверждений, А. Козлов переходит (и вполне логично), к тому, что «„пролетарская культура“ коммунистических заговорщиков имеет очень много схожих элементов с традиционной культурой сицилийской мафии». Отсюда — «закон молчания», «отсюда же культ „тайны“», «отсюда — борьба с неграмотностью и всеобщ» — потому что и тайна тоже не может обходиться без средств массовой информации, без газет и журналов. Газеты и журналы играют в этом случае особую роль — они уводят читателя в сторону от тайны, создавая впечатление, что ее нет и не может быть.

Далее А. Козлов совершает экскурс в историю мафии и мафиозных организаций

едва ли не на полтысячелетия назад и достигает результата весьма впечатляющего, который подтверждает логику его работы. Он сопоставляет два понятия — «договор» и «заговор», раскрывает механизмы вытеснения и подмены первого вторым в практике социалистического государства. А ведь «общественный договор», в расширительном толковании этого понятия, и есть краеугольный камень той демократии, для которой, по зловещим, но, видимо, справедливым словам Л. Тимофеева, у нас все еще нет условий. И вот, пишет Козлов, «право на право оказалось прерогативой небольшой группы заговорщиков», а «террор внутри партии — это ленинская самокритика в условиях осадного положения», а «застой — это когда сытые заговорщики решают, что террора было достаточно, теперь можно и пожить», когда, «кроме террора и застоя (читай коррупции), альтернативы у заговора быть не может».

И снова — роль той прессы, которая вырабатывает столь необходимые в этой ситуации словеса-лозунги: рабочий — «боец трудового фронта», школа — «кузница кадров», а социализм — это такой общественный строй, «который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом». И это в то время, когда дело пахнет натуральным феодализмом, когда «чиновник рассматривает свою должность именно как источник обогащения»!

Добавим, что во времена перестройки такого рода тенденция еще более усугубилась — «коррупция становится нормой» и тут же происходит раскол: «консерваторы ратуют за сохранение старого порядка — сицилийских отношений», а более молодые влекут общество к «предпринимательской» или «кантрепренерской» мафии». И «можно лишь гадать о размерах предстоящих гангстерских войн в бывшем СССР», а «объявление независимости республиками может служить лишь дымовой завесой для сохранения старых мафиозно-кlienтелистских структур аппарата».

«Очевидно, — утверждает далее А. Козлов, — какая-то часть союзной экономики уже попала под контроль чисто уголовных структур», пример тому — история с Фильшиным

Ничего себе положение дел, да и перспектива какая?! У каждого читателя на этот счет могут быть, обязательно будут, и свои соображения и свои наблюдения, но подобные работы во многом для того и пишутся, чтобы читатель мог сопоставить собственные ощущения и догадки с авторскими суждениями и концепциями. Во всяком случае трудно, просто невозможно себе представить, чтобы читатель мысленно не провел бы подобного сравнения.

На этом можно было бы и закончить, если бы не еще один существенный момент, не еще одно соображение, касающееся значения вопросов «что?» и «зачем?»

Картина, созданная Л. Тимофеевым и А. Козловым, — это «что»: что мы имеем, что предполагаем, что нам угрожает?

А — зачем?

Зачем все же приходил Горбачев? Затем ли только, чтобы обновить мафиозную

структуру, чтобы заменить прежнюю одряхлевшую правящую элиту на новую — теньвую?

Но вопрос «зачем?» обычно, и в данном случае тоже, имеет двоякий смысл: или тот или иной процесс кем-то задуман и в той или иной мере осуществлен, или же явился неожиданным результатом действий с ошибочным прогнозом, а то и вообще при отсутствии такового. И если уж автором этот вопрос «зачем?» поставлен, так, оставаясь корректным и логичным, он должен указать — в каком именно понимании вопрос ставился — в том или в другом? К сожалению, ни Л. Тимофеев, ни А. Козлов этого не сделали.

Перестройка — это революция, революция сверху. Но ни одну революцию — снизу ли, сверху ли — никогда не удавалось спрогнозировать, ее результаты были всегда неожиданны, прежде всего для тех, кто ее начинал, и для них же, для зачинателей, оказывались наиболее зловещими.

У меня нет на этот счет веских доказательств в пользу того или другого варианта «зачем?» и никогда их, наверное, не будет для многих будущих исследователей. Единственно, что я могу использовать, это свои собственные наблюдения.

Я думаю, что Горбачев в своих изначальных замыслах не шел дальше того, чтобы обновить и облагородить свою родную партию. И действовал он как истый и «настоящий партиец». Но партия-то стояла на столь ненадежной точке равновесия и устойчивости, что достаточно было любого, даже самого нежного прикосновения к ней, чтобы она покатила (с соответствующим ускорением) по наклонной. А раз так, то и Горбачев кончил тем, чем единственно и можно было кончить — он стал едва ли не самым главным ликвидатором партии. Этой роли, на мой взгляд, содействовало и то, что Горбачев достаточно продолжительное время сосредоточивал в своем лице две власти — государственную и партийную. Это вызывало недоумение в Верховном Совете, в депутатском корпусе. Однако же не будь этого совмещения, уступил он пост генсека кому-то другому — партия еще показала бы себя, показала бы всем нам «демократию».

Нет, все это не потому, что Горбачев так хотел и замышлял, а потому что другой логики, другого варианта не оказалось. Разве только путч ради возвращения к прошлому. Но прошлое-то было столь непривлекательным и, несмотря на небольшой срок, столь невозвратно-далеким, а общественные силы и пресса уже так сильны, что путч-то могли предпринять самые недалекие люди, и как таковые они и кончили. Самое большее, на что они могли рассчитывать — это на апатию населения, но для контрреволюций, как и для револю-

ций, пусть в меньшей мере, но апатия — плохой союзник.

Итак, если партия — правящая, если она — «передовой отряд» и «совесть эпохи» — перестала существовать, кто и что ее заменит?

В этом пункте А. Козлов оказывается верным себе, утверждая, что бывшие партийцы как были руководителями государства, так ими и остались, только сменили лозунги планового социализма на лозунги бесплановой рыночной экономики. Дело для партии, между прочим, хорошо известно: смена военного коммунизма на лозунги бесплановой рыночной экономики. Дело для партии, между прочим, хорошо известно: смена военного коммунизма на лозунги бесплановой рыночной экономики. Дело для партии, между прочим, хорошо известно: смена военного коммунизма на лозунги бесплановой рыночной экономики. Дело для партии, между прочим, хорошо известно: смена военного коммунизма на лозунги бесплановой рыночной экономики.

Она и воодушевила. Исходя из вполне гуманных, но только в партийном же смысле, побуждений. Партавыки, приобретенные чуть ли не пятью поколениями (поколение — это, считают демографы, 15 лет), все те же. Да, новое общество мы обязаны построить, если только хотим выжить самостоятельно, без того, чтобы попасть в вассальную зависимость от новых варягов.

Но сделать это воспитанники Высшей партийной школы не могут. Им ведомо не только сколько-нибудь внятные ответы на вопросы «что?» и «зачем?», но и тем более на вопрос «как?». Как вернуться современниками в современный мир? Хочу подчеркнуть: современниками, а не реликтами пусть и недавнего прошлого.

Вряд ли такая своеобразная страна, как наша, сможет сегодня повторить чей-то чужой путь, это так же верно, как и невозможно себе представить, будто в современном мире можно существовать независимо от него, исключительно на основе своей собственной, пусть и весьма своеобразной истории, на основе некоего национального субъективизма. Где же, в чем же золотая середина? А если уж и не золотая, так оптимальная и потому — единственная? Которой можно было дать название «третьего пути»? Или кроме разных типов мафиозности у России и в самом деле нет (и не может быть) иной перспективы?!

Как бы хотелось услышать на этот счет мнения наших постоянных и будущих потенциальных авторов, тех же Льва Тимофеева и Антона Козлова!

Нет-нет, мы не ожидаем однозначных, универсальных рецептов лечения пораженного очень серьезным недугом российского государственного организма, но на дальнейшие размышления — серьезные и непринужденные — надеемся. И было бы вполне уместно, если бы такого рода суждения читатель услышал со страниц «Нового мира».

Сергей ЗАЛЫГИН.

## ИСТОРИК ЧИТАЕТ БРУЦКУСА

Статья Доры Штурман «Они — ведали» («Новый мир», 1992, № 4), раскрывающая неизвестные страницы жизни и деятельности крупнейшего экономиста и историка народного хозяйства России Б. Д. Бруцкуса, несомненно привлекла внимание читателей журнала. Разделяя авторское восхищение гражданской позицией Б. Бруцкуса, уместно подчеркнуть, что она тесно связана с его научными взглядами. В этом убеждает знакомство с работами ученого, публикация которых осуществлена недавно некоторыми нашими журналами<sup>1</sup>.

Вопрос об укорененности либерализма в России, ярким представителем которого наряду с С. Н. Булгаковым, С. Н. Прокоповичем, П. Б. Струве и другими явился Б. Д. Бруцкус, возможно, приобретет новое звучание, когда мы освоим богатейшее наследие либеральной экономической школы.

Б. Бруцкус одним из первых выявил сущность социально-экономической системы, возникшей в стране после октября 1917 года. Он раньше других увидел тушки распределительного социализма, исключающего цивилизованные механизмы частной собственности, индивидуальной инициативы и хозяйственной свободы. Нэповский опыт позволил ему сформулировать целостную и стройную концепцию народного хозяйства Советской России, а ретроспективный анализ 30-х годов утвердил в убежденности, что именно всевластие, установившееся в годы гражданской войны, — коренная причина последующего омертвения нэпа.

\* \* \*

Статья Б. Бруцкуса «Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского опыта», опубликованная в начале 1922 года, уникальна как чуть ли не единственная печатная критика социализма, появившаяся под эгидой социалистической власти, как протест против эксперимента над живым телом многомиллионного народа

«Большевистский разгром русского народного хозяйства» (П. Струве) убедил Б. Бруцкуса в том, что экономические проблемы марксистского социализма неразрешимы и что гибель нашего социализма неизбежна... Более того, «результаты строительства социализма по рецепту Маркса нигде не были бы лучше».

Да, большевистский социализм быстро рухнул ввиду несостоятельности бездежного и безрыночного хозяйства. Эти выводы — бесспорны, но Б. Бруцкус — подлинный ученый. Ему ясно, что настоящий проект организации коммунистической власти через испытание истории еще не прошел. Таким испытанием явилась новая экономическая политика, формирование которой автор работы мог наблюдать до своей высылки из страны в августе 1922 года.

Новая экономическая политика представлялась Б. Бруцкусу закономерным отходом от русского социализма, желанным возвращением к здравому смыслу, к «нормальности», к капитализму. Ленинская же версия нэпа была, напротив, путем к социализму. Широкое развитие товарно-денежных отношений — это вынужденная уступка крестьянству в интересах сохранения государственной власти, такое же отступление от партийной программы, как и уравнительное землепользование. Катастрофическое состояние народного хозяйства — результат военного коммунизма и голода 1920—1922 годов — заставило власть дать определенный простор развитию частного хозяйства.

Нэп вводился с запозданием, без твердых правовых гарантий, а это значит, что уже на старте на него накинули удавку. Национализация земли, монополия внешней торговли, краткосрочная аренда, частые земельные переделы, прогрессивная шкала налогового обложения вместо взимания пропорциональных налогов и многое другое — это такие тормоза нэпа, которые изначально снижали его экономическую эффективность и хозяйственную привлекательность для крестьян.

Как известно, умеренная хозяйственная либерализация сопровождалась ужесточением политического режима. О равном партнерстве с крестьянином как хозяином и речи не было, так как мелкобуржуазная стихия представлялась главной опасностью для социализма, а экономика социализма мыслилась В. И. Лениным не смешанной а одноукладной.

Б. Бруцкус иронизирует по поводу этой мелкобуржуазной стихии, «на которую в социалистической литературе обязательно все собаки вешаются» и указывает на глубинное противоречие нэповской эпохи. «...Если примириться с этой «мелкобуржуазной стихией», если удовлетворить ее органическому требованию свободного обмена, то, в особенности в аграрной стране, этим вся система социалистического хозяйства —

<sup>1</sup> Бруцкус Б. Д., «Социалистическое хозяйство» («Новый мир», 1990, № 8); Бруцкус Б., «Народное хозяйство Советской России, его природа и его судьбы» («Вопросы экономики», 1991, № 9, 10).

система планового распределения хозяйственных благ в государственном масштабе — взрывается»<sup>2</sup>.

Взрыв, как известно, не произошло. Напротив, реальностью стало плановое хозяйство. Как и почему это случилось, Б. Бруцкус рассматривает в работе «Народное хозяйство Советской России, его природа и его судьбы» (Париж, 1929). Он формулирует концепцию переходного периода, в корне отличную от марксистской. Согласно ей, минувшее семилетие было наполнено не борьбой социализма с капитализмом, а социализма с частным хозяйством<sup>3</sup>.

Ученый пишет, что капитализм в России не успел пропитать ткани народного хозяйства, поэтому вся система создания и использования капитализма была разрушена революцией, нанесшей удар по собственности, ее неприкосновенности. Крестьянское хозяйство резко натурализовалось и нивелировалось, исчезла прежняя почва для крупных дворов, строившихся на внеадельных купчих и арендованных землях.

Крестьянские бюджеты наглядно иллюстрируют незавершенность процесса формирования собственности в деревне 20-х годов. Анализируя структуру зажиточного хозяйства (со стоимостью средств производства свыше 1600 рублей по официальной статистике), можно убедиться: оно гораздо сбалансированнее середняцкого. Землепользование здесь приводилось в соответствие с наличными средствами производства путем аренды-сдачи земли и найма рабочей силы. Если маломощные слои вкладывали средства в первую очередь в рабочий скот, а во вторую — в инвентарь, то верхушка деревни улучшала постройки, то есть более стабильный и долгосрочный капитал.

Для этих хозяйств характерны были более высокие темпы восстановления, рост доходности, но эти доходы шли почти целиком на улучшенное личное потребление, а не производственное накопление и расширение хозяйства. Изучая указанный процесс по материалам российской деревни земледельческого и промышленного центра России, мы можем отметить, что экономический подъем от 1924 к 1927 году продолжался, но роль собственного сельского хозяйства неуклонно снижалась.

Факты свидетельствуют, что экономическая целостность повседневно приносилась в жертву политическим целям. Практическое воплощение в жизнь лозунга опоры на бедноту шло вразрез с экономической логикой, требовавшей цивилизованного производителя.

Бедняцко-батрацкие массы — жертвы аграрного перенаселения и малоземелья — сильно зависели от власти, ждали от нее льгот и благ: от 25 до 35 процентов самых маломощных хозяйств были освобождены от налогов. Многие из них тяжело работали, но не имея достаточных средств производства, не могли выбиться из нужды, люмпенизировались.

Но кроме экономических люмпенов немало развилось люмпенов социальных и психических.

Письмо селькора Ивана Зольникова из села Краснослободка Пензенской губернии в «Крестьянскую газету», датированное февралем 1926 года, дает представление о некоторых новых бедняках. «На всю деревню в 357 хозяйств не более 10 кулацких хозяйств, по сравнению с довоенным процент незначительный... но с другой стороны в старое время деревня была как-то богаче. На 250 домов было около 200 лошадей и 150 бескоровных. Теперь на 357 хозяйств 185 лошадей (как и до революции) и 172 хозяйства безлошадные... Из этих 172 хозяйств сотня живет очень хорошо, имеют по корове, пьют, едят отлично, обувь и одежда в избытке и налогов не платят: существует доход для хозяйства — самогонварение (из 20 фунтов муки и меры картофеля выходит ведро самогона, продукты стоят 1 р. 40 коп., а ведро самогона продают за 10 руб., а землю отдают пополам. 70 хозяйств можно считать беднотой (молодых, недавно отделившихся...). Самогонщики же живут превосходно, налогов с них не возьмешь. Что продать? Одна корова. Они уже приспособились — этот элемент в деревне, пожалуй, опаснее всяких кулаков»<sup>4</sup>.

Деформация традиционной трудовой морали, зависть и озлобленность по отношению к чужой собственности и успеху — характерная черта люмпенской психологии. Люмпенские настроения широко использовались властями в антикулацкой политике, постоянно подпитывали ее и сыграли зловещую роль в преддверии великого перелома, да и позже в ходе коллективизации.

Хозяйственное ограничение и вытеснение кулачества, провозглашенные в 1919 году и неуклонно проводимые в жизнь, достигли своих целей: до чрезвычайщины конца 20-х годов шло планомерное уничтожение института собственности через отбрасывание ее конструктивных сторон, противопоставление собственности и труда. Деревня страдала не от народившегося капитализма, а от его неразвитости.

В отношении найма-сдачи инвентаря, земли, рабочей силы оказалось втянуто свыше половины крестьянских хозяйств, но это были не капиталистические, или буржуазные отношения, а отношения простого товарного производства. Лишь один процент из числа крестьянских хозяйств нанимали более одного работника, что говорит об отсутствии развитых форм аграрного капитализма.

До поры до времени аграрники-марксисты отмечали «замедление темпа выделения верхних слоев деревни в слои эксплуататорские» по сравнению с дореволюционным этапом и преимущественно дореволюционное происхождение современного ку-

<sup>2</sup> «Новый мир», 1990, № 8, стр. 209.

<sup>3</sup> «Вопросы экономики», 1991, № 9, стр. 136.

<sup>4</sup> ЦГАНХ РФ, ф. 396, оп. 4, д. 23, лл. 1—2.

лечества. Будущий глава Наркомзема СССР Я. Яковлев в 1927 году заявлял: мы «в силах не только задержать в ближайшие годы темп роста кулака, но и прекратить самый рост кулака».

Это не мешало правящей партии под крики о кулацком засилии выжимать нужные «социалистическому сектору» продукты и сырье, резонно замечает Б. Бруцкус. Ученый продолжает линию С. Булгакова, Н. Бердяева, Н. Литошенко и других представителей либеральной мысли в критике научного социализма. Он отмечает его односторонний взгляд на процесс производства как на процесс механического труда, подмену экономических проблем техническими, непризнание громадной роли торговца («для марксизма он паразит»), а «„кулак“ — это старое пугало русской интеллигенции»...

Ученый разъясняет принципиальную разницу между предпринимательским хозяйством, работающим для получения капиталистической прибыли, и трудовым хозяйством, пусть и с крупным доходом, но израсходованным на семейное потребление.

С 1928 года всякие социально-экономические критерии отнесения к кулачеству были отброшены, а знак равенства между предприимчивостью и мошенничеством был поставлен еще раньше. Нормальное экономическое поведение рассматривалось как антисоветское, а ведь хозяйственная инициатива — самая большая ценность для личности и общества, подчеркивал ученый.

Бруцкусова концепция крестьянского хозяйства сформировалась задолго до революции в полемике с марксистскими (радикальными) идеями и со взглядами организационно-производственной (неонароднической) школы. Она заслуживает специального рассмотрения. Отметим здесь лишь его высокую оценку потенциала трудовой массы: ведь она выбралась из катастрофы 1921 года своим упорством и бережливостью и вытянула за собой все народное хозяйство!

История доказала экономическую устойчивость мелкого производства, его способность конкурировать с крупным. Б. Бруцкус отмечал, что никакая форма производства не создает таких могущественных стимулов к труду, к экономии и накоплению, как крестьянское хозяйство; оно постоянно обнаруживает громадную силу сопротивления по отношению к разрушающим влияниям. Причина недовосстановленности сельского хозяйства и нарастающего общего кризиса в экономике страны в другом — в постоянном усилении государственного вмешательства, разрушении материальных стимулов и рыночной мотивации. А они шли по многим каналам через государственные кооперации, разрушение всех видов частной промышленности (что усиливало безработицу), через свертывание торговли, вытеснение из сферы обращения частного посредника. Социалистические предприятия не могли конкурировать с гибким и мобильным частным хозяйством, но властью двигало стремление удержать и расширить социализированные командные высоты, а главное — накормить население из собственных рук.

Государство взяло на себя непосильные функции связывания экономики в единое целое. Точнее, у экономики было два регулятора: рыночный и властный, а перманентные кризисы развивались как попытки отнять «уступленное нэпу». Эти кризисы разрешались всякий раз ограничением рынка, разрушением его механизмов. Курс на расширение нэпа в 1925—1926 году был свернут, так как в ходе его реализации возникли объективные и субъективные препятствия. Либерализация лишь обозначила скрытые пороки планирования. Весной 1926 года последовал отказ от неналоговых методов накопления, в ход пошла принудительные займы, инфляция, заниженные цены на зерно и т. д.

Чем обернулось уничтожение всех побегов капитализма, видно из анализа восстановительных процессов. Эта часть работы Б. Бруцкуса «Народное хозяйство Советской России...» сделана с особой тщательностью. Ученый стремится вывить все достижения и успехи как крупницы ценнейшего опыта. Ведь волею судеб русская проблема стала мировой. По мнению Б. Бруцкуса, объективное познание и верная оценка хозяйства современной России — дело безмерной важности для ее будущего.

К положительным явлениям автор относит то, что промышленность ожила (приостановление проедаания промышленного капитала) и даже идет приумножение его. Б. Бруцкус называет источники восстановления (рост производительности труда в промышленности, сдельщина, интенсификация труда, восстановление кадров рабочего класса), отмечает он и умелое большевистское воздействие на психику рабочих.

Анализ экономических процессов, основанный на российской и европейской статистике и собственных точных логических рассуждениях, убеждает автора статьи, что эффективность нэпа как политики «социализированных командных высот» очевидна не сама по себе, а лишь в сопоставлении с катастрофическим началом 20-х годов. Сравнение же с 1913 годом не в пользу нэповского: не дотягивает национальный доход в расчете на душу населения, реальный уровень жизни и т. д. И это при том, что дореволюционная казенная статистика преуменьшала народнохозяйственные показатели, а после революционная — преувеличивала. Кроме того, довоенный золотой рубль был значительно выше червонного рубля образца 1927 года. Как отмечал А. Михайловский в журнале «Статистическое обозрение» (1928, № 1), «при сопоставлении с 1913 годом следовало бы цифры ценностей 1913 года увеличивать приблизительно в два раза».

Б. Бруцкус приходит к выводу, что восстановление народного хозяйства произошло не благодаря социалистической организации, а несмотря на нее. Социалистические организации плохо, но выполняли функции капиталистических (С. Прокопович писал, что коммунисты играют роль капиталистов), но успехам своим нэп обязан частному

хозяйству. Главную тяжесть восстановления крупной промышленности вынесло на своих плечах крестьянство. Ученый подчеркивал: «Все, что можно выжать из народного хозяйства, обращается на... финансирование («социалистического сектора». — Н. Р.)». За счет крестьянства произошло введение устойчивой денежной системы (ведь за бумажные деньги оно выложило реальные товары).

Выстроена столь дорогой ценой (ценой «грубого нарушения самочинного развития экономической жизни»), система представляется ученому логически и исторически несостоятельной. «Здесь исходят из грандиозных плановых идей, в которых находят себе отражение не столько реальные экономические интересы нищей страны, сколько политической идеи господствующей партии», — с горечью отмечает он.

Бруцкусова критика централизованного планирования удивительно переключается с идеями работы Ф. Хайека «Дорога к рабству»<sup>5</sup>. Этот факт отмечен в научной литературе, а вот сравнительный анализ взглядов виднейших представителей экономического либерализма XX века еще ждет специального исследования. Несомненно, можно говорить о сильном влиянии Б. Бруцкуса, первым сформулировавшим концепцию социализированного хозяйства, на будущего Нобелевского лауреата.

Отстаивая первенствующее значение рынка по сравнению с государственным регулированием, ученые не защищали принципа полной свободы действий (пресловутого *laissez faire*). Они выступают не против планирования как такового, а против планирования, вредящего конкуренции (Ф. Хайек), против планов непосредственного руководства как подавляющих стихийное развитие и жизненное разнообразие, как истощающих народное хозяйство (Б. Бруцкус).

Не менее значимы для понимания социализированной экономики и ретроспективные оценки Б. Бруцкуса. В работе «Экономическое планирование в Советской России», редактором которой был Ф. Хайек, он писал: «...еще перед пятилетним планом первые попытки планирования привели и к известному разрушению частных форм экономической жизни и к оживлению принудительной экспроприации сельскохозяйственных продуктов. Планируемая экономика явным образом вырождалась в экономику принуждения»<sup>6</sup>.

Этот вывод прозвучал в середине 30-х годов и имеет универсальный смысл. В середине 40-х годов Ф. Хайек идет дальше: появились новые доказательства того, что «если поставить цель организации по единому плану и последовательно стремиться к реализации на практике, дорога к тоталитаризму обеспечена».

Так Б. Бруцкус и Ф. Хайек показали, что планово-централизованная система на практике более опасна для общества, чем те беды, которые она должна была разредить.

Оба автора неустанно предупреждают от лукавого обаяния централизованного планирования. Посвящение «социалистам всех партий», предпосланное классической «Дороге к рабству», в полной мере может быть отнесено и к трудам Б. Бруцкуса.

Вредные последствия централизованного планирования закономерны и происходят не от пресловутой бездарности большевиков, предупреждает Б. Бруцкус коллег-эмигрантов семь лет спустя: не одни большевики строят теперь плановое хозяйство, им помогает вся русская интеллигенция. Ф. Хайек точно уловил, что социалисты верят в две совершенно разные вещи: свободу и организацию, а потому «демократический социализм — эта великая утопия предшествующих поколений — недостижим». Более того, старания приблизить его порождают совершенно непредвиденные последствия, неприемлемые для большинства его сторонников.

Б. Бруцкус и Ф. Хайек убеждены, что централизованное планирование ведет не к праву, не к общественному договору, а к системе социальных статусов. Показав, как отношения обмена вытесняются отношениями зависимости, Б. Бруцкус увидел, что российское общество 20-х годов возвратилось к сословному устройству (как и до реформ Александра II), только ранг сословий совершенно иной: к привилегированным сословиям он относил, во-первых, коммунистическую элиту, во-вторых, рабочих (которым привилегии призваны были заменить улучшение экономического положения). Что же касается бюрократизма, то он вытекает из основ самой системы, пишет ученый. Он признает, что имущественное неравенство значительно сглажено, но равенство граждан перед законом, в отличие от буржуазных государств, здесь принципиально отвергается. Отсутствие привычки к самоуправлению, интереса к гражданской свободе сделали возможным крайние формы диктатуры.

В чем же видится ему выход из общего кризиса народного хозяйства? В полном отказе от коммунизма и в широком развитии капитализма как системы децентрализованного принятия решений в экономике с демократией как политическим строем. На пороге великой депрессии он предчувствовал начало перестройки классического капитализма в новую фазу. Б. Бруцкус приветствует групповые формы частной собственности от кооперативов до акционерных обществ в современных ему европейских государствах: «С тех пор, как акционерная форма получила решительное преобладание во всех крупных предприятиях, владение капиталом является весьма разлитым. Вожди капитализма действуют не столько от своего лица, сколько в качестве уполномоченных безличных масс капитала, принадлежащего широким кругам населения».

Он одобряет вмешательство в защиту интересов трудящихся (страхование от безработицы, принудительное страхование и т. д.). Отмечая факторы усложнения и устойчивости капиталистической системы (особенно стимулирующую роль средних

<sup>5</sup> «Новый мир», 1991, № 7, 8.

<sup>6</sup> «ЭКО», 1989, № 10, стр. 93.

классов в этих процессах), Б. Бруцкус приходит к выводу, что современное ему демократическое государство нельзя считать чисто капиталистическим или чисто буржуазным: оно может быть социальным, считает он. Обществом социальной рыночной экономики, сказали бы мы сегодня.

Именно такой хотел бы видеть ученый Россию. Он считает, что в условиях благоприятной мировой конъюнктуры нужен прилив иностранного капитала, а главное — необходим соответствующий правовой строй.

Казалось бы, уроки хлебозаготовительного кризиса 1927 и 1928 годов позволяли надеяться, что новая попытка расколоть крестьянство, как в 1918 году, не удастся. «Деревенская беднота получила тогда от Советской власти все, что она ей могла дать, и теперь Советской власти уже нечем ее соблазнить. Крестьянство теперь слабо дифференцировано и меры, принимаемые под флагом борьбы с кулачеством, ударяют по всему крестьянству в целом», — рассуждает Б. Бруцкус. Но социальный опыт подсказывает ему иное: крестьянство не организовано, кроме того, все решается в центре. Даже чаемое возвращение к добросовестным условиям компромисса 1921 года, по оценкам ученого, позволило бы не процветать, а прозябать...

А главное, он понимает, что подобное самоограничение революционной власти нереально. Ведь принципиальный выбор сделан еще в 1917 году, а в результате политико-экономического маневрирования между 1921 и 1929 годами «благодаря стихийной тяге всей страны к материальному возрождению и к социально крепкому миру» (А. Керенский) утвердился «минимально устойчивый общественный строй» (Б. Бруцкус). Еще раньше о том же в статье «Беглый взгляд на Россию» (1925) крупнейший американский экономист Дж. Кейнс писал, что «советское государство не настолько неэффективно, чтобы не могло иметь возможности выжить»<sup>7</sup>.

Именно принятие этих минимальных стандартов, связанное с неразвитостью потребностей населения, и было, на наш взгляд, решающим в ряду причин, способствовавших трансформации изпа в некую «третью систему экономической политики» (С. Прокопович).

В 1929—1931 годах обмен между городом и деревней ввиду острой нехватки товаров принял натурализованные формы.

Городское население ежегодно росло: с 26 миллионов человек в 1930-м до 40 миллионов в 1932 году. В то же время производство сельскохозяйственной продукции уменьшилось за период пятилетки на 14 процентов и продолжало сокращаться.

Соотношение цен на сельскохозяйственную продукцию и промтовары обеспечивало значительное перераспределение прибавочного продукта сельского хозяйства в фонд индустриализации. Доля этого изъятия была высока и за пятилетие составила в среднем 33 процента.

Так всего через несколько лет сбылось предвидение Б. Бруцкуса о том, что, «выкачивая из народного хозяйства, в особенности из сельского хозяйства, все, что только можно выкачать, можно было за этот счет выстроить любую даже внутренне несостоятельную хозяйственную систему... История полна примерами, как очень несовершенные экономические надстройки столетиями держались за счет эксплуатации крестьянства»<sup>8</sup>.

Как строились экономические отношения колхоза и колхозников с государством в 30-е годы?

Примерный устав сельхозартели 1930 года предусматривал сдачу колхозами по контрактным договорам всей товарной продукции, что составляло от  $\frac{1}{4}$  до  $\frac{1}{3}$  урожая. Размеры хлебосдачи в последующие два года определялись государственным планом, построенным по типу промфинпланов: он составлялся летом, в соответствии с видами на урожай, размерами посевной площади и часто менялся в сторону увеличения.

С 1931 года утвердилась порочная практика выкачивания хлеба из колхозов через «конвейер» — продрозверстка худшего типа. От колхозников требовалось, бросив другие сельскохозяйственные работы, нарушив разумную их очередность, немедленно обмолачивать сжатую рожь, пшеницу и везти на заготовительные пункты. Вот чем обрattилась «первая заповедь колхозника», то есть сдача хлеба государству. В результате уборка урожая недопустимо затягивалась, а потери во время уборки, обмолота и хранения составляли 20—40 процентов. Велик был падеж крупного рогатого скота и свиней на колхозных фермах, достигавший 30—36 процентов поголовья.

Жесткое администрирование, обезличка труда, уравниловка в распределении его итогов, низкие заготовительные цены не создавали заинтересованности в артельном труде.

Примерный устав сельскохозяйственной артели 1935 года устанавливал первоочередное выполнение колхозами всех обязательств перед государством по поставкам, возврату семенных ссуд, налогам, страховым платежам и натуральной оплате за работы МТС. В то же время техника и квалифицированные кадры были оторваны от колхозов и сосредоточены в государственных предприятиях — МТС.

Колхозная земля рассматривалась как общепарадная государственная собственность, закрепленная за артелью на бессрочное пользование. Землепользование считалось бесплатным однако реальная цена, заплаченная артелями за пользование землей, была огромна, если учесть постоянный неэквивалентный обмен с городом, промышленностью. Недаром и до сих пор в нашей терминологии закрепились слова «сда-

<sup>7</sup> «Социологические исследования», 1991, № 7, стр. 143.

<sup>8</sup> «Вопросы экономики», 1991, № 10, стр. 146.



ча» и «поставка», а не «продажа» и «покупка», как обьязывает логика экономических отношений.

Словом, примерный устав сельскохозяйственной артели 1935 года юридически закрепил неравноправное положение колхозов и кооперативно-колхозной собственности в хозяйственной системе административного социализма. Колхоз не рассматривался как правомочный хозяйственный субъект, а колхозник не был сохозяином социалистической собственности.

Потребность в соответствующих амортизаторах (для придания административно-командной системе некоторой гибкости и динамичности) выразилась в известном расширении экономических методов хозяйствования и материальных стимулов к труду. Они, априорно ограниченные директивным планированием, вылились в признание денег, торговли, рынка. Эти рычаги со временем стали частью административной системы.

Практика заставила допустить колхозную торговлю (хотя она трактовалась поначалу не как советская, а как частная), существенно расширить товароборот между городом и деревней. Как показало обследование, проведенное Институтом экономики в 1934 году, на 2 миллиарда рублей, полученных колхозами от продажи собственной продукции, 1540 миллионов приходилось на долю рыночной торговли, еще 300 миллионов дали им госзакупки и 200 миллионов рублей — децентрализованные заготовки. Сколько же отдали колхозы своей продукции бесплатно в счет обязательных поставок натуральной оплаты за работы МТС, неизвестно.

В 1935 году вводятся более обоснованные цены на технические культуры, на зерно же и продукты животноводства они в годы второй пятилетки оказались замороженными на уровне 1928—1929 годов. Между тем цены на основные промтовары, покупаемые крестьянством, возросли в 5—9 раз!

Пустой трудовой день колхозника подпирался авансированием в счет будущего урожая, что создавало некоторый стимул, точнее слабую надежду. Для привлечения крестьян в колхозы летом 1934 года ставки налогообложения для колхозников устанавливались на четверть ниже ставок для единоличников, а нормы сдачи сельскохозяйственной продукции были в 1,5—2 раза меньше.

Между крестьянством и властью установился некоторый компромисс.

Примерный устав определял статус и размеры личного подсобного хозяйства, гарантированного при условии выработки колхозником минимума трудовых дней в общественном хозяйстве. Это — от 0,4 до 1 га земли на колхозный двор. Личное подсобное хозяйство, занимая немногим более 6 процентов земли всего колхозного сектора, несмотря на «зажатость» его высокими налогами, производило свыше 70 процентов молока, мяса, кож всего колхозного сектора, 43 процента шерсти и т. д. «Сверхтруд» на приусадебном участке давал свыше половины денежных доходов колхозника.

Большинство крестьян восприняло действительность на уровне обыденной психологии, опиравшейся на житейский опыт и здравый смысл. Отчуждение от результатов труда в общественном производстве, неудовлетворенность его оплатой выражались, например, в том, что в конце второй пятилетки почти четверть колхозников были «мнимыми», то есть они не выработали и 50 трудовых дней в году.

По некоторым подсчетам, работа в общественном хозяйстве занимала 5 часов в день (у американских фермеров — 10). Сельские жители не без основания считали приусадебные участки своеобразной компенсацией колхозной барщины, рассматривая их как свою собственность и соответствующим образом распоряжались ею: негласно продавая друг другу, арендуя, даря и т. д.

Принудительный консенсус между «лукавым рабом» и «государством-Левиафаном» утвердился на многие десятилетия, а сложившаяся модель обеспечила подпитку системе и в 50-е и в 60-е годы, отсрочив ее окончательное крушение.

Так исторический опыт вновь и вновь подтверждал максимы Б. Бруцкуса: 1. Строй частной собственности и частной инициативы нельзя разрушить без катастрофических последствий для экономики и нравственного здоровья народа; 2. Внутренние силы и закономерные тенденции, свойственные крестьянскому хозяйству, умирают только вместе с ним.

Это в конечном итоге и произошло...

Н. РОГАЛИНА.

Москва.

## КОРОТКО О КНИГАХ



**I. СВЕТЛАНА ЯНИЦКАЯ.** Прощеное воскресенье. Рассказы. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство, 1991. 208 стр.

Почти век назад В. В. Розанов сокрушался, что «жизнь вообще стала невоспеваема». Сей вывод он подкрепил ссылкой на переживания рядовой телефонистки, которая воспринимала себя лишь механическим придатком телефонного аппарата: «Я один раз сошла в мир, и вы говорите, что сошла только для того, чтобы телефонить цены на рожь и... поздравления с именинами...»

Терзаемая своей обделенностью «барышня у телефона» вполне могла оказаться — при соответствующих временных коррективах — среди тех, о ком рассказывает Светлана Яницкая. Ее проза открыта нынешней житейской повседневности. Но сквозь «тьму низких истин» быта с обязательностью проступает психология. Персонажи «Прощеного воскресенья», живя «под потухшим небом», не утратили способности печалиться и тосковать, не отвыкли от жалости. Причем не только к себе. Навеянная нашими днями констатация: «Жаль, что в звуках каждой драмы различаем лишь себя мы» (О. Николаева) — едва ли про них. Они ищут дружеского понимания, сердечного отклика и сами хотят быть нужными другим. Да вот беда: никто ими не интересуется. Кажется, повстречайся персонаж одного рассказа с героиней другого — непременно ведь поняли бы друг друга и обрели наконец то, чем каждый обделен в рамках своей истории. Только из «своего» рассказа, как и из собственной судьбы, не выпрыгнешь.

Но и потакать эмоциональной выморочности, преследующей человека на службе и дома, автор не намерена. Когда на помощь «со стороны» нет шансов, приходится полагаться на персональные резервы. Скажем, на хранимый в душе свет детства и юности. Ведь наша память склонна к идеализации. У И. Бродского в одном эссе говорится о «розовых очках» памяти. Сквозь них-то героини рассказов «Сморщина 1968 года» и «Фейерверк в городском саду» и смотрят на свои ранние лета.

А еще персонажи «Прощеного воскресенья» не забывают о любимых стихах и романах. И сны видят содержательные. Можно сказать, художественные. Воспоминаниями, книгами и снами тут силится восполнить нехватку тепла и уюта, внимания и милосердия. Если мужики в жизни и литературе заглушают боль-тоску водкой, то женское население рассказов С. Яницкой утешает себя выдумкой. Ненадолго, но — помогает.

Героиня перерастающего в повесть рассказа «Домашние беседы» формулирует тезис, претендующий на обобщение: «В эпоху застоя невозможно быть счастливой». Собеседница ей возражает: «Это тебе так кажется. Нечего свои личные неудачи спихивать на политический режим». Только ведь и с ним, режимом, нельзя не считать-

ся, тем более в стране, где, как замечено еще одним персонажем рассказа, «даже Бог одет в гимнастерку».

И все же С. Яницкую заботят не столько отношения человека с окружающими, сколько его борения и счеты с собственным «я». «Никто тебя не спасет, кроме тебя самой... Да и от чего спасать? От себя же...» Это убеждение героини рассказа «Грязные мечты» естественно вписалось бы во внутренние монологи персонажей и других собранных в книге историй.

Некоторые из них выглядят почти образцовыми для публикации на страницах «женских» журналов. Писательница воспринимает реальность трезвее, нежели изнуряемые неприкаянностью, искушаемые надеждами героини ее прозы. Но, подобно им, она едва ли согласится с безапелляционной расхожей выводом: «А жизнь такова, какова она есть, и больше никакова». Мир не переделаешь, но и себя отдавать ему в переделку негоже. Напоминание об этом, каким бы ни было банальным, едва ли когда будет лишним.

**II. АЛЕКСАНДР ВЕРНИКОВ.** Дом на ветру. Рассказы. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство, 1991. 224 стр.

В дебютном и очевидно программном рассказе этой книги любимая женщина просит героя посмотреть один редкий фильм за нее: «Представь, что твоими глазами смотрю я, как уж получится». При всей воодушевленности персонажа столь необычной и лестной для него просьбой — он даже репетирует, как в сумраке зрительного зала будет сливаться с дорогим ему образом, — ничего не получается. И мешающие тому земные препоны лишь акцентируют экзистенциальную невозможность подобного перевоплощения.

Человек в прозе А. Верникова только существует с другими, — живет он всецело собой. Вот почему не важно, где ему выпало длить свои дни — в сотах миллионного города или среди пустынного безлюдья юго-восточной границы. И роль фабулы здесь относительна: событийный ряд уподоблен декорации — сюжет разворачивается всегда внутри самого индивида, в причудливых лабиринтах сознания и мистических глубинах подкорки.

Тут ни на кого, кроме себя, не надеются, не ждут ни прямой поддержки, ни тайного сочувствия. Но потому эти персонажи — при всех томлениях и вывертах — не ведают тоски, отверженности, обиды. Они живут в режиме личного времени, дорожа как главными ценностями свободой и независимостью. Окружающие им неинтересны. И не оттого, что скучны и банальны. Любая оценка неизбежно предполагает соотнесенность «другого» с собою. А каждый из обитателей «Дома на ветру» занят тем лишь, о чем волен сказать: это мое и только мое.

Герои А. Верникова не эгоисты, а скорее естествоиспытатели — люди, которые на частном примере честно постигают естест-

во homo sapiens. Не вызовом миру, не побегом из него выглядит явный этот герметизм, а условием, испытующим склонность человека к своеобразной герменевтике — интерпретации и толкованию комплексов, страстей, состояний собственной персоны. Ревнистая охрана личной суверенности — от того же, от исполненной гордыни веры в собственную самодостаточность. Любой из персонажей мог бы повторить про себя слова поэта: «Ты — вселенная сам...»

А связь с другими, считают они, только связывает. Даже если это связь любовная. Неудержимо влечет героя цитированного рассказа «Пустыня Тартари» к его загадочной приятельнице, однако и ему дороже все-таки не само растворение в этом искреннем порыве, а кристаллизация его в точном, как диагноз, определении: «Остро я почувствовал всю ее как бы внутри себя, но не «в сердце», а будто меньшую кукуломатрешку в большей».

Они действительно себе на уме. И непрестанные усилия их реагирующего на все и вся рассудка сосредоточены на том, чтобы в рутинном потоке ритуального существования высветить изощренные метаморфозы собственной психики. Осваивая многомерности индивидуального сознания, персонажи книги насыщают себя смыслом. Да, при этом они, случается, теряют чувство реальности, но — вот ведь парадокс — опять-таки сознают это, ибо не теряют чувства себя. Даже опьянение собой герой А. Верникова умеет подать как объяснение себя себе.

Постигая самость, человек в этой моноцентричной прозе поверяет и «разрешающие» способности художественной речи в молекулярном анализе личного мира. Наделенный даром закрепления внутривещного в оригинальных психоаналитических выкладках, писатель сберегает энергию жизненно полезной рефлексии от энтропии. Тому же, кто, возражая сказанному, готов привести известную сентенцию о том, что «искусство живет в мире совести скорее, чем сознания» (Вл. Вейдле), можно ответить, что тезис этот в общем плане и впрямь беспспорен, и все же едва ли есть резон подходить к искусству слова с единственным аршином.

**III. ИЮЛЬСКИЕ ХОЛОДА.** Рассказы молодых свердловских прозаиков, Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство, 1991. 224 стр.

Выходу книг и у наиболее удачливых литературных дебютантов предшествуют публикации в коллективных сборниках. В последние годы это правило почти не знает исключений ни в центре, ни на периферии. Пять лет назад в таком сборнике Средне-Уральского книжного издательства («Ожидание», 1988) фигурировали рассказы А. Верникова и С. Яницкой. А одновременно с выпуском их «солевых» книг в городе на Исети подготовили очередное издание, представляющее двенадцать молодых свердловских прозаиков.

Дюжинами в литературу, понятно, не входят. И если для одних участников такого сборника его страницы и впрямь будут

стартовой площадкой, то для других, как ни жестоко прозвучит, публикацией в этой книге творческие притязания скорей всего и ограничатся. Вторых в «Июльских холодах», на мой взгляд, больше.

Разные фамилии стоят над их рассказами, но от одного к другому переход почти незаметен. Если что и удивляет, так это редкостное однообразие и персонажей, чей средний возраст равен пенсионному, и самой манеры рассказа. Кажется, что элегический вздох одного из прописанных в книге старожилов: «Вот ране-то что было...» — многие ее страницы подтверждают не столько даже самими бытовыми картинками, возвращающими, по замыслу авторов, на три-четыре десятилетия назад, сколько характерной для массовой литературной продукции тех давних лет стилистикой. Тут снег «сверкает мириадами хрустальных искр», тут героиня одного рассказа «улыбнулась мужу светло и тихо, отчего всегда в грудь Платона Сергеевича лилось что-то необъяснимо теплое», а у героя другого «Бахова (то есть Баха.— Л. Б.) музыка пробудила... желание заглядывать сквозь лица людей и разгадывать хитрую головоломку их суетливости...».

Но под той же обложкой есть примеры и совсем иного рода.

Подобно многим соседям по сборнику, Юлия Кокоско избрала героем рассказа «Ящики воспоминаний» человека, прогуливающегося по перрону своей «предпоследней станции». При этом нас откровенно предупреждают, что его экскурсии в собственное прошлое «ценности для потомства... не имели», и вообще дают понять, что вся эта история автором сочинена. Однако рассказ о старом математике, который умеет все вокруг себя возводить в степень любви, написан с такой внутренней раскованностью, что эстетическая ценность этих страниц, мгновенно сопрягающих горечь с радостью, счастье с болью, фантазию с пережитым, подлинное с игрою, для меня несомненна.

Исходным материалом и названием «Зона» Владимира Яницкого тяготеет как раз к тому, что именуется теперь жестким стилем. Сопоставление «жизненных сроков» одного из заключенных и начальника колонии с ненавязчивой последовательностью совсем не лишний раз убеждает, что беспредел в нравах и практике укоренился у нас по обе стороны колючки. Но предвзялая пристрастный счет обстоятельствам, прозаик вместе с тем показывает, что, как бы ни давили они на живущего, омертвляя душу, все-таки нравственный выбор каждый всегда делает сам. И потому столь дорожит автор любым проблеском человечности в переживаниях и поступках тех, кого так или иначе втянули жернова торьмы.

Очень разные эти рассказы сближаются в том, что моральные притязания и Яницкого и Кокоско обеспечены художественной состоятельностью их письма. А раз есть состоятельность, то есть и самостоятельность. Вот почему и хочется продолжить знакомство и с тем и с другим автором, открыв уже их собственные книги.

Леонид Быков.

# РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



**В. П. ПОПОВ.** *Крестьянство и государство 1945—1953.* Исследования новейшей русской истории. 9. Под общ. ред. А. И. Солженицына. Париж. YMCA-PRESS. 1992. 299 стр.

Книга В. П. Попова, доцента истории МПГУ, сочетает архивную дотошность с необычной и смелой композицией: каждый из разделов («Деревенская жизнь», «Хлебозаготовки», «Крестьянские налоги», «Крестьянский труд», «Крестьянская земля») состоит из краткого введения и публикации архивных документов, характеризующих положение советского крестьянства в 40—50-е годы. Среди писем и докладных записок, подаваемых в высокие инстанции (Совет по делам колхозов, Президиум Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б)), — и полуграмотные крестьянские жалобы, и бесстрастные партийные донесения и грозные начальственные резолюции. По оценке Попова, «начиная с 1950 г. число сельских жителей Российской Федерации стало неуклонно сокращаться, несмотря на компенсаторный рост населения после войны. То была ответная мера населения на чрезвычайный зажим деревни». Обобщающую оценку приводимым в книге документам дает А. И. Солженицын в предисловии, озаглавленном «Колхозная польня и гибель»: «Эта книга — в сухих и не бегло прочитываемых документах — содержит проблему исторического размаха как после советско-германской войны, «всемирно-исторической победы, спасшей человечество», доживала и погонялась к гибели большая, главная часть того «народа-победителя», который решил исход войны, сам полегли на полях сражений в десятках миллионов».

**МИНУВШЕЕ.** Исторический альманах (ред. В. Аллой). 12. Paris. Atheneum. 1991. 520 стр.

Очередной том исторического альманаха «Минувшее» сохраняет как жанровую, так и тематическую преемственность по отношению к предыдущим книгам. Раздел «Воспоминания» открывается небольшим, но чрезвычайно содержательным очерком В. В. Вырубова «Воспоминания о корниловском деле» (публикация Н. В. Вырубова). Стилю Вырубова, повествующего об обстановке внутри Временного правительства летом 1917 года, присуща рельефная отчетливость и обилие крупных планов. Далее следует вторая часть воспоминаний Б. Н. Лосского «Наша семья в пору лихолетия 1914—1922 гг.» (начало — в одиннадцатом томе «Минувшего»). Следующие два материала (мемуары М. М. Могилянского о кабаре «Бродячая собака», опубликованные А. Сергеевым, и воспоминания Н. Вольпин о Есенине, подготовленные к печати

Г. Маквеем) характеризуют хорошо известные историко-литературные события с новых точек зрения. Разнообразен раздел «У церковных стен», включающий в себя и религиозно-исторический трактат («Церковь и секты» Л. П. Карсавина, и итоги архивных разысканий («Церковь и революция» К. Евтуховой, «Под угрозой гибели» М. В. Шкаровского), и публикацию из семейного архива («Встреча с русским народом» В. Н. Лосского, обнародованная Б. Н. Лосским).

Наиболее обширен отдел «Из истории художественной жизни». Он открывается попыткой реконструкции одного из ранних замыслов В. И. Иванова («„Русский Фауст“ Вячеслава Иванова» М. Вахтеля). Содержательны письма З. Н. Гипшиу А. Л. Вольинскому, опубликованные А. Л. Евстигнеевой и Н. К. Пушкаревой. Два последующих материала по-разному соприкасаются с темой «Литература и государство»: Дж. Мальмстад публикует подборку писем русских писателей «Из секретных фондов в СССР» (особенно интересны три заявления А. Белого в ОГПУ), М. Никé — «Ответ писателям-коммунистам из РАППа» И. В. Сталина. Завершается раздел мемуарами В. Нечаева («Вспоминаю А. Е. Крученых») и историко-киноведческой статьей Р. Янгирова («Первый киноведа-биограф вождя (из истории партийно-государственного руководства советским киноискусством в 20-е годы)»). Заключительный отдел тома — «Дневники, записные книжки, маргиналии» — целиком отдан публикации очередного фрагмента дневника М. А. Кузмина, осуществленной Н. А. Богомоловым и С. В. Шумихиным. Записи за январь — май 1921 года, опубликованные в нынешнем томе, занимают 40 страниц и сопровождаются именным указателем, содержащим более 150 позиций. Это дает зримое представление о том, сколь значительным событием явится полная публикация дневника, подготовляемая в издательстве «Феникс».

**ЛАЗАРЬ ФЛЕЙШМАН.** *Материалы по истории русской и советской культуры из архива Гуверовского института.* Stanford Slavic Studies, 5. Stanford. 1992. 277 стр.

Пятый выпуск стэнфордской славистической серии, в короткий срок ставшей знаменитой, продолжает разработку богатейшего архивного собрания, хранящегося в архиве Гуверовского института (Стэнфорд, США). Девять лет назад автор этого тома совместно с О. Раевской-Хьюз и Р. Хьюзом опубликовал аналогичную по жанру книгу «Русский Берлин 1921—1923 гг.». Тогда внимание авторов было сосредоточено на литературной специфике русского островка в Европе, окруженного иноязычной культурой. Теперь интерреггируемый контекст существенно расширен. Первый раз-

дел книги — «Из горьковской биографии» — посвящен политической и публицистической деятельности М. Горького, теме, как ни странно, малоизученной. В центре внимания — взаимоотношения Горького и В. А. Бурцева. Раздел второй — «Эпизоды из истории американо-советских культурных отношений» — содержит материалы о Б. Пильняке, а также свидетельства о годах, проведенных С. М. Эйзенштейном за съемками фильма в Мексике. Неразрыв-

ность литературы и обволакивающей ее социальной истории давно стала ключевой темой Л. С. Флейшмана; в ней соединились его архивная дотошность и аналитическая смелость. Хотелось бы вместе с автором надеяться, что «включенные в книгу материалы послужат подспорьем историкам русской культуры в их освоении новых областей исследования».

Составитель К. Ю. ПОСТОУТЕНКО.

**МАРИЯ ВОЛКОВА. Стихотворения.** Под редакцией Элизабет Добрингер и Барбары Штайн. Мюнхен. Издательство «Петер Д. Штайн», 1991. 215 стр.

Знатоков зарубежной русской литературы не может не обрадовать выход в свет книги Марии Волковой, поскольку после второй мировой войны ее стихи только изредка печатались в некоторых газетах и журналах (в частности, в «Русской мысли» и «Новом журнале»), а ее сборники 1936 г. и 1944 г. стали библиографической редкостью. Как рассказывают в предисловии Э. Добрингер и Б. Штайн, Мария Вячеславовна Волкова родилась 2(15) октября 1902 г. в семье генерала В. А. Волкова, командовавшего 7-м Сибирским казачьим полком. Мать Марии Вячеславовны происходила из старинного казачьего рода Толстовых. Детство Мария провела в Джаркенте, недалеко от границы с Китаем. Революцию и гражданскую войну Волковы пережили в Омске. В 1919 г. Мария Вячеславовна вышла замуж за казачьего офицера Александра Эйхельбергера. После отступления адмирала Колчака Александру и Марии удалось перебраться в Литву, где они прожили десять лет в местечке Волковиске, после чего судьба приводит их в Гейдебрух (Восточная Пруссия). После второй мировой войны семья Марии Вячеславовны переехала сначала в Геммингштедт (Голштиния), а оттуда в деревню Оттерсвейер, неподалеку от Баден-Бадена; в этой деревушке супруги и провели оста-

ток жизни: Эйхельбергер умер в 1972 г., Мария Вячеславовна — 7 февраля 1983 г.

Как это трудно все-таки и странно  
Привыкнуть к свету после преисподней,  
К дарам освободившейся свободы  
И просто к позабытой тишине!  
Не верится, что можно невозбранно  
Загадывать не только на сегодня,  
А даже на недели и на годы,  
Как и другим, обещанные мне... —

из ее стихотворения 1947 г. Мария Вячеславовна тяжело переносила духовную изоляцию в провинциальной глуши, «на отшибе» и только благодаря переписке с писателями, друзьями и читателями сохраняла связь с людьми, близкими ей по духу. По словам поэта Вячеслава Куприянова, в творчестве М. Волковой явлен «русский национальный стержень, не сложенный войнами и скитаниями, не погашенный чужой речью...».

По сообщению Э. Добрингер и Б. Штайн, Мария Волкова долго работала над составлением этого сборника. Выход его задерживался из-за болезни поэта и тщательной, самокритичной правки рукописи, но теперь, спустя восемь лет после смерти Марии Вячеславовны, сборник выходит в своем первоначальном виде благодаря стараниям ее подруги Ильзы Фрей. Первое собрание стихотворений Марии Волковой вышло в прекрасном полиграфическом оформлении, снабжено указателем первопубликаций, библиографией и алфавитным указателем.

А. В.

*Редакция журнала считает приятным долгом поблагодарить всех неравнодушных к судьбе «Русской книги за рубежом», помогавших рубрике предоставлением книг, советами и справками. Особая признательность — издательствам, приславшим в редакцию свои издания.*

**Поздравляем Театр Олега Табакова  
с успешным дебютом и приветствуем  
сам факт его открытия.  
Желаем удачи, всемирного признания.**

*Редакция журнала «Новый мир».*

# СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

ЗА 1992 ГОД



Сергей Залыгин. Экология и культура. IX—3.

## РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Виктор Астафьев. Забубенная головушка. Вечерние раздумья. Из книги «Последний поклон». II — 44; III — 6. — Прокляты и убиты. Роман. Книга первая. X — 60; XI — 188; XII — 168.

Александр Бородиня. Обманки. II — 153. Михаил Бутов. К изваянию Пана, играющего на свирели. Сонет. Измаил II. Рассказ. VIII — 49.

Армандо Вальядарес. С надеждой в сердце... Главы из книги. Перевела с испанского Е. Вогуш. Предисловие Василия Селюнина. II — 3; III — 133.

Алексей Варламов. Рассказы. VI — 103. Андрей Волос. Кудыч. Повесть. II — 111. Дмитрий Галковский. Бесконечный тупик. Фрагменты книги. IX — 78; XI — 228.

Мария Головановская. Почтальон. VI — 133. Владимир Домогацкий. Кладовка. Попытка консервации. Публикация и предисловие С. Домогацкой. III — 31.

Валерий Залотуха. Вечером после работы (Мужское счастье). V — 98.

Сергей Залыгин. Как-нибудь. Рассказ. IV — 121.

И. С. Карпов. По волнам житейского моря. Воспоминания. Публикация и подготовка текста Г. В. Маркелова и С. С. Гречишкина. Вступительное слово Г. В. Маркелова. I — 7. Анатолий Ким. Поселок кентаров. Роман. VII — 6.

М. Конисская. Злые годы. VI — 65. Николай Кононов. В трезвом уме. Короткий роман. III — 104.

Юрий Красавин. Валенин. Послевоенная повесть. IV — 87.

Михаил Кураев. Дружбы нежное волнение. Записки провинциала. VIII — 6.

Александр Кургатников. Альпинисты после восьми вечера. Очерк нравов. Обыкновенный жул. Рассказ. VI — 118.

Семен Липкин. Записки жильца. Повесть. IX — 16; X — 109.

Вийви Луйк. Красота истории. Роман. Перевела с эстонского Елена Каллонен. VI — 6.

Юрий Малецкий. Баллончик. Попытка дискурса. VIII — 71.

Иван Оганов. Опустел наш сад. Народный балаган. V — 3.

Борис Пастернак. Письма к Жаклин де Пруайяр. Публикация Жаклин де Пруайяр. Перевод предисловия — Е. В. Пастернака. Перевод писем Пастернака — Е. Кузнецовой и Е. В. Пастернака. Сопроводительный текст и письма — Е. В. Пастернак. I — 127.

Л. Петрушевская. Время ночь. II — 65.

Валерий Пискунов. Филл, платформа справа. Рассказ нигилиста. II — 163.

Ирина Полянская. Утренник. Рассказ. VI — 126.

Михаил Роцин. На открытом сердце. Из книги «Америка». I — 80.

Александр Солженицын. Апрель Семнадцатого. X — 3; XI — 6; XII — 4.

Сергей Толстой. Отец. Публикация и предисловие Н. С. Толстого. IV — 9.

Белла Улановская. Рассказы. V — 77.

Людмила Улицкая. Сонечка. Повесть. VII — 61.

## СТИХИ И ПОЭМЫ

Акварели: Татьяна Бахмина, Александр Субботин. XII — 247.

Владимир Алейников. Незримый прияииз круг. IX — 13.

Вячеслав Баширов. Среди воспоминаний. V — 73.

Татьяна Бек. Предварительные итоги. III — 3.

Вениамин Блаженных. Страшная сказка. I — 190.

Марк Богославский. Забыв сказать прощальные слова. Предисловие Бориса Чичи-Бабина. I — 77.

Сергей Васильев. Искушение жизнью. X — 107.

Дмитрий Веденяпин. Солнце на полу. VII — 58.

Наталья Горбаневская. Из стихов последних лет. Предисловие Галины Корниловой. XI — 185.

Надежда Григорьева. Три стихотворения. IX — 75.

Леонид Григорьян. Это мы накануне востанья. II — 42.

Сергей Золотусский. Соучастники и двойники. VII — 3.

Бахыт Кенжеев. Из новых стихов. II — 63.

Владимир Корнилов. Вдгонку... XII — 249.

Эльмира Котляр. Свет клином. XII — 166.

Лев Котюков. Чужая жизнь. IX — 121.

Нина Краснова. Про любовь и про другое. IX — 76.

Юрий Кублановский. Посвящается родине. IV — 86.

Александр Кушнер. Со звездой в облаках. IV — 3.

Михаил Лаптев. Четыре стихотворения. III — 102.

Владимир Леонович. Древесный — осино-вый — северный свет. X — 171.

Инна Лиснянская. Из новой тетради. X — 56.

Лариса Миллер. Начать издаലെка. IX — 74.

Анатолий Найман. Сквозь листву. VI — 3.

Михаил Поздняев. На смерть Лолиты. VIII — 67.

Михаил Пробатов. К небесам ледяным. V — 76.

Евгений Рейн. Мальтийский сокол. VIII — 41.

Юрий Ряшенцев. Знак. XI — 2.

Лаура Салмон. Московские воспоминания. Перевела с итальянского Марина Палей. VI — 138.

Генрих Сапгир. Развитие метода. II — 149.

Павел Сергеев. По улице пиджак промчался, или Промежуточная стадия. VII — 89.

Михаил Синельников. Тихие вихри. I — 123.

Марианна Смирнова. Синий сад. VI — 132.

Владимир Соколов. Осенние листья. XII — 3.

Александр Соронин. Музыка судьбы. XI — 227.

Александр Трунин. Под незаметным небом. VI — 64.

Елена Ушакова. Сквозь снег. I — 3.

Геннадий Фролов. В миг любой. VIII — 84.

Борис Чичибабин. Школа любви. VIII — 3.

## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Поль Верлен. Стремлюсь и трепещу. Стихи. Перевод с французского и предисловие Александра Ревича. IX — 123.

Голубые роги. Поэзия грузинского символизма. Перевод и предисловие Михаила Синельникова. V — 108.

Райнер Мария Рильке. Как занавес пусть распадется местность. Стихи. Перевели с немецкого Евг. Храмов, Д. Щедровицкий, В. Скуратов. II — 174.

Натали Саррот. Дар речи. Перевела с французского Ирина Кузнецова. IV — 138.

## ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. Коржавин. В соблазнах кровавой эпохи. VII — 154; VIII — 130.

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

**Леонид Бежин.** Усыпальница без праха. Записки сентиментального созерцателя. VIII — 87.  
**Григорий Кружков.** «Как бы резвяся и играя...». IV — 167.  
**Лев Наврозов.** Есть ли литература на Западе? VI — 187.  
**Феликс Светов.** Чистый продукт для товарища. IX — 127.

## ПУБЛИЦИСТИКА

**Петр Вайль, Александр Генис.** Потерянный рай. Фрагменты книги. Послесловие С. Залыгина. IX — 135.  
**Лев Симкин.** Закон и право. Судебная реформа в прошлом и настоящем. I — 207.  
**Д. Штурман.** «Человечества сон золотой...». VII — 121.  
**Рольф Эдберг.** Капли воды — капли времени. Перевел со шведского Л. Жданов Валентин Распутин — Миллионелетия Рольфа Эдберга. X — 175.

*Предварительные итоги XX века*

**Алла Латынина, Юлия Латынина.** Время разбирать баррикады. I — 220.

## ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

**Олег Ларин.** Тайбола. VI — 199.

## ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

**Лидия Гинзбург.** Записи 20—30-х годов. Из неопубликованного. Вступительная статья и публикация А. Кушнера. Примечания А. Чудакова. VI — 144.  
**Борис Зубанин.** Стихи и письма. Вступительная статья, публикация писем и примечания А. И. Немировского. VII — 91.  
**Анатолий Клещенко.** Над изумрудным морем облака. Стихи. Публикация Беллы Клещенко. Предисловие Владимира Микушевича. VI — 139.  
**Александр Сопровский.** Пристанище ветхой свободы. Стихи, эссеистика. Публикация Татьяны Сопровской-Полетаевой. Предисловие Вахыта Кенжеева. Послесловие Якова Кротова. III — 182.

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

**«Диктатура партии погубит дело».** Из писем В. И. Ленину. Публикацию подготовил И. Брайнин. VI — 218.  
**О судьбах русских мальчиков (1941—1945).** Публикация, вступительное слово и примечания Павла Проценко. IX — 182.  
**Николай Покровский.** Скитские биографии. VIII — 194.  
**А. Синявский.** Чтение в сердцах. IV — 204.  
**Александр Солженицын.** Наши плюралисты. IV — 211.  
**П. Сорokin.** Современное состояние России. Подготовка текста, примечания и послесловие В. В. Сапова. Вступительное слово Владимира Шубина. IV — 181; V — 161.  
**Устный рассказ Ф. М. Достоевского.** Из архива В. Н. Опочина. Вступительная статья и публикация М. Одесской. VIII — 211  
**Афанасий Фет.** Жизнь Степановой, или Лирическое хозяйство. Подготовка текста, послесловие и примечания Г. Аслановой. Предисловие Сергея Залыгина. V — 113.  
**Даниил Хармс.** «Воже, какая ужасная жизнь и какое ужасное у меня состояние» Записные книжки. Письма. Дневники. Публикация, вступительное слово и послесловие Владимира Глоцера. II — 192.  
**Д. Д. Шостакович** о русской народной песне и хоре имени Патницкого. Публикация и предисловие Л. Лебединского. III — 208.

*Предварительные итоги XX века*

**Станислав Джимбинов.** Коэффициент искажения. Революция и культура. IX — 207.

## РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

**Антоний,** митрополит Сурожский. О встрече. Публикация и подготовка текста Е. Майданович. II — 184.

**Стефан Вильканович.** Десять заповедей демократии в христианском разумении. Перевела с польского Т. Д. Вентцель. I — 198.  
**Чеслав Милош.** О католицизме. Перевод с польского, предисловие и примечания Владимира Британинского. IX — 166.  
**А. Солженицын.** Темплтоновская лекция II — 179.  
**С. А. Сошинский.** Чудо обновления. VI — 231.  
**Ю. Шрейдер.** Поиски христианских основ демократии. I — 203.

## ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

**А. В. Был** ли социализм ошибкой? Манифест профессора Ф. А. Хайека. VII — 117.  
**А. Н. Богословский.** Газета «Русская мысль»: единство культуры поверх границы. I — 193.  
**Даниил Дубшан.** «Дело» Холмса живет... VIII — 129.  
**Виктор Живов.** О сомнительном и недоостовверном в историсофии Н. А. Бердяева. X — 216.  
**Сергей Залыгин.** Откровения от нашего имени. X — 214.  
**Сергей Костырко.** От сумы да от тюрьмы... VIII — 126.  
**Мих. Роцин.** Книга о вкусной и забытой пище. VII — 119.  
**И. Сурат.** О Литературном приложении к «Русской мысли». I — 195.

## В МИРЕ ИСКУССТВА

**Татьяна Чередниченко.** Эра пустяков, или Как мы наконец пришли к легкой музыке и куда, возможно, пойдем дальше. X — 222.

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**Дмитрий Галковский.** Повесть советская. Из материалов к «Энциклопедии Высоцкого». V — 204.  
**Иван Есаулов.** Праздники. Радости. Скорби. Литература русского зарубежья как завершение традиции. X — 232.  
**Сергей Костырко.** Чистое поле литературы. Любительские заметки профессионального читателя. XII — 250.  
**Павел Кузнецов.** Утопия одиночества. Владимир Набоков и метафизика. X — 243.  
**Вячеслав Курицын.** Постмодернизм: новая первобытная культура. II — 225.  
**Марк Липовецкий.** Патогенез и лечение глюхонемоты. Поэты и постмодернизм. VII — 213.  
**Алексей Машевский.** В ситуации сороковожия. VII — 228.  
**А. Моторин.** Лирический прилив. IX — 222.  
**Андрей Немзер.** Срасть и разрывам. Заметки о сравнительно новой мифологии. IV — 226.  
**Сергей Носов.** Литература и игра. II — 232. — Вселенная безыдейности. VII — 224.  
**Ольга Постникова.** Стихи недавних лет. Опыт повторного чтения. IX — 228.  
**Редакционное послесловие:** играем в мэйл-арт. II — 237.  
**Ирина Слюсарева.** Вхождение в круг. XII — 260.  
**Александра Спаль.** Гении и гулливеры. Природа нашего смешного V — 192.

*Предварительные итоги XX века*

**Александр Генис.** Вид из огня. *И. Роднянская* — №3 на полях благодетельного абсурда. VIII — 218.  
**Любовь Гуревич.** Подвижная мишень. VIII — 227  
**Евгений Добренко.** Левой! Левой! Левой!.. Метаморфозы революционной культуры. III — 228.  
**В. Перцовский.** Сквозь революцию как состояние души. Заметки о советской литературной истории. III — 216.

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

*Литература и искусство*

**Л. Аннинский.** Ужас и уют (Согласие. Литературно-художественный и общественно-политический журнал). XII — 266.  
**Андрей Василевский.** На платочке (Шмуэль Иосеф Агнон. В сердцевице морей. Роман). VI — 244.

**В. Вахрушев.** Логика абсурда, или Абсурд логики (Театр парадокса. Ионеско, Беккет, Жене, Пинтер, Аррабаль, Мрочек). VII — 235.

**Олег Дарк.** Трагедия драмы (Восемь нехороших пьес). I — 243.

**Евгений Добренко.** От бесконечности к нулю (А. Наков Русский авангард). VII — 237.

**В. Камянов.** Свободен от постоя (С. Довлатов. Зона (Записки надзирателя). Компромисс Заповедник. Сергей Довлатов. Чмодан. Повести. Сергей Довлатов. Иностранка. Повесть С. Довлатов. Филиал. Записки ведущего. Повесть). II — 242.— Красный ферж под боем (Сигизмунд Кржижановский. Сказки для вундеркиндов. Повести, рассказы). VIII — 239.

**Сергей Костырно.** На полпути к «частному лицу» (Андрей Матвеев. Частное лицо Роман). III — 241.

**Янов Кротов.** Джентльмен в царстве Божьем (Клайв С. Льюис. Письма Баламута. Баламут предлагает тост. Клайв С. Льюис. Расторжение брака. Клайв С. Льюис. Лев, колдунья и платяной шкаф. Клайв С. Льюис. Племянник чародея. Клайв С. Льюис. Коль и его мальчик). II — 244.

**Юрий Кублановский.** Благословенный свет (Арсений Тарковский. Собрание сочинений в трех томах). VIII — 234

**Майя Кучерская.** Двоящийся пейзаж (Николай Климонтович. Двойной альбом. Роман. Рассказы). II — 240.— Не все пропало (Марина Палей. Отделение пропащих) VI — 238.

**Андрей Немзер.** Лес. Степь. Свет (Семен Липкин. Письмена. Стихотворения. Поэмы). VIII — 237

**Марина Новикова.** Тринадцатый стакан (Мамлеев Юрий. Московский гамбит). I — 237.— При свете свести (Наталья Ильина. Дорога и судьбы). III — 244.

**Лев Остоват.** Его боренья (И. Сурач. «Жил на свете рыцарь бедный...»). IX — 235.

**Андрей Ранчин.** «Зыбкий воздух повествования» (Марк Харитонов. Линии судьбы, или Сундучок Милашевича Роман). XII — 270.

**И. Роднянская.** «И много ль нас, внимательных, как я...» (Александр Кушнер. Аполлон в снегу. Заметки на полях). VI — 240

**Валерий Самин.** Наказание Хармса (Даниил Хармс. Горло бредит бритвою. Случаи, рассказы, дневниковые записки) VII — 233.

**Анна Фрумкина.** Предназначение и тайна (Гайто Газданов. Вечер у Клар. Романы и рассказы. Гайто Газданов. Призрак Александра Вольфа. Гайто Газданов. Вечер у Клар. Ночные дороги. Призрак Александра Вольфа. Возвращение Будды. Романы). I — 239.

**Ю. Шрейдер.** Последняя книга эпохи ГДР (Вадим Рабинович. Исповедь книгооча, который учил букве, а укреплял дух). IX — 236.

#### Политика и наука

**Р. Баландин.** Доступно о космологии (А. С. Потупа. Открытие Вселенной — прошлое, настоящее, будущее). VI — 252.

**Юрий Борисов.** Кардинал Ришелье: гений или злодей? (П. П. Черкасов. Кардинал Ришелье). II — 247.

**Андрей Василевский.** Метаморфозы «воровской идеи» (Валерий Чалидзе. Уголовная Россия). I — 245.

**Сергей Залыгин.** Подлинные и мнимые секреты перестройки (Лев Тимофеев. Зачем приходил Горбачев. О теневых влияниях в большой политике. Антон Козлов. Метакоррупция. Уголовные истоки партии большевиков). XII — 272.

**С. Ларин.** Летописец московского быта (Анатолий Рубинов. Интимная жизнь Москвы). IX — 239.

**Владислав Марнин.** Глазами естествоиспытателя (Д. И. Менделеев. Границы познания предвидеть невозможно. Д. И. Менделеев. С думою о благе российском). VI — 247.

**И. Созин.** О Пилсудском без легенд и вымыслов (Дарья и Томаш Наленч. Юзеф Пилсудский. Легенды и факты). I — 248.

**Г. Чернянский.** Страсти вокруг пророка (Исаак Дойчер. Троицкий в изгнании). VI — 249.

#### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

**Рената Гальцева.** Возрождение России и новый «орден» интеллигенции. VII — 240.

**Виктор Живов.** Как вращается «Красное Колесо». III — 246.

**Виктор Камянов.** Трудное прощание. Казенная эстетика умирает, но не сдается. X — 251.

**Н. Коржавин.** Преступление против духа. V — 226.

**Янов Кротов.** Советский житель как религиозный тип. V — 245.

**А. Овсянников.** Власть тьмы? VIII — 244.

**Письмо М. И. Молозинова.** IX — 242.

**В. Проскурина.** Темный лик В. В. Розанова. III — 250.

**Н. Роголина.** Историк читает Бруцкуса. XII — 275.

**Ю. А. Шрейдер.** Двойственность шестидесятых. V — 238.

**Дора Штурман.** Они — ведали. IV — 239.

#### КОРОТКО О КНИГАХ

Юрий Клячко. — В. И. Казаков. Исхак Савельевич Мустафин. 1908—1968. С. Ларин. — Урмас Отт. Вопрос-ответ-интервью. I — 252.

Леонид Клейн. — И. Борис Вахтин. Так сложилась жизнь моя... Повести и рассказы. II. Закир Дакенов. Полетим, кукушечка, в дальние края. Закир Дакенов. Вышка. Вячеслав Маркин. — П. А. Кропоткин. Этника. Избранные труды. II — 251.

К. Постоутенко. — И. С. Н. Дурьлин. В своем углу (из старых тетрадей). II. Н. О. Лосский. История русской философии. III. Максимилиан Волошин. Автобиографическая проза. Дневники. III — 252.

А. Л. Соболев. — И. З. Н. Гиппиус. Стихотворения. Живые лица. II. Юрий Анненков. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. III. К. Чуковский. Дневник 1901—1929. Борис Семеновкер. — Н. Г. Левитская. Александр Солженицын: библиографический указатель. Август 1988—1990. IV — 251.

Григорий Кружков. — И. Сергей Гандлевский. Стихи. В сборнике стихов «Понедельник. Семь поэтов самиздата». Сергей Гандлевский. Стихи. В литературно-художественном альманахе «Личное дело №». II. Наталья Ванханен. Дневной месяц. Стихотворения. III. Аркадий Штейнберг. К верховьям. V — 251.

Евгений Голлербах. — И. Петрополь. Альманах. II. Вестник новой литературы. III. Сумерки. Георгий Вирен. — Соло. № 1—8. VII — 250.

Е. Ознобкина. — И. Мартин Хайдеггер. Разговор на проселочной дороге. II. Р. Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. III. Карл Густав Юнг. Архетип и символ. VIII — 251.

Алексей Гурок. — И. Мария Петровых. Избранное. Стихотворения. Переводы. Из письменного стола. II. Е. Ю. Кузьмина-Караева. Избранное. В. Вахрушев. — И. Ивлин Во. Черная беда. Роман. II. Энтони Берджесс. Третий намерения. Роман. Борис Ряховский. — Зуфар Фаткудинов. Открытия XX века. IX — 248.

Андрей Василевский. — Черная книга («Штурм небес»). Сборник документальных данных, характеризующих борьбу советской коммунистической власти против всякой религии, против всех исповеданий и церквей. М. Макеев. — Роман Редлик. Предатель. Роман. XI — 284.

Леонид Быков. — И. Светлана Яницкая. Прощено воскресенье. Рассказы. II. Александр Верников. Дом на ветру. Рассказы. III. Июльские холода. Рассказы молодых свердловских прозаиков. XII — 281.

Русская книга за рубежом. I—III, VI—VII, X — 255; IV—V, VIII—254; IX—253; XI—287; XII — 283. Составитель К. Ю. Постоутенко.



## SUMMARY

The poetry section of this issue includes poems by Vladimir Sokolov, El'mira Kotlyar, Tatyana Bakhmina, Alexander Subbotin and Vladimir Kornilov.

We finish publications of the 1st volume of Alexander Solzhenitsyn's "April 1917" and Victor Astafiev's novel "The Damned and the Dead" (both novels are continued from No. 10).

Literary critics Sergey Kostyrko ("Clear Field of Literature") and Irina Slyusareva ("Entering the Circle") discuss contemporary Russian fiction published in periodicals. Lev Anninsky reviews the last issues of "Soglasie" journal. Andrey Rantchin writes about the new novel by Mark Kharitonov. Editor-

in-chief of "Novy Mir" Sergey Zalygyn talks about publicistic book "For What Purpose Gorbachev?" by Lev Timofeev.

In the "Editorial Mail" section historian N. Rogalina responds to the commentaries about the famous economist Boris Brutzkus.

In the "Book Reviews" section Leonid Bykov comments on collections of short stories by Svetlana Yamitskaya and Alexander Ver-nikov and the works of young writers from the Ural called "July Frosts".

K. Postoutenko reviews new Russian books appearing abroad.

The last section the list of our publications of this issue is the for 1992.

### К СВЕДЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ

**Редакция располагает ограниченным количеством  
экспортного тиража «НОВОГО МИРА»**

**(в специальной белой обложке)**

**№ 1—12 за 1992 год**

**для розничной продажи. Цена договорная.**

**Телефон (095) 200-08-29 (с 11.00 до 17.00)**

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

**Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Роспечати».**

**Главный редактор С. П. Залыгин**

**Редакционная коллегия:**

**В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов** (зам. главного редактора), **И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. А. Филимонов** (зам. главного редактора), **М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

**Технический редактор  
А. Гинзбург**

**Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г.  
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.**

**Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.**

**Сдано в набор 21.09.92 г. Подписано к печати 4.11.92 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 18 п. л.  
(25,2 усл.-печ. л. 25,33 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.**

**Тираж 241 340 экз. Зак. 3143. Цена 4 р. 70 к. (по подписке)**

**При участии издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.  
Типография издательства «Известия» имени И. И. Скворцова-Степанова.  
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.**

39-64

Индекс 70636



**ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ  
БУКЕРА В РОССИИ**

**ПРЕМИЯ БУКЕРА ЗА ЛУЧШИЙ РОМАН ГОДА  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

27 октября 1992 года в Москве  
прошла номинация претендентов на премию БУКЕРА.

Когда этот номер журнала попадет к читателю,  
уже будет известно имя писателя,  
получившего эту знаменитую премию  
в размере 10 000 фунтов стерлингов.

Но и сейчас мы можем с гордостью сказать,  
что из шести претендентов на премию БУКЕРА  
два — «Лаз» Владимира Маканина  
и «Время ночь» Людмилы Петрушевской —  
были впервые опубликованы в «НОВОМ МИРЕ».  
Редакция «Нового мира» поздравляет всех уважаемых  
претендентов и надеется на их плодотворное  
сотрудничество с нашим журналом.



Спонсоры премии — компании  
«Букер», «Тетра Пак Интернэйшнл СА»  
и Британский Совет;  
администраторы — компания «Букер»  
и Британский Совет в Москве.



*«Премия Букера за лучший роман года на русском языке учреждена с целью поощрить современных авторов, пишущих по-русски, стимулировать интерес западного мира к современной русской литературе, способствовать увеличению числа переводов с русского языка и расширению книготорговли.*

*Мы уважаем великие традиции русской литературы и с радостью отмечаем, что теперь у современных писателей России появилась возможность свободно публиковать свои работы и знакомить с ними мировую общественность».*

*Michael Cairns*

Сэр Майкл Кейн,  
председатель Совета компании «Букер».

ISSN 0130—7673 Новый мир, 1992, № 12, 1—288.